



Дизайн автора

Игорь Куберский

НОЧЬ В МАДРИДЕ

Роман

Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел.

Книга Притчей

Вещи, которые не находятся на своем месте, не знают покоя; возвратившись на свои места, они успокаиваются. Так вот, мой вес — это моя любовь (апог), и если что-то и ведет меня, так это она.

Св. Августин

К тому же улитки не ведут бессмысленных войн.

Знаки агни-йоги

К "МОНЕ ЛИЗЕ" и в Лувре было паломничество, как когда-то в Москве. В Москве я ее не видел — я был тогда не таким ценителем, чтобы из-за одной картины ехать в другой город. Я и сейчас бы, наверное, не поехал. Но в той же молодости я думал изучить все и все прочесть, все увидеть; теперь я понимал, что многое останется непрочитанным, что чем дальше я живу, тем меньше знаю, и хотя кое-что все-таки увидел, это было ничто по сравнению с неувиденным. Я приучил себя довольствоваться малым. Лучше пригоршня в покое, нежели горсти в трудах и заботах. Из максималиста я стал минималистом. Труднее всего было обуздать честолюбие и признать, что ничего не получилось. Я и сейчас иногда взрываюсь — мне кажется, что еще есть время и силы. Мне даже кажется, что сил у меня больше, чем в молодости. Я не про славу. Я про чувство внутренней гармонии — с внешней уже не вышло и не выйдет. Но внутри можно было бы переорганизовать весь этот трагический фарс и хаос в свет и покой. Последние годы я только этим и занимался. И заклинал себя: я свободен и я спокоен. Я никому и ничему не завидую. Я не боюсь смерти и не жажду бессмертия. То, что я делаю, я делаю хорошо. Я стараюсь не приносить людям зла и не считаю себя лучше других. Совсем как у Швейцера: "Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь среди жизней, которая хочет жить". Мое сердце открыто для добра и любви... Нет, про сердце я не буду. Сердце мое закрыто. Я боюсь его открывать. Если оно открывается, то само. Мы с ним разошлись, и, когда ему больно, я злорадствую: "Вот видишь, я оказался прав. Так тебе и надо". Друг к другу мы относимся с недоверием.

Когда я увидел "Мону Лизу", слезы омыли мои глаза изнутри и выплеснулись наружу.

Допускаю, что это банально — заплакать перед "Моной Лизой". Дурновкусие. Но я заплакал.

— Ну что, старичок, — сказала она, — укатали Сивку крутые горки?

— Укатали, — сказал я.

— Ничего, крута горка, да забывчива. Ты вроде держишься...

— Держусь. А что еще остается? Ведь и ты улыбаешься.

— Улыбаюсь, потому что смотрят. Когда бы они отвернулись...

— Но это очень грустная история, — сказал я.

— Все истории грустные, — сказала она.

— И нет ни одной веселой?

— Есть... — сказала она. — Есть. Если не бояться.

— Я больше не боюсь, — сказал я.

— Что ж, тогда ты еще будешь счастлив.

И я ушел. И сколько я потом к ней ни подходил, она меня больше не узнавала, глядя мимо с леденящей душу насмешкой. Она могла открыться только однажды.

Еще две великие женщины тянули меня к себе — Венера Милосская и Нике Самофракийская. Увы... Если бы я встретился с ними раньше, я бы не так долго и мучительно выживал, они открыли бы мне то, что положено узнать в юности. Но свидание не состоялось. Не узнав их тогда, я сглазил их теперь. Одна стала домохозяйкой, другая — блудницей. О Нике у нас когда-то был с Улиткой разговор. Она — как Икар, говорила мне Улитка, она летящая, она свободная. Она не видит ничего вокруг, она в полете потеряла голову. Мое нынешнее сравнение Улитке бы не понравилось.

Иногда я колочусь в стену головой — Господи, какие прекрасные молодые женщины были рядом со мной и сколько прекрасного привносили они в мою жизнь, сколько подарили мне минут, и часов, и дней, и месяцев, и даже лет, как счастлив я бывал с ними, и как лучились их глаза, и как они улыбались — да! мне! — и что теперь? Где они? С кем? И кем стали? Наверняка у них дети и, может быть, внуки. Вспоминают ли они меня? Это один из моих вечных вопросов самому себе. Вспоминает ли кто-нибудь меня, принес ли я кому-нибудь хоть крупицу счастья?

ИЗ ВСЕХ возможных чудес, пожалуй, единственным подлинным чудом для меня осталась лишь сама жизнь. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Впрочем, не знать — это свойство природы. Я встречал многих людей, которые знали про жизнь практически все и в конце концов получали от нее именно то, что напорочили.

С чего же начать?

Рано поутру на террасе с ослепительным видом на узкую синюю бухточку, всю в белых лодках и в белых домах на той стороне, белых домах с оранжевой черепицей, еще сонных и таких белых, как бывает только во сне, — рано поутру я сяду за круглый стол, машинально опершись локтями и оставив на его пупырчатой от влаги поверхности два неровных следа, возьму подозрную трубу и медленно поведу вдоль того берега, разглядывая его, как разглядываешь картины Питера Брейгеля Старшего, но в панораме не будет острых сюжетов: разве что человек в пижаме, возле двери, еще сонный, с подпухшими веками, еще не отделивший своего суетного сознания от сознания природного, данного этому небу, этой воде, этим камням; разве что рыбак, лениво копошащийся на корме зеленой лодки со снастью; разве что мальчик и девочка, с разбегу прыгнувшие в воду, — вижу фонтан брызг, но ни плеск, ни голоса не доносятся до меня; разве что собака, мечущаяся по берегу, — хозяин не взял ее с собой и сам тихо удаляется, косо подставив парус своей доски едва уловимому ветру. Картина называется "Утро в Менорке".

Или вечер. Наша терраса открыта на бухту, оттуда, из густой синевы, — свежие вздохи моря, на другом берегу огни во всех домах. Но людских голосов, и лая собак, и скрипа уключин, и стука лодочных моторов, увозящих на вечернюю прогулку в море, снова не слышно, потому что, перекрывая все звуки, все шумы, все прочие голоса мира, звенит-гремит наша стереоустановка. Дети любят громкую музыку, и мы, взрослые, подстраиваемся под них. Нам тоже надо привыкать к тому, что музыка — это всегда громко. Очень громко. Так, чтобы ничего постороннего не оставалось. Мы живем за звуковым барьером. Голая мощная спина Виктора, его длинные, чуть не до колен, шорты, будто снятые с отставного футболиста тридцатых годов.

Розовый отсвет на белой стене, Виктор подходит помахать фанеркой — целый сноп взвивающихся в небо искр... Это жаровня. Это мы печем креветок. Креветок я уже пробовал. Вернее, их меньших братьев. Очень маленьких братьев, а может быть сестер, из нашего универсама. Странно, ей-богу! Два океана омывают далекую мою страну, а третий дышит прямо в лицо, обращенное к Европе, где-то рядом с тем местом, где я живу, — два с половиной океана, но о подобных креветках я даже и слыхом не слыхивал. Креветки были огромные — звери, а не креветки. Их вылавливали неподалеку на теплых отмелях. И было какое-то вино, то есть разные вина. И звезды пошли кругом, звезды сплели мне венок, и, увенчанный, я сладко спал возле воды, что посреди земли.

Первое впечатление от Испании — это испанцы. Они настолько рознились от французов, будто я увидел своих, русских. Впрочем, и от русских они отличались ничуть не меньше. Они вошли в салон самолета, человек десять — двенадцать, и я сразу нутром ощутил, что это испанцы. Отец у меня тоже испанец, но он был нетипичным, светлым, он был родом из Эстремадуры, где встречаются голубоглазые, светлолицые, в готов, испанцы. Мой сводный брат Виктор — вот кто был настоящим испанцем. В нем-то действительно не было ни капли русской крови.

...Да, когда я увидел эту дюжину испанцев, на меня повеяло чем-то родным и я чуть не воскликнул: "Здорово, мужики!" Минимум Элочки-людоедки я по-испански все-таки знал. Это, конечно, были простые работяги, возвращавшиеся на недельку домой из Парижа, через который я пробирался к Испании. Наверное, все работяги похожи друг на друга.

Испанцы затараторили по-своему, отчего у меня дрогнуло сердце и увлажнились глаза. Взвыли турбины, мы оторвались от бетонной полосы аэропорта "Орли" и, повисев в воздухе, сели в Барселоне. В Барселоне было как в сауне, но сама Барселона была где-то дальше, куда с шорохом уходили сверкающие машины. Возле здания аэропорта дежурили полицейские. В руках у них были карабины. Это из-за террористов, вспомнил я наши газеты. Я хотел было пройтись с тяжелой сумкой на плече, но заметил, как отвердели руки полицейских на карабинах, и повернул назад. Неужто я смахивал на террориста? Внутри было прохладно и чисто, по залам слонялись красивые, крепко загорелые мужчины и женщины, женский голос после нежной музыкальной вставки из четырех нот что-то доверительно объявлял, и вскоре я снова поднялся в воздух, уже на другом самолете, но той же компании "Авиако", которая, чуть только ты отрывался от земли, начинала тебя бешено кормить и поить. Я знал, что мы уже над Средиземным морем, но самого моря не видел — его застила серебристая дымка. И вдруг, глянув в иллюминатор, я совсем близко увидел неправдоподобно яркую фиолетовую воду и стремительно набегающую оливковую землю. Там, где она уходила под воду, то есть на границе умбры и фиолета, море было малахитовым, как просвеченная солнцем листва. Но все это случилось так быстро и неожиданно, что пилот, словно давая возможность еще раз полюбоваться, сделал широкий разворот, опираясь на правое крыло, и на этот раз по прямой пошел на остров. И снова повторилось — фиалковое, малахитовое, оливковое, невыразимо прекрасное... и, ласково, как кончиками вытянутых ко дну пальцев, коснувшись тверди, мы приземлились. Я вышел из здания, глянул направо, потом глянул налево — и увидел их. Казалось, они хотели незаметно подкрасться ко мне, а теперь замерли, застигнутые врасплох. Они замерли с идиотскими улыбками счастливых людей — Виктор, Арина и два их чада. Они смотрели на меня влюбленными глазами — и так же смотрел на них я. Мы мечтали об этой встрече много лет. И вот я ехал, ехал и приехал. Время остановилось. Я не знал, когда оно тронется дальше. Отсюда мне не было видно.

Виктор и Арина... Когда-то весь их медовый месяц прошел у меня на глазах — так я стал невольным героем их воспоминаний о лучшей поре жизни, о молодости, и чем дальше, тем больше мне казалось, что они звали меня именно поэтому. Будто рядом со мной все опять могло повториться.

— Ну, что... здравствуй, меноркин, — хрипло сказал Виктор и заключил меня в объятия. Он стал вдвое больше, этакий дюжий мужик. А был как карандаш. Арина же — господи боже мой! — теперь, когда зрелость довела до совершенства все, намеченное в юности, Арина была просто ослепительна. Далеко не красotka, она тем больше поразила меня своей красотой. Глаза. Все дело в глазах. Глаза были такие, что хоть сейчас исповедуйся. Вот какой она стала, наша Ариша. Рядом стеснялись два очаровательных существа — тринадцатилетняя Натали и семилетний Антошка — Антонио. Они старательно отвечали по-русски, но с ужасным акцентом.

Менорка — это... я не знаю, что такое Менорка. Есть еще Майорка, это значит — побольше. На Майорке в прошлом веке жили Шопен и Жорж Санд. Это всем известно. А на Менорке — адмирал Нельсон, правда, вопреки легенде, без леди Гамильтон. Была еще Ивиса. На Ивисе Виктор с Ариной больше не отдыхали, Ивису заповили нудисты с нудистками, Майорка превратилась в помойку, а Менорка еще оставалась райским уголком. Но знаменитостей здесь не было. Хулио Иглесиас предпочитал Майорку. На Менорке отдыхали просто богатые люди. Виктор тоже был просто богатым, но если он еще больше разбогатеет, он все равно не поедет на Майорку. На Менорке он только что купил большие земли, через два года он их застроит пансионатами для просто богатых, он создаст что-то вроде реабилитационного центра, где богатые будут реабилитировать свое подорванное в борьбе за капитал здоровье.

Машина была смешная, желтый жук, модели 1937 года, но еще на конвейере, — управлять ею можно было научить и зайца, только не меня. Мне лишь снится порой, что я вожу какие-то допотопные легковушки, — с техникой у меня тканевая несовместимость. Итак, в ослепительно жаркий день наш желтый жучок бежал по прекрасным, будто только вчера проложенным асфальтовым дорогам, а мимо нас бежали холмы и скалы, сосновые лески и выжженные поля, где, казалось, ничего никогда не произрастало, — все это стремительно чередовалось, почти как на карте с большим масштабом, что было непривычно для русского глаза, — в одном здешнем километре зараз проскакивали все наши пятьсот. Пространство спрессовалось и время — вместе с ним, и я чувствовал эту его сравнительную с нами ускоренность. Жучок без всяких усилий резво взбежал на холм и весело засеменял вниз. С холма и открылось место, названное на арабский манер "Адайя", — белое, белое, белое, нет, не белое, а сахарное, нет, как горячий снег, — ослепительно белые постройки, рассеянные резкими тенями, ослепительно белые, под оранжевой черепицей. Белое и оранжевое, и там, за крайними точками охристой земли, — голубое, ультрамариновое, темно-синее, зеленое море, сверкающее и тоже горячее. Жучок резко повернул налево и, скатившись под горку, уткнулся носом в горячий воздух. Все. Слева цвели какие-то райские кусты, краплек светлый, тиюиндиги розовое, цинковые белила... Где-то уже встречалось. Видимо, в Сочи. Миндаль, олеандр? Справа среди домов был дом, тоже белый и тоже под оранжевой черепицей, с лесенками вниз и вверх, с каменными балюстрадами, на их переломах ввинчивались в раскаленное небо побелевшие от времени большие морские раковины. Мы спустились по каменным ступенькам во дворик, поднялись, прошли по затененной узкой террасе вдоль стены, повернули за угол и оказались дома. Тут вот и вошел в меня, видимо навсегда, то есть на весь срок оставшейся мне земной жизни, этот вид бухты Адайя. Каждый из нас вспомнит несколько мест, когда он шептал себе, что он в раю. В детстве для меня раем было Рижское взморье, куда моя матушка отвозила меня к своим родственникам, в юности — Коктебель, куда я поехал сам, открыв для себя Цветаеву, Волошина... Теперь, в зрелости, раем стала Менорка. Но я это понял не сразу. Я вообще этого не понял. Я это вспомнил. Потом. Тогда же я был полон самой встречей, Виктором и Ариной, и еще я был полон Парижем, я был полон им через край. Я еще целый месяц говорил только о нем. Менорку я как бы не увидел. Я ее вспомнил — и, значит, она все-таки была. Ценность прожитого можно определить по плотности воспоминаний. Солнечный сон наяву. Я помню каждое его мгновение. Но в нем, как и положено сну, нет логики. Или в нем своя логика, которую мне не расшифровать.

В свою медовую пору Виктор и Арина жили у меня. Точнее так: медовый месяц был у них до свадьбы, он начался сразу после их знакомства на Невском проспекте, когда приехавший ко мне в гости брат, новоиспеченный московский инженер, заприметил в телефонной будке новоиспеченную ленинградскую актрису и, познакомившись, естественно, пригласил ее ко мне, то есть к нам. Матушка была в доме отдыха, и я им отдал ее комнату. Но и за двумя картонными дверьми было слышно, как они занимаются любовью, и утром у них были такие сияющие лица и так хорошо было рядом с ними, что я забывал о себе, о том, что мне тридцать, что жизнь не удалась и жить больше не стоит. Какое-то странное было лето, канувшее бы в Лету, если б не Виктор с Ариной. Почему-то тогда не хотелось жить. Так уже было со мной в пору юности, в восемнадцать лет. Но с юностью все понятно, а вот к тридцати можно было бы набраться какого-то ума. Я как бы прошел весь круг жизни и все узнал, все открыл или все закрыл и сказал себе: скучно, все суета. Но что есть суета? Суетны мы сами.

До сих пор не понимаю, зачем они весь тот месяц таскали меня с собой. На кой черт я им сдался? Неужели догадались, что я подыхаю как брошенный пес? В то лето, благодаря Виктору и Арине, я заново открыл для себя и Ленинград, и его пригороды. Я видел все это их глазами, таская их по всем известным и неизвестным мне местам. Почему-то мы предпочитали блоковские Озерки, Шувалово, Юрки. Арина вспоминала: "С вечерним озером я разговор веду", и мы стояли на тех же дюнах и погружались в ту же воду — это только в реку нельзя войти дважды, — "по вечерам над ресторанами"... — ресторанов, правда, не сохранилось, но были вонючие забегаловки, чем заплеванной, тем экзотичнее, и мужики оборачивались на нашу даму, в присутствии двух молодцев осмеливаясь только на самые изысканные выражения, а потом автобусом мы возвращались на Петроградскую сторону и там в популярной в ту пору шашлычной "Мерани" запивали бастурму белым вином и Арина читала пастернаковского Бараташвили, Бродского и Мандельштама, поражая меня бездонностью своей памяти, — это было еще поколение, отождествлявшее свои чувства с поэзией. А потом Арина стала все чаще говорить, что мы ее братья и что она любит нас обоих, и однажды, под вечер, когда Виктор побежал за пивом и мы остались одни, она сказала, что любит меня одного. Не с того ли вечера началось мое чувство вины перед ней, как будто, стань она моей женой, она прожила бы счастливее...

Игнаша! Вот уже несколько дней у нас тут сплошные гулянья, барабанный стук, птичье пение чисту (флейты) и опять барабаны, карнавальные шествия ведьм и всякой нечисти. Наряжаются все, кому не лень, во все, что только в голову придет, и танцуют все, особенно, конечно, молодежь, даже самая расхипповая, — танцуют хоту, национальный танец басков. И так все дни и ночи: вино, на набережной жарится, печется рыба, мясо... Танцы, песни, игры, все друг с другом на "ты" и... никаких безобразий. Умеют веселиться в Испании, ничего не скажешь. Как-то мы спросили одного англичанина, живущего здесь уже несколько лет, не тоскует ли он, не хочется ли ему вернуться в Лондон, — он чуть не задохнулся от протеста: "О нет, нет! Ни в коем случае! Мне уже тридцать восемь лет, я жить хочу, я с праздником в сердце жить хочу. А что в Англии — доработал до отпуска, кое-как отдыхался в кругу семьи и — за ремонт, стены белить... Разве это жизнь? А здесь что ни день — праздник. Здесь умеют отдых любить, умеют отдых отдыхать. К Англии же подъезжаешь — так за несколько миль уже плесенью пахнет".

Святые в Испании действительно стараются вовсю: то Святая неделя, то день Святого Августина, то Святой Марии, то Святого Хосе — так вот и живем от святого к святому. Если можно вот так, как этот англичанин, запросто, в любой момент заглянуть на родную сторонку, то и тоска по ней, конечно, другая, с которой можно жить. Не забывай про нас.

1974.

УТРОМ мы побросали в машину пляжные причиндалы, наделали бутербродов — для чего дети извели кучу прекрасных помидоров, натерев ими булку, — и, взяв меня, как последнюю пляжную новинку, семья выкатила из Адаи. Меня было не узнать. Был я в белых шортах, в

фирменных шлепанцах, уверяющих, что они учитывают пластику стопы, в белой панаме с надписью "Nike" — потом я узнал, насколько это было важно, и еще в чем-то бело-зеленом, полосатом. Полосатое, полуматросское было пискom сезона.

— Ну вот, — сказала Арина, когда я вышел из своей комнаты, и по удовлетворению в ее глазах я понял, что теперь меня можно показывать друзьям и знакомым. Викторovy вещи были мне великоваты, но великоватость была в моде.

— Куда мы? — спросил я с переднего сиденья уже как бы не своим, а чуть великоватым мне самому голосом.

— В Сан-Боу, — сказал Виктор.

Сан-Боу оказался огромным песчаным пляжем. Поодаль, не заступая некой условной черты зоны отдыха, толпились нарядные двухэтажные домики под красной черепицей, похожие на бунгало. Еще дальше, слева, у самого пляжа, высились два современных туристских отеля вроде сочинских.

— Сносить будем, — сказал Виктор, кивнув в ту сторону. Купив землю, он чувствовал себя уже своим человеком на острове. — Дешевка. Клетушки. Так не пойдет. Не тот уровень. Кто-то протащил через министерство свой паршивый проект. Сейчас комиссия разбирается. Когда мы пять лет назад открыли с Ришей этот остров, он был почти девственным, а сейчас его загаживают. Покупать землю и строить — это самый выгодный вклад капитала. Ежегодно цена на землю поднимается на пятьдесят процентов. Вот и лезет всякая шушера. Строить надо хорошо, чтобы не нарушать эстетику ландшафта. Тут уникальный ландшафт. Ты со мной согласен?

Я был с ним согласен. Но мне непривычно было слышать все это от моего брата. Он мыслил другими категориями. Я тоже с годами старался увеличить масштаб мышления, я читал Владимира Соловьева, Бердяева, Швейцера и Тейяра де Шардена, еще кое-что. Не имея свободы вовне, я старался обрести безграничную внутреннюю свободу, оставаясь снаружи обыкновенным человеком из ленинградского трамвая, а Виктор мыслил тем, что вовне, к нему он прикладывал усилия, и оно изменялось. Он лепил его. Я так привык, что внешнее абсолютно от меня не зависит, что поначалу мне казалось, будто Виктор блефует. Но если он и блефовал, то лишь самую малость. Он нарочно говорил со мной по слогам — как учитель, — чтобы я лучше усвоил. Но Арине не нравилось, как он со мной говорит. Ей казалось, что он отыгрывается на мне за прошлые свои, хоть и не мной нанесенные, раны. Она считала это недостойным. Но он не отыгрывался, он как бы спорил со мной, полагая, что я несу в себе некий невысказанный ему укор. То есть он спорил с самим собой в моем обличе. Прошло тринадцать лет его новой, другой жизни, а спор в нем еще продолжался. И все его "за" и "против" были обращены к себе, будто в глубине души он и теперь сомневался в своем выборе.

Нес ли я укор? Думаю, нет. Но, начитавшись гуманистов, с их единственной заботой спасти, сохранить и воспитать человеческую душу, я, наверно, как-то не так осматривался, как ему бы хотелось. Моя полная внутренняя свобода не должна была выходить за рамки, потому что тут же наталкивалась на его полную внешнюю свободу. Вообще в сфере материального бытия свободы оказывалось не так уж много, хотя каждый и считал себя ее носителем. Но этого я Виктору не сказал. Я изо всех сил спешил понять его и его нынешнее общество. Потом мне Арина об этом скажет: "Ты будешь думать так, а потом ты станешь думать иначе, а потом ты снова все передумаешь. Все мы через это прошли. На это уходят не месяцы, а годы. Ты не спеши с выводами. Ты просто наблюдай. Тут жить очень непросто, может быть гораздо сложнее, чем у нас".

— А ты не хочешь вернуться?

— Хотела, — выдохнула она, как о давно понятом. Но теперь это невозможно.

Нет, не со мной спорил Виктор и не с собой, он спорил с ней. За минувшие годы они дважды приезжали в Союз и на пару дней останавливались у меня. Оба раза матушка уезжала. С Виктором отношения у нее не сложились, она его избегала. Матушке казалось, что его отъезд нанес нам

удар. Она даже ухитрилась связывать мои неудачи с тем, что Виктор живет там. А когда я получил разрешение на поездку, она смертельно перепугалась. Она восприняла это чуть ли не как провокацию, международный заговор, интриги ЦРУ. Она уговаривала меня не ехать. Газеты, журналы возвращали нам наше прошлое, а она умоляла меня не обсуждать это по телефону.

— Мама, — говорил я, — это сейчас обсуждают двести миллионов человек.

— Ах, сын, сын, какой ты наивный. — Она делала страдальческое лицо и качала головой. Но сама целыми днями не выходила из своей комнатухи и все что-то читала, вырезала, складывала в папочку, прятала под шкаф.

— Ты от кого прячешь? — смеялся я.

А она гневно, как на доносчика, смотрела на меня, потом переводила взгляд на телефон, будто он был нашим постоянным сожителем, и пыталась мне что-то сказать беззвучно, одними губами; когда же я, не выдержав этой сцены, круто разворачивался и уходил, она захлопывала свою дверь и сидела там, обложенная страницами истории, которая была ее собственной жизнью и в которую ей было так больно еще раз заглянуть.

В первый свой приезд Арина мне сказала:

— Я живу там хотя бы потому, что там никто меня не оскорбит. Если я иду по улице, никто не скажет мне вслед какую-нибудь гадость, наоборот — испанец сбрасывает пиджак с плеч прямо мне под ноги: наступи, красавица. Ты даже не замечаешь, насколько русские агрессивны, — сказала она, русачка, после пяти лет жизни на Западе.

Увы, когда я пошел с ней по нашему городу, я имел возможность убедиться, что вид ее вызывал раздражение. Мужики еще сдерживались, обходясь междометиями, — все-таки можно было схлопотать от меня по морде, но бабы были смелее. Интеллигенция баб не бьет.

— Ну что это такое?! — вопрошала Арина, темнея лицом. — Откуда такая нетерпимость? И это ленинградцы...

— Это не ленинградцы, — вяло возражал я. — Ленинградцы лежат на Пискаревском, на Серафимовском и здесь, на Смоленском, миллион ленинградцев. А это — приезжая публика, они станут ленинградцами через пятьдесят лет. Они не виноваты, что они такие. Их так научили. Ленинград их переучит. Красота переучивает.

— Это несерьезно, Игнаша.

Но потом сама же, в филармонии, говорила нам с Виктором:

— Вот за что я люблю Ленинград. За глаза этих людей, за эти интеллигентные лица. Нигде я не видела в одном месте столько интеллигентных лиц.

Что ж, ей было с чем сравнивать.

А во второй приезд, когда ее пригласили на кинопробы, она сказала:

— Игнаша, я вдруг поймала себя на мысли, что совсем забыла, что я живу не здесь, что мне завтра уезжать, что где-то там какой-то Мадрид. Почему, зачем? Что я там потеряла? Знаешь, это удивительное чувство, когда все вокруг говорят по-русски. Так вдруг легко становится дышать.

Мы оставили машину на стоянке возле ресторана и потащили свои плетеные корзины с пляжной амуницией по песку. Народу было немного. Летний сезон подходил к концу, и туристы уезжали. Они уезжали отовсюду. Казалось, они уезжали на другую планету. Мир пустел на глазах и становился первозданным. Виктор скинул все, что на нем было, и гордо потряхивая предметом производства, ушел с детьми купаться. Он звал меня, но я отказался. Мне предстояло войти в Средиземное море, и я хотел подготовиться к этому. Вдобавок я еще не решил, как мне выступать.

Даже древние использовали фиговый листочек. Но фиги поблизости не росло. Мимо проходили обнаженные женщины. На фоне камней, песка и воды они выглядели красиво.

— Давай мы тебя женим, — сказала Арина. Она лежала лицом вверх, тоже нагишом, глаза скрыты солнечными очками — наверное, следила за мной. — Будем жить рядом. Разговаривать. А то у меня с этим проблема.

— Давай, — сказал я. — Только попозже, через три месяца или через месяц, в зависимости от того, сколько вы меня выдержите.

— Не кокетничай, — сказала Арина. — Тебе это не идет.

— Прости, — сказал я.

— Хочешь? — приподнявшись на локте, Арина нащупала в корзине персик и протянула мне. У нее были на удивление молодые груди. — Правда, Игнаша, почему бы нет? На Менорке столько незамужних женщин...

— О' кей, — сказал я.

— Я предлагаю ему жениться, — торопливо сказала Арина навстречу Виктору. Он подошел, запаленно дыша. По бокам у него висели Натали и Антонио.

— На ком? — ревниво спросил Виктор, словно все женщины Испании принадлежали только ему, и, стряхнув с себя детей, аккуратно вписался в полотенце, расстеленное на песке. — Хорошо! — промычал он, закрыв глаза; его густые спутанные волосы торчали петушиным гребнем. Он сильно поседел; или это была морская соль? Он лежал, подставив солнцу мощную спину, каждая его мышца хорошо прорисовывалась. Улитка обязательно бы его нарисовала.

— Я уже думал об этом, — сказал он. — Тебе, Риша, только бы языком: бла-бла-бла, а я уже сто раз подумал о своем брате. Все это сложно.

— Почему? — с вызовом спросила Арина, словно решив не уступать ему, хотя, как я заметил, последнее слово всегда оставалось за Виктором.

— Ну... — мыкнул Виктор, — я, естественно, оставляю в стороне вариант, так сказать, ин-тел-лек-ту-аль-ный. — Он приподнял правую руку и перебрал воздух пальцами, будто косточки этой самой почему-то неприятной ему интеллектуальности. — Я, естественно, буду говорить в другой, более приземленной, материальной плоскости... — Правая его кисть упала, черпанула песок, и песчинки тихо потекли между пальцев. Один глаз открылся и уставился на струйку. — Если Игнаша снова надумал жениться, мы с тобой должны найти ему упакованную телку. Упа-ко-ван-ну-ю. А где ее взять? Кормилец из Игнаши, сама понимаешь, еще не скоро получится. Притом, надо, чтобы телка его в некотором роде полюбила, а это, Ариша, от нас с тобой почти не зависит. Подведем итог...

— Прекрати! — сказала Арина. — Противно тебя слушать.

Да, пора было Виктору просечь, что при мне бои обещают стать затяжными. И он понял. Он просек. Все-таки я хорошо его знал. Он вдруг ослепительно заулыбался:

— Ариша! Старушка... — Он потянулся к ней за поцелуем. — Ты сегодня такая красивая! — Он дотянулся, сочно чмокнул, но тут же со стоном ухватился за поясницу: — Ой!

— Что? — тревожно поднялась Арина. — Опять?

Год назад здесь же, на Менорке, Виктор нырнул, не зная дна, и вошел головой в песок, голову он вынул и почти без сознания все-таки выплыл, вылез на берег, но в спине что-то сместилось. Он еще с детства откуда-нибудь или куда-нибудь постоянно падал. Однажды на моих глазах он упал с дерева, но внизу росли кусты, и он отделался только глубокой царапиной под правой лопаткой.

— Потерпи, — под села к нему Арина. — Я сейчас помассирую.

— Дай-ка я... — предложил я, глядя на ее ловкие, но слабые кисти.

— Ты умеешь?

— Умею, — сказал я.

Я действительно умел. Меня обучила Улитка. В первый вечер, вернее, в первую ночь, когда я остался с ней, она попросила помассировать ей спину. К вечеру у нее накапливалась боль в спине — вот откуда эти ее частые, ставшие потом для меня привычными, скрестные движения рук, с отводом плеч, с запрокинутым подбородком. Робко, на коленях, я сел рядом, но она сказала: "Так тебе неудобно. Садись сверху". Я изо всех сил старался думать только о массаже и ни о чем другом. У меня было не так уж мало женщин, но с такой фигурой не было ни одной. И я чувствовал себя Пигмалионом, вдруг ощутившим телесное тепло только что изваянной им холодной мраморной плоти. Ожившая мечта была передо мной, и я признался, что мне не удастся полностью сосредоточиться на массаже. "А больше не надо, спасибо, — сказала Улитка и, повернувшись, потянула мои руки к себе. Улыбка у нее была чуть смущенной. Потом она сказала: Мне хорошо с тобой". Вскоре я стал лучшим в мире массажистом, и она говорила, что мужчинам теперь очень трудно составить мне конкуренцию.

Я промял Виктору все спинные мышцы, теперь я знал их названия, и аккуратно поработал над позвоночником. Виктор постанывал, как в экстазе, возбуждая слух женской половины пляжа. Шрама я так и не нашел.

— А мне сделаешь? — попросила Арина.

— А тебе-то зачем, мать? — сказал Виктор.

— А для тонуса, — сказала Арина.

— Только не соблазняй Игнашу.

Я склонился над Ариной.

— Старик, вот и дело есть, — последив за нами, хохотнул Виктор. — Завтра я печатаю объявление: «Солнце, воздух и массаж! С девяти до двух. Плата по договоренности. English spoken¹. Русский — по настроению».

— А почему только до двух? — приподняла голову Арина.

— Потому что в два у нас обед.

Напоследок я все-таки мужественно искупался. Без всего. Вода была на удивление горька и солонка.

Вечером с верхнего этажа на шпагате к нам спустился пакет вина. Это гулял наш хозяин Пепе. Гулял он, как и жил, один. Вино мы пить не стали. У нас уже было вино. Через некоторое время, по расчетам Пепе достаточное, чтобы опустошить пакет, к нам спустилась бутылка бренди.

— Наверное, старику грустно, — сказал Виктор. — Я схожу к нему.

— Приведи его сюда, — сказала Арина.

Вообще-то Пепе жил в Меркадале, в десяти минутах езды, а сюда приезжал только грустить. Там у него была своя квартира. У него никого не было, кроме племянницы Кончи. Жена умерла давно, а брат — недавно. Вместе с братом он построил дом о трех этажах. После смерти брата весь дом перешел к нему. Зимой, когда дует трамонтана, он вовсе не бывает здесь. Тут вообще зимой

¹ English spoken – говорим по-английски (англ.)

делать нечего. Два этажа сдавались; мы занимали лучший — второй, вернее, половину второго — здесь были три маленькие комнаты и большой салон с большой террасой. Ужинали мы всегда на террасе. Вторую половину снимала пара пожилых, очень воспитанных испанцев.

Пепе был пожилой крепыш, почти толстяк, но все же скорее крепыш, чем толстяк. Обращаясь ко мне, Пепе начинал говорить очень громко. Он был уверен, что если очень громко говорить с иностранцем, тот обязательно поймет. Пепе любил Виктора и Арину, это были его самые большие друзья на Менорке. Пепе еще не знал, что Виктор больше не будет у него снимать второй этаж. Виктор собирался к следующему лету купить на Менорке свой собственный дом.

Вслед за детьми и Ариной я ушел к себе — Виктор объяснил Пепе, что я еще не отдохнул от Парижа, а они вдвоем, чтобы нам не мешать, пошли на третий этаж. Когда я проснулся, все еще спали. Дул ветер, и с террасы раздавался тихий перезвон. Я отодвинул штору и открыл дверь. Передо мной на веревках болталась дюжина пустых винных бутылок. Пепе и Виктор спускали их всю ночь, чтобы мы знали, что им хорошо и они хорошо сидят. И для утреннего самоотчета.

Я УВИДЕЛ ее среди уличных художников в портике бывших Серебряных рядов, что на Невском возле Думы.

— Ты только из-за моих ног со мной познакомился! — смеялась она.

И вправду — не из-за работ же ее, прикнопленных рядом с этюдником. Работы мне тогда не понравились. Она заканчивала чей-то портрет, держа его перед собой на коленях, а складной стульчик перед ней был пуст; видимо, портретируемый, не признав сходства, исчез, но она еще сердито водила цветными мелками, добавляя тупой похожести, на которую клюют невежды. Помню, сердце у меня застучало вдвое быстрее, верно угадав момент жизни, от которого начнется что-то другое, сердце застучало, отдаваясь в висках, и не своим от волнения голосом я спросил:

— Меня нарисуете? Она глянула в мою сторону сквозь очки и мрачновато кивнула на складной стульчик:

— Садитесь.

Нет, не мрачновато, скорее безучастно, и даже не безучастно, а со скрытой неприязнью — я был работодателем, а ее натура протестовала против этого. Но она пришла сюда зарабатывать деньги и поэтому сказала "садитесь". Я сел, ее высокие ноги оказались перед моим носом, и я с трудом оторвал от них взгляд. Лицо ее было смуглым, розовые губы своенравно вывернуты, как у таитянок Гогена, а нос с большими ноздрями по-азиатски слегка приплюснут. Голос звучал низко и уверенно.

— Какой вы хотите портрет? — спросила она. — Цветной, черно-белый?

— Цветной, — сказал я, стараясь не опускать глаз.

— Цветной стоит дороже, — сказала она.

— Я могу себе это позволить, — сказал я.

Она выбрала из пачки листок, шершавый лист для пастели, — и у нее были такие кисти рук, такие умные живые пальцы, что мое учащенно бьющееся сердце дало перебой, а душа заныла.

— Я правильно сижу? — спросил я. Мне хотелось с ней говорить.

— Правильно, — сказала она, время от времени окидывая меня тем пристально-отсутствующим взглядом, какой отличает художников. — Можете вообще шевелиться.

— А Модильяни писал не так, — сказал я. — Он сначала полчаса смотрел на модель, а писал по памяти.

— Я не очень люблю Модильяни, — сказала она.

— А кого вы любите?

— Ну... — замялась она, явно не желая открываться перед посторонним.

— Серова? — спросил я, потому что в тот момент читал про Серова.

— Да, — сказала она, — и Врубеля. Вот у них получалось.

— Но "Девушку, освещенную солнцем" Серов писал три месяца по восемь часов в день, — сказал я.

— Он мог себе это позволить, — ответила она моей фразой.

— Я как раз собирался сходить в Русский, портреты Юсуповой, Орловой — это черт-те что!

— Да, — сказала она, — неплохо бы сходить.

Похоже, я ей мешал работать, но у меня было мало времени — пятнадцать минут, не больше, как она завершила.

— Не знаю, как он писал свою девушку, — продолжал я. — За три месяца она должна была сильно загореть. А этого незаметно. — Он создавал, а не копировал, — сказала она. — У него был образ, замысел.

Тем временем что-то вокруг изменилось, как будто мы создали некое силовое поле, притягивающее окружающих. Сначала возникли зрители, затем телевизионщики. То есть сначала возник молодой человек с залысинами и лукавой улыбкой прохиндея, а за ним, как на веревочке, — большой и толстый оператор с переносной телевизионной камерой. Лукавец зацепился взглядом за нашу парочку и что-то шепнул оператору. Тот сделал шаг в сторону, чтобы мы попали в кадр, и прицелился в свой видоискатель. Затем он кивнул ведущему, и тот на цырлах подсеменил к нам.

— Похоже, нас будут снимать, — поежился я.

— Не бойтесь, — сказала она.

Я сидел очень низко, и молодому человеку пришлось сильно наклониться, в руке у него был микрофон.

— Как вы относитесь к фотографии? — спросил он.

— Нормально, — сказал я.

Тогда он спросил, почему я захотел занять свой собственный портрет. Я не мог ему сказать, что на собственный портрет мне абсолютно наплевать, и я стал говорить ему про психологические отношения художника и модели. По его заскучавшим глазам я понял, что говорю не то, что ему нужно, но моя художница слушала с интересом. Потом он спросил, нравится ли мне, что художники вышли на улицы и вообще "такая атмосфера". Все это тогда было еще в новинку нашему суровому городу, и вопрос звучал актуально. Я сказал, что если мы считаем себя Европой, то, как в европейских городах, у нас на улицах должна быть атмосфера свободного, радостного общения. В "европейских городах" я тогда еще не был, наверное, именно поэтому от них в телепередаче ничего не осталось. Удивительное дело — голос был мой, а слова не мои. Вид у меня на телеэкране был слегка затравленный, будто меня брали с поличным. Моя художница держалась много лучше. Хотя и ее слов про милицию, гоняющую художников, в интервью не оказалось.

Портрет был готов, это был не я, не тот я, каким я видел себя в "психологических отношениях художника и модели".

— Может, получилось не совсем... — с сомнением сказала она, но я поспешно сказал: "Что вы, отлично!" — и еще поспешней выложил деньги.

Я выбрался из толпы со свернутым в рулончик портретом. Затем вернулся — стул перед ней уже был занят — и громко спросил через головы:

— Как вас зовут?

Мне нужно было домой, но, покружив по Невскому, я снова вернулся к портику. Ее я не нашел.

Назавтра ее не было. Я прошелся по всем засидкам художников, которые она упоминала, я побывал везде — она исчезла. Я чувствовал, что напрасно ищу, что ее сегодня нет и не будет, но не верил инстинкту и продолжал торить мостовые и площади города. Он был прекрасен и пуст, он был ужасен, он был белым на солнце и черным в тени. Я перебирал всякие мелочи нашей тридцатиминутной встречи, весь тот переливавшийся из пустого в порожнее разговор, который теперь мне казался значительным, полным разных поощряющих мою инициативу знаков и символов, и проклинал себя за пижонство. Упустить, потерять, лишиться... И все-то из опасения показаться пошлым. Ведь должен же был я понимать, когда сидел на ее стульчике, — Господи, даже тот стульчик я теперь любил! — должен же был я тогда понимать, что подобным же образом садятся на него и начинают полоскать перед ней зубы десятки других знатоков Серова.

— Вообще-то я оформитель, — сказала она. — И еще я реставрирую иконы. — Нет, она работала не в театре. Она вообще нигде не работала, только где-то там числилась. Да, а на жизнь она зарабатывает портретами. Сначала было страшно — вот так взять и выйти на улицу. Надо было себя преодолеть. Она начала в Пицунде. В Пицунде было проще, там она одна рисовала. Нет, грузины не такие уж щедрые. Они садились, чтобы познакомиться. Каждый предлагал себя в мужья. Чтобы отстали, она говорила, что ей пятнадцать лет. Но они соглашались подождать. Прямо тут же, на стульчике. Они забывали, что садились для портрета, и потом не хотели за него платить. Им была нужна женщина, а портрет им был не нужен, они ничего не понимали в портретах. И не понимали, зачем ей деньги. Деньги должны быть у ее мужчины. Они не понимали, что деньги ей нужны на жизнь, они не понимали, почему она одна. Такая девушка не могла быть одна. В Пицунде она дружила только с мальчишками, с целой ватагой мальчишек, потому что они были чисты и красивы. Грузины красивы только до семнадцати лет.

А потом она сказала, что ей нравится такой возраст, как у меня, и моя седина ей нравится. Когда мужчина начинает седеть, он становится моложе. Потому что светлей. Потому что седина дает рефлекс света на лицо. Не мешаю ли я ей рисовать своей болтовней? Ничего, она привыкла. А вообще-то ей интересно поболтать со мной. И еще она сказала, что на днях должна переехать и будет очень занята. Это я совсем забыл, она просто очень занята. И еще она снова собиралась в Пицунду. Может, она уже там. Там бы я ее наверняка нашел по толпе мальчишек на солнечном песчаном берегу. И хотя я уже понял, что ни сегодня, ни завтра ее не увижу, мистическая интуиция медиума, а влюбленный — почти медиум, говорила мне, что я ее еще встречу.

Я встретил ее на четвертый день, когда, согласно Книге Бытия, творец отделил свет от тьмы. Она шла стремительной высоконогой походкой в компании высокого худого мужчины, который был седей и старше меня. Лицо у мужчины было неглупое, но испитое и циничное, и я огорчился за нее. Все было кончено. Мне оставалось только незаметно проскочить мимо. Но она заметила меня, узнала и вдруг побежала ко мне. Пока она подбегала, краем глаза я увидел, как ее спутник соорудил кислую презрительную гримасу. Гримаса была явно по моему адресу.

— Я наконец переехала, — сказала она, улыбаясь во весь рот, будто радуясь встрече. — У меня есть телефон, я могу вам позвонить. Я не люблю звонить из автомата.

Нет, она не давала телефона, она просила мой, она оставляла за собой инициативу, и она сказала:

— Я вам позвоню.

— Когда? — спросил я пересохшим горлом.

Мы встретились рано утром на Невском проспекте, когда он еще чист, свеж и малолюден, и политые мостовые еще не отдали летнему небу свою влагу, и кажется, что тебе не сорок пять, а шестнадцать, и от Невского ты ждешь чуда, и он дарит его на протянутой ладони. Что там? Три клеверные головки: розовая и две белые.

— Это для вас.

Я засовываю их стебельками в карман рубашки, и в темноте кинозала они фосфоресцируют от экранного света.

Никогда в жизни не ходил в кино на первый сеанс. Она тоже. И вообще кино разлюбил. А она и не любит. И если б не нервные соседи слева и справа и, кажется, сзади, мы бы объяснились на этот счет: это ведь нечасто — не любить кино. "Я не уверен, что это искусство", — только и успел сказать я. Я много об этом думал и теперь не уверен. А она просто не любит киношников и переносит это на их продукцию. Она не любит суету, хотя, пожалуй, сама немного суетлива. "Я тоже суетлив", — шепчу я, наклоняя к ней голову, так что задним соседям приходится искать другую точку зрения; зал прямой и узкий, как школьный пенал, непонятно, почему его назвали "Титан". "Это потому, что русский человек испытывает тягу ко всему чрезвычайному", — без зазрения совести цитирую я Пастернака и добавляю, что до революции здесь был ресторан Палкина, а напротив, в "Октябре", — дом свиданий под названием "Шуры-Муры". Господи прonesи, нет больше сил молча трястись от смеха. Мы прыскаем в темноте.

И вечером мы еще вместе. Пьем чай на кухне в ее новой квартире. Она сняла ее на полгода. Отличная хрущевская квартира — балкон, совмещенный с соседским, ватерклозет, совмещенный с ванной, комната, совмещенная с кухней... Ничего, она все здесь распишет — она не выносит скучные интерьеры. На окнах будут витражи, на стенах — декоративные ткани. Конечно, я могу помочь, если захочу, хотя она привыкла обходиться сама. Она с пятнадцати лет сама. Отец, он хороший, но слабый человек. Фантазер. Пишет стихи. В стихах у него тигры, пальмы, пампасы. Вообще-то он инженер-электронщик. Очень хороший электронщик, но очень слабый человек. А мать она ненавидит. Мать все детство ее была — мать не выносит другой жизни рядом с собой. Бабушка — вот кто ее спас. Бабушка взяла ее в свой дом и воспитала. Она скоро возьмет бабушку к себе. Они купят за городом дом и будут жить вместе.

В открытое окно кухни лезла листва кленов, комары-невидимки распевали свои кровожадные песни, легко преодолевая четыре этажа, равные двум 1913 года постройки, по всем трубам вверх-вниз утробно носилась вода, дом гудел, как нутро пациента под фонендоскопом... Нет, она будет жить только в своем собственном доме, за глухой стеной, ей нет дела до того, что вокруг, она создаст свой собственный мир, она умеет все — малярничать, работать по дереву, раскрашивать и обжигать плитку, класть ее.

— Я тоже умею, — сказал я. — Дома я сам облицовывал ванную.

— Это все не то, — поморщилась она, хотя не бывала в моей ванной.

— Конечно, не то, — сразу соглашался я. Мне почему-то было радостно соглашаться.

Наконец я сказал:

— Уже поздно, мне пора.

— Да, поздно, — сказала она. — Можете остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно.

Это было последнее наше "вы".

Утром она принялась рисовать новую рекламу, потому что я раскритиковал то, что она выставила на Невском. Я обнаружил у нее совсем другие работы, и они меня поразили. Вообще они мало походили на то, что до недавнего времени привычно висело на выставках моих современников. У одних был профессиональный застой, у других — профессиональное лукавство. Они умели изображать только предметы, но не их связь. Впрочем, была еще надежда, что где-то там, за облезлыми стенами нежилого фонда, все-таки живет и дышит, и заново рождается подлинное искусство. Когда же запреты были сняты и в выставочные залы хлынул сель авангарда, оказалось, что подлинного, настоящего почти нет. Так, отдельные золотые крупички... Оказалось, что когда в обществе нет глубинной потребности в искусстве, то и само искусство вымирает. Мельчает, мелочится, приспосабливается. Оказалось, что гениев порождает потребность в них, то есть среда. Лет за двадцать, за одно поколение, может быть, и возродится дух, красоты, дух романтизма. А ей был 21 год, и ей на все было начхать. Затаясь, ушки на макушке, я слушал ее истории, рассматривал ее картины. К себе она относилась иронически. Однако ее было просто обидеть. От насмешки и грубости она была плохо защищена.

Новая реклама у нее не получилась.

— Попробуй на другом фоне, — сказал я.

— Ты прав, — кивнула она и взяла лист плотной розовой бумаги, которой в школьные годы мы обертывали учебники и дневники. Ничего, кроме поросят, на такой бумаге нельзя было нарисовать.

— Да что ты! — воскликнула она. — Ты приглядишься! — И она близоруко беззащитно прищурилась. — Видишь, в тени, за изгибом, она уже не розовая, а голубовато-зеленая. Ей только надо придать абрис лица — она сама засветится, надо только чуть выявить ее фактуру.

Пока она выявляла фактуру оберточной бумаги, я съездил домой за съестным. Заодно я прихватил свой этюдник, так как ее собственный еще болтался где-то у знакомых с половиной ее не перевезенных в новую квартиру вещей. За время моего отсутствия ее прежде розово-светящаяся "тетка" позеленела от усталости.

— Чего-то не то, — растерянно пробормотала она, вставая с колен и скрестно размахивая руками, чтобы разогнать кровь, — чего-то не получается.

Я не стал ее разубеждать. В отличие от большинства женщин, ей нужно было говорить правду.

— Она у тебя похожа на буфетчицу, — сказал я.

— Не в этом дело, — поморщилась она. — Я ее уже нашла. Уже было нормально. А потом я вот здесь ввела фиолетовый, и все потерялось. Знаешь, когда розовый фон, очень трудно найти цветовую гамму, ведь все цвета перекликаются, я рисую и вижу, как они то включаются, то выключаются, как цветомузыка.

— Зачем тебе мучиться с розовым? — сказал я.

— А это интересно, — сказала она, массируя пальцами уставшие глаза.

— Таких теток надо писать с натуры, — сказал я.

— Таких теток вообще не надо писать, — сказала она. — Мне просто нужны деньги, нужна реклама. Тетки очень любят, чтобы их рисовали. Они делают прическу в парикмахерской напротив и идут позировать, они садятся передо мной, и в глазах у них такая тоска. У них комплекс одиночества, они мечтают о мужчине. Они очень терпеливые, и не отказываются от своих портретов, и не просят телефончика. Мой вид их не волнует. Даже ты сел из-за моих ног, ведь так?

— Так, — сказал я. — Но я тут же понял, что ноги ни при чем.

— Как это ни при чем? — обиделась она за ноги.

Когда я, чтобы не мешать ей, лег спать, она еще стояла на коленях перед теткой, розовый фон вокруг которой был теперь перекрыт охрой. В свете от настольной лампы ее падающие до полу волосы загорались багрецом. Только в середине ночи она осторожно, чтобы не разбудить, забралась рядом под одеяло.

— Ну как? — голосом из сна спросил я.

— Ты не спишь?

— Сплю. Как тетка?

— Ну ее. Не получилась. Завтра я тебя нарисую.

— Я не подхожу для рекламы.

— Ты что?! Ты ничего не понимаешь! — воодушевилась она, привстав, словно намереваясь немедленно посвятить меня в игру света и цвета на моей измятой физиономии.

— Спи, — сказал я и поцеловал ее в лоб.

— Хорошо, — кротко сказала она и сразу заснула.

С той ночи я стал бояться ее потерять.

ШЛИ ДНИ, они повторялись, и для полноты счастья снова стало чего-то не хватать. И Виктор догадался — виндсерфинга. Однажды я уже пробовал прокатиться на доске под парусом. Это было на Черном море. Мне казалось, это так просто — встать на широкую доску ухватиться руками за дугу, обнимающую парус, — остальное сделает ветер... "Не советую, — сказал мой приятель. — Десять минут позора, и ничего больше". Он оказался прав. Ветер делал не только остальное. Ветер делал и все предыдущее. Стоило только, напрягаясь из последних сил, вытащить мокрый парус из воды, как он тут же, наполнившись ветром, падал на другую сторону. Я падал следом, впрочем иногда мы с парусом падали в разные стороны. Мне хватило и пяти минут, чтобы понять, что это бесполезно. Но тогда у меня не было учителей, был просто хозяин доски, приятель приятеля, разрешивший покататься, пока он сбегает за сигаретами. Сбегав, он перекурил, вскочил на доску и умчался, красиво повиснув над водой.

Без меня Виктор с Ариной поленились бы заняться виндсерфингом, а тут занялись. Уроки стоили недешево, и позволить их себе могли только зажиточные туристы. Уроки давали два шоколадных испанца, одичавших от воды и солнца. Они отлично говорили по-английски. Кажется, они так же отлично говорили еще на нескольких языках. По профессии они были инженерами — один электронщиком, другой строителем. Но с работой что-то не заладилось, и они организовали в бухте Бланка школу виндсерфинга. По подсчетам Виктора, доход у них был нормальный, почти инженерский. Иногда к одному из них, Хуану, приезжала на машине жена с младенцем. Она сидела или в будочке, или в тени кустов и постоянно улыбалась нам. У нее была красивая улыбка. Другой был неженатый. Неженатого звали Джейк. Он был прекрасный учитель, хорошо, что я попал к нему. Я опередил Виктора, которому достался Хуан. Когда брат еще падал, как подпиленное дерево, я уже ездил. Когда он кое-как встал и поплыл, я уже носился. Он смотрел на меня с недоверием. Он считал, что просто мой виндсерф лучше. Арину мы в расчет не брали, Арина в основном загорала на доске. Ей надоело выбирать тяжелый парус, и она сидела, болтая в воде ногами. Дети ныли, что им скучно, и она сажала их на доску. Они по очереди ныряли с нее. Но на третий день и они поплыли.

Про виндсерф я мог бы написать много страниц, целую поэму, про каждый день и каждый час — какой был ветер и какая волна, как шлепал о нее нос доски, будто получал пощечины, как шипел за кормой узкий бешеный след, как изнывали от напряжения мышцы, и как приближался остров Ящериц со средневековой арабской крепостью, где по прибрежным камням пробирались

черные козы. Мелкие радости жизни... Настолько мелкие, что и упоминать не стоит. Но мне все время было жалко, что, когда я вернусь, мне некому будет об этом рассказать. Только Улитка могла бы меня понять, она любила море. "Когда мы с тобой поедem на море..." — говорила она. После бабушки и идеи о собственном доме третье почетное место занимал я.

По вечерам мы были или куда-нибудь званы, или принимали гостей, и среди них доктора Руиза. Арина с ним дружила. Она предпочитала дружить с пожилыми мужчинами. Чтобы не возбуждать в Викторе ревности, подумал я, а потом решил: она дружила с ними, потому что они умели дружить, они были бескорыстны и ни на что, кроме дружбы, не претендовали. Доктор Руиз был одним из ее самых бескорыстных друзей на Менорке. Еще с одним пожилым мужчиной она подружилась на моих глазах во время уроков виндсерфинга. Он оказался англичанином, он играл на скрипке. Мы с Виктором дали ему кличку Нельсон, потому что он с первого раза устоял под парусом и поплыл. А пока мы с Виктором сами плавали, он успел выложить Арине все имеющиеся в английском языке комплименты. Правда, он говорил их по-испански. А доктор Руиз и сам был испанцем. Он объездил весь мир и везде практиковал как психоаналитик и невропатолог, но нигде не приживался. Не прижился и в Штатах, хотя там-то он и разбогател. Но с годами он находил все меньше удовольствия в практике и все больше предавался чистому созерцанию. Он знал русскую философию и у себя дома показывал мне томики Бердяева, Льва Шестова и Трубецкого. Мистицизм в нем все хуже уживался с рационализмом. Последние годы он стал терять свою клиентуру, но это мало его волновало. На Менорке он сначала был очень популярен, пациенты валом валили к нему, а потом он стал про них забывать. Он опаздывал на прием, который сам же назначил, или мог приехать к своему больному, вместо обещанного утра, вечером. Он стал приходить к мнению, что лечить их не стоит. Он считал, что все меноркинцы со сдвигом и вылечивать их — это рождать новых изгоев общества. Он считал, что так им лучше. Он считал, что на Менорке нельзя не сдвинуться, особенно в зимние месяцы, когда меноркинцы оставались одни, без здоровой примеси наезжих туристов. Он считал, что на меноркинцев действовала трамонтана. Трамонтана — это сильный ветер с севера. Когда он дул много дней подряд, с головой начинали происходить какие-то странные вещи. Создавалась как бы такая разность давлений — наружного и внутричерепного — плюс электромагнитные волны, что с мозгом что-то делалось. Что — он не знал. Этого никто не знал. Но он давно вел наблюдения, и у него была статистика. По статистике почти каждый островной житель был со сдвигом. Но эти сдвиги были настолько тонки и субъективны, что не представляли собой социальной проблемы.

Чтобы оправдаться перед внутренним богом за некоторую устраненность от мирских дел и за охлаждение к болящим и страждущим, доктор Руиз содержал в своем доме сдвинутого пациента из Маона. Арина была в доме у Руиза и видела пациента. Она говорила, что он молодой и безобидный симпатяга. Еще у доктора Руиза было несколько собак и кот, привезенный им из Канады. Коту было какое-то невероятное для котов число лет, и звали его Джордж. Таких котов в мире больше не было. Доктор Руиз уверял, что в него переселилась душа Джорджа Вашингтона. Пока мы вечерили на террасе, кот Джордж отдыхал в машине. Мы пошли провожать доктора, чтобы посмотреть на Джорджа, но тот все понял и спрятался внизу между сиденьями.

— Джордж, Джордж, come here², — звал его доктор Руиз, высвечивая сверху фонарем. Но Джордж не оборачивался, только спина его осуждающе подергивалась. Джордж понимал двенадцать языков, но на сей раз ни на один не откликнулся.

В назначенное время мы в свой черед приехали в гости к доктору Руизу. Назначено было гораздо раньше, однако мы почему-то припозднились. Но это было нормально, потому что праздник у доктора Руиза начался с утра. По какому поводу он устроил праздник, я не помню. Может, он просто решил, что сегодня у него праздник. Он обещал фейерверк. Но фейерверка я тоже не помню. Наверно, фейерверк был до нашего приезда. Вечером Арина ни разу у доктора Руиза не была, и поэтому мы долго кружили в сумерках. Виктор уже выпустил весь заряд своих остроумий и умолк. К доктору Руизу он относился с иронией, как почти ко всем ее пожилым друзьям. Деловой человек, Виктор терпеть не мог людей неделовых, романтиков, праздноболтающую элиту. Он ее ни в грош не ставил. Он тоже отдал дань элите и отошел от нее. С элитой каши не сваришь. Виктор предпочитал деловых людей. Он имел дело только с деловыми людьми. Но и

² come here – иди сюда (англ.)

этих он особо не жаловал. В глубине души он все-таки уважал элиту, но запрещал себе подобные чувства. Он вообще запрещал себе много чувств. Особенно лирических. Он никогда не говорил о лирическом. Это не значит, что в нем ничего такого не было. Но он это себе запретил. Он запретил себе размышления о высоких материях и лирику. С такими штуками он бы не смог делать дело. С годами в нем образовался колоссальный разрыв между тем, кем он был на самом деле, и тем, кого он решил в этой жизни сыграть, а он играл почти всегда. Его мало кто понимал. Может быть, никто, кроме меня и Арины и нескольких его испанских, еще по-московскому детству, друзей, которые теперь работали у него в фирме. Но друзей у него тоже давно уже не было. Были только деловые партнеры — на друзей не было ни времени, ни сантиментов. Друзья — это всегда нестандартная ситуация, а он предпочитал только проверенные, отработанные ходы. Поэтому он был одинок, как и Арина, и держался за нее. За меня он тоже держался, хотя не так, как в юности, — я больше не был для него авторитетом, он переплюнул меня и относился ко мне снисходительно, как к неудачнику. Я и был неудачником, как наш отец. Я это прекрасно понимал. Но неудача выбрала отца, а я ее сам выбрал. Я ее предпочел по душевной склонности. Иначе я бы перестал быть самим собой. Остаться самим собой, то есть со своими ценностями, для меня было важнее, чем сделать карьеру. Виктор, видимо, жалел меня, но и любил за то, что я не изменил каким-то там нашим идеалам. Он им тоже не изменил. Он их просто запер в сейф, а ключ выбросил в море. Но он был уверен, что они там и никуда не денутся. Видимо, так оно и было, потому что в самых трудных, самых критических ситуациях они заявляли о себе. Недаром Арина мне сказала: "Несмотря ни на что, Виктор самый достойный из людей, которых я знаю". Она сказала, что он иногда смеется: "Аришка, они думают, что я всерьез... Они думают, что они меня вычислили. А ведь мне все это по фигу. Это для меня только большая игра с большими ставками. Они не понимают, что я играю. Что в любой момент я могу все это послать".

Но для этого надо было быть уверенным, что играешь на выигрыш. И Виктор был уверен. Поэтому он и выигрывал. Бывшие друзья считали, что он везучий, что он родился под такой звездой. А он просто ничего не боялся и ничего не принимал всерьез. Но случалось и ему проигрывать. И очень крупно. Это были золотые часы его души. Ничто не могло его так возвысить, как крупный проигрыш. Именно проигрыши объединили его с Ариной.

Доктора Руиза Виктор все же пощадил. Просто он еще раз попытался открыть Арине глаза; его привычно раздражало, что она наделяет всех своими достоинствами и что всякое общение принимает у нее экзальтированные формы. Он был за общение, но без экзальтации. К доктору Руизу он ехал исключительно из любви к собственной жене, он лучше бы почитал дома журналы. Но если хочет жена, если хотят дети, что ж, тогда он тоже едет. Нет, у него нет никакого мнения. Упаси Боже ему иметь свое мнение. Я что-нибудь сказал, Ариша? Я что-нибудь сказал? Я сказал что-нибудь против? Игнаша, я сказал хоть одно слово против Руиза? Я как все. Я выполняю волю большинства. Я маленький винтик в семейных часах. Я нужен? Прекрасно! Отлично! Вот он я — на положенном месте.

Не иметь в семье своего мнения — это он тоже делал сознательно. Уже тринадцать лет он почти без успеха старался воспитать в Арине хозяйку дома. Но Арина не хотела быть хозяйкой, потому что она была бродяжкой, как и я, как, между прочим, и он сам. Все нынешние ценности, насажденные Виктором, были против его же натуры. Это была смешная семья, она была создана из песка и воздуха плюс несколько пригоршней моря, но почему-то держалась.

— Совсем запуталась, — сказала Арина, съезжая с шоссе. Она вырулила до отказа вправо и нажала газ, и тут мы и наткнулись на нужную дорожку под горку. Было уже совсем темно, и только по огням где-то внизу за деревьями можно было догадаться о жилье. Арина стала тихо спускаться на тормозах, под колесами поскрипывали камешки, а в свете фар уже сердито плясали две собаки.

— Que es esto?!³ — раздался притворно-сердитый голос доктора Руиза. — Venid aqui!⁴ Как не стыдно!

³ Que es esto?! – Что такое? (исп.)

⁴ Venid aqui! – Идите сюда. (исп.)

И собаки смущенно ниже загривков опустили головы и поджали хвосты. И когда мы вылезли из машины, ни одна из них не рискнула войти в прежний раж, словно то они притворялись, а теперь стали самими собой. Были они какой-то странной породы дворняг, выведенной именно здесь, в островной оторванности от подпитывающего кровь материка. Тут только я заметил, что Руиз вышел нам навстречу не один, а в сопровождении огромного черного дога, выткнувшегося из тьмы. Дог выражал сразу два настроения — в нашу сторону он приветливо помахивал хвостом, а на дворняг смотрел с осуждением. Он очень был похож на доктора Руиза, но без очков. К тому же он был моложе. Он был похож на молодого доктора Руиза без очков. Он воткнулся мокрым прохладным носом в мою ладонь, заняв ее полностью, и, развернувшись, вежливо пошел впереди, как бы говоря: "Проходите, гости дорогие, не стесняйтесь, будьте как дома. Мы с Руизом искренне вам рады".

Мы спустились по дороге, усыпанной гравием. Внизу около освещенного дома, похожего скорее на крошечный английский замок, нежели на меноркинское жилище, стояли автомобили гостей. В узкой бойнице окна на втором этаже мелькнула чья-то фигура в белой футболке, и из подвешенных на наружной стене стереоколонок грянуло: "Из-за острова на стрежень". Пел какой-то неизвестный мне бас, очень красивый, и с едва уловимым акцентом на стыках согласных и гласных.

— Игнаша, это в нашу честь! — прошептала Арина.

Мимо машин нас повели в темную гущу сада, проткнутую кое-где огоньками, и мы оказались на лужайке, середину которой занимал огромный круглый стол. За столом было людно, но только по одну сторону, другая ждала нас. Доктор Руиз нас представил. Сидевшие, по праву пришедших раньше, не представлялись, и все-таки вскоре я разобрался, что здесь были супружеская пара западных немцев, супружеская пара колумбийцев с сыном, бывший коллега доктора Руиза, поменявший медицину на пивной бар в Маоне, столице Менорки, и теперь собиравшийся совершить обратный обмен, еще два каких-то человека, которых встречаешь во всех компаниях, но почему-то не можешь запомнить, и Хосе. Хосе и был пациентом доктора Руиза, хотя поначалу он мне показался разумнее всех остальных. Хосе был молодой человек огромного телосложения. Он был атлет, только не качающий мышц. Мышцы у него располагались однородной, по всей видимости очень плотной, массой. Был Хосе в белой футболке и белых шортах, на ногах кожаные сандалии, как у древних римлян. У него была маленькая аккуратная голова и огромные плечи. Грудная клетка у него тоже была огромной. Он знал, каков он, и по всем его движениям было видно, что он себе нравится. Он выполнял роль официанта — то и дело что-то приносил и уносил. Когда же мне сказали, что это и есть пациент, я чуть не запаниковал. Черт его знает, что у него на уме, — он мог запросто подсыпать мышьяку вместо соли. Но все ели с аппетитом, как ни в чем не бывало, особенно доктор Руиз, у которого Хосе жил уже третий год, и я сказал себе, что если умру раньше времени, то только от собственной мнительности. А еда была замечательной, чудо, а не еда. Догу она тоже очень нравилась. Побегав за плетеными спинками наших кресел, он где-то просачивался и садился передо мной или Ариной, сразу учуяв нашу слабость к собакам. В тот вечер с помощью дога я съел штук шесть огромных эскалопов. Только ели мы по-разному — я вкушал, а он глотал. Он считал, что глотать — это и значит есть. Дети кормили исподтишка других собак. Как все испанские дети, Натали и Антонио еще с грудного возраста стали выезжать в гости, в рестораны.

Они вели себя великолепно.

— Кто же это поет? — в паузе между эскалопами спросил я Арину. — Это ведь русский.

Бас, спев "Дубинушку", теперь раскатывался громом в "Черных очках". Аранжировка была такой, что по спине бегали мурашки и горло перехватывало.

— Это Иван Ребров, — сказала она, — из Западного Берлина. Он русских кровей. То ли по маме, то ли по папе. Какой бас! А поет в ресторане.

Словно почувствовав в Реброве конкурента, Хосе предложил покричать Тарзаном и тут же, ломая сучья, полез в кусты. Собаки, бросив эскалопы, с лаем рванули в темноту и вдруг умолкли.

В кустах еще потрещало, а затем оттуда раздался знакомый боевой клич "А-и-ааа! Йа-йа-йааа!" — клич моего бедного послевоенного детства. Трофейное кино, давка у касс...

— Ну как? — спросил Хосе, выламываясь из зарослей на свет в сопровождении собак. — Понравилось? Я еще многое умею. Я хорошо плаваю, бегаю, прыгаю и хорошо ем. Перед сном я гуляю по дороге и обдумываю свои мысли. Я специально гуляю медленно, чтобы им не мешать.

— О чем ты думаешь, Хосе? — спросил экс-медик, собирающийся устранить обидную приставку.

— Я думаю о том, как я провел день, как я себя вел и все ли сделал. Для меня самое главное — это равновесие духа и тела. Чтобы привести их в равновесие, я должен подумать. Когда не подумаешь, то не знаешь, уравновесился или нет. Теперь я самый уравновешенный человек в Маоне, меня знает вся улица, меня знает весь город, они говорят — вот идет Хосе! Я всем нравлюсь.

— И девушкам? — допытывался экс-медик, будто уже восстанавливая подзабытые приемы вопросной диагностики.

— Девушкам я очень нравлюсь, — сказал Хосе. — Но девушки мне не нужны.

— А что тебе нужно, Хосе?

— Мне нужен на ночь стакан кефира. Когда я не выпью стакан кефира, я плохо сплю. Но иногда я забываю, что я уже выпил, и просыпаюсь. Доктор Руиз говорит мне, чтобы я ставил стакан возле кровати. Так можно проверить, пил я или нет.

Доктор Руиз меня лечит. Он плохого не посоветует.

— От чего тебя лечат, Хосе?

— Я не знаю. Каждого от чего-нибудь лечат. Когда я вылечусь, я поеду путешествовать. Поэтому я учу языки. Guten Morgen! Guten Abend! Guten Tag!⁵ — неожиданно выпалил он, повернувшись в сторону немцев. Немцы ему чем-то не нравились.

— А по-французски?

Хосе повторил по-французски, по-английски и по-итальянски.

— Где ты выучил столько языков, Хосе? — не унимался экс-медик; он был пьян, но держался стойко, как настоящий владелец собственного бара в Маоне.

— У кота Джорджа, — сказал Хосе.

— А где Джордж? — спросил до того молчавший доктор Руиз.

— Я его сейчас принесу, — сказал Хосе.

— Нет, ты сейчас пойдешь спать. Тебе пора спать, — сказал доктор Руиз.

— Да, — послушно сказал Хосе. — Мне пора. Я извиняюсь! — обратился он ко всем нам. — Мне пора спать. Я ухожу. Прощайте! — И он вскинул руку.

Хосе ушел со вскинутой рукой, как любимец публики, а вслед за ним и доктор Руиз. Вскоре доктор вернулся. На руках у него лежал огромный кот. Доктор Руиз поднес его поближе к свету фонарей:

— Джордж, скажи нам что-нибудь по-английски.

⁵ Guten Morgen! Guten Abend! Guten Tag! – Доброе утро! Добрый вечер! Добрый день! (нем.)

Джордж заволновался и попытался выпрыгнуть из рук, но доктор Руиз держал его вежливо и крепко. Мы окружили кота, и Джордж безутешно уткнулся головой в плечо хозяина.

— Ну что ты, Джордж, — сказал доктор Руиз, отрывая от себя кота. — С тобой хотят познакомиться.

Кот отвернулся от него, и наши глаза встретились. Взгляд Джорджа я никогда не забуду. "Что вы пристали? — говорил его взгляд. — Зачем вы меня мучаете? Ведь мы равны перед Богом".

А ночь была тиха и недвижна, в небе не было звезд, да и само небо исчезло, — была только тьма и фонарики среди тьмы, и на их свет никто не прилетал, и никто не сверчал, не пел, не верещал из кустов, все было тихо и таинственно, и деревья черными подсвеченными силуэтами уходили в никуда, и дом призрачно светился, и хотелось говорить шепотом.

— Это вообще странное место, — говорил доктор Руиз, — однажды я проснулся среди ночи оттого, что мой дом дрожал мелкой дрожью — др-др-др-др-др, стены, окна, пол... — И доктор Руиз, растопырив пальцы, изобразил, как это было. — А потом что-то под ним загремело, заскребло, будто каменные жернова, — дждо-дадан! И тут я услышал, как где-то далеко внизу раздалось — клинк-клянк, будто маленькие камешки падают в воду. Я это точно слышал — клинк-клянк. Тогда я позвал друга-геолога и спросил, не перенести ли мне дом в другое место, пока я не провалился вместе с ним в тартарары. Мой друг только засмеялся: вся Менорка — карстовая, вся в пещерах и подводных озерах, ее можно пройти насквозь под землей, но еще ни разу за всю ее историю никто никуда не провалился.

— Но, может, здесь ворота в ад? — сказала Арина.

— Очень может быть, — сказал доктор Руиз. — Завтра приглашаю на прогулку.

— Я согласна, — сказала Арина. — Пойдешь, Игнаша?

Первое и главное из того, что я хочу сказать, — это что мне совершенно болезненно не хватает тебя. Я просто страдаю оттого, что не могу видеть тебя, говорить с тобой, слушать. Явная, остро осязаемая потребность в тебе... Думаю, что это от моей реакции на тебя: Есть люди, при которых глупеешь или мельчаешь и много других "или", но есть люди, перед которыми активнее, собраннее работает мысль. Выявляешь новое в себе... а так как нет ничего желанней познания, то и ценишь эти мгновения и людей этих мгновений. Вот так и вышло — ты. Как много в нас загорается и гаснет в зависимости от собеседника. В юности острота чувства всегда превосходила возможность мыслить, я часто говорила: "У меня нет слов", — и у меня их действительно не было. Теперь же чувство вызывает остроту мысли, не скажу, что верность ее, но — остроту. Вот важно только иметь рядом человека, вызывающего чувство. Я ведь питаю себя из всего вовне. Ты же только излучаешь свет из себя самого, но почти не впитываешь его. Таких, как ты, мало. Они могут и без собеседника.

1974.

Боже мой, я еще ничего не написал про Менорку, а мне уже пора с ней прощаться, иначе я останусь здесь навеки и свихнусь от трамонтаны или от изумрудных, малахитовых бухт, от обожженной солнцем крестьянской земли в оправе каменных тысячелетних оград, от ее ночных цветов и лунных ландшафтов, от отвесных скал Кала-Портер, где в пещерном ресторане "Чорой" мы веселились так, что хотелось прыгнуть в фиалковую воду с пятидесятиметровой высоты... Мы продолжали жить на Менорке, но я уже прощался с ней. Я садился в резиновую лодку и, если не было ветра, греб мимо застроенных белыми виллами берегов, выплывал из бухточки Адайя, пересекал фарватер, приставал к безымянному полуострову и мимо камней и колючек, похожих на колонии сцепившихся иголками ежей, поднимался на скалистый гребень, чтобы увидеть все море сразу, где мимо нерастворенных в дымке зубчатых островов Адайя и Аквилас, охваченных пеной прибоя, уходила под всеми парусами вдаль океанская яхта.

Если голос умрет мой на суше,
отнесите на берег морской,
на какой-нибудь мыс мало-мальский,
отнесите на берег морской,
и пожалуйста чин адмиральский,
и назначьте на бриг боевой.
О мой голос, покойся средь шири!
Шум прибоя всегда над тобой.
У тебя ордена на мундире:
якорь, парус и вал голубой.⁶

ИЗ АЭРОПОРТА Виктор позвонил домой, где ждала нас Тереза, его мать и чета филиппинцев, домашней прислуги. Он что-то задерживался у телефона, и Арина поднялась с кресла и пошла к нему; теперь они стояли там не оборачиваясь, попеременно говоря в трубку, и я почувствовал, что в Мадриде что-то произошло. Она умерла — первое, что я подумал. Вот уже лет десять, как вокруг меня умирали люди, близкие и далекие, словно открывалась какая-то прорва. Она умерла, подумал я, эта женщина, к которой пришел из лагеря мой отец, которая родила ему Виктора и которая вернулась в Испанию самой последней из них. Она не хотела уезжать, она уезжала и возвращалась в Москву, и, только когда родился Антонио, она уехала навсегда. В Москве она преподавала испанский, а в Мадриде ей нечего было преподавать, и она перебивалась случайными переводами, печатанием на машинке, а теперь, благодаря Виктору, стала издательским консультантом по современной русской литературе. Жила она отдельно в купленной Виктором небольшой, похожей на московскую двухкомнатной квартирке. В дом Виктора она перебиралась, когда он увозил семью на каникулы. Кажется, меня она любила. Конечно, не больше, чем Виктора, но виноватей. Только в чем была ее вина? В том, что, узнав про нас, она не оттолкнула моего отца, не повернула его в нашу сторону? Все они, интернатские, приучались помнить о других. Впрочем, я никогда не знал ее истинного отношения ко мне.

Отца я не помнил, его взяли после войны, когда мне не было и трех, и до смерти Сталина мы даже не знали, что отец жив. В разное время я по-разному к нему относился, потому что он к нам не вернулся и матушка больше не вышла замуж. Жизнь ее прошла ни для кого; себя я не имею в виду, потому что убежден — для одних только детей жить не стоит, дети проживут и без нашей жертвы. Нельзя жертвовать своим настоящим ради чужого будущего. Я то осуждал отца, то старался его оправдать. Но понял я его только после его смерти. Он умер в Барселоне, когда Виктор уже готовился перебраться в Испанию, но Франко был жив, и, пока мы бежали с телеграммой по суровым учреждениям Москвы, отца похоронили без нас. Он уехал в Испанию в пятьдесят шестом, а семилетний Виктор остался со своей матерью в Москве. Отец рассчитывал зацепиться на родине и вызвать жену с сыном. Но жизнь не складывалась, он снова, хотя ненадолго, оказался в тюрьме, а компартия была в глубоком подполье. Так и продолжалось: он в Испании, а его вторая семья — в Москве. И однажды я узнал, что у меня есть брат. Мы встречались в его школьные каникулы, но брата я в Викторе долго не чувствовал, это был просто мальчик, которому я вырезал кинжалы и сабли, делал картонные ножи, — он был большим любителем холодного оружия.

Перед окончательным отъездом в Испанию Виктор долго говорил со мной об отце, и я неожиданно для себя узнал много нового и поучительного. Впрочем, Виктору было легче разобраться что к чему, в Москве он жил чуть вольнее нас — жизнью испанской колонии. Последние свои годы отец работал мелким клерком в одной из барселонских коммерческих контор. От компартии он отошел, как и многие, после того, как она раскололась. В ту пору у нас клеймили еврокоммунизм, и отцу не хотелось быть с армией заодно. Он продолжал бояться большевиков. Он и уехал, потому что боялся. Этот страх вколотили в него на Лубянке на все оставшиеся годы его смятенной, так и не сложившейся жизни, жизни бывшего командира пехотной роты республиканской армии, роты, которая почти целиком погибла 15 января 1939 года под Брунете на эстремадурском фронте.

⁶ Рафаэль Альберти. Похороны Моряка. Пер. Б. Пастернака

"...Она умерла", — подумал я в своей вседневной готовности к беде, чтобы иметь на нее силы. И только когда они оба, Виктор и Арина, одновременно повернулись и пошли к нам, я понял, что все хорошо, нет, не хорошо, но не с ней, не с ней, не с Терезой. Они подошли и сели рядом с нами, и Арина обняла детей. Я не спрашивал, я молчал и ждал, что она скажет. Она обняла детей — значит, это было связано с ними. Виктор достал сигару и закурил. Он курил только голландские сигары размером с сигарету, и только когда нервничал. Он закурил и подмигнул мне, но я видел, что подмигнул он через силу, а сам был темен внутри.

— Дети, — по-испански сказала Арина, — случилось несчастье — умер Черкес. — И Натали с Антошкой, до того валявшиеся в креслах с наушниками плееров, со жвачкой на зубах, враз, без перехода, без вопросов, заплакали. Натали — навзрыд.

Черкес был их любимой собакой. Их дом охраняли Пегги и Черкес, бельгийские овчарки. И вот Черкес умер. Судя по Антошке, он не понимал, что такое смерть, и плакал больше за компанию и от испуга; чтобы заплакать по-настоящему, ему не доставало опыта жизни, и он поглядывал для поддержки на сестру.

— Ничего, дети, ничего, — говорила Арина и гладила их по головам — русую Натали и черноволосого Антошку, и ласка помогала их слезам.

— Я думаю, Черкеса отравили, — тихо, чтобы дети не слышали, сказала мне Арина.

— Ариша, я прошу... — сказал Виктор.

— Его отравили соседи, — еще тише сказала она. — Соседка. Ее наши собаки раздражали. Они мешали ей своим лаем. Как будто ее дог не лаял.

— Это неизвестно, Арина, — сказал Виктор. Было видно, что он думает так же, но что он предпочел бы не открывать передо мной некоторые двери. Кому он хотел запудрить мозги парадным подъездом?

— Идите ко мне, — сказал он по-испански детям.

Они подошли, и он, сидя, обнял их. Я понял почти все, что он говорил. Он сказал, что Черкес был их большим другом и они его любили. И что жизнь состоит не только из жизни, но и из смерти, и к ней тоже надо быть готовым. Но что умирают только те, о ком не помнят, а они будут помнить Черкеса. Жизнь продолжается! С этими словами он встал и повел детей к стойке бара, глянув на нас с Ариной в том смысле, что эту историю он берет на себя. Что бы ни происходило вокруг, говорил его взгляд, мы продолжаем прекрасно проводить время и ничто не может нам помешать. Он вел себя так, будто управлял потоком жизни или будто сам в нем легко управлялся. И если его било о подводные камни, он даже не морщился от боли. Это я узнал позже, как часто его било. Это все мне рассказала Арина; не уверен, что он простил бы ей эти рассказы.

Жизнь, как сказал Виктор, действительно продолжалась. Она взлетела вместе с нами в положенный час с минутами по маршруту Маон — Мадрид и вовремя приземлилась в мадридском аэропорту. За полчаса до Мадрида исчезла дымка, и я впервые видел Испанию так, будто медленно вел увеличительным стеклом по географической карте. Горы, холмы, выжженная земля, иногда кирпично-красная, словно прокаленная паяльной лампой; между голыми скалами — голубые ниточки воды, собирающиеся перед плотиной в лоскуток озерца; как сухо и голо, как мало воды и зелени, только охра, умбра, сепия, и лишь перед Мадридом — мощный горный лесистый кряж, и будто свежестью дохнуло сюда, в салон самолета; но в аэропорту было ослепительно жарко, и дорога до дома, поворачивая влево и вправо, показывала обе половинки земли, и обе принадлежали то ли степи, то ли пустыне.

Игнаша, если я пишу о тоске, то это иная тоска, чем та, что заставляет складывать чемодан, хватать ребенка а сломя голову мчаться обратно. Это тоска, которая свойственна, по-моему, всем русским людям, где бы они ни находились, — тоска по совершенству, что ли...

Дни проходят в каком-то недоумении.

Не забывай нас, Игнаша.

1974.

Я ЖИЛ у себя, чтобы не путаться под ногами, — она любила свободу и одиночество, — но каждый вечер звонил ей в условленное время, и, если ее еще не было, я начинал умирать. Однажды она задержалась на два часа против обещанного, и я как сумасшедший бегал возле ее дома и едва успел спрятаться в телефонную будку, когда увидел ее. Из будки я и позвонил.

— Где ты? — спросила она.

— Не очень далеко, — сказал я.

— Ты что, ждал меня?

— Нет, я звоню по пути домой.

— Ты... ты можешь приехать, — сказала она, — только я очень устала... Эти несчастные мужики... Им бы только глазки строить. Я заработала всего шестьдесят рублей.

Она просила, чтобы я не подходил к ней, когда она с этюдником сидит на Невском, и я только два раза нарушил свое обещание, но она меня не видела. Оба раза работы у нее не было, и она казалась мне такой незащищенной...

Ее родители и бабушка жили во Владимире, где она окончила художественное училище. "Когда я куплю свой дом..." — часто начинала она разговор или: "Когда приедет моя бабушка..." Бабушка была из рода священнослужителей, но в Бога вроде не верила. Не верила и внучка, хотя с Богом у нее были какие-то свои отношения, которых, скажем, не было у меня. Детство ее прошло возле церквей, дядя был иконописцем, и она хорошо разбиралась в иконах. Несколько икон, написанных ее рукой, гуляли по частным коллекциям.

— А что, — хмыкала она, — если человеку хочется иметь восемнадцатый век?

Еще один коллекционер имел акварель "настоящего Шагала", выполненную ею.

— Пришлось повозиться...

— Так он знает, что у него подделка?

— Конечно, он сам меня попросил. Но теперь Шагал висит у него на стене, и все считают, что это подлинник. По-моему, он скоро тоже начнет так считать. Он уже говорит: "Мой Шагал, мой Шагал..." — И, взглянув на меня, она поспешно добавила: — Тебе просто не понять коллекционеров. Это сумасшедшие.

— Я их понимаю, — сказал я. — Я тоже сделал две копии, когда мне захотелось иметь дома своего Рембрандта.

Она еле сдержалась, чтобы не поморщиться, вспомнив те два холста, которые я, всю жизнь балующийся красками, с гордостью показал ей.

— Вот видишь, — сказала она. — Но то копии... — Тут она запнулась и извиняющейся скороговоркой выпалила: — Ты все-таки сними их, ладно? То копии, а это новое. Это очень трудно. Надо изучить манеру письма. Ой, там столько тайн! — И она отмахнулась рукой то ли от них, то ли от себя, занимающейся этим тайным делом, то ли от меня, как бы щадя мои потаенные, но не близкие ей идеалы. — Давай знаешь что? — сказала она, словно все еще чувствуя себя виноватой. — Давай ты будешь со мной заниматься поэзией, а я тебя буду учить живописи. Я тебе все объясню, ты поймешь.

— У меня нет таланта, — сказал я, хотя недавно думал иначе.

— Ты не прав, — сказала она не очень уверенно, — ты... ты поймешь.

Она настаивала, что главное — голова, про свою руку она забывала, потому что той не стоило никаких усилий заполнить пустое пространство холста ли, стекла или листа бумаги теми вихрящимися призраками, от которых меня, помню, бросало в дрожь, — только тронь кистью — и тебя поведет.

Страх потерять ее все рос во мне. Он возникал почему-то только по вечерам, утром я был за нее спокоен, я чувствовал, что все хорошо, что она поздно легла и теперь спит, и не звонил ей до полудня. В полдень, как мы улаживались, я будил ее, но она всегда спрашивала: "Который час?" Часов у нее не было, на запястье она носила игрушечные, где стрелки, закрепленные под прямым углом, крутились зараз. Часы ей были не нужны, она жила по собственному времени. Ей неоднократно пытались дарить часы. Но она их теряла. Одни, правда, продержались около месяца, но то и дело выпадали из браслета: в автобусе, в метро, в магазине. Когда они выпали на улице, она решила их больше не поднимать и пошла дальше.

Я боялся не того, что она в любой момент может от меня уйти, ведь она и так оставалась сама по себе, я боялся, что с ней что-нибудь случится. Мне хотелось защитить ее от всех напастей мира, а она смеялась:

— Ну что ты выдумываешь. Кому я нужна, старая лошадь?

Она говорила "кому" — значит, одушевленные напасти для нее все-таки существовали.

Прямо над тахтой, на которой она спала, висела большая картина, выполненная ею семь лет назад, стало быть в четырнадцатилетнем возрасте. Картина изображала смерть. Смертью была старуха без возраста с нежным телом. Тело она написала свое, в зеркало. Лицо у старухи было бесплотное, одна кожа, натянутая на череп. Череп улыбался. Через глазницы глядела чернота. Сзади был изображен обнаженный мужчина, мертво лежащий на спине. А внизу — голова юноши, напоминающего Антиноя. В волосах юноши, как в гнезде, стояла на цыпочках птица с длинным тонким клювом и безумно-тревожным взглядом. Птица пыталась обнять крыльями огромное, больше ее, яйцо. Еще были не то какие-то стебли, не то кровоточащие вены: капли крови превращались в цветок. Из цветка рождались гладкие фигурки женщин, а под цветком толпились грубые фигурки мужчин с воздетыми руками. Символика была прямолинейной, как и мир в четырнадцать лет. Картина распадалась, но две ее точки болезненно притягивали взгляд — изогнутая щель смертельной улыбки и птица, обнимающая гигантское яйцо. Второй образ она объясняла так: это какая-то идея, какая-то огромная мысль, человек породил ее, но не может ее согреть, она оказалась больше его, она ему не по силам, у него нет на нее крыльев. А первый... она и не знала, что об этом есть строки:

Ужасный род царицы Кору
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.⁷

Она сама писала стихи. И еще сочиняла музыку. Впрочем, и стихи она сочиняла, то есть не записывала, она держала их в голове и над некоторыми неудавшимися строчками "работала" по году. Как-то я принес диктофон, и, прогнав меня с кухни, она целый час начитывала их на пленку. Стихи напоминали ее картины, но были вполне дилетантские, хотя отдельные строчки почему-то сразу запомнились: "Мокнет демон на скамейке, бородач без бороды..." Лучшее же всего было само

⁷ Арсений Тарковский. Кора

ее чтение. Голос звучал то страстно, то печально, то заклинаяще, на каждое стихотворение у нее были свои краски, это был театр одного актера, это была целая труппа.

— Ну а как же иначе? — сказала она. — Ведь стихи, они все разные.

Моя же попытка отнестись к ним объективно была большой моей глупостью. Она жила в своем мире и не нуждалась в объективности. После моих замечаний стихи она забросила.

— Они все плохие, — говорила теперь она.

Ох, не надо учить птицу летать.

Музыкой она занималась в музыкальной школе, еще она занималась фотографией, танцами, аэробикой и, кажется, состояла в секции моржей. Всем этим занимались многие из нас, но, когда в фойе кинотеатра она села за рояль, я снова замер — у нее был дивный звук и какая-то особенная левая рука.

— Да, левая рука у меня все время хочет поспорить с правой, она не хочет ее слушать, ей обидно, что права не она, а правая.

— Тебе нужно играть Скрябина, — сказал я, — пьесы для левой руки. У него левая рука играет за две.

Когда ей не надо было зарабатывать на портретах, она сутками не выходила из дому и писала свое. Натура ей, по ее уверениям, была не нужна, она ее помнила, как стихи, каждую деталь. Она рисовала мужское тело и объясняла мне каждую мышцу, где какая крепится и куда идет, и каждую косточку, к которой эта мышца прилегает. Так же она рисовала и лицо. Стрелкой она указывала источник света и начинала покрывать контур тенями и полутенями. Лицо проступало из белого листа, как из замутненного паром зеркала. Лицо обретало взгляд, то есть выражение, и она объясняла, от каких мышц взгляд зависит.

Но глаза она не рисовала — ее вихрящиеся персонажи смотрели на зрителя черными глазницами.

— Это ты у Модильяни взяла? — спросил я.

— Ты что! — возмутилась она. — Модильяни просто не рисует зрачков. У него все как слепые котята. У меня иначе. Взгляд — он ведь очень конкретен, он приземлен, он смотрит в одну точку. А у меня смотрят изнутри. Это сама душа смотрит из глазниц. Вот приглядишься. — И она направляла руками мою голову, чтобы я правильно пригляделся. — Видишь, какой у них широкий взгляд, они обнимают им сразу весь мир.

Вскоре я действительно привык к этим черным или оранжевым, будто внутри бушевало пламя, глазницам, и направленный человеческий взгляд стал мне казаться суетливым.

Вчера — Наташкин день рождения. Мы с Виктором пили шампанское, бесплодно пытаюсь отыскать истоки нашей боли. Говорила о том, что все воспоминания наши о Союзе связаны с юностью, с нашими лучшими годами, и что там наша история, а человек не может жить без своей истории. Здесь мы как будто не имеем прошлого. А оказывается, человеку необходимо нести груз своих лет.

1975.

ТЕРЕЗА еще не пришла в себя после смерти Черкеса, и это смазало нашу встречу. Я ее не видел десять лет. Она сильно постарела, и ее акцент, почти неизбежный у испанцев, обозначился резче.

— Прости, Игнасио, я совсем не могу тебе по-настоящему улыбнуться, — улыбнулась она. — Через пару дней я приду в норму, а теперь это ужасно... Он умер у меня на руках, я ничего не могла сделать. Он смотрел на меня, как извинялся, что умирает. Этого не забыть. Не забыть никогда. — И она рассказывала, как это было, и как она плакала на плече у соседки, и как та говорила, что жаль, что умер Черкес, что лучше бы умерла Пегги, потому что она очень плохо воспитана и лает день и ночь, а Черкес ни при чем.

— Это она мне говорила, Виктор! Какая жестокость сердца!

— Все хорошо, мама, все хорошо, — говорил Виктор. — Забудь это.

— Это она отравила Черкеса, соседка, — сказала Арина.

— Не думаю, — сказал Виктор.

Когда мы уезжали в Мадрид, он позвал Пегги и поиграл с ней, оживленной и постанывающей от его ласки.

— Вот и молодчина, — приговаривал он. — Вот и умница. — Но в голосе его слышался вопрос. И вдруг, словно подтверждая худшее из подозрений, Пегги выскользнула из его рук и, опустив голову, потрусил к своей загородке. — Что это? — сказала Арина, а Виктор растерянно крикнул. В машине, словно отвечая на наше молчание, он вдруг сказал:

— В конце концов, главное — это дети, семья, ты, старушка, и то, что Игнаша с нами.

— Наши собаки — это тоже наша семья, — сказала Арина.

Утром Тино сказал, что Пегги с вечера не притрагивалась к еде.

— Это ничего не значит, — позвонил с работы Виктор. — Это из-за смерти Черкеса. — Но в обед, когда он приехал и Пегги не выбежала, как обычно, ему навстречу, а только повернула голову в его сторону, тяжело дыша, все стало ясно.

— Нет, родная, мы тебя так не отдадим, — сказал он. — Мы тебя спасем.

И, застелив одеялом заднее сиденье "мерседеса", они с Ариной повезли Пегги к ветеринару. Не знаю, что делал ветеринар, кажется вводил в кровь физиологический раствор, чтобы ослабить действие мышьяка. Ветеринар сказал, что по всем признакам Пегги отравлена мышьяком, и теперь все зависит от того, сколько его в крови.

Виктор привез Пегги и покатил на работу, и казалось, что не только он, но и его золотисто-шоколадный "мерседес" бодрится изо всех сил.

Пегги лежала в тени дома на влажной, недавно политой траве, на своем любимом, как сказала Арина, месте. Дыхание ее было тяжелым и частым, а длинная тонкорунная черная шерсть свалась и потускнела. Я сел рядом на корточки и погладил ее. Вчера Пегги, обняв меня, признала за своего и охотно бежала на мой зов, но сегодня ей было не до меня. К этой любви я не успел. Тень убывала, и рядом с лапами Пегги уже полыхало солнце. Надо было бы перенести ее, но я не решался, боясь причинить боль. Я продолжал гладить уши, шею, морду, проводил пальцем по длинному твердому носу. Пегги на меня не смотрела — она смотрела на стену дома. Подошел Тино и молча постоял рядом, покачивая головой. Дети были в школе. Дети уже знали, что с Пегги плохо. Они к ней больше не подходили. Детство инстинктивно избегает смерти — они выплакались, и душа их снова освободилась для легкого, радостного, вечного. Была еще одна собачка — маленькая, коротконогая беленькая Лин, смесь дворняги с древней китайской императорской породой, подобранная Ариной где-то возле помойки, — Лин бегала по саду, мотая тряпочками ушей, и выглядела хоть и грустной, но здоровой. Лин не жила в собачьей загородке — она жила в доме. Мясо с мышьяком могли подсунуть под забор в загородку.

Больше того, что делалось, сделать для Пегги было нельзя, и оставалось уповать на чудо — на ее организм, на ее молодость — ей было всего два года, на то, что она самка и должна быть

живучей, на то, что молодой и плохо воспитанный Черкес, к тому же вдвое ее крупнее, не слишком-то поделился лакомством. Я сидел перед ней на корточках и гладил ее длинную черную шерстку с рыжеватой мездрой, и вдруг, по-прежнему не глядя на меня, Пегги стала вставать. Она оперлась на передние лапы и с усилием подняла зад. Ее шатало, но она стояла. Она постояла, ища равновесия и собираясь с силами, и тихо пошла к загородке. Голова ее была низко опущена, и видно было, какое усилие она вкладывает в мышцы, чтобы идти. Но шла она не шатаясь — шла ровно, как текла. Я понял, что докучаю ей своей лаской, и еще я подумал, что собаки прячутся перед смертью, но она шла к своей будке. Она собиралась жить.

Еще два дня в обед и вечером Виктор с Ариной возили Пегги к ветеринару, а потом Пегги умерла. Я сидел в своей комнате, где было прохладно даже в зной, и читал, когда меня позвали. Виктора уже не было, он уехал на работу на Арином "форде". Возле "мерседеса" стояли филиппинцы Тино и Тина. Задняя дверца была открыта. Я подошел и увидел Пегги. Она лежала на одеяле. Глаза ее были открыты. Подошла Арина и взяла меня за руку:

— Мы ее не довезли. Она умерла в дороге. Ощерилась в последний миг, будто увидела смерть, и умерла. Я вызвала человека — он заберет ее, чтобы похоронить. Тут есть специальная служба. Не знаю, нужно ли нам самим хоронить? Она все-таки не человек... — Слова, видимо, были Виктора, и Арина проверяла их на мне.

— Не нужно, — сказал я. Я провел пальцем по длинному сухому носу Пегги, повернулся и пошел к себе. Филиппинцы продолжали молча стоять у машины.

Потом приехал фургончик похоронной службы, и человек опустил Пегги в черный пластиковый пакет.

— Не могу, — Арина зажмурилась и прильнула ко мне. — Не могу, не могу, не могу. Не могу здесь жить.

— Здесь хорошо, — сказал я. — Здесь очень хорошо.

— Не могу здесь жить.

Вечером по возвращении Виктора оба они приоделись и пошли по соседям. Нехорошо иметь врагов за спиной. Они вычисляли, кто бы мог их ненавидеть. Таких вроде не было, хотя соседей они знали плохо. Но могли ненавидеть их собак. Бельгийские овчарки здесь были только у них и еще в светских журналах возле членов королевских фамилий. Не было случая, чтобы Виктора или Арину не остановили, когда они гуляли с собаками, и не восхитились. "Да что вы, — пожимала плечами Арина, — собаки как собаки. Это только с виду... У бельгийских овчарок много недостатков. Они чересчур нервные, плохо обучаются, плохо слушаются..." — "Но красавцы", — снисходительно возражал восхитившийся. А Виктор наоборот — только хвалился: "А вы знаете, кто у него мать! — указывал он на гигантского Черкеса. — Его мать — чемпион Бельгии прошлого года!" И это, между прочим, было чистой правдой. "А его отец..." — продолжал Виктор, на миг перевоплощаясь в отца Черкеса, и в глазах восхитившегося закипала горечь. Но то были дальние, нейтральные люди из околота богатых — среди своих, чьи участки граничили с участком Виктора, только одна соседка могла претендовать на роль злодейки. Она многожды жаловалась, что их собаки не дают отдыхать, что их вечный истерический лай стоит в ушах.

— Но ведь собаки не могут не лаять, — говорил Виктор, переодеваясь. — Мы говорим, а они лают. Слышишь? — В комнате была Арина, и он хотел развеять тяжелое настроение. — Лают. Лают! — Будто этим запоздалым аргументом можно было отвести руку убийцы.

Действительно, Пегги и Черкес погибли, а по округе со всех сторон продолжали перебrehиваться собаки. Друг друга они не видели, они несли дозор и грозились лишь силой легких и глотки.

— Но! — сказал Виктор, натягивая джинсы. — Не дай Бог мне думать, что это она.

— А если воры, — сказала Арина, — то не сегодня-завтра нас ограбят.

— Воры? Разве я сказал слово "воры"?

— Пошли, — сказала Арина. — Игнаша, проследи, чтобы дети поели.

За кухней, которую, впрочем, кощунственно было называть таким словом, в уютной комнатке с телевизором, вделанным в деревянный расписной шкаф, ужинали Натали и Антонио. Телевизор был включен, и лица их были оживлены. Они знали, что Пегги умерла, и виновато посмотрели на меня, оттого что не несут траур.

Пока мы были на море, все было много проще. Разве живешь на море? На море созерцаешь, существуешь. И вот на всем ходу я врезался в жизнь. В жизнь настолько чужую, что никак не мог представить себе в ней свое место. Следовало или попробовать и дальше не жить, или же принять жизнь и на себя. Каково не жить еще два с половиной месяца? А принять на себя можно только подъемное. Что я мог здесь поднять...

На следующий после смерти Пегги день Виктор с Ариной взяли меня в административный центр Моралехи. Надо было заявить о гибели собак, взять деньги из банка, оплатить счета. Случай с убийством двух собак в мирной Моралехе был исключительным. Трудно было представить, что это дело рук воров. Воры действовали иначе — они просто очищали те дома, где не было собак. Как ни странно, попадались и такие. Обычно воры рядились в строительных рабочих — подкатывали на грузовичке, ковырялись напротив особняка наблюдая, а в подходящий момент взламывали замок и вывозили все, что вывозилось. Арина показала мне внушительный двухэтажный дом в духе готического авангарда — пока его владелец отдыхал на Майорке, они очистили все, прихватив даже дверные ручки. Лет шесть назад, когда Виктор с Ариной и детьми жили еще в городской квартире, их тоже ограбили. Вор унес все драгоценности. Они жили на втором этаже. Вор вечером в темноте взобрался по трубе и влез в окно. Дома был только двухлетний Антоха со служанкой. Служанка смотрела телевизор и ничего не слышала. Вор влез как раз в ту комнату, где спал Антон. К великому счастью, Антоха не проснулся и только поэтому остался жив. В полиции потом сказали, что вор, судя по почерку, был дерзким и ни перед чем бы не остановился. Но он проскользнул, невидимый и неслышимый, в спальню, где хранились Аринины драгоценности, и затем ушел. С тех пор дорогие украшения перестали Арину интересовать.

В новом доме Арина ни одной ночи не спала спокойно, даже рядом с Виктором. А ведь он часто уезжал в командировки, косясь по Европе в поисках рынка и заказчиков. На ночь Арина выпускала в сад Пегги и Черкеса, но надежды на них было мало. Дом казался ей беззащитным, в дом можно было проникнуть без особых усилий. Оставалось только ждать, когда кто-нибудь приметит его.

— Старик, какие проблемы? — поморщился Виктор. — Нет проблем. Я поставлю электронную сигнализацию. Правда, это стоит дорого. Но раз Арише страшно. Ради Ариши я могу поставить электронику. Только что у нас красть? Картины — говно! Мебель — говно! Трудно было поверить, что недавно он с такой гордостью мне все это показывал. — У нас нет ничего, что стоило бы украсть. Мы не-ин-те-рес-ны! — Похоже, он хотел, чтобы его услышали. — Другое дело — дети. К сожалению, у нас тоже начался киднеппинг. А недавно украли моего приятеля, директора фабрики. Он позвонил домой и сказал, чтобы за него отдали десять миллионов песет. И отдали. Вот такая история. Да... надо поставить электронную сигнализацию. Но разве в Союзе не грабят?

— Грабят.

— И детей крадут?

— Крадут, — сказал я.

— Ты ей скажи.

— Скажу.

— А то ей кажется, что она приехала из советского рая. Она говорит — ей ничего не нужно. Но и мне ничего не нужно. Она думает: счастье там, где нас нет. Но это ведь наивно, Игнаша. Счастье должно быть там, где ты есть. Счастье зависит не от места. Оно зависит только от времени, которым ты владеешь. Я построил этот дом только для того, чтобы ощущать время. Чтобы жить в своем времени на всю катушку. Чтобы быть свободным. А она не хочет свободы, она не чувствует времени, ей хочется страдать. Понимаешь: стра-дать. Ну, допустим, вернется она в Ленинград. Берем лучший случай — попадет в театр. В кино уже не возьмут — поздновато чуть-чуть. Возьмут в театр. Будет получать сто двадцать рублей за вторые роли. Для первых — поздновато. Все разобрано. Годы — связи. А у нее только годы. После спектакля на трамвае домой. Это что — счастье?

— Не знаю, — сказал я.

— Как? — даже поперхнулся Виктор.

— Это то, что я делаю каждый день, — сказал я. — Но я себя не чувствую несчастным.

— Но она ведь уже так не сможет, — поменял Виктор направление. — Она привыкла, понимаешь: при-выкла.

Я сама часто пытаюсь разобраться в конкретной природе этой необъяснимой боли и думаю, что причина очень сложная. 25 лет — а мне уже двадцать пять!!! — я даже как-то не верю этой цифре — я посвятила, сначала неосознанно, а потом сознательно, приспособлению к жизни, к ее правилам игры, выработав в себе какой-то (к сожалению) минимум, но все же мой минимум, честности, неуязвимости, достоинства, нетерпимости... то есть окружила себя тем микромиром, который был пригоден только в ТОМ МИРЕ, где я прежде жила. Это все равно что выпустить пескаря в море: да, тоже вода, да еще и посоленая, и простору больше, а вот жить, дышать он не сможет... Ты только не подумай, что я столь пессимистически настроена, — вовсе нет. Единственно — я осознаю себя здесь пока, как улитка без домика, без своей ракушки, которая, как натруженный горб, приросла к ее тельцу. Мне заново нужно обрести им. Возможно ли это? Думаю, что нет, хотя бы потому, что я никогда не стану радоваться радостью испанцев, болеть их болью, я могу болеть только за свою страну. Это уж как материнское молоко... И тогда вскакивает другой вопрос: можно ли с такой болью жить здесь? Думаю, что можно. Жить можно, а вот умирать страшно, хотя как вспомню наши развеселые российские кладбища, так и это становится безразличным. А на улице — весна, primavera, и Наташа — чудо, и Виктор — муж из мужей. И жить надо. И жить буду.

1975.

ИЗ ПОСТОЯННЫХ заклинаний Виктора следовало, что он поставил себе цель стать тем, кем в глубине души никогда не являлся, — человеком Запада. Но что-то ему мешало поверить в собственные слова, иначе бы зачем ему снова и снова к ним возвращаться. Об этом я и размышлял, слоняясь по административному центру Моралехи с теневой стороны, ибо пекло немилосердно и вся невеликая площадь, замкнутая с трех сторон служебными помещениями, — с четвертой было что-то вроде скверика с малахитовыми сосенками и дорогой на Мадрид, — вся эта площадь была забита машинами тех, кто, как и мы, заглянул сюда по бытовым делам. Виктор оставил "мерседес" в глубокой тени прилежащей улочки и ушел с Ариной к администратору Моралехи. А я сказал, что поболтаюсь. Мне хотелось наедине приглядеться к этой жизни, понять что-нибудь про нее в одиночку, без посторонней помощи. Итак, я слонялся по площади, постепенно становясь заметным, потому что остальные приезжали и уезжали, а я нет: то ли что-то высматривал, то ли что-то замышлял. Арина с Виктором как сквозь землю провалились, хотя они должны были бы помнить обо мне... Почти час минул, а я все ходил и ходил по галерее, и лицо

мое начинало каменеть. Когда мне было плохо, оно всегда каменело. Я ходил или каменно сидел на каменной скамейке, и вопрошал себя, что я здесь потерял и чего мне, собственно говоря, надо.

И тут они наконец появились, мои, черт бы их побрал, родственнички.

— Как жаль, братан, что ты с нами не пошел, — сказал Виктор. Он улыбался. У него и у Арины было прекрасное настроение. Состояние подышающего от комплексов близкого человека их ничуть не волновало. — Такой тип, такой тип! — сказал Виктор, открывая ключом дверцу. — Из старой гвардии. Лет двадцать назад у него был чуть не министерский пост. А, да — товарищ министра. Зам. Это старая школа, сейчас таких мало осталось. Измельчал народ.

— А кто он? — тупо спросил я, еще чувствуя известняк щек.

— Управляющий Моралехи. Отставник, пенсионер. Но энергии через край — вот и управляет.

— Да, в нем почти столько же артистизма, сколько в тебе, дорогой, — сказала Арина.

— Мамка, ты мне льстишь, — приветливо скривился в ее сторону Виктор, включая зажигание, и, словно вспомнив, спросил у меня: — Ну как, изучил, посмотрел, убедился?

— В чем?

— Ну... что жить можно и здесь.

— Здесь жить хорошо, — сказал я. Мне-то что до всего этого, я все равно уеду.

— Мамка, расскажи Игнаше..

— Я не смогу.

— Э... — крикнул Виктор, как кричал всегда, когда получалось не по его плану, но тут же сам вошел в роль: — Он, значит... — Виктор поискал слово. — Он, значит, весь такой вельможный, нет, как это? — И он пощелкал пальцами, обернувшись к Арине.

— Вальяжный, — сказала Арина.

— Спасибо, мамка. Он весь такой вальяжный... Нет, все-таки вельможный. Руки артиста, пальцы длинные, пальцы, как у этого мудака...

— Иглесиаса, — сказала Арина.

— Да, как у этого мудака Иглесиаса, и он знает об этом. Он пальцами играет так, что у нормальной телки в трусиках мокро.

— Виктор, фу!

— Мамка, прости, но... Ну ладно... Мы ему про собак, про убийство, а он: "Нет-нет-нет! Только не говорите мне об этом! Этого не было с вами! Забудьте, немедленно забудьте об этом! Я знаю, что вы пережили. Я сам это пережил, когда моя любимая собака..." — и он стал рассказывать про своих собак. Он отметал все наши предположения: "Воры? Это не могут быть воры. Зачем вора́м травить собак? Это слишком хлопотно ждать, пока они умрут. А если не умрут?! Воры действуют сразу. Как, вы еще не поставили сигнализацию? Нет, вы просто отважные люди! У меня тоже нет сигнализации. Ха-ха-ха!" Идею соседской мести он тоже отмел. "Соседи? Только не говорите мне про соседей. Тем более женщина. Женщина — она мать. Она не способна на убийство. Это несчастный случай, сеньоры и сеньорки. Ваши слуги выпускали собак? Те бегали по ничейному участку? Туда могли выбросить остатки яда. Я выясню, я обязан выяснить, вызывал ли кто команду для травли крыс. А может, кто-нибудь сам травил крыс? Скорее всего, это экологическая небрежность, сеньоры!" Это был опытный дипломат! — смеялся Виктор. — За полчаса он нас убедил, что жизнь в Моралехе прекрасна, что все люди братья, что здесь несравненная полиция, а без трагедии не было бы и счастья. Да здравствует процветающая Моралеха! Но остальной мир, по его мнению, катится в бездну, и все из-за социалистов, и этот

мальчишка Фелиппе Гонсалес мог бы побольше прислушиваться к голосам правых. Ведь за ними — мудрость нации. Консерватизм — это не так плохо, господа. Это признак стабильности. Сырой овощ демократии не для испанского желудка. Одно бурление в животе, и никаких калорий. Когда у испанского народа спросили, он высказался за короля. Народ — роялист, господа. Я тоже роялист. Я тоже народ. Я голос большинства. Он посоветовал нам приобрести немецкую овчарку. Лучше двух немецких овчарок. Немцы — народ практичный. Сказал, что придет посмотреть щенков, когда "самочка родит". Ну что, в аргентинский ресторан? — Виктор посмотрел на меня, будто это я заказывал. Ах, братан, братан. Все-то он понимал.

— Я ВСЕГДА была ужасно упрямая — меня нельзя было переупрямить. Поэтому меня били. Воспитательницы в детском саду и мать. Мать вообще зверела. А мальчишки — они меня охраняли. Я была их предводительницей. По заборам лазила. Волосы распущены, как знамя. Я была их знаменем. Я тоже дралась. Мы всегда побеждали. Но драться я не любила, хотя была сильной и меня боялись. А воспитательницы, они меня не боялись, они меня ненавидели. Знаешь, какие воспитательницы у нас были... Такие толстые тетки, фашистки. Они требовали, чтобы мы все делали по свистку. Когда мы сидели вокруг тетки, руки надо было держать вот так. — И она показывала, как надо держать руки. — Они требовали, чтобы мы их слушали, но я не могла их слушать, они говорили чушь. Мне было пять лет, и я уже понимала, что они тупые как пробки. Тупые и поэтому жестокие. Я приходила домой и рассказывала отцу. А он у меня такой... он у меня домашний философ. В магазине он стесняется продавца, рта не может раскрыть, зато дома... дома он рассуждает о мировом добре и зле. Он выслушает меня и рассуждает, шагая по комнате: "Да, это известный метод воспитания, в основу его положен принцип кнута и пряника. Если воспитательница будет допекать тебя своей глупостью, ты можешь ей ответить: ваш интеллектуальный уровень лишает меня возможности объясниться с вами. Предлагаю вам отношения нейтралитета". И представляешь, наутро в детском саду — память у меня хорошая — я все это выкладываю воспитательнице. У нее глаза на лоб, и она мне тут же дает такую затрещину, что я кубарем качусь к двери. А дети смеются.

Но я все равно делала по-своему. Я в группе заводилой была, пела, играла на пианино, танцевала. Я лучше всех танцевала и пела, и в праздник без меня не обходилось. Помню, на Новый год меня вырядили Снегурочкой и песню заставили разучить, глупую такую песню, ты, наверное, знаешь, там такие слова: "Елочка, елочка, елочка, зажгись! Огоньки на елочке бойко скачут ввысь". Очень противная песня. А тут как раз я фильм посмотрела про Остапа Бендера. Остап Бендер был мой любимый герой. Помнишь, он там поет: "Где среди пампасов бегает бизон, где за баобабом закаты, словно кровь...", там еще есть такие слова: "И одною пулей он убил обоих". Я все не понимала, как это — одной пулей. Спрашиваю у папы, а он глаза отводит, краснеет, говорит, что я это сама пойму, когда вырасту. Ну вот, а у меня тогда игрушечный пистолет был, ковбойский, в ствол у него спереди закладывался шарик на нитке. Нажмешь курок — и он хлопает. Я очень любила из него стрелять. Мне очень хотелось быть ковбоем. И вот на новогодний праздник меня вырядили в Снегурочку, с этим дурацким, как его, с серебряным кокошником. Ужасный наряд. И я вышла на сцену. А под нарядом у меня был пистолет спрятан. Тут тетка заиграла на пианино — у нас была одна играющая тетка, она очень плохо играла, только в до мажоре — она заиграла эту ужасную "елочку", а я вытащила из-под юбки свой ковбойский пистолет, выстрелила и запела: "Где среди пампасов бегает бизон..." Я не помню, что там делала тетка, кажется, она перестала играть — она не умела подбирать на слух. А я, когда надо было спеть "и одною пулей он убил обоих", я снова зарядила пистолет и выстрелила, целясь в тетку. А в зале были родители. Только моих не было. Папа боялся ходить в детский сад, а мать вообще не обращала на меня внимания. Родители в зале ползали по полу от смеха. А я пела и стреляла. А потом гордо ушла со сцены. Я думала, какая я актриса, всех победила. А они там меня уже ждали, эти тетки. Они схватили меня за волосы и стали бить, молча, а я сопротивлялась. Тоже молча. Я кусалась, как волчонок. Но они были сильнее. Чтобы я не кусалась, они свалили меня на пол и били ногами. А зал за дверью аплодировал, там хотели, чтобы я еще раз вышла и спела. Потом я, кажется, болела два месяца и в детский сад не ходила. Я была в больнице, у меня было что-то с нервами. Врачи говорили, что это нервный срыв. А я еще больше ненавидела детский сад. Нет, матери я никогда не жаловалась, — я знала, что, если пожалуюсь, тетки меня еще больше накажут.

Я вообще часто болела, хотя считалась очень сильной. Бабушка мне рассказывала, что, когда я была совсем маленькой, меня отдали вместо яслей одной старухе. Мест в яслях не было, а эта старуха содержала что-то вроде яслей. Там было несколько таких, как я, кого не кормили грудью. Что-то этой старухе платили, и она нами занималась, пока родители на работе. Так вот, бабушка однажды после работы зашла за мной и видит: я лежу на кафельном полу голая, мне тогда месяца четыре было, а старуха меня сверху поливает из чайника холодной водой. А я ору во всю глотку. Наверно, меня надо было помыть после этих дел, а старуха была очень брезгливая. После этого бабушка меня оттуда забрала.

У меня на этом свете только один близкий человек — моя бабушка, если б не она, я бы, наверно, не выжила. Она мать моего отца, но она не такая, как он, он слабый, а она сильная. Она потеряла мужа во время войны, она была тогда еще совсем молодая, красивая, она и сейчас красивая, ты же видел ее фотографию, красивая, правда же? И после войны к ней многие сватались, но она не захотела ни с кем быть. Она так и осталась одна, воспитала моего отца, а потом меня. Отец, наверно, пошел в дедушку, дедушку убили сразу же, как только он оказался на фронте, в первые дни. Отцу тогда было всего два года, и он ничего не помнит. Отец вообще от жизни далек: он пишет стихи про пальмы и тигров и читает только научную фантастику. Он и меня приучил к научной фантастике. Нет, в ней что-то есть. В ней есть интересные мысли. В ней нет серости, обыденности. Я ненавижу обыденность. Фантастика — она вся на воображении. О, если б мне удалось нарисовать все, что у меня в голове! Там такие замыслы! Я каждый день себя ругаю, что занимаюсь не тем, но мне нужны деньги, мне нужно много денег, чтобы быть свободной, купить дом и жить как хочется. Я все равно напишу все свои картины. Я не спешу их писать, я что-нибудь напишу, а завтра вижу — все не то. И мне стыдно, что я это сделала. Знаешь, есть два типа художников, одни не боятся выставлять свои вчерашние вещи, они говорят себе: то, что для меня вчерашний день, для остальных — это сегодня. Так они себя оправдывают. А другие — это как я. Мне стыдно за вчерашнее. Мне хочется поделиться только тем, что я сегодня поняла и открыла. Чтобы это было сразу, один процесс — я открыла, а зритель увидел, чтобы мы общались, чтобы это было живое общение, чтобы нам обоим было интересно: мне и зрителю. А зачем выставлять то, что уже умерло в тебе? Если б можно было устраивать выставку сразу же, как только напишешь. Но это ведь невозможно.

Однажды, нетерпеливо стягивая с меня рубашку, она вдруг оставила в ней мою покорную голову и, постучав ребром ладони по моей шее, сказала надо мной:

— Теперь я знаю, как Юдифь отрубила голову Олоферну.

И я замер, будто догадавшись, почему она любит эту картину Джорджоне.

— Эй, — подергала она за рубашку. — Я же не Юдифь. Не бойся меня. Я и мухи не обижу. Мне всех жалко. И этого наивного глупого Олоферна. Я бы его и пальцем не тронула. Я ведь улитка.

Так впервые она назвала мне свое имя.

Я перевез к ней почти все свои альбомы, и по вечерам мы рассматривали их. Я учился у нее смотреть заново. Авторитетов для нее не существовало. Сальвадора Дали, восторг моей юности, она называла ремесленником, шукарем.

— Я смотрю на его работы, и мне хочется ему помочь, он ничего не понимает в цвете — все это раскрашенная графика, а не живопись. Разве можно делать такую скучную голубую заливку на полкартины? Каждый кусочек полотна должен сверкать, он должен нести максимум информации, хотя бы цветной. А у него провалы, пустоты. Вот смотри, Ван Гог — вот Ван Гог цвет чувствовал. Вот у него желтый, а рядом, смотри, синий или голубой. А где зеленый, там красный. Они поддерживают друг друга, уравнивают. Это не я выдумала. Это закон. Я сама все предметы вижу в спектре. Но даже если этого не дано, этому можно научиться, надо только очень много смотреть. Нет, у Дали есть, конечно, картины. Он мастер, но не художник. И у него ужасный вкус. Если бы он поменьше писал свою жену... Я уже давно поняла, что публику привлекают не самые

талантливые, а самые ловкие. Главное — заставить ее говорить о себе. Убедить, что ты гений. Вот в чем искусство. Самый яркий пример — Пикассо. Что он только ни вытворял, а ему аплодировали. Или кивали с важным видом. Зрители — они ведь не понимают ничего, поэтому боятся прослыть невеждами. А Пикассо понимает, что они невежды, и смеется над ними. Это самый большой фокусник.

— Но у Пикассо много прекрасных работ, — заступался я за Пикассо, которого любил и считал, что понимаю за что.

— Еще больше ужасных. Он просто очень умный человек, он очень умело морочил голову.

— Он не морочил. Он делал, что хотел. Он искал новые формы, новые средства выражения. Он вообще все перевернул. Я думаю, что он очень большой художник. Он художник для художников. Он как Протей.

— Нет, — спокойно качала она головой, ничуть не тронутая моей апологетикой. — У него нет ничего такого, чему стоило бы учиться. Даже линия его мне не нравится — рваная какая-то.

— Ну ладно, — горячился я. — Бог с ним, с Пикассо. Но почему тебе не нравится Гойя? Для меня это величайший психолог в живописи. Больше таких не было. Даже Леонардо да Винчи не психолог. Он просто дьявол или Бог. А Гойя... "Маха обнаженная" — это черт знает как здорово! Я влюблен в нее уже тридцать лет.

— Она плохо написана, — быстро, виновато сказала Улитка, словно ей было больно меня огорчать. — Ну посмотри, — приглаживала она передо мной разворот репродукции и прикрывала верхнюю часть картины, оставляя ноги, живот и едва намеченный треугольник. — Вот это неплохо, почти хорошо, правда ступни красноваты, будто стерты, но... ничего. А здесь, — и она прикрывала нижнюю часть, — здесь все неправильно, торс вытянут, он должен вот здесь кончиться... И лежать так невозможно — нижняя линия бедра должна идти вот сюда. А груди... Особенно правая — она не может быть такой, даже если ее накачать парафином. И голова большая... Нет, тут все не так. — Голос звучал мягко, увещающе, так говорят с детьми. — И ноги нехорошо лежат. У нее нехорошая поза. Разве так лежит женщина? Вообще по цвету она похожа на молочную сосиску.

Однако "Маху" я ей тем более не собирался уступать и говорил, что в неуравновешенности ее позы, в диспропорции верха и низа проступает правда мира, захваченного как бы врасплох со всеми его неправильностями, погрешностями, со всем тем тайным, подспудным, мятежным, мятущимся, что и есть наша подлинная жизнь, какой бы улыбкой мы ни пытались ее скрыть.

Но она слушала меня вполуха, и я было уже начал думать, что у нее полная путаница в голове и что нам придется со всем этим постепенно разобраться, как вдруг она сказала:

— Веласкес — вот кто гений. Посмотри, как у него...

Действительность она не принимала. Она говорила: "Когда я построю дом, я обнесу его высокими стенами и буду гулять в саду, и мне все равно, что там снаружи". И когда я начинал говорить ей о нашей истории или о нашем горестном настоящем, она пожимала плечами:

— Зачем ты мне это рассказываешь? Я не хочу знать, это не мое.

А я говорил ей, что без знания прошлого и настоящего она не сможет расти, и что мы начинаем вглядываться в прошлое с того момента, как понимаем, что мы гости, а не хозяева за сегодняшним столом, и что скоро нас сменят другие. Что действительность относится к таланту, как ракушка-жемчужница к застрявшему в ней камушку. Она его терпеть не может, но превращает в перл.

— Нет, — говорила она. — Смысл настоящего искусства только в красоте и гармонии, больше ни в чем. А красота и гармония выше прошлого, настоящего и будущего. Они вечны.

Мне нравилось все, что она говорит, даже если я не был с ней согласен. Но тревога моя не унималась.

Иногда я звонил ей по телефону и молчал.

— Ну что с тобой? — спрашивала она. — Говори немедленно, что с тобой. А то я не буду спать всю ночь.

И я бормотал в ответ что-то нечленораздельное, но бодрое.

— Ты вот что, — говорила она, — ты сначала сформулируй, что ты хочешь мне сказать, а потом звони. Договорились? А то я так не могу, я не знаю, что делать, как тебе помочь. Я и так думаю о тебе все время. Это даже мешает мне работать.

— Спасибо, — говорил я и вешал трубку. И сидел, обхватив голову руками, и не хотел жить.

А потом я снова набирал ее номер и на ее радостное "Алло!", будто у нее там шло невесть какое празднество, говорил:

— Я сформулировал.

— Ну? — радостно вопрошала она.

— Я тебя люблю.

— Я тебя тоже очень люблю.

— Только не говори "очень".

— Я тебя ужасно люблю.

— Я тебе поверю, когда ты просто скажешь, что любишь, — говорил я, кажется, начиная понимать, что со мной.

Она меня не любила.

Она дружила со мной. Она сама сказала, что не может любить. Что боится любви. Что если она полюбит, то потеряет все сразу — свою живопись, свою свободу, свою голову, потому что иначе она любить не умеет.

— Если я полюблю, я погибну, — говорила она.

Я не хотел ее гибели, но я хотел ее любви.

В БУДНИ каждый из нас завтракал, когда хотел. Сначала — дети под присмотром Арины, которая и отвозила их в колледж, затем Виктор. Последним выползал я. Я пробовал было завтракать вместе с братом, но он часто скрывался с куском в зубах в своем кабинете, где уже руководил по телефону, весь заряженный на дело, так что общаться с ним можно было только по вечерам, когда его сегодняшние дела были сделаны. К моему завтраку возвращалась Арина и подсаживалась со второй или третьей чашкой кофе, помогавшего ей преодолеть обычную утреннюю слабость. Если я уже скрывался у себя, она стучала в дверь.

— Не могу одна. Пока ты здесь, я должна с тобой наговориться.

— А братан?

— С братом твоим мы давно уже не говорим. — И, увидев мое удивление, поправилась: — Мы говорим, конечно, в основном о его делах, он говорит, а я слушаю. Я слушаю, слушаю, а он

говорит, говорит. Я его понимаю. И он меня понимает. Мы друг друга отлично понимаем: мы понимаем, что коль скоро он говорит о деле, это стоит того, ведь все, что он ни делает, это дорого стоит. — И она обвела рукой стены моей комнаты. — А мои разговоры — мы это тоже хорошо с ним понимаем — они ничего не стоят. Поэтому их можно не очень слушать. А когда не очень слушают, не очень хочется и говорить... — Голос ее зазвенел. — Я всегда была уверена, что что-то значу, и он был в этом уверен, он даже укреплял мою уверенность, он даже сейчас иногда восхищается мною, он убежден, он действительно убежден, что ни у кого из его друзей и приятелей, не говоря уже о неприятелях, нет такой жены. Но теперь мы живем так, что, значу я что-нибудь или не значу, — наша жизнь от этого не изменится. Я могу теперь только играть в значимость — этого достаточно. Этого он от меня втайне и ждет — ему больше ничего не надо. Все остальное он создал — он гарантировал всем нам сладкую жизнь, независимо от того, что мы из себя представляем. Вот в чем, Игнаша, дело...

— Да, мать, — сказал я и долго искал, что бы еще добавить. Но добавить было нечего. Я все это уже понял. Наверно, поэтому я хотел сбежать. Я знал, что рано или поздно они начнут впутывать меня в свои дела. Каждый из них будет брать меня в свои адвокаты. Я любил их одинаково и не мог им помочь. Я мог их только выслушать.

Городок со странным названием Чинчон. У Гойи есть портрет графини Чинчон. Полдень, пекло, белые стены, оранжевая с проседью черепица. Пласа-Майор — главная городская площадь, замкнутая старыми домами с деревянными террасами в три яруса, внизу лавчонки, лавчонки, а выше жилье. Балконы, терраски, галереи — все было в красно-желтых полосах испанского национального флага, а над брусчаткой площади, где уже возвели круг трибун из металлических конструкций, так что можно было ходить только по краю, — над площадью трепыхались флажки, расходясь от самого ее центра. Чинчон готовился к празднику "La Hispanidad". Привез нас сюда Виктор. Город, пока мы не спустились на Пласа-Майор, сурово громоздился внизу — белые голые стены, черепичные крыши, одно-два зеленых пятна листвы, камень, камень, камень, а пока ехали сюда, на юг от Мадрида, — пустынная, выжженная, холмистая земля, и игла, гравировальная игла, — ею и был процарапан этот жесткий, сухой, монохромный пейзаж.

Мы прошлись по узким улочкам Чинчона, узким и каменным, как тоска, где исход каждой — как цель и надежда; камень, известка стен, серые жалюзи на окнах, дома повернуты к тебе спиной, они заслонились от солнца, от мира, — какая тоска, братцы, какая безнадега! Но это напускное, все не так. Поверьте, что все иначе — внутри иначе! Жизнь не замерла — за этими глухими стенами пульсирует горячая кровь.

Но я не о Чинчоне — что он? Был да сплыл. И не о нашей цели — ресторане "Каса-де-вино", семисотлетняя история которого наехала бы на нас огромной винной глиняной бочкой, какие чуть не подпирали высокий каменный потолок, если бы не само вино, обладавшее магической силой вызволять из прошлого и будущего и одарять счастьем здесь и сейчас... Я о другом. Обратно мы тронулись в прекрасном настроении. Гремела музыка, небо наливалось вечерним золотом, и дорога синела среди охристых холмов. Мы мчались по скоростному многорядному шоссе под номером "четыре", одной из шести так называемых национальных дорог, радиально расходящихся от Мадрида во все стороны Испании. Виктор прибавил газ — на спидометре было сто тридцать километров. "Мерседес" шел, как корабль, почти неслышно, шел как бы сам по себе, на автопилоте, и, чтобы усилить у нас это ощущение, Виктор увлекаясь разговором, все чаще отрывал руки от руля, словно они ему были нужней для жестикуляции.

— Понимаешь, Игнаша! — кричал он под ударами музыки диско. — Когда то, что ты должен делать, совпадает с тем, что ты хочешь делать, — это и значит жить. Ты согласен со мной?

Я был согласен.

— Mamka, ты слышала, что я сказал? — обернулся Виктор к Арине, снова уронив руки с обшитою кожей руля.

— Звучит сексуально, — сказала Арина сзади. — Только ты все-таки смотри иногда на дорогу...

— Не бойсь! — поерзал в кресле Виктор, как бы устраиваясь поудобнее, и, взявшись за руль кончиками пальцев, так что мизинцы остались оттопыренными, сделал лихой маневр, обойдя сразу три машины, в том числе светлую торпеду мощного штатовского "бьюика" с калифорнийским номером. Я глянул — за рулем сидела строгая пожилая блондинка, мужик мог бы и не уступить. — Ты права, мамка, — не удостоив блондинку взглядом, ушел вперед Виктор, — простые люди счастливы только в сексе.

Музыка гремела, и, словно под нее, по встречным полосам из города на выходные дни, а точнее, на праздник открытия Колумбом Америки несясь поток легковых машин, небо золотилось, а синее шоссе летело на нас, ныряя под колеса; Виктор похлопывал ладонями по рулю в такт мелодии, и было так вольно и хорошо, что я вдруг испытал тревогу — я почувствовал, что сейчас что-то произойдет, и сразу же, без паузы, увидел впереди, метрах в ста от нас, на встречной полосе дороги, нелепо выворачивающий в нашу сторону автомобиль с отваливающимся бампером, и уже совсем близко, через миг, застывшие от ужаса лица, там, за лобовым стеклом. Со стороны Виктора раздался мощный тупой удар, "мерседес" вздрогнул, и мимо моего лица, как всплеск волны, брызнули осколки стекла. "Мерседес" пронесся дальше, постепенно прижимаясь к обочине дороги, и встал.

— Все живы? — крикнула сзади Арина.

Мы были живы. Я нажал на ручку двери и выскочил из машины, зацепившись краем памяти за американские фильмы автокатастроф, где выскакивали прежде, чем машина загорится и взорвется. Счет шел на доли секунды — я открыл заднюю дверь, и Арина, схватив мою руку, выскочила следом. Виктор тоже уже был снаружи. Но ничего не горело, не дымило и не собиралось взрываться.

— Мальчишки, руки-ноги целы? — крикнула Арина, будто мы немного оглохли.

Мимо нас прошла кавалькада машин, висевших на хвосте. Замыкал ее светлый американский "бьюик".

— Что с теми людьми? — сказал я.

— Вон они, — сказал Виктор.

Вдоль обочины дороги к нам спешили два человека, лица их были как две молочные кляксы. Одного я уже видел за лобовым стеклом.

— Все в порядке, сеньоры? — спросил, подойдя первым, владелец той машины. Был он чуть старше меня, но с лысиной, его одежда говорила, что он человек скромного достатка. Наш протараненный "мерседес" мешал ему держаться на равных, но неравенство он скрывал. То, что он столкнулся с такой машиной, как бы уравнивало его с нами. — Все в порядке, сеньоры? — повторил он.

— Нормально, — сказал Виктор, — а у вас?

— Слава деде Марии, все живы, ни одной царапины, чудо, да и только.

Хозяин машины бодро обошел "мерседес" и присвистнул. На левый бок "мерседеса" страшно было смотреть — будто его стесали долотом. Хозяин машины держался молодцом — испанцы умеют держаться молодцом, это в них от корриды. Каждый испанец в душе матадор: обостренное чувство смерти обостряет и чувство жизни. У нас смерть скрывают как нечто неприличное, как, скажем, секс, а в Испании — целая культура смерти. Рядом с хозяином машины стоял молодой человек, то ли его сын, то ли зять. Он виновато улыбался, он понимал, кто виноват. Его же отец или тесть чувствовал себя виноватым только поначалу — едва оправившись от шока, он уже стал прикидывать, во что это ему обойдется, и позабыл о своей вине. В пререкания с ним Виктор не вступал. Хозяин машины ждал пререканий и готовился к обороне, но Виктор спокойно достал

документы и, сказав мне: "Игнаша, останься", вместе с Ариной пошел туда, где посреди шоссе стояла вторая разбитая машина с высоко вздыбленным радиатором. По виду она была похожа на "фиат", разновидность наших "жигулей", который здесь покупали рабочие и мелкие служащие. Ее хозяин и был скорее всего мелким служащим, и, когда он шел рядом с величественным Виктором, это было особенно заметно. Виктор выглядел абсолютно спокойным, только выше обычного поднятые брови говорили, что он испытывает сейчас сильные чувства. Но чем сильнее были его чувства, тем он был величественней и спокойней. Ему как бы доставляло наслаждение удерживать страсти в клещах спокойствия. Он и теперь играл, против воли — такова была его игровая природа, вечно ищущая препятствий и находящая удовольствие в борении с ними. Кроме актера, в нем, пожалуй, пропадал и выдающийся спортсмен.

Я остался у машины. По нашей стороне машины шли не останавливаясь, так как разбитый бок "мерседеса" они могли заметить, только поравнявшись с ним, но на встречных полосах движение замедлилось. Каждая машина притормаживала, и водитель глядел сначала на "мерседес", потом на меня и, не находя ответа, переводил взгляд дальше, где серым носорогом посреди шоссе торчало то, что недавно было "фиатом". Мне надоело ловить на себе эти вопрошающие взгляды, и я стал бродить вдоль обочины в поисках металлических ошметков от левого бока. Никелированных накладок я так и не нашел; возможно, они торчали в радиаторе "фиата", а из двух колесных колпаков нашелся только один, сильно помятый. Я поднял его и отнес к машине. Тем временем "фиат" дружно перекатили на ту сторону шоссе на площадку перед придорожным ресторанчиком; в небольшой жестикулирующей толпе я видел невозмутимую спину Виктора — ни на кого не обращая внимания, он заполнял документы, положив их на капот "фиата" — единственное, что не было помято. Вернулась Арина, с лица ее уже схлынуло напряжение.

— Представляешь, Игнаша, там было шесть человек, мать с ребенком, — и ни у кого ни одной царапины. Ты видел, как это было? Я не видела — только услышала удар, и все.

— Тот тип в кого-то до нас воткнулся, отвернул, и его вынесло на нашу сторону. У него уже отваливался бампер перед тем, как мы на него налетели.

— Скажи об этом Виктору. Там уже полиция, и водитель говорит, что он не виноват.

— Давай я пойду объясню.

— Виктор сейчас сам подойдет. Не хочу одна оставаться. Меня еще трясет.

— Если бы не Виктор, нам была бы крышка.

— Ты так думаешь?

— Если бы он затормозил или резко отвернул, нас бы смяли сзади или мы бы кувыркались по дороге...

— Я ничего не видела. Только слышала удар. А до этого я вдруг подумала, что сейчас что-то произойдет.

— Я тоже это почувствовал.

— Вот видишь...

— Мы шли на скорости сто тридцать — я как раз посмотрел на спидометр.

— Ты правда не ударился?

— Я был пристегнут. Хорошо, что я Виктора тоже пристегнул, когда мы выехали.

Все-таки столько выпили...

— У него шишка на голове... Как странно — сначала смерть собак, теперь вот это... И все при тебе. Ты еще думаешь, что так мы и живем...

Но подумал я другое — я подумал, что все плохое, что у них накопилось под спудом, теперь так или иначе выйдет наружу. И что так или иначе — из-за меня. Даже эта авария из-за меня, из-за того, что Виктор при мне расслабился, что для него было несвойственно. Только смерть собак я не мог отнести на свой счет.

Наконец брат вернулся:

— Все, ребята, можно ехать... — Вид его говорил, что если он и устал, то только от суеты, в которую его поневоле вовлекли.

— Ты собираешься ехать на "мерседесе"? — спросила Арина.

— Естественно.

— Лучше возьмем такси, — сказала Арина.

— Не знаю, кто как, — сказал Виктор, — но я поеду на своей машине. Игнаша, ты как?

— Поехали, — сказал я. — Все поехали.

— Что с тем мужичком? — спросила Арина.

— Ничего... Он клянется, что не виноват. Испанцы не любят быть виноватыми. Но случай очевидный.

— Так что будет? — спросил я.

— Ничего... Я передам объяснение своему адвокату. Суд разберется. Главное, чтобы у того владельца страховка была в порядке. Я так и не понял, какая компания его страхует. Суд предъявит иск, и его компания выплатит моей страховку. Только если он застрахован.

— А если нет?

— Суд обяжет его платить из жалованья.

— А он скажет, что у него нет денег...

— Ну... — мыкнул Виктор, как бы и сам слегка озабоченный несостоятельным видом ответчика.

С той стороны, где стоял разбитый "фиат", подкатил на красивом черно-белом мотоцикле красивый молодой полицейский, высокий, в черной коже и белом шлеме. Он не стал слезать с мотоцикла, только уперся в асфальт длинными ногами и убрал газ. Похоже, он уже принял версию Виктора и подкатил для проформы. После того как он глянул на стесанный бок "мерседеса", в его голосе прибавилось уважения.

— Помощь не нужна? — спросил он. — Можно вызвать дорожную полицию и отбуксировать вашу машину.

— Нет, спасибо, — сказал Виктор, — мы сами доедем.

— Всего хорошего, сеньоры, — сказал полицейский, нажал на стартер, включил газ и красиво укатил.

"Мерседес" шел хорошо. И Виктор хорошо его вел, разве что спина его стала чуть прямее и взгляд сосредоточенней. Только когда мы проскакивали горку, под машиной раздавался короткий стон.

— Что это? — тревожно спросила Арина.

— Спокойно, мамка, — сказал Виктор, — авось не развалимся.

ПЕСОЧНЫЕ часы... На многих ее картинах были песочные часы. Она их любила. Они показывали не время, они показывали, как радость перетекает в печаль. Печаль была обратима — надо было только перевернуть колбочки. Иногда радость стекала в верхнюю прозрачную сферу прямо с неба, материализуясь в образе голубой хризантемы или белого мака, а в нижнюю капали слезы.

— Это все слишком красиво, — говорил я. — Правда не может быть слишком красивой. Она скорее уродлива.

— Не хочу такой правды, — говорила она.

Песочные часы держала на ладони на уровне плеча ее постоянная героиня — она сама. Иногда она задумчиво стояла на коленях среди высокой травы, в другой руке у нее был лысый одуванчик с двумя-тремя неоторвавшимися парашютиками. Листья одуванчиков были ее любимой едой. К этому ее приучила бабушка. Одуванчики со сметаной. Черпаха тоже предпочитает одуванчики, заметил я. Вот видишь, сказала она, посчитав, что я сделал ей комплимент.

В саду у бабушки росли самые красивые цветы, ни у кого из соседей таких не было. На них ходили любоваться со всей округи. Она любила ночевать в садовом сарайчике. Из всех углов торчали пучки засушенных трав и цветов. Из сена шло вкрадчивое неумолчное шуршание, будто кто пробирался к ней и никак не мог пробраться, сквозь рваную щель в кровле были продеты пять лунных спиц — это сама луна пыталась ее нащупать во тьме ночи. Превозмогая страх, она отворяла дверь, выходила в сад, и ее обступали цветы, холодные, остывшие, влажные, полные лунного света и ночной лунной тяжести, а точнее, печали, которая только днем походила на радость.

Бабушка любила делать подарки. За подарками ездила в Москву, деньги же выручала за цветы на базаре. Улитка этого не знала. Однажды они столкнулись в цветочном ряду. Улитка сделала вид, что ни о чем не догадалась, а бабушка — что здесь случайно. Вместе с цветами они пошли домой. Больше цветы не продавались.

Подарки были дорогие.

— Ты бы видел мое пальто, от самого Зайцева!

Но при мне она надевала его раза два. Месяцами она ходила в чем-нибудь одном. Одежда или отдавалась подругам, или выбрасывалась. меховую, по последней моде, шапку она оставила у меня. Я приносил обратно, но она опять запихивала ее в мою сумку:

— Я все равно не буду ее носить!

— Но почему?"

— Она мне мешает думать.

Однако красивые вещи она любила. Они ее возбуждали. Она натягивала колготки в крупную ажурную сетку, вставала на высоченные каблуки и так весь день гарцевала перед начатым полотном.

— Когда я пишу, я должна быть хорошо одета, я должна хорошо выглядеть — это меня мобилизует.

Это не было правилом — но на данный момент это могло быть так. Один Бог знает, из чего она черпала вдохновение. Но вряд ли из одного и того же. Каждый раз источник был другим. Вид

собственных стройных ног в черной сетке ее возбуждал. Лежа рядом со мной, она воздевала ногу, сгибала в колене и прищуривалась:

— Смотри, сетка — она организует объем плоти. Ногу ведь очень трудно нарисовать. Кожа отсвечивает, переходы неуловимы, форма ускользает. А так, смотри, ее облегают клеточки, они лепят ногу — так, так и так. Вот тут, — указывала она на лодыжку, — сгущение, а тут наоборот... клетка большая и свет рассеивается. Объем — это ведь количество света. Сетка пропускает его как раз столько, сколько нужно, чтобы уловить форму. Можешь попробовать нарисовать мои ноги. Ты увидишь, как это легко.

Возбуждала ее и музыка. Даже не музыка, а звуки, звуковой поток. Она работала под музыку, неважно какую, лишь бы не было тишины. Тишина ее угнетала. Она могла крутить одну кассету с утра до вечера. Мой магнитофон она забраковала только потому, что в нем не было автореверса.

— Тебе трудно раз в полтора часа менять кассету?

— Зачем? Я не хочу отвлекаться. Я ведь рисую. Нужно все бросить, подходить, переставлять. А у меня, может, как раз вдохновение.

— Но так музыку не слушают. Это не музыка, а музыкальная жвачка. Разве можно слушать целый день одно и то же?

— Я могу.

Когда музыки не было, но был я, я читал ей. Я читал до тех пор, пока не садился голос. Я читал, а она колдовала перед холстом.

— Ты хоть слышишь меня?

— Конечно.

— И все усваиваешь?

— Все. Потом мы с тобой обсудим. Ты читай, не отвлекайся.

— Больше не могу.

— Ну хорошо, тогда поставь музыку.

Но иногда кисть в ее руке вдруг замирала:

— Ты хорошо читаешь...

Я еще больше старался.

— Ты очень хорошо читаешь, — говорила она и бросала кисти.

— Что? — вопросительно поднимал я брови.

Она смущенно улыбалась, и глаза ее переставали видеть:

— Я хочу к тебе...

— Прямо сейчас?

— Да... — переходила она на шепот. — Меня взволновал твой голос.

"Хочу к тебе" вместо "иди ко мне"... И я слушался ее. Ее можно было только слушаться, ею нельзя было повелевать. Чувство, которое она вызывала, было для меня новым. Будто я не брал, а отдавал. А потом наступала волшебная легкость. Я не мог вспомнить, чтобы испытывал раньше нечто подобное.

Она любила, чтобы я приходил к ней утром и будил ее. Она нежилась в постели, пока я не приду. Она любила открывать мне дверь в пончо на голое тело, в ауре накопленного сонного тепла, и прижималась к моему веющему октябрьским холодом плащу.

— Ты простудишься!

— Нет, — шептала она, — я жду тебя с семи утра...

— Я сейчас, — говорил я и, с трудом оторвавшись от нее, бежал к крану, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки под горячей струей воды. И когда ложился к ней, то еще прятал ладони.

"Хочу к тебе".

Кроме меня и живописи время еще отдавалось подругам. Я уступал ей это время, хотя хотел быть с ней всегда, постоянно, каждую минуту. Но я уступал ей ночи и даже целые дни, чтобы она скучала по мне, чтобы ей хотелось меня видеть. Больше всего на свете я боялся прискучить ей. Поэтому я старался уходить чуть раньше, чем нужно. Я знал, что, как бы ни было ей хорошо со мной, она неизбежно испытает желание остаться одной. Подруги этого не знали и быстро надоедали ей. Но без подруг она не могла. Верней — она не могла без женщин. Женщины ее тоже волновали. Женское тело ее волновало больше мужского.

— А ты не испытываешь желания их ласкать? — спрашивал я.

— Нет. Но меня к ним тянет. Они такие красивые, нежные, плавные. Мужчине не понять.

— Будто бы.

— Вы... мужики... — голос ее становился уличным, насмешливым, отстраненным. — Вам бы только хапнуть, завладеть, распать... А я изучаю, смотрю.

— Я тоже смотрю.

— Это потому, что в тебе много женского... Но я с ними скорее мужчина, чем женщина. Я слежу за ними, я их просто выпиваю, впитываю в себя. Я вообще к людям отношусь, как паук к мухе. Я насыщаюсь, а потом бросаю. Потом они мне неинтересны.

— Но меня ты не выпила.

— Потому что мы с тобой равны. Потому что ты тоже художник. Художник не может выпить художника.

— А зачем ты с ними спишь?

— Потому что у меня одна кровать. И потом они такие нежные, теплые... Женское тепло меня успокаивает. И на душе становится прохладно. Разве можно выспаться рядом с мужчиной...

— А они тебя не боятся? Не принимают за лесбиянку?

— Ты знаешь, немного побаиваются. Я это чувствую. Я чувствую в себе это начало. Мне кажется, что я могу кого-нибудь соблазнить. Но мне это не нужно. Мне достаточно наблюдать. Вообще мне секс не очень нужен, ты же знаешь.

— Да, знаю.

— Я вообще думала, что обойдусь без секса. Я была долго убеждена, что это не для меня. С пятнадцати лет мои подружки уже сходили с ума, а я сказала себе, что это не мое. Что я проживу без этого. Что я должна прожить как-то иначе, над всем этим... Мне не хотелось плоти, мне не нравилось думать об этом и говорить. Я и женщиной стала всего два года назад, и то из любопытства. Я просто так решила. Я вообще всегда старалась многое переживать и постигать через чужой опыт. Чтобы не повторять чужих ошибок. Мне не хотелось стать к двадцати годам такой, как мои подружки.

— Но тут чужой опыт не поможет...

— Ты прав... — усмехнулась она. — То, что я сама про себя придумала, повредило мне. И потом, когда все началось, было очень трудно. Я была психологически не готова к этому. Мне это не понравилось. Я не понимала, зачем все это делают. Я это делала не для себя — мне было просто жалко на вас смотреть...

— И меня тебе жалко?

— Нет, с тобой мне хорошо. Мне очень хорошо с тобой. Ты вне конкуренции.

Я верил.

С подругами она знакомилась на улице. Она рассказывала так:

— Мы увидели друг друга и бросились навстречу.

Подруг она выбирала красивых и стройных. Несколько дней она возилась с очередной избранницей — водила в ресторан, дарила тряпки, оставляла у себя ночевать, давала житейские советы, потом продолжала опекать уже на расстоянии, ссужала деньгами, зачастую без надежды заполучить их обратно, отвечала на телефонные просьбы, выслушивала признания в любви и фразы типа: "Кроме тебя, у меня никого нет", "Мне страшно без тебя", потом блеск в ее глазах пропадал, рассказы прекращались, и она начинала страдать и сердиться.

— Ты их делаешь несчастными, — говорил я.

— Я хотела помочь. Я хотела наставить на путь истинный. У них такой низкий старт. Я хотела открыть им глаза. Чтобы они поняли, как надо.

— Хорошо. Они поняли. Глаза у них открылись. Как им теперь жить? Им было много легче, когда они не понимали. Они все равно не станут тобой, не смогут жить, как ты. Чтобы жить, как ты, надо иметь талант. А у них нет таланта. Они просто живут. Раньше они знали, чего хотят, а теперь не знают. Ты их заморочила.

— Но нельзя хотеть то, что они хотят. Надо стремиться выше. Так ведь нельзя жить.

— Тогда не бросай их. Тогда будь с ними всегда. Открой пансионат для благородных девиц. Облагораживай их. Выдавай замуж, принимай роды. Ты их приручила? Так отвечай за них.

— Ой, они мне так надоели...

— Теперь они станут твоими врагами.

— Ты знаешь — нет. Они не становятся моими врагами. Они сами уходят. Они не выдерживают. Это не я, это они меня бросают. Меня все бросают.

Алена, эльфическое существо, пятнадцать лет, Вагановское училище, дымчатые глаза под прямыми бровями... Когда я увидел ее, что-то в моем сердце, отданном Улитке, дрогнуло. Она под села к Улитке на Невском, ей хотелось иметь свой портрет, и Улитка не взяла с нее денег. А вечером Алена сидела у нас на кухне, пила чай с медом и рассказывала свои простенькие интернатские истории. Для своих лет она была неглупа, правильно строила фразу, хотя и затрачивала вдвое больше слов, чем Улитка; та шепнула мне, что она из "трудной" семьи, где есть и сестры и братья, нет только отца, а мать кем-то вроде бухгалтера, и оба мы настроились помочь ей. Тогда мне казалось, что мы в состоянии помочь всему свету. Наверно, Алена немного играла, ну самую малость, но ей было пятнадцать, и ей хотелось нравиться. Она и нравилась — всей своей юной статью, уже профессионально выправленной, так что спина была дивно прямой, а шея долгой, и подбородок горделиво вскинут, — так сидели наши прабабушки в петербургских салонах, теперь же так умели сидеть только балерины, будто только им досталось в наследство то,

что навсегда утрачено нами; и до меня вдруг дошло, за что я, пожалуй, и люблю классический балет, — вот за этот самый дух утраченного, за тайну сведенных лопаток, за линию рук, за женственность эпохи романтизма, за романтизм женственности. Как много высоких тайн обещалось в Алене, как выглядывали они из-за ее пока не очень точной, сбивчивой речи, которой она помогала усилием прекрасных соболиных бровей. В ней самой было что-то от гибкого соболя или от ласки, пусть это все уже было у того же дьявола Леонардо да Винчи, — ведь женская красота искушает без всякого разумения, она пробуждает инстинкт, что древнее самого первого слова, про которое сказано, что оно-то и было в начале; если б так, нам бы легче жилось, но не слово правит бал. "Ты ведь развращен", — спокойно и без осуждения сказала однажды Улитка, исходя не столько из знания обо мне, сколько из предположения, что с мужчиной сорока пяти лет иначе и быть не может. "Думаю, что нет", — столь же спокойно ответил я, убежденный в обратном, — что по сравнению с юностью, которая чиста, я утратил не так уж много и поклоняюсь тому же, разве что менее пылко. Но в приложении к моменту, когда я, стоя у кухонной двери, следил за Аленой, может быть, Улитка была права. Да, я испытал суетное мужское беспокойство рядом с девочкой, которая вот-вот превратится в женщину. Почувствовала ли Алена тот мой тайный, спрятанный импульс, когда распивала чай, безукоризненно прямо держа спину, а я стоял у двери и изображал из себя доброго папашу? Не знаю.

Затем Алена кому-то позвонила, чтобы ее встретили, — было поздно, темно, шел дождь, и Улитка послала меня проводить ее до метро. Мы шли рядом, обходя лужи, я держал над Аленой зонт, и она, чтобы и мне досталось укрытие, зацепилась за меня, избегая, однако, касаться бедром, и что-то снова рассказывала — странно, но я не помню ничего, зато помню затрудненность нашего пути, ощущение собственных лет рядом с ее годами и чёрта, сидящего на стиге наших перекрещенных рук, на моем локте. Помню и свое подмороженное лицо.

Больше я Алену не видел. Не хотел видеть — выбор был сделан, и только оставалась досада, что однажды он все же подвергся испытанию. А Улитка возилась с Аленой, пестовала, дарила тряпки, косметику, давала советы... пока однажды ночью не раздался телефонный звонок и Аленин голос, странно спокойный, как бы рассчитавший все так, что не осталось места для эмоций, сказал:

— Послушай, я беременна. Мне нужно сделать аборт. Мне нужны деньги.

Боже мой, Алена, девочка, эльф, атласные крылышки в кордебалете "Жизели"! Впрочем, "Боже мой!" воскликнул не я — меня, как всегда, не было ночью с Улиткой — воскликнула сама Улитка, и что-то в ней обломилось тогда, рухнуло, еще одна иллюзия рухнула, погребя под собой ее любовь к Алене, ее заботу о ней.

Улитка понеслась в ночь выручать — дала денег, нашла врача; ох, не первый, не первый раз обращались к ней с такой просьбой, но Алена! Улитка прогнала ее мальчика, познакомила с одним из своих добрых друзей, чтобы тот взял под свое тридцатилетнее сильное крыло, но не крыло нужно было пятнадцатилетней Алене, а сапоги, колготки, зимнее пальто. Она вдруг открыла, что то, что называют любовью, — это вроде постоянного обмена одного на другое, нечто материальное; что от души одни страдания, а от них одна убыль. Тогда как можно вовсе не страдать и даже постоянно выгадывать на желании, которое она пробуждает в мужчинах, и что есть очень много мужчин, которые думают так же, как она, и готовы на более или менее честную сделку, и она пошла в эту сторону, и Улитка ее не удержала, потому что не могла содержать ее, потому что идея частного пансионата откладывалась до лучших времен. Алена, ее прекрасные брови, выражавшие то, что она хочет сказать, быстрее и точнее слов... В ней Улитка потеряла свою мечту о сестре. Сколько их прошло передо мной — ее несостоявшихся сестер, их приносил ветер, а уносила буря, и ни одна не удержалась, не продержалась рядом на тихом Улиткином острове.

Улитка тосковала по сестре, она тосковала по заботе о беззащитном существе женского рода, и я не мог ей в этом помочь.

— Хочешь, я буду твоим братом?

— Я хочу, чтобы ты был самим собой.

Я тут познакомилась с потрясающей театральной труппой, и если бы не материнство и не замужество, не ответственность перед двумя дорогими мне людьми, если бы пяток лет скинуть, то надо было бы начать свою актерскую жизнь, как эти ребята. Они ездят по городишкам Испании с ярким фургоном — это и дом, это и сцена. Они приезжают в городок, ставят открытый фургон как декорацию посреди средневековой площади, а сами в костюмах комедиантов средневековья начинают ходить по улицам, зазывают на представление. К шести вечера на площади собираются зрители, уже взбудораженные необычным зрелищем, и начинается спектакль, а в спектакле этом благодаря искренности и фантазии все волшебю.

Сегодня эти найденные мною ребята обедали у меня. Мне грустно и счастливо от знакомства с ними. Мы настолько увлеклись друг другом, что, может быть, даже придумаем что-нибудь вместе.

Июнь, 1975.

НИКАК не начать об Арине. На Менорке мне показалось, что все просто. Что нужен я ей был все эти годы только как адресат, как человек, с которым можно обо всем поговорить. Вот он, я, вот она, рядом, за рулем своего голубого "форда". Куда же мы едем? Мы едем к сеньору Роджеру Харрису, ее самому большому другу. Нет, рано, рано я о Харрисе. Самый большой ее друг — это я. Перед нами было столько примеров эпистолярных дружб, что к ним мы легко добавили и нашу, хотя ей и не закрепиться в истории — ведь мы с Ариной никто, как все наше поколение. Нас не заметили, в нас не было нужды, время нас не позвало, видно, нашего времени и не было. Лучшие наши годы точно уложились в период, названный теперь "застоем". Но разве мы не жили? Вряд ли Арина судьба сложилась бы в Союзе удачней. Доказательство тому — моя собственная судьба. "Где ты работаешь?" — вскоре после нашего знакомства спросила меня Улитка. Я ответил. "Я понимаю, что в музее, — сказала она, — но что ты делаешь?" Я понял: она спрашивала не о работе, ее интересовало творчество. И я сказал, что пишу стихи. Ответ ее удовлетворил, а мои стихи ей понравились, и она мечтала, что я выпущу их с ее иллюстрациями. "У тебя хорошие стихи", — сказала она вслед за Ариной, которой я их посылал, вкрапляя в письма, раскладывая стихотворный столбик в строчку прозы, дабы бдительные службы не обвинили меня в нелегальной пересылке рукописей." Почему ты их не печатаешь?" — спросила Улитка. "А ты почему не выставляешься?" — спросил я. И у нас был разговор о том, что такое поэт и кто он такой, и я сказал, что нынешнее общество прекрасно обходится и без поэзии, а живопись — вообще атавизм, и что возрождение еще не скоро, и что наш удел — это быть невостребованными, но что это все же предпочтительней, чем быть в центре внимания, стуча в большой барабан лжи. И еще я сказал, что поэт, художник — это проба будущего, а без художника общество неизменно попадает в тупик. "И что, сейчас у нас нет хороших поэтов?" — спросила Улитка, не имевшая ни малейшего представления о том, что называется современной советской литературой, и из всех русских поэтов любившая только Лермонтова. "Есть поэты", — сказал я и назвал двух или трех. Но, назвав, почувствовал знакомую тоску — это были просто хорошие поэты, однако поэта истины после последнего из великих — Пастернака — так и не пришло. Да и я для своих стихов тоже подобрал брошенную дудочку: слова были мои, но мелодия — уже хорошо знакомой.

Мадрид толкался вдалеке — над ним, как белье на просушке, висели белые облака.

Мы скатывали под горку к нему, серо-коричневому, из зеленой Моралехи, и этот вибрирующий нагретый ветерок у передней фортки машины до сих пор со мной. Что там было на пути: узкий вертикальный пенал в металлическом кружеве, по кресту наверху распознанный как католическая церковь, затем, граненые глыбы современной архитектуры, вдохновленной национальным горным ландшафтом, мрачный утес крематория... строения чередовались, вздымаясь и опадая, как горная цепь. Арина рассказывала о своем знакомстве с Харрисом. Она увидела его на улице — высокого, красивого, пожилого мужчину, седого, с седой бородой, одетого в белую сорочку и зеленые, по-американски — до щиколотки, брюки, и настолько он

выделялся из толпы, что она оглянулась на него, и он тоже оглянулся... Вот так это было. А потом, когда они подружились, она узнала его историю.

Он был вундеркиндом. Еще мальчиком он стал знаменит. Он показывал ей газеты и журналы со своими детскими фотографиями — мальчик в коротких штанишках и гольфах. Он был пианистом. В пятнадцать лет он уже играл фортепианные концерты с симфоническим оркестром. И он был красив, как ангел, если у ангелов бывает мужественная красота. К юности это уже был падший ангел, который легко справлялся с жизнью — она сама шла ему в руки, но не мог справиться с самим собой. Его творческие успехи были подкреплены бешеным успехом у женщин, поскольку в нем счастливо сочетался тонкий духовный артистизм и мужеская сила. И вот этот прекрасный юноша, музыкальный гений, баловень судьбы вступил во взрослую жизнь абсолютно разочарованным в ней. Отсутствие преград и препятствий подточило его волю, и жажда жить сменилась жаждой смерти. И он все бросил: музыку и женщин, и спорт, он был отменный пловец и горнолыжник, — он все бросил и уехал на войну. Это очень характерно для прекрасных американских юношей — искать приключений на свою шею. В Штатах нет приключений, там ничего не приключается уже сто лет, со времен гражданской войны. Настоящие американские юноши привыкли искать себя за рубежом. Война для Роджера Харриса началась и закончилась в Перл-Харборе. Харрис был контужен, его выбросило взрывной волной за борт, но он спасся, то ли сам, то ли его подобрали, он этого не помнил, но только, когда очнулся, голоса мира доходили до него как комариный писк. Харрис оглох. Впрочем, не сразу и не совсем, еще несколько лет ему удавалось скрывать прогрессирующую глухоту.

С музыкальной карьерой было покончено, и Харрис решил попробовать себя на актерском поприще. Он учился в драматической школе, затем попал в Голливуд, где ухаживал за Гретой Гарбо, тогда уже сорокалетней, но еще неотразимой; кажется, и она заинтересовалась им, но роман не состоялся, чему виной была проклятая глухота, заставившая Харриса отказаться и от намерения стать актером. Но именно глухота, как он сам считает, и вернула ему чувство реальности, чувство жизни, потому что она стала между ним и миром той самой преградой, которой ему так недоставало. Наступила пора странствий. У него был друг. Вместе они объехали весь мир. Это был его самый большой друг и его самая большая в жизни любовь. Харрис рассказывал Арине, что с мужчинами он себя чувствовал увереннее, чем с женщинами, — видимо, из-за той же глухоты. Он поклонялся женщинам, но не доверял им. Хотя и женщины время от времени отрывали его от друга, и он крал чью-то жену и вместо законного супруга проводил с ней медовый месяц или же признавался в сокровенную минуту ночи, что хочет иметь ребенка, и потом, через много лет, выяснялось, что у него есть дочь... Но он всегда возвращался к своему другу. Так они приехали в году пятьдесят шестом в Испанию и полюбили эту страну с первого взгляда, и остались здесь навсегда. Впрочем, это последнее словечко — из арсенала бессмертия и сюда не подходит. Когда они приехали в Испанию, это была нищая страна, и на них, еще молодых, красивых, высоких американцев, в собственном "фольксвагене", смотрели как на пришельцев из другого мира, имя которому рай. Но они прекрасно себя чувствовали в такой стране, какой была Испания при Франко. Франко им, иностранцам, не мешал. Франко заискивал перед Америкой.

В Испании они долго жили вместе, а потом разошлись, и друг Харриса, его звали Энтони, уехал в Барселону, где к тому времени поселилась его родная сестра. В Барселоне Энтони вскоре и умер, и смерть эта осталась одной из неразгаданных тайн, потому что Харрис и сестра Энтони подозревали самоубийство и не дали разрешения на вскрытие. От друга Роджеру Харрису по завещанию перешла большая коллекция материалов о Лорке, поэзией которого тот занимался последние два десятка лет своей жизни. Харрис много рассказывал Арине об их любви-дружбе, и она запомнила такую фразу Энтони: "Послушай, Роджер, какие мы с тобой счастливые! Ведь большинство людей не знают, что такое дружить".

На что Харрис жил в Испании, на какие средства, Арина не знала. На себя он, собственно, ничего не тратил и мог элегантно выглядеть в одних и тех же зеленых вельветовых брюках, которым, кажется, было столько же лет, сколько его дружбе с Ариной. Раньше у него была американская пенсия военного инвалида; кроме того, он подрабатывал как актер и как режиссер, хотя это был мизер, — за его режиссерские классы в Испании актеры ему или не платили, или же плата была скорее символической, но, когда в Испании вышел закон, запрещающий то, что у нас называется "совместительством", Харрису пришлось отказаться от своей военной пенсии.

Впрочем, и бедняком назвать его было нельзя; деньги — это проблема только для тех, кто о них думает. Харрис думал о Чехове и о Станиславском. В его жизни режиссера, создавшего в Испании национальную режиссуру, эти два имени звучали как молитва. Но и на него самого молились — Арина была тому свидетельницей, когда ходила на его режиссерские классы. Когда он появлялся в дверях аудитории, перед ним падали на колени, именно так выражая свое обожание.

Харрис жил в центре Мадрида рядом с Национальным театром Испании, где он ставил спектакли. Мы поднялись на шестой этаж, лифта не было, Арина перевела дух и нажала кнопку звонка. Открыл нам старик моего роста, прямой, сухощавый, коротко стриженный, с короткой седой бородой. Он бы мог сыграть Хемингуэя в старости.

— Здравствуй, — низким, полным чувства голосом сказала Арина и, шагнув через порог, поцеловала старика в щеку. В Европе в таких случаях не целуются, а только изображают поцелуй, прикасаясь щекой к щеке. Но и Харрис ответил Арине поцелуем.

Он был действительно глух, и на мои взволнованные попытки заговорить с ним на его родном языке почти не откликался, однако Арину он понимал, понимал ее испанскую артикуляцию и отвечал ей по-испански. Испания — страна монологов, говорила Арина, и, Бог мой, единственный человек, который ее здесь слушал, был глухим.

Мимикой Харрис напоминал сапожника, прикованного к креслу, из Ариного фильма, о котором речь впереди, — он как бы извинялся, что он уже не тот, что не может делать то, что делал всю жизнь, но это была маска, это всего лишь означало, что он слишком ценит настоящее свое дело, которое, может, только теперь и стало ему удаваться вполне, и он играл в слабость, боясь сглазить удачу. Он был абсолютно жив, открыт и естествен и в то же время абсолютно закрыт для того, что ему не по душе. Мы говорили о Чехове и о том, каково быть русским, и тут и возникла Хуана. Она появилась в тени последней фразы Харриса о "Вишневом саде", как садовое существо, привставшее на дыбки и оказавшееся человеком. Она была темная и маленькая, и ее улыбающееся лицо ускользало, как ускользает червячок в отваленном лопатой ломте земли.

Она вошла в жизнь Харриса лет двадцать назад. Простая и необразованная, родом из Андалузии, она сидела ключницей, или, по-благородному, консьержкой, внизу, в доме, где Роджер и его друг Энтони снимали квартиру. И вскоре они препоручили ей свой холостяцкий быт. Расставшись с Энтони, Харрис почувствовал себя неуверенно в своей глухоте — надо было отвечать по телефону, оплачивать счета, объясняться с домовладельцем. И Хуана стала в его квартире прислугой — она уже давно была в него влюблена, и теперь, казалось, судьба улыбнулась ей. Она переселилась к нему, трепеща и умирая от того, что ее ждет, но накануне первого же выходного дня Харрис сказал ей, что в этот день попросил бы ее освободить квартиру, так как он не собирается изменять своим сексуальным привычкам. Оскорбленная до глубины души, раненная в самое сердце, Хуана заявила, что тогда она вообще уходит, и ушла. Однако через неделю она вернулась. "Это была моя ошибка, — рассказывал он Арине. — Мне и Энтони говорил: "Что ты наделал, Роджер?! Нельзя позволять возвращаться тем, кто ушел"". Хуана вернулась и осталась на правах собаки, обожающей своего хозяина. Каждую ночь она дышала рядом с ним, дышала его дыханием, ловя его сквозь щель закрытой двери, надеясь на невозможное. Она прижималась лицом к белью на его постели и ненавидела это белье по понедельникам, когда несла его в прачечную со следами украденной у нее любви. Она ненавидела его женщин, и она переждала, пересидела их всех — они рано или поздно уходили, а она оставалась. И когда он стал стар и беспомощен в быту, ее час действительно наступил. И Харрис это понял. Он понял, что пришел черед ему платить. Она срослась с ним, и он уже не мог ее выгнать, она как бы материализовалась из его глухоты и стала, как он сам говорил, его любимым монстром. Он настолько тяготился ее присутствием, что считал своим нравственным долгом ежедневно проделывать духовную работу смирения и любви, какую мы проделываем ради близких. Это была ответственность за нее, чувство вины за ее сны, которые он не мог с ней разделить.

Потому Хуана и стала его законной наследницей. Но цепкий андалузский ум вскоре подсказал ей, что наследство будет невелико: квартира, да пара серебряных подносов, да кипа бумаг о Лорке, который, хоть и был из Андалузии, но не трогал ее давно занятого сердца, — и тогда Харрис

купил ей в том же доме, этажом ниже, квартиру, где она сама стала полновластной хозяйкой. Так Хуана как бы сравнивалась с ним и со всеми, кто окружал его, и обедала за одним столом, прислушиваясь к разговорам, и молчала на каждую из тем. Но всю жизнь укрощающий себя Харрис не забывал время от времени поворачивать голову в ее сторону и громко спрашивать: "Не правда ли, Хуана?!", после чего с сознанием исполненного долга возвращался к разговору. Покупка Хуане отдельной квартиры считалась, по отзывам многих его друзей, неслыханной щедростью, но сам-то Харрис понимал, что и жизнью своей ему уже не откупиться. "Я купил ей мою независимость", — говорил он Арине.

Хуана ревновала Харриса ко всему миру. Она буквально заболела, когда Харрис начинал творить, когда он приступал к очередной постановке. А после премьеры, когда он возвращался с огромными букетами, с корзинами цветов, так похожих на кладбищенские, она сердито набрасывалась на них, чтобы перебрать, переиначить, рассовав по вазам и бутылкам, — такие они были понятней ей и уже не внушали страха той посторонней любовью, что пыталась заслонить ее собственную. Она давно уже знала, что значит быть нелюбимой, не знала только, как не любить.

Обед был готов, и стол накрыт, и мы ели холодный андалузский суп-гаспачо, смахивающий на томатный сок с чесноком, салат и мясо с картошкой. За что я любил испанскую кухню — так это за естественность. Всегда было ясно, что ты ешь. Чем проще и натуральней, тем вкуснее. И красное вино из Риохи было отменным, и Хуана ела и пила вместе с нами, и мы нахваливали сготовленный ею обед, как бы именно обеду обязанные своим присутствием; лицо Хуаны плавало, как ошпаренная чайника в чашке чая, и трудно было сказать, какое оно.

Улучив минуту, когда Хуана устремилась на кухню за добавкой для почетных гостей, Харрис посмотрел на меня, как если бы я ничего не знал, и сказал с нарочитым испугом:

— Хуана, это... — Он подумал, но вместо продолжения поднял руку и помотал сложенной в лодочку кистью. Типично испанский жест, который мне все равно не перевести.

У нас все в порядке, несмотря на волнения в этой стране, а в основном — вне ее. Думаю, что все это протест против каких бы то ни было систем, а тем более такой, как здесь. Протест вызвало не то, что казнили террористов, а то, что вовсе не доказали на суде именно их персональную виновность. Суд был поверхностный, в руках заинтересованных лиц. Но уж, конечно, никто не ожидал такого бурного протеста со стороны других стран. Французы вымазали все поезда, идущие в Испанию из Франции, красной кровавой краской, в аэропортах других стран испанцев не обслуживают, они сами разгружают багаж... президенты обращаются к народам своих стран с просьбой прекратить туристские посещения Испании. Но самое главное — эти миллионные демонстрации против режима Франко вылились в демонстрацию против какого бы то ни было режима. В Париже за одну такую демонстрацию расколотили все витрины.

Октябрь, 1975.

ФИЛИППИНЕЦ Тино вместе со своей женой Тиной, которую вообще-то звали Биби, зарабатывал 90 тысяч песет в месяц, имея в доме Виктора бесплатный харч и жилье. У себя на родине Биби была учительницей, но работать служанкой в Испании было выгодней — вдвоем супруги содержали не только себя, но и десяток своих родичей на Филиппинах. Впрочем, служанкой Биби считалась только условно — основную тяжесть забот нес на себе ее муж. Забот было много: ухаживать за садом, ежедневно очищать бассейн, несмотря на его самоочищение, каждое утро убирать в доме; пока были живы собаки, кормить их и опять же готовить для нас завтраки, обеды и ужины, прислуживая во время наших трапез. Для такого хозяйства прислуга была необходима, но с нею дом был неуютен. По сути дела, между нами и ими шла тихая, невидимая война. Аристократический принцип — чем зависимей от тебя человек, тем милостивей ты к нему, здесь не имел успеха. Уважалась только сильная личность — стало быть, Виктор, но он-то считал, что коль скоро содержит дом и слуг, то имеет право никем не руководить. Свои

претензии к слугам он высказывал только через Арину. Таким образом, их промашки становились как бы и ее постоянной промашкой.

Тино, сухощавый, коричневый, с грушевидным черепом, с пролысиной в коротких жестких сизо-седых волосах, с коричневыми замутненными глазами, брови по-азиатски высокие, — Тино из всех своих обязанностей предпочитал работу в саду. Рано поутру он уже переходил от куста к кусту, наклонив вперед голову на тонкой шее, — что-то отстригал, выравнивал, выгребал и подгребал, и сад его стараниями был опрятен, как бывает опрятна декорация. В саду было не укрыться — как и в декорации не найти крова, но Тино любил сад: там он забывал о нас, сад приближал его к родине, сад говорил с ним на его родном тагальском языке, как со мной на русском говорили пять чахлах Ариновых березок и три "кремлевские" елочки Виктора. А бассейн в саду его угнетал — бассейн Тино недолго любил. Его поверхность каждое утро надо было очищать от неисчислимых полчищ крошечных, как блохи, мошек-самоубийц. Они появились с приходом осени, жили в траве, целыми днями резвились на солнце, прыгая по плоским плитам садовых дорожек, а ночью ныряли в бассейн — то ли по недоразумению, то ли оттого, что срок их земной жизни заканчивался вместе с закатом и они облюбовали бассейн для своей братской могилы, чтобы утром из-под коротких мокрых стеблей травы на солнечный свет выползало, разминая члены, новое поколение... Мириады одних бессмысленных жизней сменялись мириадами других, таких же бессмысленных, и Тино не нравилось его участие в этих ежедневных бессмысленных похоронах.

Едва смеркалось, Тино обходил дом и опускал жалюзи на окнах и стеклянных, глядящих в сад дверях. Арина боялась темноты. Она стала бояться давно, может с тех пор, как в их городской квартире побывал вор, — над ее семейным очагом надругались, и стены, вещи, тронутые чужой рукой, словно заболели и сами стали источать страх.

— Ну а теперь-то что? — пытался я ее успокоить. — Три мужика в доме...

— Боюсь, Игнаша, за детей боюсь, — морщилась она, как всегда, когда говорила о

чем-нибудь крайне для нее неприятном, будто собирая для отпора все свои силы. — Я ведь, даже если сплю, все равно жду, что он снова придет, тот человек. Мне кажется, что он следит за нами, за нашим домом. Потому у нас всю ночь свет в коридоре. Я думаю: он видит, что купол на крыше светится, и понимает — это включена сигнализация. Вот так, Игнаша, не знаю, как быть. Я уже, кажется, целый год не сплю.

— Ты ей объясни, — внушал мне Виктор, исчерпав перед Ариной запас своих аргументов, — ты ей объясни, что есть прекрасные электронные системы защиты. Что стоит ночью только приблизиться к дому, только приблизиться, как срабатывает сигнал в доме и в полиции, и через три минуты, максимум — четыре, они уже будут здесь. Я, конечно, поставлю электронику, хотя это дорого, но я поставлю для Аришиного спокойствия. Никто на нас не нападет, это факт, весь наш район патрулируется, да и красть у нас нечего, у нас в доме нет ценностей, но раз Ариша не спит...

— Четыре минуты... — сказал я.

Виктор меня понял:

— Ну что, у вас, что ли, безопасней?

— Нет, не безопасней. — Я никогда не чувствовал себя защищенным. Особенно ночью. Когда мы спим, вожжи берет кто-то другой. А днем нам уступают только одну вожжу.

— Вот так красиво и скажи ей. А то я виноват, что у нас теперь свой дом. И что она в Испании, а не в России. Это очень удобно — искать виноватого. Будто, раз она здесь, а не там, можно за себя не отвечать.

— Купите собаку, — сказал я. — Дрессированную немецкую овчарку. И пусть она спит в доме.

В воскресенье мы поехали к владельцу собачьего питомника, который воспитывал сторожевых собак и продавал их. Накануне у него случилась неприятность — он разбил машину и немного побился сам и по телефону извинялся за свою внешность. — Надеюсь, ничего серьезного? — спросил Виктор.

— О, абсолютно ничего!

— Мы тоже стукнулись, и тоже ничего, — сказал Виктор.

Виктор еще не сдал в ремонт разбитый "мерседес" и щеголял на нем по улицам Мадрида. Вот и теперь на нас взглядывали с удивлением: какой страшный удар, а все живы и здоровы и машина на ходу. Знай компания "Мерседес-Бенц", какую рекламу делал ей Виктор, она наверняка расщедрилась бы на новенькую машину. Но помимо пижонства было здесь еще кое-что. Так Виктор заговаривал судьбу. И еще только так он мог пересилить самого себя, свой страх. Помню, едва зажила его спина после полета с дерева, главного события его детства, когда Бог распорядился, чтобы брат жил, как Виктор снова забрался на ту же верхушку. Дело было в Загорске, под Москвой, где несколько лет Тереза снимала на лето комнатуху. Я оцепенел от ужаса, выйдя из дома на его зов, а он, увидев, что его подвиг отмечен, стал преспокойно спускаться, и, пожалуй, лишь по его нарочитому спокойствию можно было догадаться, чего все это ему стоило.

Мы миновали центр и выскочили на набережную реки Мансанарес. Река выглядела жалко, помоечно, как наш Обводный канал, и только старинные роскошные мосты через нее говорили, что она знавала лучшие времена. Машина, железно ойкнув, перенесла нас через один из таких мостов, и мы остановились возле высокого каменного забора, выкрашенного известкой. Рядом стоял пикап с побитым передом. За забором на разные голоса лаяли собаки. Виктор нажал кнопку звонка. Дверь в глухом заборе отворилась, и нам навстречу вышел стройный, лет тридцати человек в голубой джинсовой спецовке. Это и был хозяин питомника, звали его Мигель.

— 0-хо-хо! — восхищенно оглядел он раскуроченный бок "мерседеса". — Я стукнулся легче. — И он руками показал, как обходил автобус на остановке и как впереди вдруг затормозил грузовик. В этот грузовик он и врезался. Лоб, рука, ну да это ерунда. Хотя крови хватало.

Мигель был красив, и я тайком следил за пластикой его узких рук, за меняющимся выражением его лица, которое и участвовало в описываемых событиях, и в то же время слегка иронизировало над ними. Это был хороший прием. Участок у Мигеля был большой, его занимали клетки, перегороденные фанерой, чтобы собаки не лаялись по пустякам и не сторожили без надобности. Несколько овчарок, предназначенных для смотрин, были привязаны к деревьям возле забора...

Тот, кто знает собачью дрессуру, может эти страницы пропустить, ибо их пишет дилетант. Обращу лишь внимание на то, что команды отдавались по-немецки. Что-то в немецком есть особенное, если даже собаки так слушаются его. Овчарки, которых нам показывали, делились на обыкновенных, талантливых и очень талантливых. Самым талантливым, почти гением, был молодой — два года — длинношерстный пес, с широкой грудью и короткими мощными лапами, похожий на льва. Он "служил" стремительно и споро, он ел преданными глазами Мигеля, чуткий к его жесту и голосу, и, казалось, напрашивался на команды. На Мигеля тоже было приятно смотреть, у него была пластика охотника и матадора. Мигель остановился посреди лужайки, пристегнул к ошейнику пса короткий поводок и сказал:

— Это моя гордость. Это мой самый дорогой пес. Он стоит триста тысяч песет. Но я думаю, что он вам не нужен. Он знает больше, чем нужно для охраны дома. Это под силу и другим собакам. Я буду готовить его для полиции, чтобы он обнаруживал наркотики и мины террористов. На этого пса у меня большие надежды. Хотя если он вам нравится...

— Как же вы с ним расстанетесь, Мигель? — сказала Арина. — Он же вас любит, он глаз с вас не сводит. Как он это переживет? Как вообще собаки переносят разлуку с вами?

Мигель засмеялся. Красивый, он стоял рядом с красивым псом и смеялся. Он знал, что они вдвоем — хорошая пара. Он смеялся над этим и еще над чем-то. И кажется, ему нравилась наша Арина.

— Я для него — никто, — сказал он. — Для этого пса, как и для других, хозяин тот, кто кормит и кто держит поводок. Так мы их воспитываем, иначе они не будут служить. Стоит тебе натянуть поводок, и он твой. Смотрите...

Мигель подозвал помощника, а сам отошел в сторону и встал напротив собаки.

— Держи покрепче, чтоб не вырвался, — сказал он помощнику и сделал угрожающий шаг в его сторону. И — Боже мой! — только что верный, преданный пес встал на дыбы и, ощерив свои ужасные белые клыки, бешено, ненавидяще залаял. На кого — на Мигеля! Помощник напряженно, двумя руками, держал за ошейник разгневанного пса, а потом что-то негромко сказал, и пес мгновенно затих и послушно сел у его ног, а Мигель направился к нам с победоносным видом, даже не проверив для безопасности, что делается за его спиной. Так уходит от быка матадор.

— Конечно, жалко брать такого, — сказала Арина Виктору. — Пусть уж лучше борется с террористами. К тому же у него шерсть, как у ламы. Я что-то не представляю его в доме...

Показал нам Мигель и молодого олуха царя небесного, из которого, покачал он головой, ничего не получится. Но какой экстерьер! Обидно.

Да, это был очень красивый, совсем молодой пес, только что прошедший школу и получивший на выпускных экзаменах одни двойки и тройки. Он был рассеян и на каждую команду отзывался с опозданием, а то и вовсе не отзывался и начинал нюхать цветок или облаивать пролетающих птиц. То, что в нем явно разочарованы, его мало волновало. Он был словно не собакой, а кем-то другим, по прихоти или по иронии судьбы принявшим собачье обличье. Когда его уводили под огорченные вздохи и соболезнующие кивки, он вдруг обернулся в нашу сторону, и подобие приветливой улыбки изобразилось на его морде, а хвост весело встал трубой. Да ты поэт, подумал я.

Того, кого мы выбрали, звали Моро. Вернее, выбрали не мы, а Арина. Только его вывели, как она сказала:

— Вот наш.

Приглядевшись, и я понял: да, это он. Вроде ничем он не выделялся среди остальных. Он был красив, но были и красивей. Он был крупен, но были и покрупнее. Он был послушен, но были и послушнее. Он исполнил все, что велел Мигель, но сделал это спокойно и отстраненно, как некий давно потерявший свою привлекательность ритуал. Он все умел, но собственное умение его не возбуждало. Он знал всему цену и ничего особенного от жизни уже не ждал. Оказалось, что ему уже шесть лет.

— Это много, — сказал Виктор.

— Да, — согласился Мигель, — для овчарки это не так уж мало. Я покажу вам другого пса, как раз для вас.

Он крикнул помощнику, и другой, рекомендованный Мигелем пес занял место Моро. Но Арина сразу же замотала головой:

— Лучше еще раз посмотрим Моро. Он мне нравится больше.

Мигель открыл папку и достал родословную Моро. Родословная у него была блестящей. Но он был в годах, и Виктор колебался.

— Это возраст Игнаши, — сказала Арина, — посмотри на Игнашу; разве плохой мужик?

Это, видимо, был решающий аргумент, но и без него мы бы выбрали Моро. Моро был умен, у него был ровный нрав, и даже издали он был похож на друга, на младшего брата, а мы с Виктором не могли отказать Арине в способности находить себе братьев.

— Где он сейчас работает? — спросил Виктор.

— Охраняет платные автостоянки, — сказал Мигель, — а раньше, молодым, он охранял меня, спал у меня в доме.

— Я же говорила! — воскликнула Арина. — Это то, что нам нужно.

— Это очень хороший пес, — сказал Мигель. — Может быть, только... недостаточно агрессивный.

— Ну что значит "недостаточно"? — сказала Арина, уже не сводя с Моро глаз.

— Ну, скажем, если он нападает, если хватает за руку с оружием, то он не размозжит кость, будет держать в зубах, но не размозжит.

— Ну и прекрасно! — сказала Арина. — Не надо крови. Можно его погладить?

Моро подвели к нам, и он послушно подставил голову, свой широкий лоб маленькой Ариной руке. Но послушание было ему привычно, и на ласку он не откликнулся.

Как было условлено, Арина привезла Моро через пару дней. Она поехала за ним одна, как хозяйка, которую он должен был без колебаний признать. Я немного волновался: огромный пес, как он поведет себя в машине, один на один с ней, сидящей впереди, за рулем? Но вот за воротами фыркнул ее "форд" — ворота медленно поехали вбок, и вкатила голубая машина, шурша шинами по розовому фигурному туфу, каким была выложена территория двора. Я увидел их со своей крытой террасы и не стал выходить. Для начала они должны были разобраться без меня. Через полчаса я отложил книгу и пошел в сад, жмурясь от ослепительного жаркого света.

Арина стояла рядом с Моро в собачьем загончике. Выглядела она спокойно, но обычно импульсивные ее движения были сдержанными. Она увидела меня и заулыбалась.

— Признал? — спросил я.

— Похоже.

— Думаешь, я могу войти?

— Попробуй.

— Я войду, — сказал я. — Я собак не боюсь. Собаки меня любят. Меня любят дети и собаки. Значит, я хороший человек.

— Входи, входи, — сказала Арина, — сейчас проверим, какой ты хороший. Моро, это мой друг, — обратилась она к псу, нерешительно стоявшему рядом, как бы не знающему, каковы его обязанности на настоящий момент. Он привык служить и отвык общаться накоротке. Однако вид у него был вполне лояльный.

— Лучше ты выйди с ним, — сказал я. — А то он еще вздумает тебя защищать.

— Он бы сначала предупредил. Мигель сказал, что он любит играть. Я купила ему резиновый мяч. Если ты с ним поиграешь, он тебя сразу полюбит.

— Где мяч?

— В машине.

Я принес мяч. Он был твердый и тяжелый, литой. Моро увидел его в моей руке и вильнул хвостом.

— Да ты большой ребенок, — сказал я ему.

— Как ты, Игнаша, — сказала Арина.

Она открыла дверцу в сетке, и Моро подбежал ко мне, нетерпеливо переводя взгляд с лица на руку с мячом. Затем он присел на передние лапы и негромко гавкнул. Голос у него был низкий.

— Не бойся, — сказала Арина. — Это он говорит: "Поиграй со мной, а то хуже будет".

— Я могу бросить мяч? — спросил я. Все-таки по спине у меня бегали одиночные мурашки.

— Бросай, — сказала Арина, — и подальше.

Я размахнулся и бросил в дальний конец сада, к клумбе с розами. Моро, сорвавшись с места, стремительно помчался за мячом.

— Повезло старичку... — задумчиво глядя ему вслед, сказала Арина.

— По-моему, ты очень понравилась Мигелю, — сказал я.

— Мало ли... Замечательный пес. Умница. Я счастлива. — Я счастлив, что ты счастлива, — сказал я.

Мы все настроены оптимистично, хотя положение в стране сложное, все сдвинулось с мертвой точки, и этот поток не остановить: постоянные демонстрации протеста, забастовки, выступления артистов в пользу бастующих рабочих, полицейские с винтовками наперевес и гранатами со слезоточивым газом. Не стреляют, но страх вселяют. А впрочем, уже и не до страха, люди идут и идут, а страна нуждается в выходе на европейский рынок, а при терроре это невозможно, а как же быть с этими, кто против, число их растет не по дням, а по часам... Страна разрывается от конфликтов, скрипит, трещит.

1975.

Я ЛЮБИЛ с ней бродить по городу. С ней я видел город заново. Близорукая, в очках, зрение у нее было минус шесть или семь, она лучше меня видела не только город, но и людей.

— Смотри, какой дядя, — толкала она меня в трамвае, требуя, чтобы я немедленно обернулся и посмотрел.

— Сейчас, — обещал я и, выбрав удобную минуту, оборачивался.

— Он похож на кота-плаксу, — говорила она. — Помнишь такой мультфильм?

Одно время она собиралась стать художником-мультипликатором, придумала даже своего собственного героя — весельчака Макузу. Макуза был помесью кота с человеком и отличался неисчерпаемым оптимизмом. Когда мы прощались на несколько дней, а то и недель, она дарила мне очередного Макузу. Все Макузы улыбались. На настырную, с рюкзаком за плечами бабу, приехавшую в город за продуктами, говорила:

— Смотри, смотри, — бабка-парашютистка. Из деревенского десанта.

Она постоянно оборачивалась на кошек и собак или вдруг хватала меня за рукав:

— Смотри, пролетела птица с такими грязными ногами...

— Какая птица? — прыскал я.

— Я не заметила. Большая... Ворона, наверно. Почистила себя клювом — под перьями, под крыльями... А про ноги забыла. Вот и грязные. Почему она их не убирает, как самолет?

— Ой, послушай, послушай! — теребила она меня, улыбаясь во весь рот. — Однажды я видела двух ворон. Они ругались. Они сидели на земле и страшно ругались. Он ей говорит: "Дура ты, дура!" А она даже не обижается и боком так от него отходит, скрестным шагом... А он за ней: "Дура ты, дура старая!" А она все равно умнее. Она не удостаивает его взглядом. Она молча с ним ругается. А его от этого только разбирает. Ему хочется покаркать, а она молчит. Она его молча презирует. И он уже не знает, что ему еще сказать. Ему вроде бы уже скучно твердить одно и то же. Потому что получается, что он сам дурак. И тут, пока он соображает, что ему делать, она вдруг разворачивается в его сторону и как клонет его своим толстым клювом, как клонет! А он как отскочит о нее. Он подсказывает, чтобы взлететь, а у него не получается. От испуга забыл, как летать. Наконец кое-как, боком, захлопал и поднялся. Еле поднялся... А я одна, представляешь? Я одна это видела, и никого рядом. Я просто умирала от смеха, и не с кем было поделиться. Раньше я совсем была одна, и меня мучило, что все, что я вижу, мне некому рассказать.

Но мы и сами бывали смешной парочкой. Так что вся улица оборачивалась. И все из-за Улиткиного вида. Как она одевалась! Она избегала того, что модно, а если и носила, то страдала от "собственного жлобства". Одежда ее представляла смесь ретро с авангардом. Юбки у нее были условные даже для эпохи "мини". Попросить ее одеться поскромнее, посдержаннее было нельзя — это тоже было бы воспринято как жлобство. Помню, в последних числах холодного марта, когда мы отправились на вечер балета в Мариинский театр, она выглядела так: трико изумрудного цвета, поверх трико на ногах сетчатые колготки — к трико в шкафу у нее ничего не нашлось, так как накануне она отдала все свои тряпки одной сорокалетней подружке, которая в роли невесты должна была предстать перед родителями своего жениха. Я было заикнулся, что можно было бы и объяснить подружке, что мы идем на балет, но Улитка возразила:

— Она бедная, она несчастная, она некрасивая. Она думает, что если все это наденет, то станет красивой. Я не могу ей отказать. А мне... мне ничего не нужно — я всегда найду, в чем пойти.

И поверх трико она надела пиджак малинового цвета, накинула подарок бабушки — лису, длиннющую чернобурку, которой, она уверяла, по меньшей мере лет пятьдесят, и потому она источает тепло. Все старые, точнее — старинные, вещи для нее источали тепло. Она считала, что, пожив в прошлом, они навсегда впивывали в себя бывшую жизнь. Новые вещи были для нее мертвы. На ногах у нее были черные полусапожки-полуботинки, сшитые на заказ. Признаться, мне пришлось набрать в легкие воздуха, когда мы вышли с ней на улицу, хотя на ее уверенное: "Ну как?" — я сказал: "Отлично!"

Я доверял ее вкусу и принимал в любом наряде, но я знал, что улица этого не примет. Однако Улитке на улицу было наплевать. Ради улицы она не поступилась бы ни одной из своих привычек. Высматривая такси, мы дошли до перекрестка, и все его углы как бы остолбенели. Я видел, как люди толкают друг друга и поводят подбородками в нашу сторону. Молодежь просто оборачивалась, мужчины смотрели, а тетки рвались в бой. Но рядом был я. Они глазели сначала на Улитку, а потом замечали, что она не одна, и мой вид сбивал их с толку: как-никак я тянул на "солидняка", а "солидняк" знает, с кем выходить на улицу. Тетки крепились, но чувства их как сажа и пепел носились над их головами. Вражда к не такому, как все, — видом ли, мыслями — так долго у нас культивировалась, что жить ей еще и жить. На пути к перекрестку нам пришлось миновать компанию подростков-рокеров на мотоциклах. Я принапрягся, готовый к разборке, но подростки лишь проводили нас дружным молчаливым взглядом. Вот первое поколение терпимых. Их девиз — "Мы вас не трогаем, и вы нас не троньте" — кое-что да значил.

Ходили мы и в кино. В кинозале Улитка наклонялась ко мне, спрашивала, глядя на экран своими большими невидящими глазами:

— Что это за тетка?

— Это звезда, Сара Монтель. Помнишь, "Королева Шантеклера"?

— Неужели это она?

— Она.

— У нее жуткое туловище. И крестьянские руки. И спина как у лошади. Только лицо красивое...

Если даже фильм был совсем никуда, она все равно находила в нем что-нибудь забавное. Образования ей явно не хватало, но интуиция ей была дана из первых рук — прямо от Бога. Не помню случая, чтобы она клюнула на какую-нибудь туфту. Судила она жестче меня и менее была склонна прощать творцам их слабости.

— Он же художник, — говорила она, — он не имеет права потакать толпе.

На мой взгляд, работала она мало. Когда я говорил ей о фанатизме, об одержимости таланта, она отрицательно мотала головой:

— Нет, нет. Зачем?

— Но твой Врубель работал до иступления. Твой Ван Гог...

— Потому они рано и умерли. Лень — это спасение. На самом деле это даже не лень. Я вот все время думаю. Тебе кажется, что я болтаю, суечусь, вишу на телефоне... А я думаю. Не напрягай меня, я чувствую, что ты начинаешь на меня давить. Я еще больше суечусь, и толку мало... Ты ведь знаешь, я и без того суетное существо.

Картины у нее "доходили" — незаконченные, они висели месяц, два — и вдруг двигались дальше, то есть я вдруг замечал, что в них углубились, оказались прописанными новых два-три квадратных сантиметра. Она загоралась не от чувства, а от идеи, а это долгий путь. Я же норовил убрать подальше брошенный ею холст, где глаз радовал какой-нибудь живой кусок.

Лучшую свою картину она написала без меня и назвала "Чаепитие с китайским чайником". Улитка считала ее сюрреалистической, как и все, что она делала, но по мне это был реализм, как я его понимал. Улитка не мистифицировала, не занималась шаманством — она рассказывала о себе, а рассказ рассчитан на слушателя, то бишь, на зрителя, — иначе зачем рассказывать? Картина раскручивалась по часовой стрелке от пупка — пупок обнаженной героини был центром. Сама героиня, естественно, была одним из Улиткиных взглядов на самое себя. В правой, гордой, согнутой в локте руке героиня держала на тонких извилистых пальцах блюдце с чаем. Сама она парила над или, точнее, за столом, как в балетном прыжке, подобрав под себя левую ногу, а нежно написанный пах и едва обозначенное лоно, похожее на вытянутую каплю, млели, истаявали в накаленном оранжевом сиянии. Справа от героини стоял китайский фарфоровый чайник в виде мужской головы с бледным одутловатым лицом, как будто уже виденным мною, — крышка от чайника была взвешена в другой руке героини, а изнутри катились клубы пара, полные видений. За героиней торчали горбыли забора, как в глубинке, и из его умбры проступали одно над другим два зверских сатанинских лица, третье же лицо было страдальческим лицом гуманиста, художника... Впрочем, это могли быть три лица одного человека; а перед героиней на столе, на большом круглом блюде, лежали две головы, вернее, одна голова — лошади — отрубленная, но живая, с глазами, полными боли и ужаса: лошадь смотрела на собственный череп рядом. Были там еще какие-то призраки, и змеиная шея то ли лебедя, то ли павлина, то ли гуся, держащего в клюве яблоко. Но главным, если считать, что глаза лошади не главное, — главным было все-таки лицо героини, очень похожее на Улиткино, но, как всегда, с пустыми глазницами. Не было и правой щеки, а был скол ее, будто то было не живое тело, а его глиняное, полое внутри подобие, кукла... но и там пылало то же оранжевое сжигающее пламя, заполняя и полости глазниц.

Так я пытаюсь описать образы картины, но как мне передать впечатление от нее, впечатление пройденного пути и утвержденного духа, впечатление преодоленного страдания и мужественного

жеста? Да, я так живу, говорила ее героиня. — Это больно и мучительно, и хотя я очень боюсь боли, я сильнее ее...

Другую свою картину она писала на моих глазах, так и не дописав... Она набросала композицию, которая, по ее утверждению, давно созрела в ней, не только созрела, но и мучила ее, однако после двух часов работы отложила кисти, с тоской посмотрела на холст и, взяв тряпку, которую вытирают кисти, смазала написанное.

— Что ты делаешь?! — подскочил я. Мне нравилось, как она начала.

— Не то, не то! — простонала она.

Но стирала она не все подряд, а то, что меньше всего ее устраивало, стирала так, что после тряпки оставались странные разводы. Потом она сидела и вглядывалась в них.

— Смотри, — оживилась она, — вот женщина... Видишь ее фигуру? — И кистью показала женщину. — А вот еще одна. Только взгляд от нее. Смотри — вот ее глаза. А сзади чудовище... это монстр... он ее преследует... он хочет объясниться в любви. Видишь — рука его прижата к сердцу... А вот корабль. Нет, два корабля. А это... смотри, какой тут замечательный старик! Они все спешат куда-то, а ему все равно. Он отвернулся. Он знает, что все это суета. Он отвернулся от них и смотрит на нас.

— Это похоже на Ватто, на "Путешествие на остров Цитеры", — сказал я.

— Может быть. Но только чуть-чуть. У меня совсем другое. А вон там на краю мола стоит он — это, наверно, Христос. Как мера всего. Ему жалко их всех, в том числе и старика...

Так я тогда и не понял, что это было. Импровизация, возникшая из ничего, из нескольких ходов тряпки, что переплели первоначальных участников узами новой интриги?

— А это что? — спрашивал я, показывая на гигантский цветок, огромный бутон, похожий на головку чеснока с плотно упакованными дольками-лепестками, из которых самые нижние превращались в черепа.

— Я все время вижу его во сне, этот цветок, он вырастает из волны и раскрывается, раскрывается... сотнями лепестков, по стеблю из воды он втягивает в себя жизнь и рассыпается на тысячи других жизней, а внизу они умирают... Ведь, знаешь, в каждом расцветшем бутоне есть сторона жизни и сторона смерти.

Но все это пока были лишь поиски в потемках, наугад. Ей был всего двадцать один год, и она не спешила, она была уверена, что все придет в свой час.

Я шутил, что стать настоящей художницей ей мешают ее ноги. Она никогда о них не забывала. Но и живопись не отпускала ее ни на миг. Даже в постели. Улитка жаловалась, что живопись мешает ей в любви, не дает расслабиться, тянет за собой, когда Улитке хотелось бы совсем в другую сторону. Чувственный импульс у нее шел через голову — для страсти она нуждалась в сильном впечатлении. А чтобы творить, ей были нужны экстремальные обстоятельства. Она должна была быть голодной, в комнате должен был быть кавардак, гонимая и какая-нибудь крупная ссора с нужным человеком — вот тогда она работала от зари до зари. Благополучие, порядок ее угнетали. Чтобы вызвать творческий дух, надо было перекрыть кислород. Так и в любви. Чувство, чтобы разогреться, нуждалось в препятствиях. Ее подстегивала опасность, и, сказав по телефону приятелю-реставратору, чтобы тот брал такси и немедленно приезжал с ее отреставрированными стульями, она вдруг брала меня за руку и вела к постели. "Хочу к тебе. Хочу быть в платье". А потом говорила: "Как тепло... ты согрел меня изнутри. А платье, оно, знаешь, такое... оно меня возбуждало". Она была изощрена гораздо больше меня, несмотря на небольшой любовный опыт и на прохладность, которая еще не отступила в ней.

— Ты пробуждаешь во мне женщину, — говорила она. — Когда ты ее совсем разбудишь... — И повторяла: — У тебя нет конкурентов.

Вместо конкурентов были ее многочисленные приятели, некоторые даже старше меня. Из старших выделялся некто Дима, тот самый долговязый ее спутник на Университетской набережной, где мы случайно встретились. Специальность у него была скучная — чуть ли не инженер холодильной промышленности. Видно, он так там намерзся в молодости, что до сих пор никак не мог отогреться, и потому превратился в тихого алкоголика, служа лаборантом в одной из наших университетских лабораторий. Но это была лишь вывеска, потому что на самом-то деле Дима был миллионером. Как многие другие итээровцы с головой на плечах, он давно уже понял, что вкалывать за убогую инженерскую зарплату — это профанация всего доброго и вечного, к чему стремилась его замерзающая душа, а поскольку ко времени прозрения в нем неожиданно прорезалось и что-то вроде таланта, или, скажем, склонности, которую можно было бы назвать "вкусом к старине", то Дима и занялся коллекционированием, которое вскоре позволило ему освободиться от бремени пустопорожного инженерства. Теперь у Димы была одна из самых крупных в городе частных коллекций интерьера Петровской эпохи. Мне дозволено было побывать в этом интерьере, и я был впечатлен. Впечатляло и то, что интерьер существовал не для отстраненного любования, а был средой Диминого обитания, Диминого и нескольких его друзей, включая Улитку. Самой новой вещи там было не менее двухсотпятидесяти лет, но вглубь можно было забраться еще на два-три века, потому что, как справедливо утверждал Дима, Петровская эпоха при всей своей тяге к тому, что сегодня мы называем словом "перестройка", охотно вбирала в себя из прошлого то, что было наработано в других культурах, ну, скажем, вот этот венецианский деревянный стол из шестнадцатого века, на львиных ножках, с маскаронами и прочими резными деталями. Стол по причине своей неразъемной монументальности благополучно пережил суровые блокадные зимы в одной из коммуналок, куда он затесался из постреволюционных общественных фондов, возникших при экспроприации убранства дворцов и особняков...

Все там было настоящее. В званые вечера гости сидели на петровских стульях, и долгий весенний свет стоял не в окне, а во вправленном в раму окна флорентийском витраже. Да, по отечественным меркам Дима был богат, но оставался несчастен. Для несчастья было несколько причин, и одна из них — та же коллекция, предмет его гордости, знак его статуса. Коллекция была смыслом и целью его жизни, но, как всякая материальная цель, она, будучи достигнутой, вдруг как бы перестала греть. Вдруг обнаружилось, что мечты больше нет, а вместо былой сладкой дрожи собирания осталась только привычка менять одно на другое, хорошее на лучшее; обмен, конечно, увеличивал сумму на сберкнижках и доход с суммы, на что Дима и жил, как рантье, но для человека искусства, каковым Дима давно себя считал, этого, конечно, было мало. Времени же и сил, чтобы приподнять еще какой-нибудь золотиносный пласт прошлого, уже не оставалось. И все реже и реже Дима бывал трезвым.

Видимо, богатство пришло все-таки слишком поздно и никоим образом не повлияло на фантастическую Дмину скупость, оправданную разве что нищим голодным студенчеством и блокадным детством, — в быту он по-прежнему побирался, в компании в минуту платежа никогда не вынимал кошелек и предпочитал залезть в долги, чем в сберкнижку. Долги он, правда, отдавал.

Для выгодной перепродажи или обмена он пользовался разными приемами: ну, скажем, он ставил вещь, которую собирался сплавить, в свой интерьер и приглашал покупателя. В Димином интерьере любая вещь играла. Или же — приобретенное по дешевке он отдавал на реставрацию. Главным его реставратором была Улитка. Она работала или за спасибо, точнее, за право быть в Димином кругу, или за крохи с барского Диминого стола. Но и у нее была своя корысть — научиться у Димы тайнам профессии. Она прекрасно понимала, что Дима на ней наживает, но мирилась с этим, терпеливо ожидая, когда придет ее собственный час. И все-таки приходилось держать с ним ухо остро, так как у Димы всегда была тысяча способов ее надуть. Скажем, когда Улитка уже заканчивала реставрацию очередной вещицы, он звонил ей и провоцировал ссору, ожидая, пока Улитка не крикнет в сердцах: "Дима, забирай свое барахло! Не хочу тебя больше знать!" Он тут же прикатывал и забирал свое — оскорбленно и... бесплатно, а затем, через неделю, зная отходчивость Улитки, звонил с очередной приманкой. Иногда эти сцены происходили на моих глазах.

— Да я все понимаю! — останавливала меня Улитка, когда я пытался вразумить ее. — Дима жлоб и жлобом умрет. И мне жалко, что он такой жлоб. Он, конечно, страдает от жадности, но еще

больше он страдает, что я не такая, как он. Он был бы счастлив узнать, что я его тоже надула. В глубине души он считает себя лучше всех. Но я ему все прощаю, потому что он талантлив, он считается одним из самых талантливых ленинградских коллекционеров.

Я не очень понимал, что в данном случае вкладывалось в понятие "талант", — не способность же делать деньги буквально из ничего, из содержимого ленинградских помоек. Нет и нет. Ведь получалось, что он, Дима, возвращает этому содержимому прежнее, давно изжитое жизнью значение, соединяет это изжитое в цепочку, которой огораживает лоскуток пространства, где будто сами собой вдруг начинали оживать тени давно минувшего...

В университетской лаборатории Дима, естественно, только числился. За него его обязанности исполнял кто-то другой, Дима же проводил свободное от коллекционирования время в барах. Начиная с плавучего "Паруса" возле Петропавловки, потому что жил неподалеку, затем троллейбус переносил его на Невский, где Дима спускался в бар Дома журналиста, а затем поднимался в буфет ВТО, каждое из этих мест отмечая двумя-тремя порциями коньяка, так что к "Сайгону" он уже подходил в приподнятом состоянии, где и "снял" время от времени девочек; в его вкусе были пятнадцатилетние, и он хвастался перед Улиткой и этой своей коллекцией.

— Ему не нужны девочки, — смеялась Улитка, — он импотент.

Конечно, ты понимаешь, что вся страна вот уже месяц живет в страшном напряжении. В будничной жизни это почти не ощущается, но по тому, как расхватывают ранним утром газеты, можно судить о всеобщем возбуждении. Думаю, что так просто не обойдется. Какой сейчас важный момент! И трудно, очень трудно сказать, как поведет себя масса. Ведь, несмотря ни на что, она уже свыклась и довольствуется тем материальным уровнем, что имеет, а он, нужно сказать, гораздо выше, чем у нас. Ведь те, кому сейчас тридцать пять, еще помнят Испанию нищей. И пересилит ли жажда свободы, демократии это добытое трудом благополучие?

Неизвестность угнетает... Ведь надо же, никак не дадут умереть главе правительства. Вытаскивают с того света всеми силами — все-таки медицина далеко пошла... До того ему снизили температуру и т. д., что он, как консерв, может просуществовать еще какое-то время. Все это дикость. Люди утомлены ожиданием.

Сегодня уже 19 ноября. Думаю, что завтра Франко все-таки умрет...

Спокойной ночи, Игнаша.

УТРО. ФРАНКО СКОНЧАЛСЯ!

1975.

«ЕСЛИ кому-нибудь непременно нужно писать об Испании, то пусть пишет как можно скорее, после первой же поездки, ибо дальнейшее знакомство со страной может только затемнить первое впечатление, и тогда уже нельзя будет делать выводы с такой легкостью...» Он прав, Эрнест Хемингуэй, любовь моей юности. Я и так спешу изо всех сил. Мысленно я это называю романом-путешествием, форма не новая, проверенная великими именами, мне спокойно в их тени. Что хорошо в таком романе — это возможность писать о чем угодно, расставляя многоточия вместо точек, и все же я с виноватостью констатирую отсутствие у меня нескольких заявленных тем, ну, скажем, истории Терезы. О своей собственной матери я, подумав, решил не рассказывать, это увело бы в сторону, но Тереза, милая Тереза, я перед ней в долгу.

Жанр романа-путешествия самый расплывчатый из всех жанров. Это много страниц и ни одного литературного правила. И еще в таком романе непременно выпячивается рассказчик, даже если он вообще-то тихоня и скромняга. Если же задуматься, кто из нас двоих путешествует, то скорее я, чем он, потому что, как бы он ни вертелся, он всегда остается в сюжете, а я могу

выскочить на любой остановке, скажем, в местечке Бальсаин, в Толедо, в Ля Гранхе или в Сеговье, и, в отличие от него, побродить молча, ничего не рассказывая. Опять же он не знает, чем все это закончится, ему не увидеть последнюю страницу, не написав все предыдущие; как для нас, чтобы оказаться в будущем, надо прожить настоящее. Но судьба у меня с ним одна, хотя я и проживаю ее как бы задом наперед. И еще чуть-чуть о романе. "Одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и его положения", — читаю я, тихо радуясь. И дальше: "Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности". Последняя фраза так прекрасна, что слезы восторга стоят в моих глазах. Романы мы читаем затем, чтобы найти в них про себя. Почему нам так нужно, чтобы кто-нибудь расшифровал наш код и открыл в нас дверцу, как в камере хранения? А потому, думаю я, что, как бы импульсивно, то есть неразумно, мы ни жили, как бы ни мыкались в своей судьбе, которая почему-то всегда с чужого плеча и жмет, мы исподволь стремимся к тому, чтобы слиться с той своей человечностью, которая нам предначертана самим фактом нашего рождения и о которой мы подчас даже не подозреваем. И даже проходя путями зла, мы стремимся к добру, потому что только оно плодоносно, а значит, бесконечно, то есть бессмертно. Мы стремимся к бессмертию, и это в нас, смертных, лучший из даров богини Немесиды.

Тереза... Из-за нее с юности осело во мне, закрепилось, что я тот, каким должен стать Виктор, когда он вырастет. Она сотворила из меня культ старшего брата, образец для подражания; она говорила, что я взял от нашего отца одни достоинства, а Виктор — одни недостатки: и голова у меня была "светлее", и фигура лучше, отцовская фигура, не то что у Виктора, ширококостного, тяжелоплечего, как грузчик. Да, Виктору пришлось попотеть, чтобы соответствовать ее любви. Теперь Терезе было за шестьдесят, она осталась такой же легкой, но подсохла, потемнела, одни глаза и волосы, неправдоподобные, не поседевшие, которые она заплетала в косу или носила распущенными, что придавало ей ведьмовский вид. Ее всегда за кого-нибудь принимали, но чаще за актрису или писательницу, и это ей нравилось — ведь как-никак она занималась переводами, даже и литературными, и мы втроем в доме Виктора, то есть она, я и Арина, были членами одной секты, людьми, помешанными на слове, а значит, для Виктора, помешанного на деле, — пустомели, балаболки, второй сорт. Когда приходила Тереза, в доме становилось тепло, а без нее дом был прохладен, будто нас не хватало, чтобы согреть его своим присутствием. В юности меня тянуло к Терезе, и она по старой привычке со мной кокетничала. Нас разделяло почти поколение, но она была женщиной без возраста, как королева, и нам с ней нравились наши роли. За этой скромной радостью отношений стоял когда-то пережитый страх не принять друг друга, и мы словно до сих пор благодарили судьбу, что опасения оказались напрасными.

Тереза считала себя в Испании русской, и многое ее здесь угнетало, хотя пожаловаться она могла только Арине или мне, но никак не сыну, который ведь столько для нее сделал... Тереза, покинувшая Испанию в ранней юности, все сорок советских лет мечтала вернуться, даже не подозревая, что в юности мы живем по другому адресу. "Я хочу солнца, — говорила она в Москве. — Я так скучаю по солнцу. Тут его совсем не бывает, это бессолнечная страна..." А теперь она искала тень, вспоминала подмосковные леса, траву-мураву, растущую по своей воле, а не под присмотром садовника, и говорила, что тут всю природу растащили, разворовали, разъяли на куски и увезли к себе — кому сколько досталось.

— Все-таки согласишься, Виктор, — говорила она, отставляя фужер с красным вином, — русские щедрее, шире душой, чем испанцы. Это у них от величия земли.

Был час аперитива, и мы сидели в саду за белым ажурным столом в белых ажурных креслах.

— Щедрость нищих... — пожимал плечами Виктор. — Нечего продать, не на что купить. Бери, все твое...

— Не скажи, сын. Мы не так уж плохо жили.

— А почему нельзя лучше? Свободней? Я-то, как всякий западный обыватель, считаю, что формула жизни — это достаток плюс духовность. Больше достатка — больше духовности. А в России это противопоставлено. В России достаток — это изъясн, это недостаток духовности.

Откуда такая ущербная философия? От несвободы, от ущербного хозяйства, порожденного ею. А дай русскому свободу, достаток — и всей его духовности конец!

— А в Испании не так? — спокойно сказала Арина. — Уже двенадцать лет сплошной свободы. И куда она идет — на духовность? Смешно. Только на достаток: дом, недвижимость, машина, работа и деньги, деньги, деньги. Актеры, художники, драматурги бедствуют. Духовность здесь не оплачивается.

— Допустим, — сказал Виктор. — Да, Испанию усиленно делают обществом потребления, как уже сделали Англию, Францию, Германию, Швецию, какую-нибудь там Голландию. О Штатах я уже не говорю. Там вообще... Но у нас есть оправдание. Сорок лет под Франко, тоталитаризм. То есть невежество. Невежество легко поманить длинным рублем. Надеюсь, с испанцами этот номер не пройдет. Лорка правильно говорил: "Мы — народ грустный и неподвижный".

— Господи, неужели ты еще читаешь Лорку?! — изумилась Арина.

— Да так... иногда, тайком...

— Сеньор, к телефону! — высунулся из окна Тино, и Виктор ушел.

— Звонить во время сиесты... какое свинство! — сказала Тереза.

— Сам так поставил, — сказала Арина. — Он сидит с нами, разговаривает, а мыслями — там, на фирме. Если бы его люди могли, как он, вкалывать по восемнадцать часов в сутки, он был бы счастлив.

— Бедняга, — сказала Тереза. — Он очень нервный. Зачем так много работать, ведь все же есть.

— Ему уже не сойти с этой орбиты, — сказал я. — Так и будет крутиться. Если сойдет с нее, то сгорит.

— Так он еще скорее сгорит, — сказала Арина.

— Может, это способ забыть про Россию? — спросила Тереза.

— Не знаю, — сказала Арина. — Во всяком случае, мне он говорит, что больше по России не скучает. Раньше — да. А сейчас — нет.

— Я, конечно, люблю испанцев, это понятно, — сказала Тереза. — Но мне все же непонятно, как это они разберутся с философией потребления, когда они только об этом и мечтали. Я же помню Сарагосу, я же помню, как плохо мы жили до войны. По-моему, Виктор их идеализирует.

— Я тоже, — сказал я. — В агни-йоге сказано, что есть народы восходящие и нисходящие. Мне кажется, что испанцы, как и русские, — это сейчас два восходящих народа.

— Блажен, кто верует, — сказала Арина. — Только боюсь, что те мысли, которые нам льстят, — самые неправильные. Конечно, приятно делить народы на думающие или, там, делающие. И людей делить. Скажем, мы с тобой, Игнаша, думающие, а Виктор — делающий. Но если человек не делает, то он и думать не умеет. Или думает только себе во вред, чтобы боль растравить. А Виктор боли не любит. Он человек жизнерадостный. Я так до сих пор и не знаю, счастлив он со мной или несчастлив. Иногда мне кажется, что ему нужна совсем другая жена... испанка.

— Что ты говоришь, Аля! — возмутилась Тереза. — Лучше жены ему не найти. Ни одна испанка в нем не разберется! Чтобы жить с Виктором, надо знать, что такое Россия, русский язык, русская интеллигенция, культура. Я вот уже десять лет здесь, да, десять лет. А мне все кажется, что я в гостях. Я ничего здесь не могу назвать своим, кроме неба. Наверно, это как с любовью — если ты ее потерял, оплакал, отстрадал, а потом она вдруг возвращается, то ты на нее смотришь совсем иначе. — Слезы навернулись ей на глаза, и она напрыгла веки, чтобы их не пролить.

Пришел Тино, спросил, где мы будем есть — здесь или в доме.

— Здесь, — сказала Арина.

Тино без выражения на лице повернулся и ушел, высоко неся каплевидную голову на тонкой старой шее.

— Не люблю его, — наклонившись ко мне, зашептала Тереза. — Люди покупают дом, чтобы жить одни, отдельно, а поселяют в нем слуг. Слуги еще хуже соседей, ты от них зависишь, каждый твой шаг у них на виду. А этот Тино... По-моему, он курит какую-то травку... В их комнате ужасный запах. Он накурится и ходит в кайфе вот с такими глазами... — И Тереза вытаращила и без того огромные глаза. — Я ему говорю: "Тино, надо здесь вытереть" — и показываю на стол, на кресла. Вот, смотри — мое кресло он вытер, стол с моего края вытер, и больше ничего. — Она провела указательным пальцем по спинке моего кресла и продемонстрировала серое пятнышко пыли.

— Это тяжелый случай, — сказала Арина. — Виктор ими недоволен. Вообще со слугами очень трудно. Но если нанимать приходящих — выйдет дороже. Нужен человек в доме и садовник. Помнишь эту парочку до Тино? — повернулась она к Терезе.

— Брррр... — поежилась Тереза.

— А это были первоклассные слуги, Игнаша. Тоже филиппинцы, но с лучшими рекомендациями. До нас служили где-то у графов. Они хотели ошеломить нас своим сервисом, а нам это не понадобилось. Они были шокированы, обескуражены. Они привыкли к такой церемонии обедов, к такому священнодействию, что наши с Виктором привычки им казались варварством. Надо сказать им спасибо — кое-чему они нас научили. Кое-какой торжественности во время еды. А то Виктор схватит тарелку — и в кабинет, к телефону. А вообще-то, когда Виктор уезжал в командировки, так и получалось, что не они у меня живут, а я у них... Так вот, того слугу у нас звали Карлос, он не то что Тино — он во время обеда следил за малейшим нашим движением, он оставлял щелку в двери и следил, и мы должны были есть и восхищаться или же говорить, чего не хватает, — он мгновенно принесет. Прямо пытка какая-то, а не обед. А поскольку считалось, что они очень хорошие слуги, они были очень мнительны и обидчивы. Если Виктор возвращался с работы мрачный, им казалось, что это из-за них, что он чем-то недоволен, и приходилось все время объясняться, извиняться, да, представь себе, извиняться, что они не так нас поняли, просто черт знает что! Когда входили в столовую, Виктор говорил сквозь зубы: "Так, улыбаемся, начинаем улыбаться".

— Так и было, — кивала мне Тереза. — Так и было.

— Но я бы, наверно, их оставила, если бы не жена его, ее тут лихо перекрестили в Изабель. Так вот у Изабель с нашим Антохой не заладилось. У нее сын такого же возраста на Филиппинах... в общем, я ее понимаю, могу понять. Она нашего Антона возненавидела и так, видимо, мучилась от этого, что убедила себя в обратном. Такой мазохизм — ее прямо тянуло в его комнату. А он, Господи, ребенок же еще! И однажды ее прорвало: что-то она убралась в его комнате, а он тут же все разбросал, я вошла, увидела, сделала ему замечание, а ей что-то показалось — подбежала объясняться, расплакалась, а потом затопала ногой: "Я его не терплю, он плохой, плохой мальчик, muy mal ⁸!" Я тогда ее успокоила, сказала, что поговорю с Антоном. Бедная женщина, такое бремя носить в себе... Мы даже договорились, что я сделаю вызов ее сыну на каникулы. А сердце у меня тук-тук, тук-тук. Тревожно мне за Антоху, беспокойно. Я стала приглядываться, прислушиваться к ним, и тут, Игнаша, я открыла, что такое сословная ненависть. Это все вылилось как бы на Антона, но на самом деле они ненавидели нас. Это такие страсти, куда Шекспиру! Как-то я раньше этого не замечала; была у нас прислуга, относились как к членам семьи, одна училась, я ей помогала, вторую устроила на курсы косметологов, молодые девчонки, — в общем, мы участвовали в их жизни, а тут... Очень мне нехорошо стало. И вроде действительно мы виноваты: мы богатые — они бедные. Хотя то, что они здесь получают, — это большие деньги. Прислуга

⁸ muy mal! – очень плохой!(исп.)

сегодня стоит очень дорого. И вот они обиженные, и я чуть не заискиваю перед ними. А тут еще случай с Карлосом... Я как-то раз не могла отвезти детей в музыкальную школу, попросила его. Он прекрасно водит машину. А дело было к вечеру, он вроде устал, и ехать ему не хотелось. Он, конечно, их повез, но с такой злобой, что, потом мне Наташа рассказывала, они чудом не разбились. Он так гнал, на одном бешенстве... И тогда я себе сказала: "Все". И когда Изабель устроила мне очередной скандал — это, Игнаша, так смешно, она маленькая, темненькая, топает своей тоненькой ножкой: "Я не могу, я ухожу!" — опять из-за Антона, — когда она устроила, я выслушала ее и говорю: "Я вас понимаю, Изабель, я целиком и полностью на вашей стороне. Будь по-вашему. Значит, так, сейчас я должна уехать часа на три, вы, пожалуйста, побудьте дома, ну а когда вернусь, вы можете считать себя свободными. Я вас очень понимаю". И все. Виктор был в Барселоне, я позвонила Терезе, рассказала ей, села в машину и уехала.

— Они мне тут же стали звонить, жаловаться, что их выгоняют, — закивала Тереза. — Они заявили, что не уйдут, пока не вернется хозяин.

— А Виктор возьми и вернись на день раньше, в тот же вечер. Он выслушал меня и расцвел: "Ариша, живем!" И им пришлось уйти. По-моему, они до сих пор не могут успокоиться. Изабель позванивает, интересуется, как у нас, довольны ли мы новыми слугами. Они-то с Карлосом убеждены, что лучше, чем они сами, не найти. Боюсь, что они правы...

У НЕЕ была мечта — говорящий попугай. "Когда ты поедешь к брату, обязательно привези мне". Но ждать было долго, поэтому она заявила, что хочет не попугая, а лемура, и тут же нарисовала его, благо художница. Затем идея слишком уж "гуманоидного" лемура сменилась мечтой о лисенке, которого она сама воспитает, и я, втайне не разделяя ее желания иметь друга, кроме меня, мрачно сказал:— Его растерзают собаки.

— Почему? Я буду держать его в квартире, а прогуливать на поводке.

— Все равно растерзают — ты даже не успеешь оглянуться. Зачем его мучить? Лис должен жить в лесу. Заведи лучше собаку.

— Собаки — они слишком преданные, они рабы. Они зависят от человека, а лиса независимая. — И моя подружка тут же нарисовала независимую лису. Лиса была женского рода, чтобы я не ревновал.

— Кошки тоже независимые, — сказал я, но она только покачала головой. И вдруг, вся просяив, заявила:

— Я придумала! Мне нужно просто купить три чучела: попугая, лисы и лемура. Ты не знаешь, где их можно купить?

Но и тут я остался верен себе и пробурчал:

— Зачем? Одно чучело у тебя уже есть.

Идея иметь при себе постоянное, верное, но безответное существо, на роль которого не годились ни я, ни ее деловые приятели-коллекционеры, ни часто меняющиеся подружки, однажды воплотилась в лягушачьей парочке. Я пришел как раз, когда Улитка готовила жилье для своих новых холонокровных друзей. Жилье представляло собой огромный горшок из толстого прозрачного зеленоватого стекла, внутри горшка стояла наполненная водой одна из Улиткиных самодельных вазочек в стиле модерн, выкрашенная ярко-зеленой нитрокраской; возле вазочки, видимо для интерьера, Улитка положила огурец, разрезанный вдоль. Огурец был молодой и пупырчатый и походил на дальнего родственника новоселов.

— Только я пока не могу брать их в руки, — пожаловалась она. — Помоги мне. Осторожней! Они ужасно прыгают. Самец у меня уже выпрыгнул на сковородку, хорошо, что я ничего не готовила.

Я перенес холодных противных лягушек из пол-литровой банки в стеклянный горшок, и Улитка торопливо накрыла его альбомом Тинторетто. Она хотела накрыть куском оконного стекла, чтобы все видеть, но я боялся, что она обязательно поранится по близорукости, и настоял на безопасной крышке.

— Ладно, — уступила она, что бывало редко. — Пусть приобщаются к искусству.

Я уже не спрашивал, зачем вся эта затея, и не призывал к ответственности за пресмыкающихся. Я не был уверен, что мы несем моральную ответственность за тех, кого нельзя приручить. К тому же Улитка объяснила, что взяла их по протекции Димы из университетской лаборатории, где над ними проводят всякие мерзкие опыты и где лаборанты в обед готовят себе на спиртовках жаркое из лягушачьих лапок.

На следующий день она мне пожаловалась:

— Он ее не отпускает. Он сидит на ней и не отпускает. Я хочу его снять, а он сердится и пихается задними лапами.

— Не мешай, — сказал я. — У них любовь. Он ее любит.

— Разве так любят?! Он чуть не задушил ее, бедную. Он же ничего не делает, он просто сидит на ней и никого не подпускает. Собственник... Она красивая, она мне нравится. А он черный, противный.

— Только не мешай им, — сказал я с неопределенной верой в природный разум. — Он ее отпустит, когда нужно.

Но и еще через день самец продолжал упорно держать подругу в своих объятиях.

— Если ты не приедешь и не поможешь, — захныкала Улитка, — она умрет. Она уже совсем высохла. Он же не дает ей принять ванну. И накормить их надо...

Я приехал, глянул за стекло — и в самом деле самочка, более светлой расцветки, чем самец, с миндалевидным разрезом глаз, выглядела странно: кожа ее сморщилась, а пупырышки ссохлись в крупинки соли. Она часто дышала.

— Вот видишь, — сказала Улитка. — Я бы сама взяла, но я пока не могу их брать в руки. Ты меня должен научить.

— Ладно, — сказал я, будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за лягушками, и, сняв Тинторетто, решительно взял самца за холодную мерзкую спину.

Он тут же вякнул и лягнулся. Передние его лапки плотно обнимали самку подмышками.

— Он не хочет ее отпускать... — проныла Улитка. — Если бы я знала, я взяла бы только ее. Она такая красивая, тихая, умная. А он урод.

— Сейчас отпустит, — сказал я, начиная сердиться на сексуального уroda.

Самец снова недовольно квакнул, а скорее хрюкнул — звук был странным в солнечной Улиткиной комнате — и задние лягушачьи лапки поочередно торкнулись мне в ладонь. Я ухватил за одну из них и потянул из горшка. Я думал, что он тут же отпустит свою милую, но он продолжал мертвой хваткой держать ее, так что для надежности мне пришлось ухватить и вторую его лапку.

— Ой, как смешно! — закричала Улитка.

И в самом деле, было смешно, а может, страшно. Лягушки висели в воздухе — одна вверх, другая вниз ногами, сцепленные объятием, и походили на людей в минуту крайней, смертельной опасности. Казалось, самочке уже было все равно, настолько она устала и потеряла интерес к жизни за минувшие два дня неподвижности, но самец, хотя теперь он молчал, понимая, что

криком делу не поможешь, продолжал держать свою подругу так, будто иначе мир должен был рухнуть.

— Подожди, я сфотографирую, — сказала Улитка и побежала за фотоаппаратом.

Но я не мог ждать — вид их был мне невыносим, и я стал окуна́ть лягушек в вазочку, где Улитка устроила для них бассейн, в котором они почему-то не захотели плавать. Я окунал и поднимал и снова окунал, сдерживая подкатывающий ком тошноты, и вдруг самец отчаянно заверещал и остался висеть один, а самочка плюхнулась в воду и тут же вылезла из нее, то ли благодаря меня за свое освобождение, то ли ненавидя за него.

После этого прошел и час, и два, а лягушки теперь сидели порознь.

— Вот видишь, он и сам рад, что от нее отделался, — сказала Улитка. — У него просто был комплекс. Он только корчил из себя мужчину. Заиклился.

— Похоже на правду, — сказал я.

— Теперь их надо покормить. С руки.

— Что, они сами не могут поесть?

— Они реагируют только на движущуюся цель. Им надо открыть рот и затолкать кусочек мяса. Этого им хватит на неделю. Ты мне поможешь? Ну, лягушечка, скажи "а...".

Непросто было держать одной рукой скользкое тельце, держать так, чтобы не придавить, а другой, точнее — ногтем указательного пальца, пытаться открыть лягушачий рот. Молча, со стиснутыми зубами, они выталкивали себя на свободу, упираясь в руку передними лапками, и, похоже, были готовы скорее умереть с голоду, чем сказать элементарнейшее "а".

— Только не поломай им челюсти. Вообще-то нужен пинцет, но у меня нет пинцета...

Кое-как мы запихали той и другой за наждачную дужку зубов по крохе мяса, посадили в горшок и снова накрыли альбомом Тинторетто. Лягушки сидели за стеклом на задних лапках, высоко подняв головы, будто изучали репродукцию на обложке "Спасение Арсеной", и вроде выглядели хорошо, словно разделяя древний девиз соотечественников плененной царицы: "Хлеба и зрелищ!".

— Приходи, — позвонила через два дня Улитка. Поможешь мне их вымыть. Они тут весь горшок испачкали.

— Это икра, — сказал я, исследовав содержимое горшка. — Это лягушачья икра. Теперь у тебя будет тысяча головастика.

— Головастика не хочу, — сказала Улитка, — надо это выбросить. Неужели это икра? И все из самочки? Когда они успели?

— Если б не мы, она бы еще наметала тебе икры.

— Нет уж, спасибо. Ну, поддержи же их, пока я выброшу эту гадость.

— Ты влезла в их жизнь, — сказал я, — так принимай их законы.

— Нет, — покачала головой Улитка, — я вообще решила его отсадить. Или бросить в канал. Он ей не нужен.

— В канале он не выживет, — сказал я.

— Все равно, — пожала она плечом.

Мы очистили горшок от икры, в вазочку налили свежей воды, пересадили помытых пресмыкающихся, прикрыли альбомом, где нагая Арсеноя в объятиях железного рыцаря напоминала недавнюю сцену из лягушачьей жизни. Видно, мы оставили слишком большой зазор для притока воздуха, и самец под впечатлением от услышанного сбежал. Когда именно он сбежал, мы не заметили. Только уходя, я обнаружил, что в горшке одна самочка.

— А ну его, — отмахнулась Улитка. — Не ищи. Пусть ползает где хочет.

Но тут под шкафом, где были свалены вороха бумаги с рисунками, раздался шелест, и я понял, что это самец. Там я его и выловил. Был он в пыли и паутине, но глаза его лихорадочно блестели, и в горшок возвращаться он не хотел.

Когда я пришел снова, Улитка сказала:

— Знаешь, она умерла... Не понимаю почему. Я их рассадил. Он у меня сидел в банке, в туалете, а она в горшке. Я постелила ей травы и листьев. Ей было хорошо. А вчера ночью я рисовала, и вдруг будто кто меня позвал. Я подошла — а она лежит мертвая и смотрит полуприкрытым глазом. И тут еще почему-то свет выключили. Какие-то тени с улицы, шорохи, и она мертвая. Мне стало так страшно... Ну почему она умерла?

Провожала она меня с самцом в руке — как и обещала, она научилась брать в руки лягушек — и на ее лице было странное выражение детской жестокости, когда, скажем, дети отрывают у мухи крылышки.

"Ты ведь меня знаешь — я и мухи не обижу".

Как и намеревалась, она спустила самца в канал, не спросил в какой, скорее всего, в Мойку, так как она неподалеку зарабатывала на своих портретах, и голос Улитки в трубке сказал:

— Ты можешь сейчас приехать?

— Да, — сказал я.

— Приезжай, пожалуйста. Я получила от отца телеграмму — бабушка умерла.

В тот вечер я понял, что все-таки плохо знал Улитку. Первые слова, которыми она встретила меня, открыв дверь, меня поразили:

— Не волнуйся. Уже все хорошо. Я справилась с собой. Я знаю, бабушке было бы тяжело видеть мои слезы. Давай пить чай, чайник сейчас закипит.

Только говорила она больше обычного, больше и торопливей, словно боясь паузы молчания, чтобы та не поглотила ее.

— Оставайся сегодня со мной, — сказала она, и я остался.

В постели она стала целовать меня, и мы любили друг друга. И только в середине ночи я проснулся оттого, что она вдруг отчаянно прижалась ко мне и я ощутил щекой, что ее лицо мокро от слез.

— Мне страшно, — сказала она.

А потом я уехал в командировку на Север по своим музейным делам. Она ждала отца, и я был за нее спокоен. На похороны она не ездила, и я ее понимал — ей хотелось, чтобы в памяти бабушка оставалась живой. Командировка была долгой — целых полтора месяца, и я посылал письма с Соловков и из Архангельска, из Холмогор и Верколы, из Карпогор и Каргополя. По пути с Соловков наш "Юшар" попал в шестибалльный шторм, а по материку уже шла зимняя поземка — обо всем этом я писал Улитке, и еще — о церквах, вернее об остовах, каменных и деревянных, я писал об ободранном иконостасе в соборе напротив Верколы и о сумасшедшем доме в бывшем мужском Красногорском монастыре близ Архангельского биозаповедника, где в 1714 году кончил

свои дни опальный князь Василий Голицын, любовник царицы Софьи, светлая голова. Впрочем, от монастыря там остались только стены собора шестнадцатого века, а сумасшедшие — это был женский сумасшедший дом — жили в бараках; однако я избегал мрачных красок, шутил по поводу и без повода и трагедию старался подменить лирикой. Я как мог развлекал Улитку на расстоянии, считая, что больше других могу ее поддержать. Только два раза мне удалось ей позвонить, она сказала, что болеет, что у нее воспаление легких, но от больницы она отказалась. Первый раз трубку поднял ее отец, второй раз — уже она сама, говорила бесстрастно, потухшим голосом, но успокоила, сказала, что о ней тут заботятся и она уже идет на поправку. И все-таки волна безнадежности вдруг окатила меня, и я спросил то, что не следовало спрашивать: "Ты меня любишь?" И, поскольку она не спешила с ответом, задал вопрос полегче: "Ты хоть скучаешь обо мне?"

— Знаешь, я как-то отвыкла от тебя, — честно сказала она. Она всегда старалась говорить то, что у нее на уме и на сердце. — Но ты приезжай. Когда ты приедешь?

— Скоро, — сказал я, полный смутной тревоги.

— Хорошо, — сказала она. — Ты меня прости, у меня тут как раз врач...

— Что ж ты сразу не сказала?

— Ну... ты звонишь издалека.

Я вернулся через две недели после звонка. Был конец ноября, и Ленинград тоже покрылся снегом. Только на Севере снег был чище. Я хотел сразу поехать к ней, но она сказала по телефону:

— Лучше приходи ко мне на работу.

— Разве ты работаешь? — удивился я.

— Да, — сказала она. — Третий день. Дима устроил в универе, в лабораторию. Не рисовать же на улице...

Досконально изучив за пять лет катакомбы филфака, я и не подозревал об этой, всего через двор, лаборатории кафедры физиологии высших животных. Я прошел через здание филфака, которое некогда было дворцом, а теперь походило на захламленное складское помещение, на кладовку, куда свалили за ненадобностью нежные гуманитарные науки, вышел во двор и нырнул под арку. Приходил я сюда редко, не чаще раза в год и только по делу, и ничего во мне не вздрагивало, и не хотелось заново стать студентом, и мои обрюзгшие, оплешивевшие сокурсники, превратившиеся в солидных преподавателей, были мне столь же неинтересны, сколь и я им. О своей молодости я здесь никогда не вспоминал.

Улитка ждала меня.

— Здравствуй, — сдержанно улыбнувшись, шагнула она ко мне, и я обнял ее. Но объятие наше вышло спокойным, и я подумал: в самом деле, как быстро мы отвыкаем друг от друга. Хотя от прикосновения к ней, от знакомого ее запаха у меня закружилась голова, и мне понадобилось усилие, чтобы не выдать себя. Сдержанность в чувствах — стиль нынешней молодежи, и я не рискнул выглядеть старомодно.

Улитка будто поблекла за нашу разлуку, ее медные с позолотой волосы грустно распрямились, большие близорукие бирюзовые глаза смотрели не в свою сумасшедшую даль, а просто перед собой, будто что-то утратилось, и в движениях ее, обычно легких, порывистых, появилась какая-то неуверенность; улыбка на смуглом азиатском лице выглядела виноватой, а ямки в уголках своенравных губ стали глубже и затемненней, как у горько затаившегося человека. И все же это была она, эльфическая, бестелесная и телесная, одинокий белый зонтик с головы одуванчика, тычинка, летящая по воле ветра неведомо куда, шурясь на солнечные небеса.

— Подожди меня, — сказала она, — я скоро освобожусь.

Рядом за стеной раздавался безнадежный собачий лай.

— Что ты тут делаешь?

— Кормлю кошек и собак. А еще белых мышей. Знаешь, мне с ними легче, чем с людьми. Они добрые, беспомощные, они не умеют обижать.

— Зато вы их обижаете. Ты их кормишь, а потом им отрезают головы...

— Я этого не вижу...

Строго говоря, это была не лаборатория, а лишь ее подсобная служба: кормокухня, дежурка — три маленькие кривые комнатенки, да еще где-то там тюрьма. В первой комнатухе, кроме холодильника и стеклянных шкафов, была клетка с волнистыми попугайчиками. Во второй — газовая плита, на которой стояла большая кастрюля с рисовой кашей для кошек. Меня Улитка посадила на стол в третьей комнатухе. На столе была амбарная книга. В книгу заносился приход и расход собак, мышей и кошек. Животные выдавались по заявкам с подписями и печатью. Справа от меня было окно, веющее холодом, за ним уже стягивались сумерки, а передо мной — дверь, за которой возилась возле плиты Улитка. Она варила кашу, добавляя концентрированное баночное молоко. Через дверь мы и разговаривали.

— Тетки сгущенку домой уносят, а я даю двойную порцию, нечего у кошек красть... Ой, знаешь, а от мышей можно подхватить чуму. Они кусаются, одного нашего сотрудника укусила чумная мышь. А еще можно заразиться, если на руках есть ссадины. Меня тоже чуть не укусила мышь. Но я сразу протерла пальцы перекисью водорода. Надеюсь, ничего не будет. А знаешь, — со знакомой звонкой интонацией радостного возбуждения сказала она, — они такие умные! Они все понимают. Они чувствуют человека, его характер, настроение. Если их боишься, они сразу это чувствуют и становятся агрессивными. Из клетки их надо брать только за хвост. Если берешь решительно, они не дергаются, они покорно висят вниз головой и не возникают. А если ты не в себе — обязательно укусят. А собаки... они все время лают, они тоже все чувствуют. Они понимают, что ничего хорошего их не ждет.

— По-моему, это совсем не то, чего ты хотела...

— Да... но я их жалею. Кормлю... На меня они не лают.

— Это совсем не то, — сказал я, будто теперь она посягала не только на свои недавние планы, но и на мои в придачу.

— А, неважно, то или не то... — поморщившись, тряхнула она головой, будто вдруг согласившись, что мечты мечтами, а жизнь жизнью. Казалось, она хотела вернуть меня туда, откуда сама же и увела.

Тем временем каша сварилась, и Улитка перевалила ее из кастрюли в большой алюминиевый таз.

— Хочешь посмотреть на моих бедных кошек?

Я покачал головой.

— Почему?

— Они прооперированные, в бинтах?

— Да, есть несколько...

— Не хочу.

— Бедный, у тебя слабые нервы. Фу, какая горячая! Надо остудить. Ты можешь пока вынести ее на крыльцо. А я отнесу мяса собакам.

— А собаки здоровые?

— Здоровые.

— Я схожу вместе с тобой.

Собаки сидели по большим клеткам, где можно было разместить и тигров. Собак было пять, крупных дворняг разного возраста и неясной масти. Увидев нас, они еще пуще залаяли, жалуясь на свой удел и в то же время понимая, что мы им не поможем. Улитка просунула между толстыми прутьями клетки по кости с мясом, и собаки, даже не повиляв в благодарность хвостом, как-то обреченно принялись за еду.— Давай их выпустим, — сказал я. — Пусть бегут...

— Зима... Они умрут с голоду.

— Не умерли же до сих пор. Вон какой старый пес. Выпусти. Свобода дороже.

— Им не нужна свобода. А меня уволят. Мне нужно работать.

Старый пегий кобель с напрягшимся красным мужским органом даже есть не хотел. Тревога за свою жизнь была в нем сильнее голода, и он просительным побрехивал в нашу сторону, словно понимая, о чем разговор. То и дело он вскакивал с холодного цементного пола и подбегал к решетке, и я заметил, что задние ноги его плохо слушаются.

— Как ты можешь работать в такой живодерне?

— Знаешь, — сказала Улитка, близоруко поглядев мимо меня, — мне сейчас все равно. Скорей бы зима прошла. Я хочу лета, солнца...

Наконец все были накормлены, Улитка заперла двери, но входная не запиралась, заело замок, и Улитка махнула рукой:

— А ну их! — будто оставив зверям шанс на нечаянное освобождение.

— Пойдем пешком, — сказала она, и мы пошли — сначала по двору Двенадцати коллегий, затем по набережной и через Неву по Дворцовому мосту. Дул ледяной ветер, но поверхность воды еще не схватило, и возле гранитных быков моста, быстро работая лапками против сильного течения, держалась стая уток. Кто-то, перегнувшись через перила, бросал им куски хлеба.

— Они тоже замерзнут, — вздохнула Улитка. — Никто не знает, сколько их останется к весне. Почему они, глупые, перестали улетать?

Я думал, мы пойдем к ней домой, но после "Лавки художников", что на Невском проспекте, она вдруг предложила:

— Знаешь что, сходим в кино...

Два часа мы потеряли на какую-то муру, а когда вышли в холод и тьму и отчаянный неуют нашего городского предзимья, Улитка сказала:

— Ты просто проводи меня, и все. Ладно? Я устала. Я хочу побыть одна. Мне все равно сейчас ничего нельзя.

Она следила за выражением моего лица, но я просто кивнул:

— Хорошо.

Она действительно выглядела утомленной.

— Я еле выползла из этого воспаления легких, — словно оправдываясь, сказала она. — Почти месяц...

— Ты еще при мне стала кашлять.

— Да... Все из-за улицы. Сидишь целый день в колготках...

— Я же говорил: теплой одевайся. Сколько раз говорил...

— Ты ведь знаешь — я не могу кутаться. Должно быть легко, свободно, красиво, должно быть эстетично.

— Ну да, ради эстетики можно и поболеть.

— Можно. Если бы я не смотрелась, никто бы ко мне не сел. Ты же знаешь, на художниц смотрят с недоверием — что они могут... Ой, я так противно болела. Мне очень помог один врач, приятель моей подруги. Если бы не он, я уж не знаю. Он почти каждый день ко мне приходил, я ведь плашмя лежала. Отец четыре дня побыл и смотался, а мне даже есть было нечего. А потом я стала вставать, снова рисовать стала, а врач придет и стоит за мной, смотрит, смотрит и спрашивает, почему это, почему то. Он любит живопись и сам немножко рисует. Но он типичный дилетант, не понимает, что такое тепло-холодность, их соотношения... Я рисую, а он смотрит как на чудо... Он правильно чувствует, но он хотел, чтобы я ему все объяснила. Я ему говорю — в искусстве ничего нельзя понять до конца. А он говорит: то же самое и человеческий организм. А что врачей учат лечить только тело, как будто душа ни при чем. Он интересный человек. Ему кажется, что, если он поймет законы живописи, он будет лучше лечить. Он и так хороший терапевт.

— Сколько ему лет?

— Не спрашивала. На вид лет тридцать пять.

— Хороший возраст, — сказал я, вспомнив себя в тридцать пять.

Дворик ее дома лежал в грустном снегу.

— Все, спасибо, не надо подниматься, — сказала Улитка возле лестницы. — Я тебе сама позвоню.

— Когда? — спросил я.

— Ну... — поморщилась она. — Позвоню.

— Прости, — сказал я. — Проклятая привычка к точности.

Я притянул ее к себе и прикоснулся губами к ее щеке. Улитка смотрела в сторону. Тело ее было напряженным.

Весь следующий день я напрасно бросался к телефону — к рабочему и домашнему — и вечером, не выдержав, сам позвонил:

— Ты что, совсем по мне не соскучилась?

— Почему? — тревожно ответила она. И уже спокойнее, просительней: — Ты же знаешь, сейчас мне нельзя.

— Я не об этом.

— Игнат, — сказала она, что прозвучало неожиданно, так как обычно она звала меня теплее, — Игнат, не будь занудой.

— Не буду, — сказал я. — Но ты больна, и я хочу быть рядом, хочу тебе помочь.

— Не надо мне помогать. Ты же знаешь меня. Я никогда никого ни о чем не прошу. Только в крайних случаях. Мне так легче.

— Но я твой друг, — сказал я, чувствуя, что вот-вот понесу жалкую околесицу.

— Если ты друг, ты должен понять меня.

— Разве я не понимаю? — сказал я, хотя ничего не понимал.

— Игнаша, у тебя сейчас есть дела?

— Как всегда.

— Вот и займись ими. А я... — она сделала паузу, — а я буду думать о тебе.

Утром она сама мне позвонила:

— Представляешь, вечером, только мы с тобой поговорили, приходит...

— Кто?

— Врач этот... Бороду сбрил, подстригся, наодеколонился чем-то дорогим, импортным. С цветами. И вдруг на колени — бух! Представляешь? Умолял меня стать его женой. Он ведь знал про тебя, я ему рассказывала. Он страшно боялся твоего возвращения. И вот, пожалуйста... Я, конечно, ему многим обязана — он очень помог, буквально вытащил... Но если б не он, был бы кто-нибудь другой. Я не считаю, что я ему что-то должна. Если он влюбился, это его проблема. Я так и сказала. У меня есть ты. Он знал, что я тебя жду. Я ему сказала: "Все понимаю, но извини..." А он: "Ты моя судьба, мой рок... У меня тысяча женщин, как женщина ты мне не нужна, мне нужна твоя душа". Я даже обиделась — как это "как женщина не нужна..."? А он: "Я ничего не прошу, делай что хочешь, живи как хочешь. Я буду давать тебе любые деньги, ты ни в чем не будешь нуждаться... Только твоя душа мне нужна..." Он... Он, знаешь, как дьявол. Мне даже не по себе стало. Есть в нем какая-то сила... Вот уж не ожидала такого поворота.

— Это в тебе есть сила, — сказал я. — Он это чувствует, и он в ней нуждается. Я ведь тоже нуждаюсь.

— Бедные вы мои...

— Мы сегодня встретимся?

— Да, — сказала она.

Вечер мы провели у меня. Улитка была непривычно сдержанной, как бы что-то обдумывающей.

— Ну все, мне пора, — сказала она, поднеся к своим глазам мою руку с часами.

— Ты не останешься?

— Нет. Ты же знаешь, я могу спать только у себя дома. В гостях я не выплусь. К тому же он, наверно, ждет меня...

— Кто?

— Ну, врач этот... Он вчера, когда уходил, взял у меня второй ключ. Я должна с ним разобраться.

— Я поеду с тобой.

— Я сама. Еще не хватало тебя в это впутывать. Уж как-нибудь сама разберусь.

— Оставайся у меня. Оставайся, прошу тебя! Пожалуйста... И разбираться не надо. Ты останешься у меня, и он все поймет.

— Нет, он будет ждать. Я чувствую, что он ждет на лестнице. Я поговорю с ним. Не хочу откладывать. Я поеду. Вызови мне такси.

Я вызвал такси, дал ей денег.

— Целую тебя, — сказала она, перед тем как захлопнуть дверцу. И теплая машина унесла ее

Спал я плохо, и снилась мне всякая чертовщина. Своим соперником я врача не чувствовал. Я все же знал Улитку. Я знал, что на чужую силу реакция у нее однозначная. Врач выбрал самую проигрышную тактику. С Улиткой это у него не пройдет. Я был спокоен за нее, хотя и был готов вмешаться. Но мне пока там нечего было делать. Она не нуждалась в моей помощи. К тому, чтобы вмешаться, меня подталкивали скорее правила игры, чем реальный повод. Врача можно было понять. Только вот ключ он взял напрасно. Это он от отчаяния.

Бедняга.

— Ну как? — позвонил я утром.

— Он не приходил, — сказала Улитка. В голосе ее была досада. — Мне не нравится, что у кого-то ключ от моей квартиры...

— Я все-таки поеду бить ему физиономию. Где он работает?

— Что ты... он высокий, здоровенный... Не хочу тебя впутывать. Он вернет, я позвоню, чтобы вернул.

— Ты уверена, что обойдешься без меня?

— Не волнуйся, Игнаша. Ты же знаешь, что я вообще никого и ничего не боюсь...

— А есть чего бояться? — голос мой прозвучал неожиданно для меня самого.

— Не знаю, есть или нет, но это мое личное дело, Игнаша.

— Мне это не нравится, — сказал я.

— Не будем об этом... Я начинаю жалеть, что тебе рассказала. Я думала, ты мудрее. А ты ревнивец...

— Я и не ревную, мне не к чему ревновать...

Но я ревновал. Я уже ревновал. Ведь ревность — это всего лишь потеря уверенности. Я подумал, что врач не так уж груб и прямолинеен. Это, кажется, был опытный соблазнитель. Паузу в их отношениях он сделал очень точно. Он заставлял думать о себе. Не ключ ему был нужен — ему было нужно протянуть между собой и Улиткой тонкую паутинную ниточку, а затем набавлять, набавлять кольца... Я снова побывал у нее на работе, но даже к собакам не пошел. Две парочки зеленых волнистых попугайчиков, как и два дня назад, пребывали в той же радостной тусовке и, кажется, единственные не ждали от будущего ничего плохого.

— Сегодня решающий разговор, — сказала Улитка. — Я позвонила ему, он придет.

Я пошел ее провожать. По пути мы зашли в магазин и купили еды. Возле своего дома она сказала:

— Все, дальше не надо. А то он может нас увидеть...

— Ну и что?!

— Он знаешь какой ревнивый...

— Ты о чем? — опешил я.

— Людей надо жалеть, — поспешно сказала она. — Так бабушка мне говорила.

— А меня тебе не жалко?

— Я же с тобой.

— Ты уверена, что обойдешься без меня?

Вместо ответа Улитка положила руку мне на плечо, коротко прикоснулась губами к моей щеке и, подхватив сумку с продуктами, исчезла в парадной. Я остался один в стылой ноябрьской тьме, припорошенной грязноватым снегом. На душе у меня было мутно. Я пошел назад к метро тоскливыми вечерними дворами, под пятиэтажными рядами освещенных окон, и вдруг остановился. "Ты ее теряешь", — сказал во мне голос. Чувство потери — это уже было, это было, когда мы только познакомились, паническое ожидание, что с ней что-то случится, но потом это прошло. И вот... Что же делать? Ввалиться сейчас к ним? И только все испортить? Драться? Это уже из ряда вон... Последний раз я дрался из-за девушки в так называемом комсомольско-молодежном лагере. Мы оба будем ей отвратительны, и она обоих нас выгонит. Но почему он, чужак, с ней, а я здесь один в промозглой тьме? Почему с ним надо считаться, а со мной нет? Почему я должен быть великодушным? Великодушие — ловушка для простаков. "Тебя обманывают", — сказал мне голос, и теперь он почти кричал: "Тебя водят за нос, ты глуп, ты наивен, ты смешон! У тебя из-под носа уведут Улитку, а ты играешь в благородство!"

Я пошел, почти побежал обратно к дому. Я зашел с тыльной стороны, куда выходили ее окна, и поднял голову. Сначала мне показалось, что я ошибся, — ее окна были темны. Вернее, темным было кухонное окно, а в комнате мерцал, вздрагивал голубой телевизионный свет. Но это были ее окна. Они должны были быть ярко освещены, они должны были гореть огнем схватки! Странно выяснять отношения перед экраном телевизора... Может, она одна? Может, он снова не пришел? Я хотел было подняться, но какая-то сила удержала меня, толкнула в грудь, и я пошел прочь, спотыкаясь и не понимая, куда я так спешу. Передо мной оказалась телефонная будка. Я заложил две монетки и набрал номер.

Улитка сразу сняла трубку, будто ждала звонка:

— Да? — Голос у нее был твердый.

— Это я, — сказал я. — Он у тебя?

— Да, — сказала она.

— Я сейчас приду, — сказал я.

— Нет, не надо, — сказала она. — Мы же договорились.

— Я так не могу, — сказал я.

— Если ты придешь, будет только хуже.

— Хуже уже некуда.

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду, что он с тобой, а я нет.

— Я же тебе все объяснила!

— Я все равно не понимаю. Я сейчас поднимусь, и мы быстренько разберемся.

— Я тебя прошу, ты слышишь, я тебя очень прошу не делать этого!

— Почему я должен тебя слушать? — спросил я ее, а скорее — самого себя.

— Все будет хорошо, — сказала она.

"Все будет хорошо", — думал я, трясаясь в порожнем вагоне глубоко под землей, или глубоко в земле, под леденеющим где-то далеко наверху ноябрьским городом.

Утром в телефонной трубке раздался ее радостный голос:

— Похвали меня. Все-таки я молодец! Я вчера одержала такую победу! Не представляешь, как это было трудно! Да... я сама себя поздравляю. В конце концов я сказала ему: "Хорошо, я буду твоей женой. А он, то есть ты, будет моим любовником". Он корчился, корчился, но я его уломала. Он согласился. Слышишь? Ужас хлынул мне в душу. Со мной говорила сомнамбула.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — сказал я. — Ты отдаешь отчет своим словам?

— Конечно, — сказала она уверенно и бодро, как говорила всегда, когда была глубоко убеждена. — Ты ведь меня знаешь... Для меня жизнь — в общем, игра. Компромисс. О, я еще раз убедилась: компромисс — великое дело.

— Ты же со мной! — крикнул я. — Разве я не предлагал тебе руку?! Давай поженимся — одно твое слово, и мы поженимся!

— Зачем? Я не хочу впутывать тебя в свои дела. Ты светлый, я не хочу пользоваться тобой. Я тебя берегу. Я хорошо подумала: пусть он меня содержит, у него много денег. А любить я буду тебя.

— Это не ты... — крикнул я. — То, что ты говоришь, — страшно!

И тут она заплакала, она зарыдала. Я никогда не слышал, как она плачет. Когда умерла бабушка, она плакала молча, в ночи, сквозь мой сон.

— Что страшно?! А как я живу, не страшно?! Одна, все одна, с пятнадцати лет, все на себе, на своих плечах, как мужик! Я женщина, я хочу быть слабой! Я хочу только рисовать, и больше ничего! И пусть обо мне заботятся, пусть содержат! Я устала так жить! Я устала бороться!

— Я буду заботиться о тебе! — крикнул я. — Я сейчас приеду! Ты где, ты дома?

— Меня не будет дома! — крикнула она. — Я уйду. Я спрячусь от всех вас! Вы мне все противны! Бесконечные звонки, выяснения, угрозы. Что я вам сделала?!

— Что ты, — испугался я, — разве я угрожаю?

— И ты, и он, и еще там двое! Чтобы вы все встретились и перегрызли друг другу глотки!

— Это ты мне говоришь?! Что с тобой? Я сейчас приеду! Ты дома?

— Меня нет! Я нигде! — И в трубке раздались гудки.

Я тут же набрал ее номер — она не ответила. Я набирал и набирал, но телефон молчал.

К трем часам я поехал к ней на работу. "Она сегодня не работает", — сказали мне. Я снова набрал ее номер, но телефон намертво молчал, и я почувствовал, что ее квартира действительно пуста. Вечером трубку сняли, и мне ответил вежливый голос мужчины. Я понял, что это он.

Я взял себя в руки:

— Позовите, пожалуйста... — Да, я просил его позвать к телефону мою Улитку.

— А кто ее спрашивает? — так же вежливо и спокойно осведомился голос.

— Какого черта?! — взорвался я. — Это не ваше дело. — И тут же был наказан гудками.

В ее квартире сидел человек, решивший сыграть на все, что только у него было, до конца.

Я набрал номер. Он ответил.

— Послушайте, это снова я, — сказал я. — Мне нужно поговорить с Улиткой.

— Она просила спросить, кто у телефона, — сказал голос с легким оттенком сожаления.

Скрипнув зубами, я назвался.

— Она просила передать, что не хочет с вами говорить, — вежливо, без злорадства сказал голос.

— Да?... — растерялся я и замолчал.

Голос тоже молчал в ожидании, а я видел перед собой бледное, бескровное лицо Улитки с плавающими глазами и чувствовал, что она действительно не хочет со мной говорить, и вопиющая очевидность этого никак не укладывалась в моей голове. Я молчал и, пожалуй, даже вызывал сочувствие в том, кто слышал на другом конце провода мое молчание...

— Ну что ж, — выдавил я наконец и повесил трубку.

Ночью я проснулся от дикой, невыносимой тоски и понял, что он остался с Улиткой. В девять утра я медленно набрал ее номер. Рука моя дрожала. Меня трясло.

— Слушаю вас, — спокойно ответил его утренний голос.

Я нажал на рычаг и засмеялся.

В четыре часа дня я подходил к ее лаборатории. Первый день декабря выдался еще холоднее вчерашнего, ноябрьского, ударил мороз, сковав город грязной ледяной коркой, и люди шли, семена по-стариковски, чтобы не упасть. Возле лаборатории меня снова стало трясти. Может, она и сейчас не одна? Но мужское лицо, сумрачно глянувшее на меня из окна лаборатории, вряд ли принадлежало моему сопернику. — А она вышла на полчаса, — приветливо ответила мне лаборантка, а мужчина, сидевший в последней комнате, где два дня назад сидел я, еще раз взглянул на меня в том смысле, что, мол, я здесь потерял. Нет, на терапевта он не походил, скорее — на поставщика бездомных кошек и собак — рупь штука или треха... Я поколебался, уходить или нет, и сотрудница Улитки, тридцатилетняя, спокойная, румяная, телесная, уловив мое невнятное движение, сказала: — Можете подождать, она скоро вернется.

Улитку здесь, видимо, любили.

— Спасибо, я еще зайду, — сказал я и вышел.

Улитка могла явиться не одна, но только одна она мне была нужна, и я встал на часах. Я встал так, чтобы не бросаться в глаза и все видеть; университетский люд сновал туда и сюда между главным зданием и зданием бухгалтерии, где в мое время размещался журфак, между филфаком и зданием факультета физкультуры, похожим на тюрьму, откуда я когда-то выходил с поцарапанной о ковер физиономией, — я занимался самбо и даже имел какой-то разряд, потом раза два в жизни мне это пригодилось. Но там было все просто, все понятно. Теперь же я не понимал ничего. Я ждал ее, чтобы спросить. Я хотел из ее уст услышать свой приговор. В жизни бывает все, даже то, чего быть не может, и я не должен, не должен спешить с выводом. То, что она не захотела со мной говорить, само по себе не говорило ни о чем. То, что он там остался, значило не больше, чем остальное. Он остался из-за меня, чтобы я не пришел, это ясно. Квартиру он взял приступом, но Улитку таким макаром он взять не мог. Плохо он ее знает.

Время шло, а ее все не было, и люд, проходивший в одном направлении, теперь спешил обратно, с любопытством поглядывая на меня, ибо я был все там же, промерзший и примерзший, как волк у проруби. Прошло и полчаса, и час, и только через час пятнадцать из-за домов со стороны главного здания университета появилась она, в своей голубой куртке, в черных, под кожу, брюках, в татарской меховой шапке хвостами назад, с распущенными по спине волосами, выходящая походка, какая бывает у стройных длинноногих женщин с узкой талией. Она быстро прошла мимо, не заметив меня, и я, сделав в ее сторону несколько поспешных шагов, хриплым голосом выкрикнул:

— Улитка, подожди!

Она обернулась, остановилась без удивления, без радости и без досады.

— Здравствуй, — сказал я. — Я только на пять минут. Я сейчас уйду. Только спрошу тебя и уйду.

— Хорошо, — спокойно и просто сказала она. — Пойдем. Здесь холодно... — И протянула мне руку, как ребенку на перекрестке.

Как же было тепло в лаборатории! Мы прошли в последнюю комнату, где теперь было пусто — ни кошкодава, ни лаборантки, — Улитка присела на край стола, а я остался стоять. — Раздевайся, — сказала она. — Замерз?

— Слегка, — сказал я. Замерзшие губы меня совсем не слушались.

— Что ты хотел спросить?

— Что произошло, Улитка? — сказал я. — Ты даже не подошла к телефону.

— Я не хотела при нем с тобой говорить.

— Что случилось? Чем я тебя обидел? Я сделал так, как ты просила. Я поверил. Я думал, ты лучше меня знаешь, как поступить.

Улитка опустила голову, потом упрямо подняла, но посмотрела мимо меня:

— Да, получилось не так, как я думала... Он оказался сильнее. Я подозревала, что он сильнее меня...

— Он был с тобой ночью? — с трудом спросил я.

— Да, — сказала она. — Он остался, чтобы меня охранять. От всех. И отвечать на звонки. — И, взглянув на меня, добавила: — Но мне ничего нельзя, ты же знаешь...

А я почему-то посмотрел на ее таитянские своенравные губы с глубокими ямками в углах рта, я знал, как эти губы могут ласкать.

— В чем я виноват перед тобой? — спросил я.

— Это я виновата, очень виновата, — сказала она. — Но сейчас я иначе не могу. Меня слишком глубоко затянуло. Прости меня. Я, наверно, грязная женщина. Думай что хочешь. Я заслужила. Но я к тебе вернусь. Однажды я к тебе обязательно вернусь. Я захочу вернуться. А ты решишь — сможешь ли ты меня снова принять или нет. А сейчас мы должны расстаться. Это все, что я знаю.

— Хорошо, я буду ждать тебя, — сказал я, встал и пошел к выходу.

Когда я проходил мимо окна, она сидела в прежней позе, голова ее была опущена.

Видела по телевизору очень тяжелую корриду, которая мне приоткрыла новые законы (я их не знала раньше) и которая потрясла меня своей жестокостью, хотя, поверишь ли, я фанатичная приверженка корриды.

Дело в том, что во время этой корриды начался ливень, публику как ветром сдуло под навесы наверху, а круглая арена в какие-то секунды превратилась в бассейн. В корриде, как ты знаешь, участвуют три матадора и шесть быков, то есть на каждого по два быка, по два выхода. Все ждали решения президента корриды. Я в своем углу просто не сомневалась, что коррида не состоится. Пока президент думал, выходил на арену, матадоры, а в основном их помощники,

пробовали, увязая ногами, эту песочную хлябь, качали головами, хмурились, кто-то из них даже переругивался с публикой, требующей продолжения. Слов не было слышно, но и без слов все было ясно. Публика из укрытия — давай, давай, мол, уплотнено! А с арены — а ну-ка спустись, спустись, попробуй сам!

Публика, возбужденная дождем и теснотой там, наверху, требовала зрелища, и президент смалодушничал, это зрелище разрешил, выбросив через балкон своей президентской ложи белый платок. И началось... падающие разгневанные быки, падающие с завязанными глазами лошади (не знают, бедные, ни куда падают, ни откуда эти безумные удары под брюхо), замкнутые лица матадоров, гордая независимость там, на середине арены, наедине с быком, по щиколотку в воде. О-ле!.. О-ле!.. О-ле! Ливень не смущает темпераментных зрителей, а плащ — опора, спаситель матадора — предает, не взмывает, подло липнет к телу. Не успевает оторвать его от себя матадор и, поддетый рогами, описав правильный полукруг в воздухе, всем телом плашмя падает в грязь под рога к быку. И так лежит, без движения, без сознания, открытый этим рогам. Тут подоспели помощники и отвлекли быка, уже собиравшегося еще раз поддеть неподвижного матадора. Унесли тело...

Вышел один из двух оставшихся матадоров и довел ритуал до конца — убил быка. Он был цыган по национальности, красивый, с пластикой танца в движениях; хотя что там можно было показать под этим сумасшедшим ливнем? Так вот, убив этого быка, он вынужден был снова выйти, так как второго матадора бык тоже поднял на рога, и не один раз. Он снова вышел и убил быка-убийцу, а в загоне еще оставалось четыре быка, и по законам корриды они тоже должны были быть убиты, независимо от количества матадоров...

Матадор-цыган снял туфли и босиком провел еще четыре схватки под ливнем. И каждый раз соблюдался ритуал от начала до конца, с почетным проходом по кругу после убийства быка, с уходом за загородку и опять с выходом на новый бой... Только выходил все тот же единственный оставшийся боец. Когда последний бык упал, когда закончилась коррида, закончился и дождь, и потрясенные зрители бросились вниз, подняли на руки матадора и понесли его над собой по кругу арены. Его несли, а он плакал. И это не были слезы радости. Конечно, все знают, что матадорам платят большие деньги, за корриду — два миллиона песет, а то и больше, однако до этого я как-то все думала за искусство, за риск... Но вот чтобы их так легко за эти деньги посылали на смерть — этого себе не представляла. И вот увидела. Вот оттого он и плакал, этот матадор. От унижения.

Конечно, понимаю, все относительно. Посылают на верную смерть и за бесплатно, но то уже другие игры, не зрелище, не театр, не представление...

НЕУЖТО настал черед корриды? Неужели без нее не обойтись? Как мне о ней рассказать, почти ничего про нее не зная? Так и остаться в позе спасительного незнания? Но о корриде так не получится — другая мера чувств, другие страсти: жизнь и смерть схватываются взаправду на твоих глазах, и неизвестно, чем это кончится... О корриде я читал у Мериме, Бласко Ибаньеса, Хемингуэя и Карлоса Рохаса в его романе "Долина павших", хотя роман не о ней, а о Гойе, но и у Гойи есть коррида, и еще у Пикассо — целый цикл, всегда меня волновавший, под названием "Тавромахия", то есть искусство корриды. Бык по-испански — торо, а того, кто выходит его убивать, называют тореро, или матадор. Нашему уху привычней "тореадор", но это французский вариант. Кармен у нас тоже известна как Кармен — все из-за тех же французов — Мериме, Бизе... Еще в прошлом веке, пока не пробили тоннели для железной дороги через Пиренеи, Испания считалась труднодоступной страной. Путь посуху лежал к ней через Францию, и для нас, русских, Испания долго существовала во французском переложении.

У тореро, которого еще называют эспада, много помощников — пеших, как он, и на лошадях. Тот, кто на коне, с пикой, зовется пикадор, а того, кто втыкает быку в загривок маленькие разноцветные то ли пики, то ли стрелы, зовут бандерильеро. Есть еще пеоны — то бишь самые младшие тореро, словно забредшие сюда из мудреных книг по технике стиха... Поначалу тореро вооружен лишь малиново-красным плащом с желтым подбоем, и только под конец ему разрешают

взять шпагу. Если дело дошло до шпаги, то чаще всего ясно, кто кого, а пока у тореро только плащ, может быть всякое. Схватка же состоит в том, что бык нападает, а тореро защищается. Защищается тореро тем, что вместо себя подставляет атакующему быку плащ. Со стороны кажется естественным, что тореро уклоняется от удара рогов — и раз, и два, и много десятков раз — так ведь и боксер старается избегать ударов противника. Но я не помню боя, чтобы боксеру хотя бы раз не попало... А если попадет тут, то это или смерть, или рана, подчас тяжелая. Значит, искусство тореро в том, чтобы вообще на рог не попадать. Искусство тореро должно это исключить. Притом тореро не должен избегать быка — если он будет работать далеко от быка, его освистят и прогонят. Кому интересно, пусть еще раз перечтет страницы "Фиесты", где Джейкоб объясняет Бретт, что к чему. Арина мне ничего не объясняла, хотя любила и знала корриду. И еще... У Хемингуэя попадаются термины из тавромахии, один из них — "вероника". Это, объяснили мне в Испании, когда тореро касается плащом морды быка, как Святая Вероника, вытиравшая своим покрывалом лицо Христа... И еще только одно признание: "Ни одна трагедия мира не захватывала меня до такой степени". Это сказал о корриде Проспер Мериме.

На днях у нас в телевизионной программе новостей показали фиесту, подготовку к корриде, когда привезенных быков гонят по огороженной улице к цирку. Как всегда, впереди стада мчалась толпа храбрецов. Игры со смертью — в крови испанцев. На сей раз не обошлось без жертв — столько-то убитых, столько-то раненых. Пропустил, где это было, — в Севилье? В Памплоне? Человек выскочил навстречу судьбе, и это ему было дозволено. Никто не мешал ему испытать себя, никто не помешал и быку быть самим собой. Поразительная традиция, лично у меня вызывающая глубокое уважение к народу, который ее сохранил.

...В то утро я проснулся от странного, но знакомого шума и понял, что это дождь, и подумал, что это мне снится. Но сквозь опущенные жалюзи шел запах мокрой травы, земли и листьев, и я понял, что это наяву. Да, шел дождь. Над нашим садом, и дальше, над крышами соседних домов, верхушками деревьев, растущих там, низко ворочалось тяжелое небо, как на родном моем Севере — холод и дожди потрудились надо мной гораздо больше, чем горячее солнце. Первое утро в Испании, когда я проснулся не гостем, а своим... До обеда — нет, обед тут вечером, — значит, до сиесты дождь то обрушивался настоящим ливнем, то принимался моросить, и мы были почти уверены, что коррида не состоится, первая из последних трех осенних коррид в Мадриде. Но уже с двух часов дня словно кто-то подвесил под тучами прозрачную защитную пленку, и, хотя небо напускало на себя мрачный вид — то собирало темные свои ряды, то распускало их, — ни капли дождя больше не упало на землю. В пятом часу Арина вывела из гаража свой "форд", открылись ворота по мановению фотоэлемента (Сезам, откройся!), и, подождав, пока они закроются, мы покатали из Моралехи. Этой первой после летних каникул корриды ждал весь Мадрид, и сразу же стало понятно, что машины, слева и справа, сзади и спереди сопровождающие нас, спешат туда, на Пласа де Торос.

Небо словно набрало в рот воды и топталось в отдалении с надутыми щеками и неясными намерениями, а машины все шли и шли, со всех сторон стекаясь к кратеру с желтой горловиной, к воронке, затягивающей всех, кем бы они ни были в жизни, всех без разбору. Как же его назвать, этот кратер, — стадионом, цирком под открытым небом, колизеем? Да еще с четырьмя порталами, торжественными, как у собора. Это и был собор, сбор, сборище, со своей молитвой и своим богом — то ли человеком, то ли быком, то ли человеко-быком — минотавром. Только Виктора не было здесь: коррида — это единственное, что он так и не признал в Испании. Пока мы мчались по скоростной Авениде де ля Пас, Арина мне рассказывала историю о быке, могучем и красивом, который своим появлением на арене заморозил всех. Он был так ретив, что немедленно бросился в атаку на одного из помощников тореро — их еще зовут альгвасилами — и вслед за ним перемахнул через полутораметровый деревянный барьер. За барьером, естественно, сидели зрители, и тот сектор, куда бык сиганул, опустел в мгновение ока... Когда же быка удалось наконец водворить на арену, оказалось, что он стал прихрамывать на одну ногу, видимо ушибленную во время чемпионского прыжка. Как беспощадна толпа! Только что она ревела от восторга, и бык справедливо принимал это на свой счет, а теперь она засвистела, заулюлюкала, требуя, чтобы быка заменили. По правилам корриды хромой бык не боец. Бык вертелся на арене, всем своим видом показывая, что он готов, но его мнение уже никого не интересовало. Не боец, и все тут. Не мачо. Его начали заманивать плащами обратно в ворота, в загон, но бык обиделся, заупрямился и к воротам не пошел. Он поискал глазами, на кого бы еще напасть, и, увидев

странную фигуру — пикадора на коне — ковырнул землю слева и справа и помчался вперед, опуская рога. Но пикадор вовсе не собирался встречать его пикой, нацеленной в загривок, чтобы поубавить спесь здоровяку, — бык уже был вне игры, президент корриды уже подал знак, чтобы быка заменили, и пикадор, в своем железном правом сапоге отчасти похожий на Дон-Кихота, поспешно пришпорил лошадь и поскакал от греха подальше. Бык преследовал, и тогда пикадор поскакал к воротам, чтобы увлечь и быка, но тот, едва увидев их распахнутый зев, остановился как вкопанный и сразу потерял интерес и к лошади, и к всаднику. Он снова вернулся на середину арены — он убедился, что его боятся, и это еще больше возбудило его. Помощники матадора подбегали к нему, размахивая плащами, но стоило ему сделать выпад, как они опрометью мчались к спасительному барьеру, точнее — к закуткам в нем, где можно было укрыться человеку, но куда не пролезала голова быка. Зрители свистели, а несколько квадрилий, то есть команд из помощников матадора, не могли справиться с быком. Он, казалось, упорно искал своего главного противника и, не находя его, еще пуще ярился. Тогда на арену вышли погонщики-вакьеро с жожаками-быками, чтобы те, окружив быка, отвели его к стаду. Но что-то в быке смутило умудренных опытом жожаков, или он сказал им какое-то заветное слово, только они вдруг отошли в сторону и, несмотря на все старания вакьеро, так и держались поодаль, словно вспомнив о древнем правиле поединка: двое дерутся — третий не мешай. Мне не известно, как воспитывают боевых быков, как они проходят свою тавромахию, но каждый из них появляется на арене только один раз, потому что, если даже он убьет своего противника, другой противник убьет его; у быка мало времени, чтобы достичь вершин мастерства, всего-то треть часа, тогда как тореро совершенствуется десятилетиями... Закон один — настоящий боевой бык жаждет боя, и это для него важнее всех прочих страстей. Вот почему наш бык не уходил.

Долго еще мучились с ним квадрильи с их эспадами, альгвасилами, пеонами и бандерильерами, пока один из матадоров, которому сбили шляпу прилетевшей из рядов кожаной подушкой, не вышел вперед и не сказал быку: "Ну что, атакуй, такой-то сын такой-то шлюхи, так тебя и так!" До барьера было далеко, но матадор, помня о хромоте быка, рассчитывал успеть, а бык, не зная, что он хром, рассчитывал достать — вот-вот его отточенный рог, проткнув шелк, расшитый золотыми галунами, пригвоздит трепыхающуюся хлипкую плоть к деревянному глухому забору... Но в последний миг матадор нырнул куда-то, скрылся с глаз, будто растворился в дереве, и бык, не удержавшись, вонзил в ограду правый рог. Ошеломленный ударом, бык поднял голову, высматривая обидчика, и в этот миг из не замеченной им щели взвилась чья-то рука с чем-то ослепительно блеснувшим на солнце, и он почувствовал, как в точку, где кончается череп и начинается шейный позвонок, что-то вошло нежно и сильно, и он уронил голову между колен. Его бросило в жар, боль была похожа на сладостную истому, какой прежде он не знал, она была такой пронзительной и слепящей, что он на несколько мгновений как бы перестал видеть и слышать. Он вдруг почувствовал, что смертельно устал, передние

ноги сами собой подкосились, и он сел, кивая головой, будто засыпая, но и сидеть было тяжело и неудобно, и, собрав силы, он снова встал, удивляясь, что ноги его плохо слушаются и он покачивается на них, как на ходулях, какие он видел на деревенском празднике, — он так и решил, что это кто-то подшутил над ним, поставив на эти длинные палки, вот и земля куда-то ушла из-под ног; он неуверенно шагнул, разыскивая землю, но вместо нее увидел перед собой тонкие ноги в черных чулках и черных туфлях без каблуков, с бантиками — какие они слабые, чахлые, с отвращением подумал он и дернулся к ним рогами, чтобы прогнать, но тут его осенило, что это его собственные ноги, и он с удивлением жалостливо глянул на них, веря и не веря своей догадке, что он вовсе не бык, а кто-то другой, и вдруг он поплыл, только непонятно — в воде или в воздухе, да это и неважно, тело исчезло, и он радостно подумал, что оно и не нужно, и все, что еще несколько мгновений назад было его страстью и смыслом жизни, оказывается, тоже было не нужно; жить — это когда вот так легко, как сейчас, как же он раньше не догадывался, — теперь не только забор, но и все четыре — одна над другой — арки коллизея были ему нипочем, он безусильно поднялся над ними, скосив глаз, глянул вниз на качнувшееся под ним золотое пятно арены с черной неподвижной тушей у ограды и, жадно втянув ноздрями чистый горный воздух, веющий родными пастбищами Андалузии, направился к ним.

...Впрочем, есть и другое мнение на сей счет, ну, скажем, того же дорогого мне Проспера Мериме: "К неудовольствию господ поэтов, мне приходится заявить, что ни у одного из всех когда-либо виденных мною животных не было в глазах так мало выражения, как у быка. Или,

вернее, ни у одного из них оно не менялось так слабо: бык почти неизменно выражает одну жестокую, звериную тупость".

Мы уже успели припарковать машину, Арина радовалась, что так удачно (хотя до Пласа де Торос было еще с полкилометра), и теперь спешили по тротуарам, через перекрестки; мигали светофоры, мелькала полиция в бело-черных касках, машины прибывали, как птичьи стаи, а там вдалеке, на подходе к цирку, уже кишел птичий базар. Все было как перед футбольным матчем, хотя я давно уже не был на футболе, даже толпа похожа — вдруг какая-то иная толпа, чем в центре Мадрида, как бы пониже рангом, пошумливей и попроще, почти своя, родимая, только меньше женщин и больше мужчин, смуглых мужчин с сумрачными глазами, и другие, как бы театральные, жесты, и другая речь — дробно-стремительная, напористая. Пожилой и плохо одетый человек в нижней галерее неподалеку от входа продавал полиэтиленовые накидки от дождя. Их брали, и человек возбужденно улыбался.

— Повезло бедняге, — сказала Арина, — сегодня его день.

— В каком смысле? — спросил я.

— Где-то он все это купил за гроши, привез. Теперь продает по своей цене. Дождь ему в помощь. Сегодня он что-то заработает.

Вот еще что: в толпе было много стариков, и это мне было непривычно. В моей родной толпе больше старух, а старики остались где-то там, в сталинских лагерях да на полях войны, а если и попадают, то думаешь: что делал, как выжил, какой ценой, по какую сторону колючей проволоки? И этих стариков Испании я мысленно спрашивал: кто они, ведь все они прошли через гражданскую войну, значит, по большей части — на стороне Франко, но были, наверно, среди них и республиканцы, те, кто выжил, отсидел, вернулся и был прощен, хотя так и остался с клеймом "красного" и о прошлом своем молчал. Испанские старики — они совсем не походили на русских, темперамент их не угас, а обычай жить открыто, на людях, в тех же чайных, кафе, рестораниках, отшлифовал манеры; следить за каждым из них было одно удовольствие, каждый из них гордо нес себя и не ронял, и чем мизерней была его жизнь и его хлопоты, тем царственней были его жесты.

На широких каменных галереях, вкруговую опоясывающих цирк, было уже полно народу. У входов на трибуны дежурили контролеры. Тут же давали напрокат плоские дерматиновые подушки, так как сиденья на трибунах были не из дерева, а из бетона. Подушки были сложены в штабеля, и возле них зарабатывали себе на жизнь старики. Сразу было понятно, что здесь они с детства, с юности и знают про корриду все. Зрители не спешили занять свои места, ходили по галереям с подушками под мышкой, вдвоем, втроем, а то и семейными кланами; некоторые кланы, судя по одежде, были знатными и богатыми, но и они, как и подавляющее большинство одетых просто и скромно, держали те же самые черные облезлые подушки, одинаковые для всех. Встречались красивые, тщательно накрашенные женщины с подведенными жгучими глазами, блеск их вечерних туалетов из-под небрежно накинутых плащей и тонкий аромат дорогих духов наполняли воздух этих просторных каменных галерей взволнованным предощущением праздника. Знатные женщины были в мантильях. И везде ощущалось сознательное панибратство плебса и патрицианства — все здесь были равны равенством свидетелей языческого жертвоприношения. Да, да, коррида, и я в этом убежден, хотя, может быть, излагаю давно известную истину, — коррида в католической Испании, в стране, где сила религии и по сей час велика, коррида — это действо абсолютно языческое, дающее выход могучим человеческим страстям, зажатым в тиски строгой морали.

Возле одной из арок толпа зрителей смотрела вниз, и мы протиснулись на освободившееся место у каменного барьера. Внизу был служебный дворик с разгвазданной копытами почвой и запахом стойла. Дворик был полон людей, но то были как бы свои, приближенные...

— Смотри, — сказала Арина, указывая на высокого очень стройного пожилого мужчину, большими шагами пересекавшего дворик, — это Рафаэль Альберти. Это он, он, — подтвердила она, видя мое изумление. — Он вернулся из эмиграции только после смерти Франко. Я знаю, что он ходит на все корриды, ни одной не пропускает...

Господи, Альберти! Он дружил с Лоркой, он знал моих любимых Антонио Мачадо, Хименеса... И вот он, живой, сильно траченный временем красавец, но мужчина — черт побери! — мужчина, а не дряхлый восьмидесятипятилетний старик... Если наш век оказался для русской поэзии серебряным, то я согласен с Ахматовой, что для испанской поэзии — он золотой. Из всех нынешних классиков Альберти был первым и последним, кого я увидел вживе. Даже к Ахматовой я не успел, а лишь к ее отпеванию в соборе Николы Морского.

...Мужчины, все больше знатные, в сопровождении вечерних красивых женщин, оживленно говоря и жестикулируя, потянулись к выходу из дворика, ибо время приближалось к пяти часам пополудни. Еще шибче забегали внизу люди в синей униформе служащих, и на середину дворика, ведя под уздцы высокого коня, вышел очень высокий пикадор. Даже отсюда, сверху, оба они казались гигантами и, наверно, были таковыми — человек и конь, одними из первых принимающими на себя всю мощь и ярость выпущенного на арену быка. Пикадор постоял у коня, перебрасываясь шутками с теми, кто его окружил, пожал кому-то руку, выкурил, глубоко затягиваясь, сигарету и сонным движением профессионала легко оказался в седле. Он повернул коня, и я наконец увидел, что это брякало, как цинковое корыто моего детства, — это был огромный железный сапог, в который, как в стремя, пикадор вдел правую ногу. Прямоугольное голенище этого сапога было до колена. Ага, догадался я, это от удара рогов. Значит, быка пикадор встречает правым боком. Только при виде этого сапога, единственного, что осталось от рыцарских доспехов, но по форме гораздо грубей, примитивней, и не кованого, а скорее клепаного, что, наверно, имело свои резоны, — только при виде его я осознал, каким же мощным должен быть удар быка.

— Ну что, Игнаша, пойдем? — сказала Арина. — В испанском языке есть такая пословица: все на свете может опоздать, а коррида начинается всегда вовремя.

Я посмотрел на часы — было без десяти пять. Мы нашли свой сектор, контролер оторвал край билетов. Вон оно внизу — круглое поле арены. Трибуны были уже полны пестрой толпой, где-то слева над нами играл духовой оркестр. Мы положили на бетон свои подушки и сели. Воронка цирка была крутой, и мы сидели, как на закорках у занимавших нижние места. Возбуждение здесь было очевиднее, чем там, на темноватых галереях. Знакомые махали друг другу, кричали через головы, похоже, получая удовольствие быть на виду.

— Что мне у них нравится, так это жесты, — сказала Арина. — У них целый язык жестов. А руки женщин в танце — это такое... такие страсти, куда там... А ведь есть еще язык веера для разговора с любовником... Знаешь, что это значит? — И она повторила жест, которым наш сосед слева объяснялся с кем-то за нами, — она закрепила кисть левой руки, согнутой в локте, и быстрой рыбкой пропустила под ней кисть правой. — Это он показал, что по-тихому смотался из дому, пока там жена, теща, то да се... А это знаешь? — И она прижала палец под нижним веком. — Это значит — заливай, но я тебе не верю. А поцеловать большой палец — это на счастье. Или вот... — И Арина сделала рожки из указательного пальца и мизинца. — Это от сглаза. — Она и не заметила, что я вздрогнул. Ведь это был знак Улитки.

Закрапал дождь, и мы раскрыли зонты.

— А если корриды не будет? — сказал я.

— Теперь уже будет. Ровно в пять, несмотря ни на что.

— Уже без двух минут.

— Ну вот и приготовься... Не знаю, как ты это воспримешь. Если тебе будет тяжело, мы уйдем.

— Я постараюсь понять.

— Уж пожалуйста.

Тем временем по арене озабоченно ходило несколько служащих, ковыряя ногами песок, потом вышел кто-то из команды тореро, в традиционном костюме, и покачал головой. Ворота раскрылись, и вместо нарядной процессии, открывающей корриду, выкатились тачки с песком. Пять часов грянуло, секундная стрелка отсчитывала начало шестого, а служащие неспешно растаскивали лопатами песок по арене. Зрители, заполнившие все места, тридцать пять тысяч зрителей принялись свистеть. Но свист был ленивый, недружный, умирающий на одном секторе и оживающий на другом, под пасодобль духового оркестра над нами. Но через четверть часа уже все ряды объединились в негодующем свисте и вопле. Тем временем дождь снова прекратился.

— Похоже, Игнаша, что ты присутствуешь при сенсации, — удивленно сказала Арина. — Чтобы коррида так задержалась... Такого еще не было.

Но тут снизу, со стороны ворот арены, раздались звуки фанфар, и вот она появилась — пестрая процессия: впереди два матадора с парадными плащами, перекинутыми через левую руку, за ними — их пешие помощники, затем два пикадора и упряжка с мулами. Да, матадоров было два, вместо обычных трех и оба были новильерами, то есть новичками, восемнадцатилетними мальчиками, как Ромеро в "Фиесте". Публике они были почти неизвестны, но они носили фамилии своих отцов, которых знали все, — их отцы в своем поколении были хорошими матадорами. Одного мальчика звали Мигель Байез, по прозвищу Литри, другого — Рафи Камино. Шесть соответственно молодых бычков, подлежащих быть убитыми, были из ганадерии, то бишь с бычьей фермы, сеньора Херердо де Фелипе Бартоломе. Оба мальчика были высокие и стройные, но Рафи Камино был смуглее, тоньше и чернявей, а у Мигеля Байеза были нордические черты. Лица их я видел нечетко, но у меня была цветная программа корриды с их портретами. Оба мальчика представляли собой завтрашний день корриды, и отношение к ним было особое.

Участники церемонии поприветствовали президента корриды, матадоры отдали через барьер свои расшитые золотом плащи, упряжку мулов увели, квадрилья Байеза ушла, и на арене остались помощники Рафи Камино во главе с ним самим. Тут и появился бык. Тогда я еще не знал, что это будут молодые бычки, недовески и недоросли, и отнесся ко всем шестерым серьезно. Вот и первый бык показался мне вполне внушительным. Он выбежал резво, на пружинистых ногах, словно размяться после тесного загона, тут же перед ним замахали плащами и вывели на матадора. Это было как бы короткое знакомство друг с другом, разведка боем. Бык, не задумываясь, атаковал, а матадор, не колеблясь, выставил сбоку от себя боевой плащ и повел им назад, пропуская быка мимо себя, развернулся и еще раз пропустил мимо в обратном направлении, дивно отклоняя стан. Ага, подумал я, вот откуда пластика испанского мужского танца — от корриды! — когда тело изогнуто как лук. Матадор еще несколько раз пропустил быка туда и обратно, и проскакивающий бык резко тормозил всеми копытами, резво, как собака, разворачивался и бросался назад и снова был обманут, и это было так красиво, что зрители уже объединились в радостном "оле!". Матадор обвел быка вокруг себя, как вокруг пальца, и, оставив его за спиной, пошел к нам, не оглядываясь, горделиво кинув боевой плащ на согнутую в локте левую руку, а огорошенный бык так и остался стоять там, где его бросил матадор. К быку снова подбежали помощники, замахали плащами, но только он бросался к одному, как рядом вспыхивал другой красный плащ, и бык поворачивал — так его направляли по арене, и вдруг он остался один: поодаль на высоком коне восседал высокий пикадор и ждал его. Бык это понял и помчался к нему, точнее — к коню; сразу стало ясно, что конь ему не нравится, как будто бык признал в нем своего старого врага. Раньше конь становился первой жертвой быка, теперь же коня накрывали жесткой попоной — я слышал, как она глухо отозвалась на удар рогов. И без того незавидное положение коня усугублялось тем, что на глазах его были шоры, и эту неожиданную атаку он воспринимал вслепую. Бык, хоть и малолетка, был силен, и я видел, как он прижал коня к барьеру и только потому тот и не падал, а бык все норовил поддеть его и низко опускал рога, и толстая плетеная попона ходила на коне волнами. Работа у коня была хуже некуда, хотя ему и не выпускали кишки, как его предкам, — он закидывался от ударов и слышал топот и тяжелое бычье сопение и этот бычий запах, запах смерти, которая почему-то медлила и топталась на месте, и если коню и оставалась какая-то надежда, так это на своего хозяина, всадника, пикадора, которого, похоже, не пугало разъяренное копошение рядом, внушающее коню смертельный ужас. Всадник продолжал держаться в седле, хотя чувствовалось, что это ему не так уж просто, и тут до ноздрей коня долетел новый запах — теплый, солоноватый, тошнотворный — запах крови. Я ранен, подумал конь между тупыми тяжелыми ударами в бок, под ребра, но почему-то я жив, я стою, и хозяин на

мне спокоен, ноги его железно обхватили меня и дрожат от напряжения, это он что-то делает с тем чудовищем, он хочет меня защитить...

Конь, чудище, пика в руках всадника — какой древний сюжет, икона Святого Георгия Победоносца. Дева исчезла, и уже неясно, что они не поделили между собой — всадник и Змей Горыныч.

Итак, кровопускание было сделано. Это пикадор, опершись на пику всей своей мускульной мощью и весом тела, всадил ее в бугор мышц между лопатками быка, дабы немного сбить с него спесь, поколебать в нем чувство превосходства, дабы он стал поосмотрительнее и послабее. Без такого кровопускания он оставался убийцей, которому все нипочем. Я видел широкую полосу крови на шее быка, но, поскольку бык никак внешне не отозвался на эту рану, я не знал, насколько ему больно и больно ли вообще. Он все еще наседа на коня, пытаюсь его опрокинуть, но тут набежали сзади, сбоку, красными вспышками расцвели плащи, и бык, забыв про коня и про того, кто помешал ему с ним разделаться, отскочил, поводя мордой туда-сюда, готовый в азарте вмазать первому попавшемуся; но все от него увертывались, и он сам не заметил, как вновь оказался перед матадором. Боль между лопатками дала себя знать, и теперь матадор был ему неинтересен, и если бы не его назойливый плащ, и не крики, и не сама его тщедушная фигурка, которую и проткнуть-то ничего не стоило, тем более что она дразнила его, подходя все ближе и ближе, — если бы не все это, то можно было бы считать номер оконченным. Быку было больно, и обидно, и скучно, и он хотел обратно в родное стадо. Что нужно было от него этому мальчику с красным плащом, которым он резво встряхивал, приближаясь мелкими шажками, левое плечо вперед? Не из-за него ли так больно шее, надо его проучить — и бык против желания, нехотя, двинулся на обидчика, в нем была самоуверенная ленца, с которой силач-громила приближается к своей слабосильной жертве. Он сделал выпад, но промахнулся, и еще раз промахнулся, и еще, и еще — сколько раз он атаковал, столько и промахивался, но теперь это не раздражало его, а усыпляло; похоже, он был не очень горяч и самолюбив и отказывался от своего намерения, если оно было труднодостижимым. Он еще несколько раз вяло и послушно сунулся туда и сюда вслед за красным плащом и решил — хватит. Матадор отвернулся от него, сорвав аплодисменты, а бык стоял посреди арены, и им овладевала апатия.

Его было жалко. Человека я еще не успел пожалеть — вроде не за что было жалеть человека, а быка становилось все жалче — на моих глазах ему давали жестокий урок послушания, его наказывали розгами, как нерадивого ученика, и у него это не вызывало чувства протеста, а лишь равнодушие и скуку. Бык устал, и, чтобы его взбодрить и раздражить, три бандерильеро воткнули в него свои маленькие пики. Они разгонялись, приближаясь к нему по касательной, сбоку, на противоходе, высоко воздев руки с бандерильям, роняли их в его толстую холку и исчезали из поля его зрения. Бандерильи были с заусеницей и держались в шкуре быка крепко. Вот уже шесть штук болталось у него в загривке, пестрых, с лентами, — будто растерзанный рыбий плавник.

Бандерильи возымели действие, и бык ожил, но ненадолго. Теперь матадор еще ближе пропускал возле себя быка, свободной рукой откидывая бандерильи, чтобы они не ударяли ему в лицо. Бык не столько устал, сколько ему осточертела вся эта история, которой не было конца, и, когда президент разрешил матадору взять шпагу и мулету, которая была гораздо короче плаща, он был еще вполне свеж; он был свеж даже после нескольких бесплодных выпадов против красной мулеты, и, когда его надо было убить, он еще держал голову высоко. Быка, если у него поднята голова, не убить, так как шпага должна попасть в единственную смертельную точку у него между лопатками, которой в таком случае не видно. И матадор, достав кинжал, подошел совсем близко и легонько ткнул быку в переносье, чтобы тот опустил морду. Бык послушно опускал, но едва матадор отходил и нацеливал шпагу для удара, как бык снова поднимал голову, словно ему было интересно, что это матадор собирается сделать, и тому снова приходилось доставать кинжал. Так повторялось несколько раз, и зрители, настроенные весьма благожелательно к новому поколению матадоров, начали свистеть. Все-таки это была не совсем чистая работа, да еще неподалеку от барьера, — ясно, что Рафи Камино решил свести риск к минимуму, да еще президент поджуливал, позволил взять шпагу раньше времени... Рафи Камино почувствовал, что симпатия зрителей стремительно убывает, и, хотя он сохранял присущее всем матадорам достоинство движений, шея у него одеревенела от волнения. Наконец он принял классическую позу, подняв в вытянутой правой руке шпагу на уровне глаз, опершись на правую ногу и согнув в колене левую, затем

сделал стремительный выпад и воткнул шпагу. Но шпага попала в позвонок, согнулась дугой, мелькнула в воздухе и упала на песок. И еще два раза Камино не смог попасть. Стадион заревел — убивать надо было красиво и быстро, как бы незаметно, а это было уже похоже на экзекуцию. И я не мог смотреть, у меня заболело сердце, и о матадоре я перестал думать вовсе. Я видел только быка, которого не могли убить, потому что не подготовили к смерти, — он все поднимал голову, следя за матадором с удивлением и без вражды, и был смирен, как если бы за смирение полагалось что-то иное, чем смерть. Но на четвертый раз шпага попала туда, куда нужно, и бык сразу, без мучений и агонии, даже как бы с облегчением, рухнул на бок и умер.

Вроде с детства мы проходим школу насильственной смерти, убивая без разбору насекомых, а потом рыб, птиц, лягушек, кто-то пошел и дальше, убив курицу, кошку, собаку... Но убийство быка было чем-то совсем иным, чего я не знал. Да и бык ли это был? Если бы он был просто животным, то есть живущим животом, разве было бы мне сейчас так нестерпимо больно? Нет, я никогда не ощущал кровной связи ни с рыбой, ни с лягушкой, ни с птицей — это все были астральные существа. Но бык... Как мне это объяснить и нужно ли объяснять? Будто сон такой: идем, говорят мне, сейчас ты увидишь что-то интересное. И мы идем. И вот эшафот. И там палач и жертва. И палач постепенно умерщвляет жертву — отрубает руку, и еще руку, и ногу, и еще ногу... "Это нельзя! — в ужасе кричу я. — Это человек!" А мне говорят: "Это можно. Это такая добровольная игра. И жертва добровольная. Это можно, потому что так договорились". И во сне я судорожно пытаюсь это понять, пытаюсь отторгнуть боль от причины, ее породившей, и это можно сделать только усилием мысли, потому что отторгнутая боль перестает быть сама собой... И кажется, я понимаю — да, это ведь добровольно, это без насилия, значит, это можно. Но еще болит, болит та рука, та нога, которых уже нет. Память о них болит...

Меня трясло, в горле стоял ком, глаза были застланы слезами.

— Игнаша, что ты... Не думала, что ты такой чувствительный.

— Ариша, это убийство, — промычал я. — Я не могу, это убийство.

— Уходим?

— Нет, подождем. Я должен понять.

Я и в самом деле хотел понять. Не могло же быть так, чтобы все вокруг были столь кровожадными — и Лорка, и Пикассо, и Хемингуэй, и Рафаэль Альберти... Есть же и во мне испанская кровь; отчего же так больно? Мне хотелось рыдать, уткнуться в подушку и рыдать, как рыдал я в свои девять лет, разорив в кустах сирени гнездо птиц с только что вылупившимися птенцами. Оркестр над головой играл веселый марш, чтобы под эту музыку невинной бычьей душе легче было поспешать в бычий рай, а на арену, крутя хвостом, уже вылетел его живой и резвый соплеменник. Впрочем, этот бык был полной противоположностью предыдущему. Его действия и намерения были неясны, он был полон недоверия к тому, что творилось вокруг, и если вдруг увлекался, то тут же осаживал себя, останавливался, испытующе сбоку присматриваясь к мелькающим перед ним пеонам — чернорабочим арены. Вряд ли это можно было назвать трусостью — в его повадке было больше головы и разума, нежели чувства. Это был коварный бык. Он плохо шел на вызов, атаковал неожиданно, не вписываясь в "пасе", которые демонстрировал новый матадор Мигель Байез. С быком ему явно не повезло — это был, что называется, неудобный противник. После пикадора бык вернулся к Байезу еще более хитрым и осторожным: то стоял, никак не реагируя на всплески красного плаща, то вдруг невольно бросался вперед. И это был очень быстрый бык, резвый, как пес, но с погашенным вниманием. Матадор был вынужден подходить совсем близко, дразня быка уже не плащом, а своим телом, и быку было все равно, но только Байез делал еще шажок, как бык вдруг бросался вперед опустив голову. И это было страшно, и сердце у меня колотилось в горле. Байезу с ним не давались чистые плавные "пасе", он не мог заморозить быка плащом, загипнотизировать его своей волей — бык как бы намеренно не вступал с ним в контакт по законам геометрии, между ними не было общего языка, и их схватка была далека от игры, была вне искусства, и несколько раз, когда бык едва не зацепил рогом матадора, с трибун доносился вопль ужаса. И вдруг я увидел, что Мигель Байез, этот

стройный красивый мальчик с нордическим лицом, упал и бык, низко, до самой земли, опустив рога, бросился на него.

— Он не задел, он толкнул! — крикнула Арина, хватая меня за руку, потому что я вскочил, задыхаясь от невыносимости происходящего, ошеломленный насилием над тем, что было для меня чувством жизни, — я привык верить его красотой, а теперь на моих глазах оно поверялось катастрофической близостью смерти.

Байез перекатился через плечо, чтобы избежать рога, и тут подоспели его помощники, ослепили быка плащами, отрезали его от распростертой на песке жертвы — Байез вскочил и подобрал оброненный плащ. Мне казалось, что он не будет продолжать схватку, что это невозможно после того, как на него дохнула смерть, но вот помощники его расступились, и он снова встал против быка — один на один. Он был помят, унижен, оскорблен быком, и бык это понимал, бык это видел и потому тут же пошел на него, как боксер идет на своего побывавшего в нокдауне противника, чтобы добить. Я снова услышал сердце в горле, и сквозь застилающие глаза слезы, задыхаясь и, кажется, стеля, я почувствовал, да, именно в этот самый момент я почувствовал, что мне не жалко быка, что я его ненавижу и жизнь его для меня не стоит ничего, а этот мальчик, горделиво скрывающий свое минутное замешательство и обводящий быка плавным движением своего тяжелого плаща, этот мальчик для меня все, вся жизнь, и все ее ценности, и весь ее человеческий смысл. Я был с ним, я молился за него.

А бык так хотел его достать, еще так верил в свой успех, он еще помнил смятение в глазах матадора, именно потому и принял вызов, втянулся в игру, его охватил азарт, и он пронесся раз и еще раз мимо столь близкой цели, мимо красного шелкового боевого костюма Байеза с золотыми галунами, и Байез сделал пасе натураль, а потом пасе де печо, а потом веронику и полуверонику, и на сей раз все было красиво, все было по законам высокого искусства, и зрители завопили: "Оле, оле!", и я вместе с ними. И когда шпага Байеза уверенно вошла между лопатками быка почти по эфес, проткнув легкие, и из ноздрей, из пасти животного хлынула кровь и Мигель повернулся к нему спиной и пошел навстречу аплодисментам, а быка окружили помощники и тот, еще не веря, что все кончено, угрожающе водил головой то влево, то вправо, но это уже не были выпады, а только имитация их, только истекающий с кровью инстинкт боя, и когда он упал на колени, продолжая мотать головой, как бы отрицая то, что с ним произошло, и требуя, чтобы схватку возобновили, — когда наконец я увидел все это, я, кажется, понял, что такое коррида, эта высокая трагедия с катарсисом в конце.

Понимаем ли мы, что боремся с тем, что против нас в этой жизни, вот так же, как этот бык, и как бы мы ни старались обмануть судьбу, она все равно настигнет нас в конце, а предначертание наше — выскочить на арену жизни полными сил и надежд, резвости и упорства, ума, и смекалки, и уверенности в себе... и все это постепенно, одно за другим, будет у нас отнято, и едва мы начнем, захлебываясь собственной кровью, судорожно осознавать, что жизнь — это что-то другое, чем нам представлялось, едва мы начнем приближаться к ее подлинным ценностям, ее глубинному смыслу, который отворяется для нас нашим страданием, — едва мы приблизимся к нему, как примем завершающий удар смерти.

...Вышла упряжка мулов, убитого быка привязали и волоком увезли — туша его оставила на песке вопросительный знак, а на арену выбежал третий бык. Нет, у меня не хватит воображения описать смерть всех шести; пока же мои глаза, оторвавшись от гипнотизирующего оранжевого пятна арены, блуждают по трибунам, останавливаясь на лицах тех, кто пришел сюда. Рядом, по обе стороны от нас с Ариной, сидят иностранцы, немцы или бельгийцы, народ серьезный, основательный и пресный — женщины нервничают, даже повизгивают, а мужчины хранят тусклое молчание, коррида для них достопримечательность, не более, и они отбывают на ней положенную дозу экзотики... Но ниже, ниже — это испанцы, и за двумя из них я слежу. Оба немолоды: один тяжелый, большой, с лицом рабочего, ежедневный труд едва ли ему в радость, лицо его давно помрачнело и хранит суровое отсутствие удачи. Другой же — почти старик, в берете, надвинутом на уши, он давно не работает, и не труд, которым он был раньше занят, а старость стала его мироощущением. Оба они слышат мой разговор с Ариной на неизвестном им языке, слышат, как я шумно втягиваю воздух сквозь стиснутые зубы, будто мне прижигают йодом рану, как я тихо постанываю, когда не в силах совладать с тем, что вижу, и я для них дик, и чужд, и невежествен,

но они вежливые люди, они терпимы и вежливы; испанцы, когда-то имевшие полмира, врожденно терпимы к другим нациям, другие для них не выше и не ниже, другие для них просто другие и не вызывают у них ни раздражения, ни агрессии, а разве что насмешку, потому что, конечно, если уж рождаться на свет, так только испанцем... так вот, в какой-то момент я начинаю понимать, что то, что потрясает меня, ослепляет пронзительной болью, что это могучее действие вызывает у них совсем другие, нежели у меня, чувства. Оно им не нравится, они не потрясены, они недовольны и разочарованы, и только из уважения к нашему соседнему иноплеменному присутствию они не свистят и не кричат в гнев: "Cabrones! Cabrones!"⁹, как другие трибуны, когда президент корриды заставляет сражаться с вялым, хромым быком. Чего он жалеет — денег или мальчика, для которого хромоножка, конечно, не так опасен; и оба моих испанца время от времени поворачивают друг к другу головы, молча обмениваясь взглядом. А Арина говорит мне:

— Это какая-то тяжелая коррида. Все время пахнет смертью. Мальчики хотят понравиться, они рискуют собой. Слишком рискуют. Тяжелое зрелище, надрывное. Должен быть праздник, а не надрыв.

Меж тем убили еще трех, и я плохо их помню. Я помню шестого. Он был отважен, но не безрассудно, он был силен, но не громила, он был, что называется, идеальный партнер и вместе с тореро исполнил идеальный балет, стараясь победить, но он старался по правилам, которые придумал человек, — стало быть, сам вписался в кривую, выводящую его к точке смерти. Он истратил все свои силы и под конец устал. Может, он еще и был силен, но душа его утомилась, потому что лишилась надежды. Вот оно что — прежде чем убить, надо отнять надежду. И вот он стоял в центре арены, глядя на матадора, взявшего мулету и вложившего в ее складки шпагу. Он как бы не должен был знать до поры, зачем она, эта шпага, и он пошел на мулету, он атаковал ее, и матадор так близко пропускал его мимо себя, что окровавленная шея быка пачкала его костюм. Он сделал все, что ему повелительно продиктовал матадор, и снова встал в центре арены, зная, что это самое рискованное место для матадора. Он стоял, тяжело дыша, по разодранной, ужаленной бандерильями холке, пузырясь, стекала кровь, он глядел на тореро, и взгляд его говорил: оставь меня, отпусти с миром. Он стал думать, как человек. Он подумал, что победу в честной и равной схватке можно разделить на двоих, ему казалось, что это будет справедливо, но, когда матадор вынул шпагу из складок мулеты, он понял, что это конец и что теперь все его мужество понадобится ему только для одного — достойно принять смерть. Я слышал, как матадор что-то говорил быку, он говорил с ним ласково, как с другом. Наверное, матадор хотел его ободрить. Наверное, он извинялся перед быком за то, что сейчас его убьет. Наверное, он объяснял ему, что таковы правила: или — или. И что у быка есть еще шанс проткнуть его рогом. Матадор встал в позу, самую красивую из всех поз матадора, предшествующую "моменту истины" — так называется последнее противостояние человека и быка, — шпага замерла в вытянутой руке, кончик ее не дрожал, бык завороченно сделал шаг вперед, и одновременно навстречу ему метнулось тело матадора и шпага вошла наполовину и закачалась, как метроном, с крестиком рукоятки, и бык, проводив взглядом гордо удалявшуюся спину тореро, устало прикрыл глаза и, подогнув ноги, лег. Он не упал, а лег на живот, мышцы еще повиновались ему, и он лег, словно чтобы обдумать то новое, что с ним сейчас произошло. Он лежал один посреди арены, как на пастбище, что там, дальше, заканчивалось лесистыми горами Гвадараммы, возле которых он родился и вырос, и ему вдруг стало тревожно, что он один, а стадо ушло и никто его не ищет, не окликает, тревога в нем росла, и он вспомнил запах хлева и теплое, розовое, в родимых пятнах, вымя матери и ее шершавый язык, а затем вспомнил утреннюю росу и туман, в котором он однажды заблудился, и как он двинулся наугад и сам пришел на ферму и хозяин радовался как ребенок и дал ему двойную меру овса; вот и теперь надо было поторопиться, пока ворота не закрыли... Он встал и, покачавшись, медленно пошел к барьеру — туман был еще гуще, чем в тот раз, он едва различал дорогу, но вот и стойло, он ощутил его боком, привалился к стене, перевел дух...

Он так и упал у барьера, и добивать его не пришлось.

Вот и все. Мне только осталось противопоставить мнению француза мнение испанца, моего современника Карлоса Рохаса, который, размышляя о корриде, писал: "На этом заклании бык

⁹ "Cabrones! Cabrones!" – Козлы! Козлы! (исп.)

может быть одновременно жертвой и жрецом. И кроме того, он — одно из тех животных, с которым человек подсознательно, загадочным образом отождествляет себя".

— Пойдем, — сказала Арина и повела меня в служебный дворик. Он снова был полон, но не так, как перед корридой. Слева, возле открытой двери большого помещения, облицованного, как операционная, белой и голубой плиткой, стоял автофургон. В помещении что-то делали два человека в синих спецовках и передниках, движения их были заученно-стремительные, по кафельному полу обильно текла вода. Я поднял глаза и увидел на полке вдоль дальней стены пять розовых бычьих голов с темными маслиновыми глазами, шкура с морд была снята, и головы походили на анатомические муляжи.

— Это они, — сказала Арина.

— А где туши? — спросил я.

— Тут, — кивнула Арина на фургон. — Сейчас повезут в ресторан.

Мы потолкались во дворике, ловя обрывки разговоров. Одни говорили, что коррида не удалась. Вообще коррида без солнца — это не коррида. Другие говорили, что мальчишки ничего себе, вот только бычки не ах, никуда не годные бычки, мерде, а не бычки.

— У меня до сих пор все внутри дрожит, — сказала Арина. — Мальчишки, они не ценят жизнь, это все игры со смертью... Это не то, что я хотела тебе показать. Это слишком по жизни, а коррида — это искусство...

А меня все тянуло к той двери в разделочную, в мясницкую, в цех по обработке... И когда я заглянул, на полке рядом с пятью бычьими головами появилась еще одна. Она смотрела мимо меня маслиновыми глазами.

...И донесся зов потайный
с ветром пастбищ бесконечных
к облачным быкам небесным,
к пастухам туманов млечных!¹⁰

ПРОГУЛКИ в Мадрид или по Мадриду... Я помню их все, хотя, кажется, ни разу не гулял один. Я выбирался в город то с Ариной, то с детьми в придачу, то — что, впрочем, случалось редко — с Виктором во главе. Виктор устраивал из своего отдыха маленький семейный праздник, загодя заряжался улыбкой и положительными эмоциями и уже в упор не замечал всего, что помешало бы ему провести время по-задуманному.

Вечерний осенний Мадрид был многолюден, жара миновала, темнеющий воздух был прохладен. Мы неторопливо заглядывали в кабачки, таверны и бары, в каждом из которых задерживались не более четверти часа, потому что баров, и таверн, и кабачков было предостаточно и здешний кайф заключался в том, чтобы переходить из одного местечка в другое. Местечки эти были самые разные и, грубо говоря, подразделялись на преимущественно мясные и преимущественно рыбные. В мясных под потолком висели темные окорока, с которых тебе тут же нарезали тончайшими слоями особой вяленой испанской ветчины без жира, а в рыбных все начиналось с витрин, представлявших собой или морозильник, или аквариум, где всевозможная фауна или спала ледяным сном, или сидела в воде, шевеля плавниками, клешнями, усами да приоткрывая створки раковин; были еще какие-то вовсе не известные мне, но съедобные пучки ножек с копытцами и то, чему было название устрицы, и что, как я знал из русской литературы, подавалось у нас до революции в ресторанах и трактирах к белому сухому вину. Вот из-за устриц мы и зашли в один из морских трактиров, потому что лангустов, креветок, разнообразных мидий я напробовався еще на Менорке, а тут были устрицы, и хотя их вид не внушал никакого доверия, это был тот случай, когда не следовало верить глазам своим, — из литературы я знал, что они

¹⁰ Федерико Гарсия Лорка. II Пролитая кровь. Пер. М. Зенкевича

безусловно вкусны. Более того, я считал, что знаком с ними даже несколько ближе, поскольку еще в студенческие годы, увлеченный английским языком, однажды взялся переводить замечательную историю из "Алисы в Зазеркалье" про Плотника и Тюленя, гулявших по берегу моря в обнимку с устрицами и съевших их незаметно для себя. Перевод мне не удался, хотя я совершенствовал его несколько лет и считал, что уже обошел других переводчиков, в том числе признанную Щепкину-Куперник. Все это, однако, не имеет никакого отношения к устрицам, ради которых мы заглянули в трактир с "мориско", то есть с дарами моря, хотя я и не уверен, что, будь у моря свободный выбор, оно бы нам их подарило. Но, с другой стороны, подобное название все же справедливо, так как выражает наше изумление перед водной стихией, которая, как мы ее ни травим, еще способна на подарки. Итак, сначала мы отведали рыбок, затем креветок, затем ножек с копытцами, и наконец дошла очередь до устриц. Тут я должен сделать последнее отступление, чтобы рассказать о самом трактире, то есть я хотел бы рассказать о тех, кто там обслуживал, потому что остальной люд ничем не отличался от нас самих, со вкусом жующих, сосущих и запивающих прохладным белым вином. Помещение было забито до отказа, и я уже не помню, какие там были столики — для сидения или для стояния, — все было забито, свободных мест не было, но никто не вешал на дверях соответствующую вывеску, и, если уж ты зашел, для тебя непременно находился уголок. Нашелся и для нас, прямо на стекле и алюминии витрин, нас выслушали и тут же, то есть одновременно, принесли на высоко поднятых, чтобы никого не задеть, подносах наш заказ. В трактире было светло и празднично, и как бы по-морскому прохладно. Прохлада шла и от бело-бирюзовой кафельной облицовки, и от обилия стекла, и от белой, как бы морской, униформы официантов в морских фуражках; их вид, их четкие слаженные действия усиливали впечатление, что мы находимся на корабле. Они были одной командой высочайшего класса — во всяком случае, ничего подобного я прежде не видел. Они сновали вокруг с изумительной расторопностью, успевая все, и если народ прибывал, то это только и значило, что нужно прибавить обороты, раздавались команды — что, кому, куда и сколько; получивший команду радостно откликался и бросался исполнять ее, и при всем том невозможном хаосе, который мы, посетители, привносили, они поддерживали на корабле великолепный порядок. Каждый был замечен, каждый получал то, что ему хотелось, шелкал кассовый аппарат, как какой-нибудь навигационный прибор, звенели стопки бокалов, зажатых между ловкими пальцами официантов, и гулкое бульканье из горлышка бутылки было на ту же морскую тему. Команда была молода, красива, приветлива — она без тени угодничества улыбалась своим пассажирам, как бы давая понять, что и они, то есть все мы, — молоды и красивы. Но вернемся к устрицам. Их принесли, и они ждали своей минуты... ждали в прямом, а не в переносном смысле, потому что они были живыми, живьем готовыми к употреблению. Это-то мне и мешало воспринять их как продукт питания. Устрицы лежали каждая в своей раковине, в нижней ее створке (верхняя уже была удалена), дышали и ждали. Они были полупрозрачны, опаловы и походили на очень маленьких медуз, на медузых детенышей. Кажется, их приправляют лимоном, вспомнил я, и при этом они пищат. Лимон был тут же, но когда Виктор, соответствующим образом обработал одну, чтобы затем отправить в утробу, писка я не услышал. У Арины устрицы тоже не пищали, и у детей — как если бы понимали, что дело это бесполезное. Все мои родственники, включая Наташку и Антона, с выражением гурманов закатывали глаза, из чего следовало, что устрицы — деликатес и как к деликатесу к ним и следует относиться.

"Бедняжки, — всхлипывал Тюлень, —
Болят за них душа".
Он самых крупных выбирал,
Глотал их не спеша
И подносил к глазам платок,
За уголок держа...

То, что я съел устрицу, объясняю только своим малодушием, если не этикетом хорошо воспитанного гостя, которому подсунули за столом какую-то отраву. Но толчок, видимо, был задан моим литературным любопытством к гастрономии наших предков. Например, открываем Чехова и читаем: "Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с

устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру". Ничего себе — "одно и то же"! — воскликнет нынешний читатель. Но когда я ощутил во рту живую, хоть и моллюсковую плоть, литературоведческие мотивы разом покинули меня. Кажется, полагалось то ли жевнуть устрицу, то ли как-то по-особому прижать ее языком к небу, а потом проглотить, но глотать я не мог и в то же время понимал, что и обратного пути нет, — все смотрели на меня, как на причащающегося, и на их лицах было столько благожелательства и как бы даже тайной зависти, что я, держа ее за сжатые губами и зубами, стал складывать на физиономии гримасу удовольствия.

— Да ты смелее! — сказал Виктор, делая движение челюстью, как бы с намерением помочь мне в смаковании. — Смелее! Жуй! Глотай! — И когда я стал автоматически жевать, спросил: — Вкусно, ведь вкусно, а?

И дети спросили:

— Вкусно, Игнасио?

Еще бы не вкусно! Слезы застлали мне глаза, и как бы сквозь спазму наслаждения я процедил:

— Очень...

СНАЧАЛА была пустота, если можно назвать пустотой нечто темное, глухое, невыносимо болящее не только внутри, но как бы и снаружи. Яма, мешок... Я просидел в этом мешке пять дней, а потом выполз, выбрался и обнаружил, что жизнь не остановилась. Надежды больше не было, а значит — стало не больно. Боль только от надежды. Только от того, что есть что терять. Больно от несвободы, а когда все потеряно, то не больно. Свобода — это когда ты потерял все. Так я и начал жить и назад не смотрел, не думал. Думать было не о чем, думаешь — от непонимания. А я все понимал. "Ее украли", — говорил я себе. Ее украли, и с этим ничего не поделаешь. Ее украли, как фамильный перстень с бриллиантом из Арипиной шкатулки, прихватив заодно и все остальное. Перстень у Арипи был от бабушки-дворянки, высланной из Петрограда в деревню, где она учила деревенских детей уму-разуму до самого тридцать седьмого, когда стараниями одного из своих бывших учеников, ставшего к тому времени большим человеком в местном НКВД, она была осуждена на десять лет по обвинению в контрреволюционной агитации. Мать Арипи не тронули, а только ее отца, — его забрали за год до смерти Сталина, потому вскоре выпустили. Однако до них он не доехал — в пути его убили урки, проиграв в карты. Услышав об этом, мать слегла и больше не встала, и Арипу воспитала вернувшаяся из ссылки бабушка. С маленькой внучкой бабушка поехала в Отрадинский сельсовет, чтобы собрать нужные бумаги для нового паспорта, ее узнали и приютили в той же избе, где она когда-то жила, и ночью у притолоки, в пазе между бревнами, забитом паклей, она нащупала перстень, который там схоронила девятнадцать лет назад. Потом она долго мучилась, что как бы обманула хозяев, взяв то, что ей больше не принадлежало. Перстню и суждено было в конце концов пропасть, будто он и в самом деле стал ничейным. Вот и Улитка была ничья, а ничейное легко переходит из рук в руки. Именно так подумал я о ней в злую минуту и зло, безнадежно усмехнулся. Через какое-то время я стал думать о том, кто отнял ее у меня, украл. Это "украл" было тем для меня удобней, что снимало вину с меня и Улитки. Улитка была ни при чем, я не смог ее осудить — значит, я все-таки ждал ее. Это я только сказал себе, что все кончено и надежды нет, это чтобы выжить, чтобы отпустила боль, но я, оказывается, ждал. И я думал о ней, точнее — о нем, что было для меня одно и то же, — ведь он вошел в ее жизнь, без которой я не мог продолжать свою. Видимо, он попал в какую-то слабую точку Улиткиной души, неизвестную мне. Чем же он ее заморозил? Сложным путем, через двух знакомых, с выходом на коллекционера Диму, я узнал, что Улитка в больнице, и это, вместо того чтобы встревожить, обрадовало меня — она не дома, она не с ним, и даже вроде навещает ее один только Дима, с ней ничего страшного, что-то вроде анемии, низкий гемоглобин, ее колют, вгоняют железо в кровь, она ест гранаты, скоро выпустят. Много, много утешительного было в Диминых словах, хоть и вовсе не мне адресованных.

Я позвонил ей в Рождество, я знал, что она уже дома.

— Да... — ответил мужской голос, и я положил трубку.

Что можно услышать в секунду звучания этой утвердительной частицы русского языка? Я услышал все. Я услышал то, что и ожидал услышать. В голосе звучало плохо скрываемая досада, раздражение и растерянность. Конечно, Улитка рядом — это из-за нее он так... Он снова вынужден заступать на круглосуточную вахту. Для этого ему понадобится дополнительный отпуск за свой счет. Наверно, уже взял. Но через два дня, решив, что отпуск врачу-терапевту не дали по причине эпидемии гриппа, я снова позвонил. Я позвонил в полдень, когда, по моим понятиям, врачи-терапевты ведут прием гриппозных больных в своих районных, городских и ведомственных поликлиниках. Повод позвонить у меня, конечно, был — то ли какое-то залежавшееся у Улитки мое барахло, то ли книги, то ли этюдник, вдруг я засобирился на зимний пейзаж.

— Алло? — сказал ее родной голос, безрадостный, но твердый, и, как я ни готовил первую фразу и интонацию, я не уверен, что не выдал себя. У Улитки был тонкий слух, и читала она между строк. Да, я что-то там попросил, и она сказала: — Хорошо. Тебе это срочно нужно?

Вопрос меня ударил, и все во мне почернело. Я усложнял ее жизнь, ее проблемы, связанные вовсе не со мной.

— Хотелось бы до Нового года, потому что... — И я мрачно присочинил какие-то обстоятельства.

— Дело в том, что мне сейчас надо на работу... — извиняющимся тоном сказала она.

Вот оно что! А я подумал на другое. А она готова встретиться чуть ли не сейчас!

— Ради Бога! — сказал я, и в мрачном полыхнуло светлое. — Ради Бога, извини.

Я не хочу тебя утруждать...

— Какие тут труды... — сказала она, и голос ее слабо улыбнулся.

— Я тогда еще позвоню, — сказал я.

— Конечно, звони, — сказала она. — В любое время.

Боже, откуда этот свет, этот луч во мраке? Радостно и больно! Что же это такое? Что же она такое сказала, что мне радостно и больно и какая-то другая жизнь вдруг во мне — словно вынули одну и поставили другую, как видеокассету, и нажали кнопку, и пошло-поехало цветное изображение, полилась музыка... "В любое время", — сказала она. Что это значит?

Это значило все!

Кое-как я прожил еще два дня, на дворе было двадцать девятое, по городу несли елки, на Невском перед Гостиным двором на темных огромных елях — неужели такими бы стали эти вырубленные до срока рахитики? — болтались детские пластиковые игрушки, мои немногочисленные друзья спрашивали, где я собираюсь встречать Новый год, я отвечал, что пока не знаю, лелея невозможную мечту, и вот я позвонил ей, как обещал, и она сказала:

— Приходи, когда тебе удобно. Я тут одна...

Вот и все. Я положил трубку. Мне было трудно дышать. Я бы заплакал, но не смог. А еще через несколько минут я почувствовал, что не хочу к ней идти.

Утром тридцатого она позвонила сама.

— Ты знаешь, я была в больнице, — сказала она. — Я никого не хотела видеть, никого к себе не пускала. Один только Дима ходил. Я вообще плохо помню, что было до больницы. Какой-то туман. Будто я себя потеряла. А в больнице... в больнице я снова себя нашла и стала сильной. О, я стала такой сильной! Я вернулась, а он тут у меня живет... Я не могла его больше видеть. Я так ему и сказала. Я его прогнала. "Я тебя ненавижу", — сказала я, и он ушел. И мне было так хорошо

одной первые дни. А сейчас, — голос ее дрогнул, — сейчас что-то снова накатывает. Мне страшно, и я снова не сплю. Какие-то чудовища приходят по ночам и водят, таскают меня за собой и мучают, мучают. Я не могу заснуть. Я чувствую, что снова теряю себя. Я думаю: "Там Игнат" — и хочу к тебе. Но не могу, не знаю почему... — И она заплакала.

Я слышал, как она плачет в трубке, и сердце мое было холодным.

— Приезжай ко мне, — сказал я. — Ты можешь сейчас ко мне приехать?

— Да, — сказала она.

— Я встречу тебя, — сказал я. — Через час я подойду к метро. Ты успеешь?

— Да, — послушно сказала она. — Жди меня.

Ровно через пятьдесят минут я надел куртку и пошел к метро. Падал снег. Маленький и мокрый, быстрый. Торопливый снег. Словно понимал, что мало его еще, и прибывал до новогодней нормы. Нет, слишком рано она ко мне возвращалась, я был не готов. Я положил нам другой срок. Так быстро я не умею. Есть же какие-то законы, по которым живет чувство. Быстрые ребята... Я так не могу. Я так не умею. Это вам не шуточки: любит — не любит, плюнет — поцелует... Выбирайте что-нибудь одно. Нельзя все в кучу. Такой компот не переварить. Я выбрал, я честно ушел, уполз, забился в темный угол — молчать и зализывать раны, набираться терпения и прозревать, учиться всепрощению, а меня вытаскивают, манят пальчиком: что ты там пригорюнился, буйну голову повесил? Иди к мне, хочу к тебе, все хорошо... А завтра... очень может быть, что завтра она скажет мне то же самое, что ему. Нет, не скажет. Я всегда уходил хоть на минуту, но раньше, чем она этого захочет. И потому она всегда была мне рада. Это же так просто. Это Генри Торо, я ей рассказывал, и она ввела его в круг своих друзей, хотя не прочла у него ни строчки. Я ей передал много своих друзей. О, эта счастливая способность схватывать все на лету. Быстрота ума. Когда нет нужды разжевывать. А если уж говорить, то только о крупном, о главном. Как интересно с ней! Нет, конечно, я ее люблю. Это самообман, что мне все равно. Это я осеменяю себя крестным знаменем от наговора, от злого глаза, от зависти. Я слишком счастлив, я счастлив настолько, что вынужден это скрывать, иначе меня растерзают, разорвут на части все эти бедные люди вокруг с мрачными озабоченными лицами — они разорвут меня на куски, потому что им кажется, что большое счастье состоит из тысячи маленьких. Эскалатор выбирал темную людскую породу из нутра земли и рассыпал по поверхности, кого куда, и не было в них радости, и не знали они цели, ради которой стоило жить. А я знал, я стоял рядом с ними, ну, чуть в стороне от их нескончаемой вереницы, и боялся поднять глаза, чтобы не выдать себя.

Улитка опаздывала. Обычно она была точной. Она была самой точной женщиной из всех, кого я знал. Она и меня побуждала к точности. Это означало — уважать чужое время. И еще — уважать чужие чувства. Да, да, те самые, о которых говорил Лис Маленькому принцу. Какого же он все-таки рода, этот Лис? Странная у них любовь. Итак, я подготовил свое сердце к встрече с Улиткой, а ее все не было. Ее не было уже пятнадцать минут, этот месяц все-таки выбил ее из колеи. Прошло полчаса, прежде я почувствовал, что пожалуй, неправильно подготовил свое сердце, и вообще зря его готовил. Лучше бы и не вспоминал о нем. Ведь я пришел, чтобы пожалеть ее, помочь, коль скоро она об этом попросила, она ведь никогда ни о чем не просила, кажется, не просила и теперь, но сказала, что теряет себя и ей страшно, и я сказал — приезжай, то есть просьба все-таки была, хоть в скрытой форме, но была. Она так послушно согласилась приехать. Она ведь так быстро решала в ответ, быстрее, чем я предлагал, так что у меня всегда оставался некоторый излишек слов, который я по инерции договаривал после ее "да". С ней было всегда так легко договариваться. Можно было позвонить среди ночи и сказать:

— Давай поедem в Москву?

И она скажет:

— Поедем. — И никогда: почему, зачем?

Прошел час, а ее не было. Неужели что-то случилось? Я не знал, что делать: стоять, ждать — ведь она могла появиться с минуты на минуту — или же все-таки бежать к телефонам-автоматам, которые были только на улице? Я боялся ее упустить — это опять чуть ли не означало потерять. Я больше не найду ее, если потеряю. Она ехала ко мне из точки "а", и я стоял в точке "б" и ждал ее, это был кратчайший путь, приводящий ко мне, и еще час назад мне казалось, что у случайности нет ни одного шанса помешать мне на этом отрезке, но час прошел, а Улитки не было. Уже час ею верховодило нечто непредвиденное... Или опять ОН? Да, она вышла, захлопнула дверь, спустилась по лестнице, а на нижней площадке стоял он, бедный, несчастный, не спавший трое суток. В руках у него был букет роз. Так что, если я сейчас позвоню, трубку снимет он, и это будет конец. И мне ничего не остается, как только ускорить его.

Я залез в промерзшую, грязную, вонючую телефонную будку и, косясь на выход из метро, набрал Улиткин номер. Телефон молчал. Фу... Так-то легче. Значит, она поехала ко мне. Но что-то ей помешало. Что-то или кто-то. Ну конечно — он повез ее к себе. Нет, он вошел к ней. И они просто не отвечают на звонки. Им не до того. Зачем отвечать на каждый звонок? Мы тоже не отвечали. А телефон звонил, звонил, будто догадываясь, что мы дома, будто желая помешать нам, разорвать наши объятия, и, пожалуй, разрывал их, хотя руки оставались сцеплены, — разрывал, потому что наши души разъединялись и каждая порознь тревожно прислушивалась и гадала — кто же это такой настырный...И я снова звонил, неистово вслушиваясь в акустику гудков, соответствующих телефонному звону в Улиткиной квартире, будто мог проникнуть вместе с ним в те стены, чтобы узнать, понять, увидеть. Нет, пустотой откликались во мне эти звонки — если бы там кто-то затаился, эхо было бы иным. И вдруг страшная догадка осенила меня — она погибла! Что же делать? Уже полтора часа я болтался у метро, в то время как она звонила мне домой, чтобы я помог, спас, вынес. Как же так? Теперь поздно. Теперь уже не она — другие звонили мне, чтобы сказать о ней. Но кто бы позвонил? Оказывается, на самый страшный случай у нас не было связи, наша связь была рассчитана на нормальный ход вещей. Они даже не знают, что у нее есть самый близкий на земле человек, который первым должен оказаться рядом с ней, живой или мертвой.

Я примчался домой, готовый к великой беде, но матушка даже не вышла из комнаты на звук моих шагов. Так... значит, звонков не было. Ну, конечно, никто из них про меня не знает. Могла позвонить только она, Улитка, но не позвонила: расхотела, раздумала, направилась в другую сторону, что уже бывало. Она перепутала ветки и вышла не на той станции и оттуда решила добираться трамваем, а трамвай увез ее в трамвайный парк, а там она осталась пить чай с вагоновожатой и рисовать ее портрет. Так что надо смирно дежурить у аппарата, пока, может быть, к вечеру не разъяснится, что к чему. В музей сегодня можно не ходить, а дел много — статья, стихи, стихия работы, она почти заслоняет боль, если нырнуть поглубже; боль, правда, вернется, но тогда можно снова нырнуть, и так до тех пор, пока вся она не избудет. Все-таки я слишком поспешил устремиться навстречу. Мне ли, битому, не быть осторожным? Не верить, не верить и подвергать сомнению. Или как в лагерной заповеди выживания: не верь, не бойся, не проси! Все три принципа я нарушил. Что же я за глупец такой, Кандид простодушный! Вот и матушка о том же. Она считает, что все меня обманывают, пользуются моей добротой. А я ведь вовсе не добр, я даже зол внутри, у меня много злого в мыслях. Добро тогда добро, когда оно деятельно. А я не делаю ничего, чтобы добра было больше. Я ушел от дел, я обхожу все ловушки. Только в одну и попал — в ловушку любви. В ее капкан. Вот и больно. Вот и лежи — перегрызай собственную ногу. Больно? Больно. Очень больно? Очень. Но терпеть можно? Можно. Иначе бы я вопил на весь мир. А я молчу. К вечеру отпустило наконец. А ну ее к лешему! Захочет — сама найдет, придет. И встречать не надо. Звонить я ей не стал. Но днем тридцать первого, едва я вернулся из музея, где мы скромно, шампанским, отметили наступающий 1987-й и разбежались, едва я пришел домой, как вдруг телефон прервал заговор молчания и по первому его звонку я понял, что это Улитка. Она извинялась. Она просила прощения. С ней произошло именно то, что я и предполагал: другая станция метро, трамвай и даже, представьте себе, трампарк, а потом таксист, который бесплатно катал ее по городу, чтобы излить душу — с женой нелады, а мальчонку жалко.

— Ну, что теперь? — вроде бы засмеялся я. Как будто не подышал вчера.

Спросить, приедет ли она, я не смел.

— Я приеду, и мы с тобой встретим Новый год, — сказала она.

— Когда тебя ждать? — спокойно спросил я. Даже деловито спросил.

— Часов в шесть.

— Хорошо. Ровно в шесть я буду у метро, — сказал я и поспешно, пока ничего не изменило этот дивный, волшебный уговор, положил трубку. Наконец я ее познакомлю с матушкой, вместе, видимо, и встретим Новый год. Я бы давно их познакомил, да матушка все отнекивалась. Ее можно было понять — она не хотела расширять круг своих обязательств. Отношения с людьми она понимала как принимаемые на себя обязательства. Обычно мои подружки не претендовали на то, чтобы быть представленными матушке. Но Улитку я любил, хотя матушка этого не знала. После своей неудачной женитьбы я стал скрытничать.

Как и вчера, я прождал Улитку полтора часа, но остался спокоен — что-то было против нашей встречи, даже не знаю что. Возможно, моя любовь была против — она возрождалась во мне только до определенной черты, до жажды себя самое уничтожить, встреча только и нужна была ей для того, чтобы совершить самоубийство. Улитка словно чувствовала это. Она не приехала.

Чтобы не вставать на уши, я отправился встречать Новый год к друзьям, бросив матушку, которая заявила, что все равно рано ляжет спать; и под утро одна из разведенных подруг хозяйки дома стала примериваться ко мне, и я по-тихому смылся, сбежал по свежему ночному снежку и дома спал до полудня, пока меня не разбудила осторожная матушкина кухонная возня. Чем она была осторожней, тем досадней звякали и брякали тарелки и кастрюли. Матушка была обижена и отрешена. Мог бы и не уезжать. Она даже что-то там вчера приготовила. Я, конечно, законченный эгоист, я служу своим страстям, на самого дорогого человека мне наплевать. Матушка считала, что она и я — это семья. А я так не считал. Семьи у меня не было. Отсюда и наши разногласия. Еще матушка часто повторяла, что в доме нет хозяина. Предполагалось, что хозяином должен быть я. Рачительным и деловитым. И ежедневными заботами приумножать домашний уют. Для дома я действительно ничего не делал. Не было у меня дома — чувство собственного жилья было отбито у меня, как носик у чайника. У меня не было семьи и не было своего дома. И я говорил себе, что мне и не нужно. Мне не хотелось чем-либо владеть, чтобы не умножать суеты. Лишь одной суете я служил — суете любви.

Под вечер матушка уехала в гости, сказала, что еще вчера бы уехала, так ее приглашали, — да, она еще нужна людям, если не нужна сыну. Сказала, что там и останется, так что я могу делать что хочу, — будто мне было двадцать лет, и в свободную квартиру (тогда у нас была всего лишь комнатуха) немедленно врывалась другая жизнь. Я не хотел, чтобы матушка уезжала, я не знал, что буду делать один, она меня не поняла, как не понимала часто, впрочем, не моими ли стараниями. Зачем ей знать про меня? Старость полна страхов там, где еще недавно жилось безоглядно, — наверное, жизнь и вправду страшна, когда погасает воля жить. Только незречность — залог нашего неистребимого стремления вперед, в никуда...

И Улитка позвонила. За окном мелко сыпал все тот же, еще предновогодний, снег, будто не в силах остановиться, хотя добавить к сказанному ему, в общем, было нечего, но тут зазвонил телефон, обычно молчавший первого числа до самого вечера, когда приходят в себя и к себе и с сожалением о прошедшем снова взбадривают знакомых и садятся за стол, чтобы доесть и договорить, хотя еда все та же и все те же разговоры, и знакомые те же, и сама жизнь, разве что еще больнее, но мне позвонила Улитка и, не слушая меня, стала говорить:

— Прости, я вчера снова не смогла приехать к тебе. Ты, наверно, ждал — прости. Я больше не буду. Я вчера вышла и ходила, ходила по городу, и места себе не могла найти, и идти ни к кому не могла, даже к тебе, а в полночь я пришла на вокзал и поняла, что это то, что я искала. Там были такие же бродяги, как я. А поезда уходили — один за другим, — и вместе с ними я отправляла свою боль. Я не помню, сколько их я проводила, я их провожала, пока не почувствовала, что боли больше не осталось, они увезли ее в ночь и снег, а я вернулась домой, и мне стало спокойно, прохладно, легко, и я легко заснула, впервые так легко после больницы. Теперь я могу приехать к тебе, если можно.

— А ты хочешь? — спросил я. — Тебе это нужно?

— Да, — сказала она.

В третий раз пошел я к синему морю, и приплыла ко мне золотая рыбка.

Чего тебе надобно, старче?

Любви.

Ночью я проснулся от счастья, переполнявшего меня, и долго не мог понять, отчего это на потолке — розовое, голубое, оранжевое сияние в россыпи серебристых брызг. Это праздник, думал я, это Новый год на улице, но это была моя елка, это горела забытая гирлянда огней. Я потянулся, чтобы выключить ее, Улитка рядом зашевелилась, взяла мою руку и сонно пробормотала:

— Не уходи...

С нервами у меня совсем нехорошо. После варварского убийства пяти адвокатов (у вас, конечно, писали об этом) я стала с собой не в ладу. Многие здесь восприняли это как запланированный акт против компартии, хотя эти адвокаты, в общем, защищали профсоюзы. Многие решили, что это выступили на арену проффашисты и теперь надо ждать арестов. Я решила, что нас, из Союза, конечно, арестуют первыми, хотя Виктор и успокаивал меня как мог. Но у меня началась мания преследования. Я выглядывала в окно и видела человека, который прячется за стеной и следит за нами, я выходила с Наташей погулять и чувствовала, что за нами идут. Я перестала спать по ночам, все прислушивалась и слышала, как поднимаются по лестнице, как стоят за дверью, дышат и почему-то не решаются позвонить. Конечно, не за себя я испугалась, а за ребенка. Ведь она пока говорит только по-русски. Если нас с Виктором арестуют, что с ней станет? Вот когда я почувствовала, как мы ужасно одиноки в этой Испании. И так ночь за ночью... И наконец однажды ночью позвонили в дверь, и я открыла, и там они стояли — из guardia civil — гражданской гвардии, в своих черных лакированных касочках и черных длинных плащах, в руках автоматы, и они меня стали спрашивать, где Виктор, но они говорили со мной по-русски, и я им по-русски отвечала, и это мне подсказало, что это бред, это мой бред.

Сейчас пишу тебе от подруги, к которой переехала с Наташей. Вечером должен прийти Виктор. Он считает, что все это чепуха, но я пока совсем не владею собой. Да что я — вся страна в шоке от случившегося. Сложность в том, что в Мадриде сконцентрировано все фашистское отребье из Аргентины, Чили, Германии, Италии и они, озлобленные тем, что на предвыборном референдуме 98% испанцев проголосовали за демократию и только 2% — за фашизм, хотят зверскими преступлениями посеять смуту. В эти дни и левые и правые силы объединились с центром в борьбе против террористов.

1977.

От Севильи до Гренады
В тихом шелесте ночей
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей.

По Андалузии я проехал с другой стороны, то есть от Гренады до Севильи, так что можно было бы спеть:

От Гранады до Севильи

.....

Раздаются сегедильи,

.....

Обежав наугад пол-Гранады, поздно вечером я вернулся в отель, вышел балкон, глянул на отполированную в свете фонарей гладь бассейна с застывшими посередке крапинками листьев, на звезды, что походили на лампочки отдаленных улиц, на луну, которая поднялась высоко, став маленькой и далекой...

Cerco tiene la luna,

Mi amor ha muerto.

В светлом кольце луна,

Моя любовь умерла.

С чем сравнить Альгамбру на холме? Не с чем. Разве что со сказкой из "Тысячи и одной ночи", которую, протерев глаза, вдруг видишь поутру. Но ты уже давно не читаешь сказок, и "Тысяча и одна ночь" отмучила тебя своими запретными соблазнами еще в нежном возрасте, еще раньше, чем вдруг набухли и отболели соски и тебе было объяснено, что это происходит и у мальчиков, — и вот тебя ведут через ворота, мимо сторожевых башен и могучих стен, в нежное, алебастровое, тонкое, перегородчатое, сверху сталактитовое и арабесковое, а понизу журчащее фонтанами, в бассейнах отражаются стены и потолки, и никак не уразуметь, что это была жизнь, что ТАК ЗДЕСЬ ЖИЛИ.

Здесь все соразмерно и соизмеримо с человеком, с его ростом и шагом. Архитектура земной любви и наслаждения земной жизнью, архитектура неги, обещанной христианам только там, в загробном царстве. Готическое возносит, а мавританское плавно опускает, словно веря в рай на земле и разбивая рядом же райский сад — Хенералиф. Я стою во Львином двореке в окружении арок, аркад; сталактитовые своды на тоненьких парных сталагмитовых колоннах, похожих на девичьи торсы, а посередке фонтан — тяжелая чаша на спинах двенадцати львов — из двенадцати пастей падает двенадцать струй, и по плоским ложбинкам в мраморном полу вода тихо бежит на все четыре стороны в покои дворца, неся прохладу и успокоение. За оранжево-сизыми пирамидками черепичных крыш высоко стоят смугло-зеленые кипарисы, а за арочными, зарешеченными по пояс дверьми вдруг обрыв, простор, невесомость и далеко внизу — белый город под апельсиновыми крышами, за ним — синие, лиловые горы Сьерра-Невады. Так не бывает, шепчу я, так в моей жизни быть не может, это из другой, которой мне не дано. Затем отроги Сьерра-Невады отступили, и вот уже Сьерра-де-Альмихара синела там, слева, под осенним высоким небом, по которому совершался парад ярко-белых облаков, — они застили солнце, и на долину нисходила тень, но не сплошь: тут и там возникали из нее красноватые холмы с ровными темно-зелеными рядами олив, уходящих к вздыбленному горизонту; автобус петлял между этими холмами, и лучи солнца били в лобовое стекло, просвечивая салон, полный музыки и дремоты, затем солнце складывало свой слепящий веер, чтобы снова взмахнуть им уже с другой стороны, и я опускал перед собой шелковую зеленую шторку, чтобы не ослепнуть, но тут же снова откидывал — в жажде неустанного глядения на эту увертюру света и тени с медными аккордами гор, скрипками и виолончелями облаков, гобоями холмов и долин. Нет, это Бизе, Андалузия другая, у нее свои инструменты — гитара, кастаньеты, дробь каблуков, монотонная меланхолия древней, как мир, канте-хондо, музыки птиц, папоротников и деревьев, у Андалузии страстное тремоло, стальные вскрики струн, грозовые разряды перенапряженного чувства, где все или — или: жизнь и смерть, трагедия и счастье, накапливающиеся на двух полюсах, чтобы соединиться громовой молнией судьбы, — Андалузия без полутонов и валеров, однако лик ее печален, а печаль — самое непостижимое свойство души.

В Севилью, как вчера в Гранаду, я приехал под вечер. На улицах росли апельсиновые деревья, спелые апельсины падали на тротуар, на проезжую часть, никто их не подбирали, но и не давили, и они скатывались к боротке, к водостоку. В бархатной тьме по загазованной автостраде неслись машины; пальмы, платаны, акации, магнолии, эвкалипты и еще какие-то неизвестные мне деревья и кустарники высывались боком на свет фонарей, и, помимо выхлопов машин, пахло апельсиновой коркой, арахисом и жареными каштанами, и я покупал то теплые, подпеченные арахисовые орехи (о, это хрустящее арабское ядрышко, породившее русское слово!), то миндаль, то горячие каштаны, похожие на сладкую рассыпчатую картошку...

Казалось бы, все, по законам прозы, которыми ведает интуиция, на Севилье надо ставить точку, но что прикажешь делать, дорогой читатель, если впереди еще табачная фабрика... Впрочем, задача облегчается тем, что рассказывать, собственно, нечего, — не об отсутствии же добродетели у двух самых притягательных женщин мировой литературы — Манон Леско и Кармен, созданных почему-то французами, будто последние больше других испытали на себе магию женщины, не знающей берегов, и не посмели ее осудить, невольно поставив красоту над нравственностью, хотя бы вопрос, что под сим понимать, и оставался открытым до нынешних времен.

Обе истории рассказаны пострадавшими любовниками, и не нам, читателям, а авторам-слушателям. С точки зрения нравственности тех, да и наших, времен материал взрывоопасен и как бы нуждается в двойной упаковке. Героини неверны, и в этом, как ни парадоксально, и заключена тайна их бессмертия. Они изменяют мужескому гению, создавшему их, и он замороженно следит их собственный путь, восхищаясь, кажется, именно тем, что любовь непредсказуема, как и жизнь, и в этом-то все дело. Вот что такое две эти женщины, и, падшие, отверженные, не раз заклеименные, они остаются нашими бесценными возлюбленными. В них мы любим свою собственную тягу к свободе и неизвестности.

...Никто не встал на моем пути, и я беспрепятственно через высокие ворота вошел во двор бывшей табачной фабрики, а ныне университета, затем и внутрь. Там были длинные огромные коридоры, с арочными сводами, как у нас в Смольном, и двери, двери... И больше не было ничего. Где-то еще шли занятия, и изредка попадались группы молодых людей с книгами и конспектами под мышкой. Я набрел на филологический факультет, прочел за чем-то расписание занятий на старших курсах и двинулся дальше с чувством нереальности происходящего, как если бы вдруг попал в другое, прошлое время. А когда я вышел уже из других ворот в прилегающий садик с тихими ночными деревьями и кустами, меня вдруг в теплой тьме остановил волнующий запах, который, оказывается, все время был рядом, но только теперь я смог его назвать — это тонко и печально, как духами от старой книги, пахло листьями табака.

В ту ночь я долго не мог заснуть — на дворе, как и вчера, лаяла собака, хотя юный улыбчивый портье удивился, когда я ему еще утром сказал об этом — "никто не жаловался, сеньор," — но и я ведь не жаловался, мне не хотелось выглядеть занудой, — и вот она снова лаяла, бессонная псина, поднимая морду со дна узкого черного прохода к маленькой севильской луне, почти растворенной в опаловом наверху и аспидном понизу небе. Кордова — почему-то ее я представляю себе чаще, чем Севилью или Гранаду, видимо потому, что помнится легче, — только и всего — набережная Гвадалquivира да Римский мост с десятью — двенадцатью пролетами... Окаменевшее время цвета полевой мыши. Здесь, на набережной, исследователю знаменитых "Записок о Галльской войне" и встретилаcь впервые Кармен после ее купания в сумерках среди других "гуадалquivирских нимф". Могучий мост этот, да и само купание, говорили о том, что некогда река была многоводной, теперь же между ее высоких каменных берегов тянулась заболоченная пойма, с островками, бочажками и лагунами, с зарослями ивняка, тростника и зелеными лужайками, среди которых петлял, разливаясь на мелководье, ручеек под названием Гвадалquivир, уже и не помнивший упругие смуглые тела своих веселых купальщиц.

А в Мадриде вечер, в Мадриде светопреставление. Весь Мадрид на улицах. Вечерний Мадрид вышел на прогулку: половина пешком, половина на колесах. Я на Гран-Виа, наш дом далеко, я предусмотрительно не истратил последние полторы тысячи песет, они мне пригодятся на такси, если Виктор или Арина не встретят, и сколько ни верчу головой, я не вижу ни знакомого "форда", ни знакомого "мерседеса".

Таксист мне попадаетсся хуже некуда — едва я залезаю в его весьма подержанную, хотя и мощную машину, как испытываю инстинктивное желание вылезти обратно — столь сильны в ней волны хронического неблагополучия. Мы трогаемся в стаде машин, и это стадо сразу начинает бесить моего таксиста. На вид ему лет тридцать пять, небритый, лохматый, с коричневыми мешками под глазами и резким, как бы сорванным, как у многих испанцев, голосом. Он сразу посылает к порка мадонне владельца машины слева, а затем — на повороте — водителя справа, мы дуем по Кастельяно, и мой таксист продолжает препираться с двумя автомобильными потоками, попутным и встречным; видать, много у него накопилось, видать, давно уже встает не с той ноги, и не перестроиться никак, друзья — алкаши, жена — шлюха, дети — ублюдки, геморрой свербит, сядешь на унитаз — кровища, как из

быка, хозяин автопарка кореша из себя строит, чтобы держать на трехсменке, "Ты, Кике, железный мужик", но Энрике не дурак, Энрике чувствует его мохнатую лапу в своем кармане, фашисты были дерьмо, но и социалисты дерьмо, мы по уши в дерьме, а мир в жопе.

Мы резко тормозим, чуть не врежаясь в машину.

— Tranquilo *, — говорю я, — все не так уж плохо, надо только поменять ногу.

— Да, понимаешь ли! — чуть не рыдает в благодарность за то, что его слушают, Энрике. — Да, понимаешь ли! — И, нажав на акселератор, начинает бешено обходить соперников.

— Я-то понимаю, — говорю я, — но все-таки смотри иногда на дорогу. Мне еще почему-то жить не надоело.

— А мне на жизнь насрать! — говорит Энрике, но тут же опровергает себя немыслимым выражом. — Puta madre! ** — вытирает он вспотевший лоб тыльной стороной руки. Бедная его мама, наверно, это она отравила ему жизнь, внушив в детстве, что ничего путного из него не выйдет. Теперь вот и сам он начинает так думать, и это приводит его в ярость. А тверди она ему: Кике, быть тебе министром — и, глядишь, теперь бы он стоял во главе Министерства социального обеспечения и страхования и помогал бы таким бедолагам, как сам, и скрутил бы хозяина, утаивающего налоги на Кикиных сверхурочных.

Мы пересекаем черту города, где другая такса, раза в полтора выше городской, и Энрике достает и показывает мне таблицу. Я осведомленно киваю. Но Моралеху Энрике не знает, видать, никого он не возит до Моралехи, в Моралеху ездят на своих машинах, а если кто и окажется в городе без колес, то таких, как Кике, видит за километр. Это только сраный иностранец может клонуть на облезлую Кикину тачку. Возле поворота к Моралехе останавливаемся, он машет соседнему водителю, тот опускает стекло, объясняет Кике, где этот чертов коммерческий центр, но Энрике был бы не Энрике, если бы он хоть что-нибудь уразумел. Это еще учитель в школе говорил: "А теперь послушаем болвана Энрике". Где им понять, что Энрике думает о своем, все время думает, целый день, пока крутит по этому дерьмовому городу, где одно дерьмо, так крепко думает, что даже не слышит, что ему говорят.

— Понятно, — самоуверенно кивает Энрике водителю и резко вонзает шпоры в свою старую клячу.

Мы носимся по холмам вечерней Моралехи, выписывая восьмерки, и есть все: и церковь, и административный центр, и поворот к богатому теннисному клубу, и Наташкин с Антохой колледж — нет только нашего дома и нашей улицы; да полно, есть ли вообще в Моралехе эта самая Камино-де-Ойярраса, что-то Энрике не слышал, я тоже раньше не слышал, а потом услышал, а потом даже приехал и вот, на ней живу, и если я и взаправду живу, то она есть. Энрике недовольно соглашается — все-таки ему было бы легче, если бы ее не было, тогда бы мы не рыскали в этой чертовой дыре, тогда бы он меня просто подвез к полиции — пусть она возится с этими малохолльными иностранцами, которые путают "налево" с "направо"... Наконец тьма распадается, впереди искомый торговый центр, на стоянке перед ним полно машин, а двери еще приветливо открыты, хотя поздно, одиннадцатый час. Отсюда до дому рукой подать — прямо, налево, направо и еще раз направо, не больше километра, но эта задачка не для нас с Энрике, и я говорю: "Остановись здесь, приехали".

— Приехали? — с обидой переспрашивает Энрике, чувствуя, что я в нем усомнился. — Да, — настаиваю я.

И тогда он мне рисует и протягивает счет. Я даю ему полторы тысячи и вежливо жду сдачи. Энрике, рассеянно взглянув на меня, как бы в последний раз примеряя, с кем он имеет дело, дает мне какую-то жалкую медь вместо полновесного серебра суммой почти в двести песет. В другой раз я, может, их бы ему и простил, но тут мне, в свою очередь, становится обидно и за себя, и за него, и за испанскую гордость. Я возвращаю ему мелочь и говорю, что он это может оставить себе, а мне пусть отдает положенные двести песет, согласно счету, который сам же он и написал. А он вроде совсем перестал меня понимать. Тогда я прошу, чтобы он дал мне квиток бумаги и авторучку. А он понимает, что я хочу записать номер машины и имя хозяина, и, вдруг присмирив, начинает покорно выводить какие-то каракули. Что поделать, он, Энрике, неудачник, завтра этот иностранец накапает шефу...

— Нет! — гордо и твердо мотаю я головой, в том смысле, что мы не фискалы и чужое несчастье для нас не радость, а горе. — Нет! — говорю я и рисую на листочке цифру тысяча пятьсот, а под ней рисую цифру тысяча двести шестьдесят пять и слева от них ставлю знак вычитания, вычтя же, получаю цифру двести тридцать пять. Энрике заворуженно следит за моими действиями, за тем, как я обвожу кружочком и демонстрирую ему искомое число. Ах, школа, школа, зеленая тоска, убитые годы! "А теперь послушаем болвана Энрике". Он встряхивает головой, будто проснувшись:

— Простите, сеньор! Это все от заморочки. Целый день на колесах. Тут не то что сдачу, тут маму родную забудешь. — И отдает мне сто пятьдесят песет.

Черт с тобой, Энрике, думаю я, и выхожу в теплую сухую осеннюю тьму. По Моралехе не ходят, по Моралехе ездят, и, пока я добираюсь до дому, меня успевают облаять все ее собаки, бросающиеся на ограду, за которой раздаются мои шаги, впрочем в их лае мне слышится лишь дежурная ярость, не имеющая ничего общего с их добрым собачьим нравом. А вот и наш дом, жалюзи опущены, темно, но на высокой горбатой крыше светятся два пузыря, — значит, внутри жизнь, тепло, внутри любимые, близкие мне люди. Как это Виктору все удалось, чьи гены тут оказались решающими? наших разных матерей?

Все были в сборе, опередив меня с моим Кике, и даже филиппинцам я был в радость. Будто здесь я живу, здесь мой дом. Оставайся, не раз говорили мне, оставайся, повторяли мне друзья Виктора и Арины, и, будь у меня здесь хоть какое-нибудь дело, я бы, возможно, и остался на год-другой... Или не остался бы, не знаю.

Моро, похоже соскучившийся по мне, не отставал ни на шаг. В полночь я вышел в сад, и Моро потек рядом, как моя тень. Но света не было, Тино выключил ночное освещение, и луны не было, и звезд; холодный воздух трогал щеки и лоб крошечными присосками влаги, по кустам что-то шуршало, не заслуживающее внимания Моро, он поднимал ко мне свою широколобую морду, как бы спрашивая: "Что для тебя сделать?", и снова послушно трусил возле моего колена — продолжение хозяина, его щит и меч. Ночью я проснулся от частого дыхания рядом — это Моро молча обходил комнаты, неся бессонное дежурство, изнывая от преданности и любви, которую, как хорошо воспитанный пес, он мог выразить только своим постоянным присутствием.

Виктор и Арина не стали слушать мои рассказы, удовлетворившись тем, что я доволен, и мне никак не удавалось осознать, что они все это прошли, проехали, прожили много раз, что это всегда рядом с ними, как некая постоянная ячейка чувства и памяти, ну как для нас наши собственные святыни — скажем, Царское Село под Петербургом и Сергиев Посад под Москвой.

Весна, как всегда, действует на меня подавляюще, не столько морально, сколько физически. С репетиций я возвращаюсь совершенно разбитой, и мне необходимо прилечь хотя бы на полчаса, чтобы набраться сил к вечеру. А впереди самые горячие дни. Спектакль наполовину готов. Сегодня приходили из газеты — интервьюировали. Похоже, о нас будет статья. Было очевидно, что журналистов поразила оригинальность нашей постановки. То ли будет! Театр наш наиболее

интересен идейно и наименее обеспечен материально. Думаю, что одно находится в прямой зависимости от другого. Ребята же из студии театра или, как здесь говорят, из лаборатории театра вообще не обеспечены никаким будущим: сам где-то проявишься — хорошо, нет — никто о тебе и не узнает. Морально они чрезвычайно уязвимы и настроены очень агрессивно по отношению к профессии; поэтому они так рьяно ухватились за возможность работать со мной. Пришли ко мне одиннадцать человек, пьеса же рассчитана на семерых. Начала я работать со всеми одиннадцатью, но к началу марта необходимо было уже назначить семь исполнителей — четыре же человека во второй состав при трех постоянных. Все знали, что это будет, и, вероятно, все про себя рассчитывали быть постоянными. И вот я объявила, кто и когда выступает. И началось такое! Это был парад комплексов, но выраженных в такой форме, что я не только по-испански, но и по-русски не могла вымолвить ни слова. Они категорически отказались от замены и потребовали, чтобы я выгнала четырех человек. Роль — кусок хлеба, значит, руками, ногами, зубами вырвать, но победить. Бедные люди, бедная мораль... Какая там замена? Испанец не может быть заменен! Вот она, антидемократия в совсем молодом поколении, казалось бы — таком прогрессивном... Вот они, плоды Франко. Конечно, тридцать шесть лет фашизма не прошли бесследно — следы, следы на каждом шагу.

Но вот прошел месяц, и все наконец образовалось, и нас опять одиннадцать, как и вначале, и четыре человека имеют замену. Я победила, вернее, победил здравый смысл, но какой ценой... Итак, премьера назначена на 20 апреля.

После всех моих дел с театром я чувствую себя повзрослевшей. Дало ли мне это высшую мудрость — все простить, всех уважать и подставлять другую щеку? О нет! Все наоборот, такой "мудрой" я уже была. Для себя я вынесла другой урок. Ты, догадываясь о моем характере, поймешь, насколько дорого обошлось мне это познание. Я познала, что все люди умеют говорить, но только единицы — мыслить. А раз так, то необходимо это твердо осознать и ограничить поток энергии, направляемой на тех, кто высказывает свое мнение, не имея никакой базы для этого; необходимо уметь не слушать, не замечать, не слышать, не уважать, не считаться, не придавать ни малейшего значения сказанным тебе словам. Это все, конечно, в том случае, когда жизнь тебя сводит с мелкотравчатыми. Но ведь в основном она именно с ними и сводит. А они очень даже небезопасные, потому что от неуверенности в себе очень даже агрессивные, и агрессивность их особенная — стремительная и в никуда, как полет блохи. Вот это надо очень хорошо понять — понять, но не осуждать, как нельзя осуждать инвалида за то, что он не может пробежать с тобой стометровку.

ДАНО ли нам чувство реальности, можем ли мы знать наверняка, что если бы поступали так-то и так-то, то получилось бы именно то-то, а не что-нибудь иное, чего и представить себе нельзя. Ведь у всех у нас две жизни. Об одной мы можем легко рассказать себе и другим, всему находя объяснение, распутывая узелок за узелком. Мы носим ее как шерстяную фуфайку, она греет, хоть и сквозит на свету. Это то, что мы про себя придумали, что имеет смысл и что оправдывает нас. Другая же — это клубок пряжи, сучающаяся нить нашего чувства; нам хочется связать что-то полезное, но одно неосторожное движение — и петли вновь ползут.

Когда Улитка приехала ко мне, я был ей другом, братом, милосердным братом, и готов был им оставаться, пока боль и страдание не избудут в ней, но она протянула ко мне руки, я понял, что она хочет моих ласк, понял это с изумлением — мне казалось, что этого еще долго не будет, но она, запрокинув голову, закрыв глаза, нет — полуприкрыв их, так что видны были безумные блуждающие зрачки, ждала меня, и я уступил ей, как, наверно, уступают женщины. Когда же она обвила меня руками и ногами, прильнула, будто отказываясь от себя, от отдельного существования своей души и плоти, у меня зазвенело в голове, и, судя по тому, что я не помню дальнейшего, я был, наверно, счастлив, как никогда прежде. И после — после тоже был счастлив, когда волна схлынула, ушла, обнажив нас, как камешки на берегу. И во сне счастье продолжалось, и когда я просыпался, словно проверяя — рядом ли Улитка, счастье тоже было рядом. Впрочем, как и тревога. Тревога была из-за избыточности его. Из-за моего подспудного ощущения, что я его не заслужил, что награда пришла не по адресу. Нет, и это не так — просто раньше времени.

Счастье пришло раньше, чем я был к нему готов. Но разве к нему готовятся? А утром, отменяя мои последние сомнения, Улитка сказала:

— Я знала, что вернусь к тебе. Мы будем вместе, если ты захочешь.

Раньше я считал, что в любви есть вещи, которые простить нельзя, — скажем, физическую измену. Но в любви измена невозможна, возразят мне. Увы — отвечу я. В любви возможно все, и прежде всего невозможное. Другое дело — как мы к этому отнесемся. Раньше я бы не простил — как не простил свою бывшую жену, хотя думал, что простил, что перешагнул через это. Но вот что дальше произошло: был день и ребенок наш спал, а теща ушла в магазин, и мы посмотрели друг на друга, и в потемневших глазах моей жены я прочел желание, и это выражение ее лица меня всегда возбуждало, мы быстро разделись и легли, не разбирая постели, и она, прекрасная, обнаженная, желанная, мне сказала:— Давай так... — и предложила, как это мы будем делать. И хотя в ее предложении не было для меня ничего неожиданного — за три года женитьбы мы перепробовали все, что только можно придумать, — вдруг в этот момент что-то внезапно и резко сломалось во мне. Я приподнялся на локтях и посмотрел на нее, физически ощущая, какое у меня лицо.— Нет, ты меня не понял, — вспыхнула она, мгновенно прочитав мои мысли. И видимо, была права — я ее действительно не понял, и слова ее вовсе не относились к тому добавочному опыту, который она приобрела не со мной. Но я поднялся с постели, как покойник, и стал одеваться. Жена молча глядела на меня. Мне было невыносимо жаль ее, но я ничего не мог с собой поделать. Я оделся и сказал:— Мы с тобой останемся мужем и женой, потому что у нас ребенок. Но спать мы с тобой больше не будем.

Возможно, очень даже возможно, что в тот момент я все же блефовал, я хотел сделать больно, проучить, преподать урок. Но, увы, так и получилось, — я к ней больше не смог прикоснуться, будто кто-то, распоряжающийся нашими судьбами, подслушал мои слова. Через полгода жена от меня ушла. И вот Улитка сказала:

— Мы будем вместе, если ты захочешь.

И я ответил:

— Я хочу. — И у меня даже мысли не шевельнулось — прощать или не прощать. И не любовь была тому причиной. Другое — возраст. Алеко, убивающий свою юную Земфиру... Никогда не верил в эту историю. У Лорки бедный влюбленный старикан дон Перлимплин убивает самого себя — и в это не верю. Возраст (как-то трудно сказать — старость) или прощает, или отпускает восвояси. Я простил, потому что мне было 44, а Улитке 21; я хотел, чтобы Улитка была со мной до конца моей жизни, то есть при нормальном ходе вещей еще четверть века. Это невероятно много для счастья, а мне казалось, что я буду с ней счастлив. То есть я даже не заикнулся на тему прощать или не прощать. Она явилась — и я открыл ей дверь. Прошло недели две, и все было хорошо, как бы по-прежнему, или еще лучше. Гроза миновала — небо стало выше, даль — дальше. Правда, за это время я ни разу не был у Улитки — все как-то не получалось. Но мы часто виделись в городе и, погуляв, сходяв в кино, в театр, на выставку, заворачивали ко мне. Иногда она оставалась на ночь. Она готовилась к переезду — срок, на который она сняла квартиру, истекал. И все-таки однажды я приехал. Все было на месте: моя зубная щетка, мои тапочки. "Я это никому не позволяла трогать", — сказала Улитка. "Никому", — машинально подумал я, заходя в комнату с тем внутренним стеснением, с каким входят в морг. И здесь все было по-прежнему, никаких чужих следов, никакой чужой жизни, только на стене — новая работа, заставившая меня вздрогнуть: сатана, жадно обнимающий молодую, прекрасную женщину, фигурой так похожую на Улитку. Его пальцы-когти впиваются ей в тело, а она не слышит боли или даже отдается ей, закинув свои руки за шею сатаны, и все ее тело — порыв к нему, и не видит она его огромных кожистых крыльев, которые вот-вот сомкнутся, как створки раковины, и поглотят ее.

— Что это? — спросил я.

— А... это не мое, — сказала Улитка. — Какой-то американец. Это один заказчик просил меня сделать копию. Я сделала, а он не идет.

От картины веяло ужасом.

— Отдай ее мне пока, — сказал я. — Заказчик объявится — я верну.

— Бери, — равнодушно сказала Улитка. — Она мне не нравится. Я всего полчаса работала. Она большего и не стоит.

— Эта женщина похожа на тебя, — выдавил я.

— Да, — сказала Улитка. — Фигура моя. Ой, она так тянется к этому типу... А вообще-то пошлость.

Я снял картину, перевернул изнанкой и прислонил к стене. Была бы моя воля, я бы ее выбросил, истоптал, сжег — дьявольщина была в ней.

— Холодно... — поежилась Улитка. — И батареи не топят. Давай полежим? Мы разделись и залезли под одеяло, прихватив парочку альбомов. Улитка подоткнула подушку, чтобы удобней смотреть, и раскрыла один из них. Кажется, это был Боттичелли, его "Весна", целиком и в прекрасных фрагментах, где видно было движение кисти. Улитка считала, что вся живопись модерна вышла из "Весны", только то, что было тайной, модерн сделал явным и, в общем, загубил. Живопись модерна она считала скорее интерьерной, чем самостоятельной, а потому сам интерьер этого периода ставила выше его живописных изысков.

— Вот смотри, — сказала она, положив свою смуглую прекрасную кисть на лист альбома с фигурами трех застывших в танце граций. И в это время зазвонил телефон.

— Не поднимай, — сказал я. Это было наше время, и ничье больше.

— Дима должен позвонить, мы договаривались, — сказала она и, выбравшись из-под одеяла, голая, на коленях, потянулась к трубке. Это и был он.

— Дима, я ничего не слышу, — сказала она в трубку. — Ты из автомата? Две копейки еще есть? Иди в другую будку и позвони. Ничего, я тебе отдам... —

Видимо, Диме было жалко лишней двушки. И Улитка бросила трубку, несмотря на очевидные Димины протесты. — Не могу же я орать, — повернулась она ко мне.

Господи, я так и не привык к ней, обнаженной.

— Иди ко мне, — глухо сказал я, протягивая к ней руку.

— Подожди, сейчас он позвонит. — Лицо ее стало виноватым.

— Да ну его к черту.

— Ты прав, не надо было отвечать. Этот проклятый телефон, он всегда звонит не вовремя. Сейчас, потерпи чуть... — В голосе ее прорвалась тягучая обещающая хрипая нотка. О, милая, как хорошо, как легко с ней...

Телефон снова зазвенел, и Улитка нетерпеливо схватила трубку:

— Дима?!

Это был не Дима. Впечатление было такое, будто Улитка наткнулась на что-то с разбегу. Голос ее изменился, стал глухим и каким-то незнакомым — зависимым. А мужской голос на том конце линии был сильным и твердым, и, видимо, линия эта была совсем короткой, потому что я хорошо его слышал. Я не разбирал слов, но интонация этого голоса... она вся была на слуху, как проход электрички в пристанционной дачной округе. И больше всего меня поразило, с каким правом и натиском этот хорошо поставленный баритон на чем-то настаивал. Впрочем, было ясно на чем.

— Нет, не приходи, — сказала Улитка. — Я сейчас ухожу, сию секунду. — Хотя мы, как я понимал, никуда уходить не собирались.

— Ну и что, что рядом, — сказала Улитка.

— Нет, и на минутку не надо, — сказала Улитка. И голос ее все более мерк, — на его солнечность напоззло облако.

— Я не буду ждать, — сказала Улитка.

— Не надо встречать меня у метро, — сказала она. — Я не одна, я тут... с художником. Он зашел за красками, и мы сейчас вместе уходим...

— Нет, — сказала она, — не надо, ты не впишешься. Ты мне потом позвонишь, ладно?

Это он, застучало у меня в висках, это опять он, мой соперник, дьявол, сильный, уверенный в себе. И то, как он говорил с моей Улиткой, совсем не вязалось с тем, что он прогнан, проклят, отвергнут.

— Ну пока, — мертво сказала Улитка и положила трубку. Она не обернулась, а оставшись у телефона, так и сидела голая, на коленях, спиной ко мне. Обернуться ей было как бы не под силу, но в то же время как бы и не нужно — поза ее уже выражала ожидание другого звонка, Диминого, и он раздался, и, услышав Диму в трубке, она с облегчением сказала:

— Ну вот!

Разговор был короткий, и Улитка произносила только одно слово: "Хорошо". Положив трубку, она наконец обернулась, как бы полная новой темой, хотя и старая была, была в ней, — обернулась и сказала:

— К сожалению, ничего у нас сегодня не получится. Мне надо по делам. Дима ждет. Ему только на час принесли одну штуку, очень дорогую, я должна посмотреть, можно ли отреставрировать. — Но что-то в моем лице, видимо, было такое, что Улитка, взяв меня за руку, добавила тепло и бодро: — Ну, что ты? Что ты киснешь? Все хорошо. Одевайся. Я знаю, про что Дима говорит. Это шкатулка, восемнадцатый век, перегородчатая эмаль. Редкая вещь. Скорей, у нас мало времени.

Мы молча оделись и молча вышли на улицу. День был серый, холодный, грязно-ледяной, и в моих глазах было темно.

— Ну что ты скис, Игнаша? — потрясла она меня за руку.

— А то непонятно, — сказал я.

— Ну что — позвонил приятель, — сказала она. — У меня же много приятелей.

Для тебя это не секрет.

— Это был не приятель, — сказал я. — Я слышал его голос, поневоле слышал...

Так может говорить только очень близкий человек... Скажи мне правду — и я уйду. Я не буду тебе мешать.

— Какую еще правду?! Я все тебе сказала.

Я набрал в легкие воздух, зажмурился, как перед прыжком в воду, в пропасть, в никуда, и выдохнул:

— Я тебе не верю.

Улитка выставила челюсть, закусила нижнюю губу, промычала что-то и на одной ножке прыгала вперед — в куртке, в черных обтяжных брюках под кожу, в большой меховой азиатской шапке с двумя лисьими хвостами на спине — шапка делала ее похожей на татарскую княжну. Еще ни разу я не говорил ей ничего подобного ("Со мной нельзя грубо, я грубость не выношу — я сразу уйду"). Она ускакала от меня на несколько шагов, потом вернулась — так же, на одной ножке, схватилась за мою руку, чтобы не потерять равновесие:

— Не ссорься со мной, ладно? Со своими приятелями я как-нибудь сама разберусь. Не скоро я узнал, что этот тип взял у нее в долг большую сумму, по моим меркам — очень большую, половину того, что оставила ей в наследство бабушка, и не отдал в срок, и теперь это, естественно, волновало ее.

— Зачем ты дала? — сказал я.

— Он попросил. Когда меня просят, я не могу отказать.

— Сказала бы, что у тебя нет.

— Он знал, что есть. Я не умею обманывать, мне становится стыдно. Мне стыдно не дать, если люди просят.

— А им не стыдно?

— Это их дело.

— Дай мне его телефон.

— Поедешь бить морду? Так я вообще денег не получу. Не вмешивайся. Он обещал отдать через месяц. Вот если не отдаст...

Вот откуда эта требовательная, наглая интонация — большие деньги связывают крепче постели, и он — судя по ее словам, фарцовщик — прекрасно это знал. А так больше ничто не омрачило тогда первый месяц нашего нового года.

Вскоре Улитка переехала, и я был этому рад. Из района застройки шестидесятых годов, из "хрущевок", среди достоинств которых есть и то, что жизни им положено лет пятьдесят, — значит, когда-нибудь их непременно снесут, — из такого вот района Улитка переехала в Санкт-Петербург, прямо в середину девятнадцатого века, на канал Грибоедова, бывший Екатерининский, в четырехэтажный особнячок, вышедший из капитального ремонта целым, хотя и сильно поврежденным. От истории в нем, конечно, ничего не осталось, как и в тысячах других зданий, отремонтированных так, чтобы капитально отшибить память бетонными плитами новостроя. И все-таки место было уникальное — петербургская Коломна. Рядом, совсем рядом, была Театральная площадь, собор Николы Морского, до которого можно было идти по Садовой, чтобы, поднявшись на чудесный пешеходный мостик, одним взглядом окинуть золотые купола и голубые стены за сетью деревьев, убегающий по прямой Крюков канал, что там, дальше, за Мариинским театром, впадает в Мойку; в воде тихо плавится небо, и глядится в нее красавица колокольня, словно на миг покинувшая своего строгого родителя; но можно пойти к Николе и по проспекту Римского-Корсакова, бывшему Екатерингофскому... и куда ни глянь — адреса, адреса. Кажется, вся русская литература, музыка, живопись побывали здесь. Горевать ли, что в лучшем случае только таблички напоминают об этом, а внутри пусто, голо, мертво? Я уже не горевал — я шел в февральский глухой морозный вечер привычным путем к Улитке, и все эти темные, облезлые, облупленные дома с раздранными подворотнями, загаженными лестницами, с выбитой узорчатой решеткой перил (а когда-то там лежали ковры), все эти убийственные дворы-колодцы с вонючими помойками, по которым брезгливо шастали подвальные кошки, — весь этот знакомый с детства городской разор, заматерелый неуют, почему-то только прибавлявшийся, множившийся по мере того, как я рос, а теперь вот старел, — все это так давно стало неотъемлемой частью моей жизни, частью меня самого, что смешно было бы искать виноватых. В самом деле, от Европы у нас только фасад — мечта о красивой жизни, а двор помоечный — наша реальность.

На сей раз Улитка сняла квартиру из двух комнат на втором этаже. Точнее — это были те же комната и кухня, но кухня была чуть не вдвое больше комнаты, и Улитка сказала: "Там я буду спать, а здесь будет моя мастерская". Квартира эта отпочковалась от коммуналки, к ненависти оставшихся в ней, здесь же у хозяев теперь был свой отдельный вход, ранее забитый за ненадобностью, а в свою большую кухню они встроили ванную вместе с санузлом, провели газ для плиты, установили раковину. К моменту вселения Улитки газовой плиты еще не было — она застряла где-то в пути, завязнув в доносах, которыми бывшие соседи еще пытались отравить жизнь предприимчивым отделенцам, и пока шла эта борьба, Улитка обходилась старой допотопной электроплиткой, подарком Димы. Новое Улиткино жилище мне понравилось, хотя в нем было темновато из-за стены соседнего дома. Тусклый свет удручал Улитку, и в один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, окна превратились в витражи — в дев эпохи модерна среди декоративного узора из листьев и лилий. Витражи ей заменили шторы, которые я советовал повесить, услышав, что кто-то за ней подглядывает по ночам из окна напротив, — теперь она могла ходить нагишом в свое удовольствие.

Я шел через Театральную площадь в глухих ночных огнях, через Крюков канал, по мосту, вид с которого запечатлен на известной гравюре Остроумовой-Лебедевой, шел мимо школы, где я когда-то учился и где выжимал из себя слезы в день смерти Сталина, поворачивал по набережной, где в эту позднюю пору попадались только владельцы собак, а поискав глазами, можно было обнаружить и темное пятно ее самой, задумчиво обнюхивающей ствол дерева в решении вечного вопроса "что делать?"; я выходил на проспект Римского-Корсакова, в этом месте отчужденный от прохожих зданиями бывших казарм, затем сворачивал на Лермонтовский проспект и мимо бывшей Эстонской церкви, занятой мастерскими Художественного фонда, организацией богатой, но клоачной, куда Улитка тщетно пыталась устроиться, — мимо церкви спешил дальше через мост, сворачивал вдоль канала направо, и вот уже впереди розоватый Улиткин дом, вот двор, а в углу на втором этаже, рядом с глухой стеной, — витражные переливы Улиткиных окон. Я нес ей одеяло. "Зачем? У меня куча одеял..." Но оказалось, что всего два, тоненьких, детских, одно на ноги, другое на плечи... А была зима, и дуло во все щели новых капитальных рам, которые, само собой, повело.

Вскоре хозяева привезли разобранный платяной шкаф, и я его собирал. Прежде платяные шкафы мне собирать не приходилось, но задачка была на уровне детского конструктора, и Улитка была от меня в восторге. Только под занавес я сообразил, что ухитрился составить вместе все эти неподъемные части без крепежных болтов — они обнаружились совершенно случайно, и надлежало использовать их по назначению. Теперь-то моя шаткая конструкция, готовая завалиться от одного дыхания, отвердела. Однако присутствие в дереве шкафа крепежного металла как бы опошляло мебельную идею, сводило ее к нулю.

— Протезный шкаф, — скривилась Улитка. — Ничего, я себе куплю настоящий. В стиле модерн.

В то время как я занимался сборкой, в большой комнате возился над разбитым хозяйским пианино Илья Исаакович, настройщик, порекомендованный моим приятелем-музыкантом. Сняв крышку и увидев потрескавшуюся деку, Илья Исаакович поначалу посоветовал отправить инструмент на свалку, но, присмотревшись к Улитке, передумал и сказал, что попробует. Улитка нарочно вырядилась и с голой спиной, в мини-юбке, а скорее — в набедренной повязке, гарцевала мимо него на высоких каблуках. Ей очень хотелось, чтобы глухой, расстроенный, почти безголосый ящик фирмы Юргенсон 1898 года снова зазвучал, — ведь у нее было семилетнее музыкальное образование и она обожала чарльстоны. Илья Исаакович, высокий и не очень старый, косясь на Улитку, попил чайку с медом и принялся за работу. Через два часа инструмент запел — это был свиридовский романс из музыкального цикла к "Метели" Пушкина. Играл Илья Исаакович как человек, у которого почти все позади, однако с неутраченной надеждой на кое-какие отдельные зарницы; он уже успел выяснить, что я Улитке не муж, а так, и даже услышал от нее хорошо мне знакомую фразу: "Я женщина свободная". Деньги он за работу взял, сухо мне кивнул, а Улитке поцеловал ручку, и, когда дверь за ним закрылась, Улитка показала мне тоненькую самиздатовскую книжицу с одним из эротических рассказов Альфреда де Мюссе, которую Илья Исаакович горячо советовал ей прочесть. Я сказал, что не уверен, что это Мюссе, и что читать ей это поздно. Это литература для подростков и старых маразматиков.

— Я и не собираюсь, — хмыкнула Улитка. Она встала посреди кухни-мастерской — высокая, красивая, стройная, подбоченилась, раздула ноздри. — Вообще, что он себе позволяет?!

— Ну и дала бы ему этой книжкой по лысине.

— Ничего себе, дядечка... — Она под села к пианино, бойко побренчала свои чарльстоны, отодвинулась вместе со стулом, посмотрела в окно, на одну из своих не то наяд, не то дриад. — И все-таки мне его жалко. Он такой старый, печальный, он так смотрит... Меда поел, а у него диатез.

На следующий день — это было при мне — Илья Исаакович позвонил. Он осведомился, здесь ли я. Улитка сказала, что меня нет. Тогда он предложил встретиться, чтобы обмыть шампанским запевшее пианинное нутро. Он уже был готов выехать — с шампанским в портфеле.

— Сегодня я не могу, — сказала Улитка. — Я занята. — Как если бы сожалела об этом. И тогда Илья Исаакович заговорил. Он говорил долго и, наверное, вдохновенно, потому что Улитка, вопреки привычке, не перебивала, и, взглянув на нее, я с удивлением увидел, что все это ей безумно интересно. Наконец она сказала: — Шампанское? Всего-то? Такой женщине, как я? Я думала, вы меня пригласите в ресторан... Он икнул, — рассказывала она, — а потом сказал, что подумает, и сразу стал прощаться".

Я почему-то рассердился:

— Тебе надо было сказать ему, что он старый осел. Зачем ты морочишь ему голову?

— Разве морочу? Может быть... Мне ужасно любопытно, как он себя будет вести. Если он оставляет мне какую-то порнографию, значит, он заслуживает такого обращения... Но если я скажу ему правду, он умрет. И я буду виновата перед его женой. По голосу она у него ревнивая. Грымза, наверно...

— Он не умрет, — сказал я.

— Да, — согласилась Улитка. — Но ему будет плохо. Пойми, мне жалко таких людей. У него впереди ничего, только смерть. А тут вдруг я, шикарная женщина. Женщина его мечты. Ему же сейчас тепло. Ну а постепенно он поймет, что ему тут ничего не светит... Илья Исаакович не звонил неделю. "Зарабатывает на ресторан", — смеялась Улитка.

А я не смеялся. Мне все это не нравилось. Мне впервые не нравилось то, что она делает. Прежде я всем восхищался, всему находил объяснение, все оправдывал. Она любит людей только умом, подумал я однажды, а сердце у нее холодное. Присутствовал я и при следующем звонке Ильи Исааковича. На этот раз Илья Исаакович подготовился лучше, от ресторана не отказывался, то есть дал понять, что дело не в расходах, — волновала же его только его репутация, так как в городе он человек довольно известный и появление на людях с молодой красивой женщиной... "В общем, вы меня понимаете..." Но Улитка не захотела понимать: "Можно подумать, что это я тащу его в ресторан. Он что, за проститутку меня принимает?"

На сей раз никаких конкретных предложений от Ильи Исааковича не прозвучало. Напоследок он спросил, как играет инструмент. Прошло время, и вдруг Илья Исаакович снова прорезался, хотя Улитка надеялась, что он больше не позвонит. — У вас есть подруга? — спросил он. — Мы тут на пару с одним старичком...

Таким же, как я. Приезжайте в гости. Посидим, поболтаем, видики посмотрим... (так и сказал: "видики")

— Знаете... — сказала Улитка. Интерес к этой истории в ней иссяк, и любезность ей давалась с трудом, — вы меня простите, но я не приеду... Да, я не хожу по чужим квартирам... Да, даже с подругой... И потом, — она тряхнула головой и посмотрела на своих наяд, — и потом представьте, как это будет выглядеть... ну хотя бы с эстетической точки зрения: вы и мы...

Много всякого я забыл, а это помню.

Новая Улиткина квартира обустривалась долго. Еще месяц шастали сварщики, то привозя, то увозя сварочный аппарат да два огромных синих баллона со сжиженным газом.

— Они ничего не делают! — жаловалась Улитка хозяевам, а те уговаривали ее потерпеть и не ссориться, так как из междуквартирной борьбы сварщики извлекали свой интерес. — Пусть хоть ключи мне отдадут, — говорила она, — а то у меня тут коллекция, ценности ...

— Представляешь, — рассказывала она мне, — в восемь утра звонок. А я закрылась на защелку, сплю, я же всю ночь рисовала. Я со сна ничего не соображаю, бегу к двери: "Кто?" А мужик за дверью: "Петрович пришел?" Я говорю: "Никакого Петровича, я тут живу". А Петрович — это его бригадир. Бегу спать. Снова звонок. И другой голос, Петровича: "Леха приходил?" Так они и ищут друг друга целое утро. Мне надоест бегать, я открою. И вот один из них сидит на кухне, ждет другого, а я лежу в комнате, заснуть не могу... Они же за месяц ничего не сделали, что же они зарабатывают?

— Что и все мы. Мы же получаем не за работу, а за то, что приходим. Вот они и приходят.

— Они приходят, чтобы выпить. А тут я. А на троих им жалко.

Но однажды позвонила праздничная:

— У меня радость. Плиту приварили. А знаешь, они оказались хорошие мужики. Я их тут чаем поила, с медом. Поиграла на пианино. Нормальные мужики, добрые, простые. Они чуть не раздавили мой коллекционный стул. Дима его на помойке нашел, а мне продал. Ой, в Ленинграде есть такие помойки, особенно если дом на ремонте. Мы с тобой должны как-нибудь походить... В общем, я им устроила концерт по заявкам, спела три свои песни. Им понравилось. А ключ они мне сами отдали. Я им: "Когда мне плиту поставите?" А они: "Сестренка, не волнуйся, это мы в секунд!" И знаешь, все приварили и увезли баллоны, шланги. Теперь у меня просторно, чисто, хорошо. Можешь приезжать. Я придумал свой звонок — целую серию звонков в веселом ритме, и она открывала мне, не спрашивая кто, молча выглядывая из-за двери, сонная, теплая, незащищенная, в шерстяном пончо на голое тело, которое когда-то подарил ей безнадежно влюбленный в нее мексиканец из Университета дружбы народов.

Но встречались мы с ней и по вечерам, где-нибудь в центре промерзшего города, чтобы, миновав его заснеженные пространства, оказаться в тепле ее дома. Зимой Улитка почти не зарабатывала, заказов на реставрацию было мало, и Улитка проедала летние портретные заработки.

— Почему ты не хочешь учиться дальше? — спрашивал я, имея в виду институт Репина или Мухомовское, где учились несколько выпускников ее училища.

— А... — отмахивалась она. — Потом. Но на живопись я все равно не пойду, ни на живопись, ни на графику. Ты не представляешь, какие там нагрузки. Всякое желание пропадет рисовать. Это же должно быть радостью, а не наказанием. И вообще это не для женщины. Я буду поступать на искусствоведческий. Хотя, честно говоря, мне это не очень нужно. Основа у меня есть. Остается только совершенствоваться. А там учат не искусству, а мастерству. Прививают школу, даже не прививают, а навязывают. Мне это неинтересно. Вообще, неинтересно все, что навязывают. А так я выбираю только то, что мне нужно. Сама.

Мы стояли возле трамвайной остановки на углу Марсова поля со стороны Садовой и Мойки; в проеме домов, за Кировским мостом и Петропавловской крепостью, холодным малиновым светом истаявал короткий зимний закат, и здесь между вычищенными аллеями и темными кустами сирени малиново отсвечивали поля нетронутого снега, в тени же снег был ультрамариновый; вокруг быстро темнело, и навстречу нам вдоль Лебяжьей канавки Летнего сада напористо мчался наш тринадцатый трамвай, полный жидкого апельсинового цвета, а также тепла от горячих электропечек под дерматиновыми сиденьями. И в трамвае продолжался наш странный разговор о любви, о любви как о чувстве, с которым каждый из нас, в общем, имел дело в прошлом. Говорилось о том, что любовь — это сильнейшая форма зависимости, радостное рабство, счастье служить своему господину или госпоже, и такая любовь была бы убийственна, если бы не

сопровождалась необыкновенным душевным подъемом, когда как бы заново рождаешься, и еще больше — только и находишь смысл своей жизни, пока твоя жизнь в чьих-то руках. Я привел Блока: "Ибо только влюбленный имеет право на звание человека", вспомнил Соловьева с его идеей преодоления в любви своего эгоизма ради себя подлинного... Говорил я, и говорила она, и получалось так, что я напирал на аполлоническое, то есть на гармонически духовное, светлое начало в любви, а она — на дионисийское, чувственно-иррациональное, темное, хотя, насколько я мог судить, была человеком со спокойной, даже прохладной чувственностью. Эта ее тяга к невыразимому в любви, "несказанному", вполне в духе символистов, отмечал я. И еще я говорил, что чувство само по себе вещь абсолютно разрушительная и нуждается в присутствии сильного укротителя, то бишь разума. В общем, чепуха на постном масле, когда возбуждение мысли происходит от манипуляций готовыми символами и понятиями.

Наверно, я заморочил ей голову, потому что она вдруг досадливо сказала:

— Напрасно ты меня не слушаешь. Я ведь как говорю, так и поступаю. — И какое-то предупреждение прозвучало в этом, так что я, подобравшись, попытался восстановить в памяти все, что она успела сказать в защиту своей точки зрения. Но только одна ее фраза приплыла из прошлых наших времен: "Мне нельзя влюбляться — от любви я погибну". Я же в тот раз говорил еще о многом: об искусстве уходить, когда ты больше не нужен, о том, что гордыня сильнее унижения, и, когда ты отвергнут, она не позволяет тебе валяться в ногах, и что тут дело даже не в гордыне, а в элементарном расчете: чем больше унижения ты примешь, тем меньше у тебя шансов поправить ситуацию, и что только своевременный уход может заставить любовь обернуться тебе вслед, а вымоленная жалость уничтожит последние ее крохи — при этом втайне я имел примером самого себя во время нашего не столь уж давнего разрыва. Но, кажется, Улитка меня не очень-то слушала. "А я нет, — сказала она наконец, — я, наверно, поползу за любовью. Меня будут топтать, а я буду ползти".

Некоторые ее истории были как обмолвки — похоже, ее подмывало рассказать мне все то, от чего она сама же ограждала наши отношения. К полной правде я, по ее мнению, был еще не готов, и она выдавала мне ее гомеопатическими дозами, чтобы я не отравился. Однажды она рассказала мне про двух своих знакомых ребят, высоких и красивых, таких высоких и таких красивых, что это позволяло им, бедным студентам, питаться в дорогих ресторанах за счет богатых теток, к которым они там подсаживались. Платили они, естественно, только тем, что было всегда при них... Об этой разновидности мужской проституции я слышал только в применении к западным нравам, и Улиткин рассказ меня удивил и огорчил. Огорчил — потому что она вроде не осуждала своих знакомых, а только теток в бриллиантах, да и то эстетически: "Представляешь, старая жаба в объятиях Нарцисса".

— Бедные, бедные ребята, — сказал я.

— Ничего они не бедные, — возразила Улитка. — Это ты смотришь на женщину как на женщину. А они пресыщены. Их рано развратили. Красивых мальчиков рано портят. Для них это совсем не то, что для тебя.

Еще как-то она рассказала:

— У меня есть один приятель, эта история так... уже почти закончилась... Он был моим натурщиком. Очень красивый и знает, что он красивый... И, — голос ее возмущился, — ужасно холодный! Так вот, представляешь, я к нему отношусь как мужчина к женщине. Я смотрю на него... Такой экстерьер...

— Экс-терьер — это бывшая собака, — не очень удачно пошутил я.

От всех этих историй на душе у меня только темнело. Да и вообще я продолжал относиться к Улитке с настороженностью, будто часть души так и осталась онемелой, оттопанной, отсиженной, как нога, — вроде бы на месте, а не ощущаешь. А Улитка тем временем все носилась с идеей вовлечь меня в какое-нибудь совместное дело. "Давай выпустим сборник твоих стихов за свой счет. Я сделаю иллюстрации... Давай вместе писать картины — ты готовишь фон, а потом я включаюсь, вытаскиваю из него все, что вижу... Давай вместе собирать модерн..." Но первый же

наш совместный визит в антикварный магазин стал и последним — Улитка, чего прежде никогда за ней не замечал, нервничала, раздражалась: я не туда смотрел, не то видел, не мог сразу оценить, врубиться в тему, хотя интерьерный модерн начала века я вроде знал. Но, видимо, моя душа оставалась к нему равнодушной, ее занимала только Улитка, но никак не вазы, не люстры, не криволапая мебель... Проницательную Улитку это задевало. Кажется, впервые рядом с ней я чувствовал себя серым кретином.

Вот и прошла премьера! Волнений было много, и, если бы я не управляла магнитофоном за сценой, а сидела бы в зале как зритель, не знаю — выдержала ли бы... Ну что же, вот уже целый вечер звонит телефон, и все благодарят меня и говорят, что дети уже опять просятся на спектакль. Чтобы ребенок хотел вернуться в театр — Боже мой, не это ли было моей целью, в конце концов! Сколько хороших слов в противовес таким трудным месяцам! Сегодня я морально выиграла, сегодня я впервые видела сияющие глаза своих актеров. В понедельник мне назначили интервью в одном из солиднейших журналов. А сколько было сюрпризов: например, эта потрясающая кака (надутая пластиковая стометровая кишка), объявшая сцену снизу доверху, вдруг одним из концов попала в зрительный зал, и дети перетащили ее, и весь зал играл с ней, и бедные актеры не знали, что делать, так как не могли играть дальше... Наконец как-то вернули, но радости в зале не было конца. Взрослые, конечно, прекрасно поняли "философский подтекст" спектакля. Думаю, этот успех во многом компенсировал мое одиночество во время постановки спектакля — я говорю о творческом одиночестве. Но я совсем не уверена, что у меня есть силы продолжать дерзать в этом направлении. Физически я довольно-таки слаба, а душевно — слишком ранима; эти природные качества не способствуют усиленному подъему по "лестнице, ведущей вниз"... Но тем не менее эти дни премьеры — мои, и я их вдыхаю с полным восторгом. Если же тебя интересует материальная сторона этого дела, то должна сказать, что я и одна из актрис моего спектакля, а вернее, наши мужья финансировали его полностью, начиная с костюмов и кончая декорацией: никто не был в состоянии заплатить ни копейки, а может, просто не хотел, не будучи уверенным, что этот спектакль увидит свет. Все, что мы сейчас зарабатываем, идет на оплату театрального персонала (который ни в чем нам не помогает) и помещения. Кроме того, у нас долг в 14 тысяч песет за магнитофонную ленту со звуковыми эффектами. Так что впереди — только долги.

ПОСЛЕДНИЙ мой месяц в Испании совпал с наплывом гостей — осень располагает к общению: урожай убран, закрома полны, излишки выгодно проданы, и на вырученные деньги можно и кутнуть. Для кутежа Виктор имел целый винный погребок. Вина распределялись по сортам и по урожаю. Были и коллекционные экземпляры для демонстрации гостям, впрочем, если кутеж шел крутой, добирались и до коллекционного. Кутежи делились на деловые и просто для кайфа, на первых мне было скучно, и зачастую я по-тихому исчезал, ну а из вторых, кажется, ни одного не пропустил. Самым большим кайфовщиком из приятелей Виктора был доктор Херонимо — жизнерадостный пятидесятипятiletний специалист по всем болезням. Недавно он сделал какое-то открытие, чуть ли не против рака, не нашедшее признания в его родной стране, и, оскорбленный до глубины души, теперь собирался через Виктора толкнуть его нам, почему и я ему был интересен. Несколько раз, подсев ко мне с чаркой, он начинал объяснять, в чем там суть, но я не понял ни бельмеса. Однако врач он был вправдашний, семейный доктор Виктора с Ариной и еще нескольких общих друзей. Практиковал он и как хирург и совсем недавно вытаскивал с того света общего хорошего знакомого, которому пять лет ставили неправильный диагноз, пока не вмешался Херонимо: — Луис, у каких коновалов ты лечишься? Ложись ко мне на обследование". Он обследовал и ахнул, и немедленно прооперировал; и этого Луиса, бывшего летчика гражданской авиации, а теперь художника-любителя и самодеятельного поэта, имеющего хорошую пенсию и два дома — в Мадриде и на Менорке, — этого "человека с того света", как его сразу все назовут, я потом встречу в доме Херонимо, и он мне подарит "Дон-Кихота" на испанском, ибо, если я тоже поэт, я непременно должен прочесть этот роман в оригинале. Все гениальное существует только в оригинале, мне ли этого не знать!

У Херонимо было две дочери и жена из Уэльса. Старшая дочь Херонимо и Виктории, его жены, лет пять назад в свои цветущие восемнадцать была избрана в Испании королевой красоты, и

все еще помнили об этом; Матильда работала секретаршей у крупного босса, была замкнута и строга и почему-то не выходила замуж, хотя предложения еще были, пусть не столько и не такие, как тогда, в ее звездный год. Матильда была еще красива, но это была остаточная красота, что проходит вместе с юностью, а не та подлинная, редкая, для которой возраст лишь обрамление. Испанские женщины — это как бы бывшие красавицы. Корону унесли, но жест, но взгляд... А вот папа Херонимо был, пожалуй, таким всегда — только поседел и слегка отяжелел торсом, впрочем, еще достаточно стройным, подвижным и гибким. И ум его был таким же гибким и подвижным. На людях Херонимо всегда улыбался, а поскольку он постоянно был на людях, то и считался весельчаком. И еще он был душой компании и гениальным импровизатором. Когда нас друг другу представили, он сказал на чистейшем русском языке: "Здравствуйте, как поживаете! Не болит ли у вас голова?" И я сначала не поверил, что это все, что он знает по-русски. Испанский же его представлял из себя пулеметные очереди зарифмованных пословиц, присловий и прибауток, поток словотворчества, безумно смешного и непереводаемого еще и потому, что Херонимо шпарил почти одни непристойности, и я невольно оборачивался — нет ли рядом детей. Но Арину с Виктором это мало волновало: испанский юмор — черный юмор, и его бесстыдство имеет такие глубокие корни и давние традиции, что это уже поэзия, не так, как у нас, где у языкового бесстыдства — птичьи права.

В городе у Херонимо была своя маленькая поликлиника, иначе — частная практика, и при мне Арина раза два возила к нему детей. Для своей практики Херонимо снимал большую квартиру на пятом этаже в центре. Там было комнат десять — под приемную и различные кабинеты, в том числе кабинет Херонимо. Не знаю, сколько у него было сотрудников, я же видел двух — медсестру и молодого врача, его помощника. Оба раза в приемной сидело два-три человека, так что нам пришлось подождать. Узнав, что у меня были проблемы с сердцем и печенью, Херонимо вызвался меня посмотреть, и я не стал отказываться, особенно когда Арина объяснила, что это бесплатно, исключительно в знак дружбы, хотя, естественно, для семьи Виктора он был платным врачом. Херонимо пришел в гости с женой, в общем, по делу, с нами за одним столом сидели Наташка и Антонио, так что Херонимо был не столь ярок, — они с Виктором обсуждали проблему застройки земли, купленной вскладчину на Менорке. Я же обещал Наташке поиграть с ней в теннис и после третьего фужера красного вина решительно, хотя и жертвенно, поднялся.

— Тино вас отвезет, — сказала Арина.

— Мы не прощаемся, — сказал я, и, побросав в машину ракетки и мячи, мы покатили на корты. Корты, куда привез нас Тино, были для людей среднего или скромного достатка. Кроме тенниса там было еще что-то, чуть ли не школа для матадоров-любителей, но без быков. Да и учеников я не заставлял, видимо, они занимались в другое время. Только один из них, самый настырный и усердный, появлялся в утренние, мои, часы. Было ему лет тридцать, то есть он был безнадежен. Такие тонкие вещи надо осваивать с детства, потом организм грубеет, потом — бокс, штанга, бег на лыжах. Но зачем-то ему, тридцатилетнему, понадобилось искусство тавромахии, и сам этот запоздалый порыв вызывал у меня любопытство.... Зажав плащ двумя щепотками, он держал его справа от бедра, медленно помахивал им назад, разворачивался, как в танце, и снова помахивал, перехватывая плащ левой рукой, и следил не за плащом, а за тем, что перед ним, за тем невидимым, что заставляло его отступать и поворачиваться, — это невидимое завораживало его, оно все перло и перло, а он все изворачивался, уклонялся, ведь на этом этапе схватки одни только уходы, одна глухая защита, искусство рук и ног, а в общем — головы, и никакого оружия. Видимо, все это было ему нужно и важно, и он приезжал поутру в своем подержанном автомобильчике, брал напрокат плащ, выходил на песочную площадку и разворачивал его, взмахивал им, строгий, сосредоточенный, трепещущий как струна, уставясь неподвижными расширенными зрачками в воображаемый ветер смерти. Наташка играла плохо, где-то там год назад взяв несколько теннисных уроков, но — играла, старалась; длинные руки, длинные ноги, вся из углов и начинающегося девичества.

— Игнасио, хороший был у меня удар?

— Отличный!

Я принадлежал к той породе любителей, кто всегда восхищается партнером-новичком и предрекает ему большие успехи. Но из Наташки и в самом деле был бы толк. На площадке она трудилась, запоминала свои ошибки, не расклеивалась от промахов. Она не была склонна к импровизации — ее больше устраивали стандартные положения, и в этом угадывался свой характер, не авантюрный, а последовательно-наступательный. Такие натуры лучше и быстрее обучаются и становятся хорошими профессионалами, хотя больших высот им не видать, ибо действующих, пусть даже высококлассно, но по правилам, легче вычислить. Чтобы быть первым, нужно быть непредсказуемым. А Наташка была муравьем. В свои четырнадцать лет она уже знала свое будущее и готовила себя к тому, чтобы возглавить фирму отца и, может, параллельно с ней открыть еще одну. Выбор она сделала сама, и Виктор проводил с ней специальные часы, когда они обсуждали экономические проблемы современного мира. Наталья рано заинтересовалась финансовым положением своей семьи, статьями доходов и расходов и уже считала себя совладелицей семейной недвижимости. "А у тебя, Игнасио, есть свой дом?" — спросила она как-то и больше ни о чем подобном не спрашивала. День клонился к закату, рыжие выжженные холмы за дорогой потемнели, за ними, там, где был невидимый отсюда аэропорт, ревя, появлялись низко в небе пассажирские лайнеры, огромные, красивые, освещенные солнцем, но уже мигающие ночными огнями, — к каждому из них я поднимал голову в неизбывной своей любви ко всему летающему, затем подкидывал в подаче мяч, посылал его на Наташкину сторону; рядом по шоссе шли машины, стаи стрижей стремительно чертили над нами воздух, мяч по высокой дуге, почти свечой, возвращался ко мне на заднюю линию, и я отбегал к самой проволоочной сетке, чтобы его отбить, — побегаешь так часа два по площадке, и все, что болело, утихает, успокаивается...Стемнело быстро (как на юге, чуть не написал я), и мяч стал почти неразличим. Корт пусты, любители сквоша покинули свои бетонные загоны, а мы с Наташкой все прохлаждались на лавочке в ожидании Тино. Последними уехали хозяева кортов. Проезжая мимо нас, они остановились, извинились, что закрывают ворота, и мы пошли к выходу. Машина ушла, мигнув фарами на прощание, и мы остались одни. Мы сели на скамейку возле ворот, лицом к Моралехе, стараясь угадать по свету фар нашу машину, но каждый раз сдвоенный свет проносился мимо. — Они должны бы догадаться, что в темноте в теннис не играют, — сказал я.

— Не волнуйся, Игнасио, — сказала Наташа, чувствуя себя главной, — сейчас приедут.

— Мы можем остановить такси. У меня, правда, нет с собой денег. Но дома расплатимся.

— Подожди немножко. А то приедут, а нас нет...

Тьма сгустилась, но воздух был по-прежнему тепел. Машины, вырываясь из-за поворота, рассеянно освещали нас и серые колючки травы; до дома было недалеко, и в этой катящейся мимо нас жизни мы, пешие, были беспомощны и беззащитны. В колючках зашуршало, к нам вышла собака мелкой робкой дворовой породы. Но дворов поблизости не было, а те, в отдалении, имели собственных собак. Собака постояла рядом, не зная, на что она может рассчитывать, я протянул руку — она отшатнулась, повела носом к руке и, неопределенно вильнув хвостом, потрусила прочь. — Жаль, что у нас ничего нет, — вздохнула Наташка.

И тут две фары, за которыми я следил от поворота, сошли с середины полотна и стали прижиматься к обочине.

— Это за нами! — воскликнула Наташка. — Я же тебе говорила.

Машина, взвизгнув тормозами, на приличной скорости круто свернула к воротам, мотор заглох, в салоне вспыхнул свет, и мы увидели за рулем Арину. — Ребята! Извините! — сказала она. — Мы про вас совсем забыли. Я Тино отпустила и забыла. Вы меня прощаете?

Наташка быстро по-испански стала выговаривать Арине, больше из-за меня — все-таки гость, нуждающийся в опеке. Ей казалось, что Арина ко мне недостаточно внимательна. Плохо же она нас знала.

Мы сели в машину, Наташка сзади, я впереди, и Арина лихо, задом, вырулила на шоссе. Кто-то на большой скорости обошел нас с громким негодующим сигналом.

— Щасс, робята, я им врежу! — сказала Арина нарочным пьяным голосом. — Уууоп!

— И, резво крутанув руль, она выкатила на встречную полосу.

— Мама, ты что?! — сердито крикнула Наташка.

— Фсефпорятке! — сказала Арина и вернула машину на нашу сторону.

— Ну ты даешь... — сказал я. — Вы что там, здорово поддали.

— Погодь, не мешай шаловеку, — сказала Арина. — Уууоп! — И мы снова оказались на встречной полосе. Я быстро глянул в лобовое стекло — издалека на нас накатывали огни.

— Кончай, Ариша.

— Мама, ты что?

— Не хотите — не бум, — кивнула Арина, поджимая губы и делая пьяные глазки. Мы снова перескочили на правую сторону, и вовремя — мимо просвистела парочка машин, и водитель первой успел не только разглядеть нас, но и приложить палец к виску.

— Сам кретин! — счастливо засмеялась Арина. Я никогда ее не видел пьяной, и она мне понравилась.

— Ты хоть помнишь, где мы живем? — сказал я.

— Игнаша, — голос ее потускнел. — Не будь занудой.

— Как это папа тебя отпустил? — по-испански сказала Наташа.

— Папа, — по-русски ответила Арина, — уже лыка не вяжет.

— Лыка — это что? — потрепала Наташа меня за плечо.

— Это значит — стоит на ушах, — сказала Арина.

А дома действительно дым шел коромыслом. Едва мы вошли в переднюю, как из гостиной раздался фальшивый самодеятельный возглас трубы и в ответ — хриплый рев тромбона. Это Виктор, Херонимо и его жена Виктория пробовали инструменты из Викторовой коллекции, которую он собирал в память о своем школьном духовом оркестре.

— Ура! — завидев нас, возопил Виктор и, как дирижер кивнув лбом своим оркестрантам, всосался в мундштук тромбона. Кикнула труба, гукнула валторна, рывкнул тромбон.

— Чему радуемся? — спросил я.

— Свободе, — сказала Арина. — Я отпустила обоих Тин, и мы свободны. Как хорошо, когда их нет.

— Живем! — сказал Виктор. — Живем, Игнаша! И он пошел наполнять фужеры по новой. На низком стеклянном столе уже красовалась целая батарея пустых бутылок самых разных урожаев.

Херонимо запел по-французски "Марсельезу", а Виктория подсела ко мне.

— Я ее не понимаю, — сказала она про Арину. — Слуги — это большая проблема. Если они живут с тобой, это очень большая проблема.

— У вас нет? — спросил я.

— У нас приходят. Приходят и уходят. И все. Это очень просто. Приходят и уходят. No problem, — пожала она плечами, будто что-то ее задевало в доме такой хозяйки, как Арина. Что? Поди разбери.

— Сюда, сюда! — крикнул Виктор. — Заговор потом. Сначала единение. Игнасио, умеешь на валторне?

— Само собой, — сказал я.

— Натали, бери аккордеон.

Виктории дали фанфару, а Арине досталась продольная флейта. После каждого аккорда маленькая беленькая полукитайская Лин приседала, поджимая хвостик, затем принималась бегать по кругу цекоча лапками и лаять, а Моро вежливо заглядывал в дверь и склонял голову набок, как меломан. Прибежал Антонио с барабаном и выменял его на флейту. Арина надела красный колпачок и стала похожа на барабанщицу времен Французской революции. Или тогда еще не было барабанщиц? Но валторна была. Она была красивой и новой. Левую кисть надо было вложить прямо в красивый, золотой, отражающий нас раструб. Охотничий рог. Вольный, нет, рослый стрелок, осторожный охотник. Немецкие дела. Мюнхаузен. Наутро рожок оттаял и сам затрубил.

В МАРТЕ в галереях Гостиного двора появились первые художники, хотя в Москве на Арбате они, как утки, так и зимовали под открытым небом, держа уголь или цветной мелок лиловыми от мороза пальцами; самое удивительное, что и заказчики сохранились и готовы были померзнуть ради собственного изображения. Зимние художники представляли собой один и тот же генотип, устойчивый к любым экстремальным условиям, выживающий в любых обстоятельствах, — они были здоровые, патлатые, с бурыми физиономиями и походили одновременно на разбойников, старателей и авангардистов, — загнанный на полвека в подполье, авангардизм, наверно, только и выжил благодаря таким, как они... И вот в галереях Гостиного снова появились засидки художников, и Улитка, поныв: "Они там мерзнут, мои братья", — принялась писать новые рекламные портреты для весеннего выхода на заработки. Она написала женский и мужской портреты "из головы", и оба мне понравились, особенно мужской — он был сделан "а ля прима", легко, непринужденно, на одном вдохновении, и хотя в нем было некоторое остужающее дуновение модерна, предпочитающего линии идеальные, какими человеческое естество обладает редко, все же настроение, выражение портрета вырывалось из его стилистики. Это был портрет юноши в профиль — яркого, южного типа, когда глаза, брови, очертание рта, подбородка — все крупно, выразительно, графически совершенно. Это несколько искусственное совершенство преодолевалось вольно нарисованной гривой волос, жестких, плотных, как бы иссиня-черных, как у мужчин Средиземноморья, впереди волосы топорщились, падали на лоб, делая образ современным, узнаваемым и в то же время интимным. Интимность была и во взгляде — задумчивом, ушедшем в себя, обращенным долу, и печальная сосредоточенность, как бы сдерживающая напор чувства, резко контрастировала с чувственным мужским изгибом верхней и нижней губ, развернутых, алчущих.

— Отличный портрет! — радовался я за Улитку. — Ты выросла. Это же не просто лицо, это типаж. Я бы сказал, что это молодой Иисус Христос. Столько нерастраченной молодой жизни в его губах, столько чувственности, а в глазах уже обреченность.

— Нет, он скорее спокойный, — сказала Улитка, — и чувственность тоже спокойная, прохладная.

— Возможно, — согласился я. — И все-таки контраст есть, как в лицах Боттичелли: чувственная экстастика и догмат ума. Но там это противоречие трагично, а здесь только печально. Это мне нравится, за этим какая-то концепция бытия...

— Ну уж и бытия, — смущенно хмыкнула Улитка. Лицо у нее было чуть застывшее. К похвале в свой адрес она относилась недоверчиво, хотя в ней нуждалась, как все творческие люди.

Вечером восьмого марта я принес ей несколько веток пушистой цыплячьей мимозы, и Улитка, поставив ее в вазу, тут же схватила мелки.

— Я подарю натюрморт Диминой маме. Дима такая свинья, сам миллионер, хоть что-нибудь подарил бы матери на праздник. Я сегодня обедала у нее. Прекрасная женщина, ей семьдесят пять, но она не старая, она моложе нас с тобой — живая, жизнерадостная. Она ведь у него профессор, доктор медицинских наук. Дима гораздо меньше ее интеллигентен. Она настоящая ленинградка, блокаду здесь пережила. После блокады тут таких и не осталось.

Работа подвигалась быстро, и уже через полчаса можно было отложить ее и закрепить лаком для волос. Но Улитка все возилась, стремясь передать воздушную среду, озарение, исходящее от желтых шариков мимозы. Я сел за пианино и музицировал, насколько мне позволяли музыкальные годы, проведенные во Дворце пионеров. Лучше бы уж я занимался в изостудии... Тут зазвонил телефон, и Улитка с недовольным вздохом подняла трубку.

— А, это ты, — сказала она. — Здравствуй. — И голос у нее стал такой, что я насторожился. Вроде это был ее обычный голос и разговор обычный, ни о чем, но я почему-то замер и даже перестал играть. Я было снова потянулся к клавишам, но Улитка сделала какое-то неловкое, смазанное движение свободной рукой, в которой она продолжала держать кусок желтого мелка: дескать, не надо, — и я не заиграл. А разговор был действительно ни о чем, но тем не менее — странный, ведь позвонили ей, Улитке, а тему вела она, то одну, то другую, будто боялась непредвиденного.

— Я тут натюрморт рисую, — говорила она. — Да нет... для Диминой мамы... — И я понимал, что тот человек знает о ком речь.

— Ну а ты все над учебниками корпишь? — говорила она, и я, естественно, понимал, что человек учится.

— Нет... — чуть не страдая, тихо сказала она. И повторила: — Нет, нельзя...

— И отвечала: — Потому что нельзя... — И мялась: — Потом как-нибудь...

Значит, человек хотел сейчас приехать и, видно, приехал бы, не будь меня здесь, потому что раз он для этого позвонил, то, стало быть, звонил и раньше, в мое отсутствие, и она отвечала: "Приезжай". И он приезжал. А на часах было около полуночи. Значит, для него естественно было звонить в эту пору и затем, допустим, полпервого появляться здесь. А мне Улитка говорила, что всех разогнала и что никто, кроме Димы, который помогал ей переезжать, не знает ни адреса, ни телефона. И вот как последний идиот я сидел затаившись перед пианино на одном из колченогих Улиткиных стульев — она любила все шаткое, хлипкое, кривое — сидел, подслушивая абсолютно не предназначенный для моих ушей разговор, и не знал, как исключить себя из него — не красться же на цыпочках в другую комнату... В конце концов я был главнее... По крайней мере, до этой минуты...

— Как там девочки на факультете, все сохнут по тебе? — крутилась Улитка, уводя разговор в безопасную сторону. — Ну как... ты ведь там самый красивый. Не устал еще от них? — Она давала мне понять, что звонящий ей не дорог. — Тебе надо женщин постарше... Тридцатилетних, — сказала она, и я почти услышал, как он ответил: "Было". Ему не хотелось говорить об этом скучном предмете, и он сворачивал на свое.

— Ну как-нибудь потом... — смущенно бормотнула Улитка. И радостнее: — У тебя же все время экзамены... Тебе надо заниматься! Да, потом... весной. Как-нибудь увидимся, погуляем по городу. Я Лильку с собой возьму. — Лилька была ее новой подругой. — Хочешь, я тебя с ней познакомлю? Она высокая, на голову меня выше, как раз для тебя. Давай я вас поженю...

Но звонящий этого не хотел, он заговорил о другом, и Улитка съежилась:

— Не надо мне мстить... Я женщина слабая, беззащитная. Как можно мне мстить..

Этот человек был близок с ней — теперь это было ясно как дважды два, — этот человек был очень красив, высок, молод — это был ее натурщик, к которому она, по ее словам, относилась как мужчина к женщине. Интересно, как это? Раздевала и любовалась?

— Там у вас на терапии ты вне конкуренции, — неосторожно сказала она, и сердце мое окаменело. Это был он, тот самый врач, демон-искуситель. Все сходилось, кроме одного — возраста.

— Ну ладно, завтра можем погулять, — сказала она, чтобы он не приехал сейчас.

— Я Лильку прихвачу... Зачем? — повторила она вслед за ним, ища ответа. В самом деле, зачем ему Лилька? Лилька — это для меня. Лапшовая Лилька на моих ушах.

Улитка так исстрадалась, что вдруг запросилась в туалет... Спасительная идея — как это она ей раньше в голову не пришла?

— Слушай, мне в отсек захотелось, — сказала она и даже стала по-детски переминаться с ноги на ногу, входя в роль. — Ну да, в отсек... Мы так долго говорим... Ну хорошо, хорошо, завтра позвонишь... Ой, больше не могу... Пока! — И она положила трубку. Она положила трубку, и мы снова остались вдвоем, только теперь это были совсем другие мы. Я бы много дал, чтобы стать прежним. Но кому давать — себе, Улитке? На нее я не смотрел — я не мог поднять голову, чтобы посмотреть на нее. Моя голова весила тонну.

— Уф... — раздался голос Улитки где-то в стороне, и голос этот только подтвердил, что у понятого мной одна версия. — Спина устала... — сказала Улитка, и я знал, что она делает характерное движение — выгибается и сводит лопатки вместе. Я слышал, как она пошла в ванную комнату и открыла кран. Струя воды была в пустую полость ванны, потом Улитка подставила руки, и плеск наполнил комнату. Вода успокаивает... Вышла Улитка, прижимая полотенце к мокрому лицу. Она снова села за этюдник, а я поднялся и стал ходить туда-сюда. И вот я ходил по мастерской и не знал, что мне делать. Можно было жить по-прежнему, и я даже попытался — я остановился за ее спиной и стал смотреть, как она работает, вернее — на ее работу. Но работы я не видел — только несколько цветных пятен. Работа вдруг омертвела, и я сказал:

— Ты стала портить, отложи.

— Да, — бормотнула Улитка, — я потеряла то настроение...

Да и собственное ее настроение явно упало. Но я больше ничего не сказал. Она ждала, что я заговорю, а я ходил и ходил, помня, что я должен вести себя как обычно. Потом я поймал себя на мысли, что я никогда здесь не расхаживал, и попытался вспомнить, что же я обычно делал, — да, обычно я садился на диван и раскрывал какую-нибудь книгу. Так я и сделал. Про книгу вверх ногами писано не раз, но и у меня она перевернулась, и я долго не мог понять, почему не могу прочесть ни строки. Не знаю, сколько прошло времени. Наконец Улитка со вздохом встала, будто закончила, подняла телефонную трубку, набрала номер.

— Дима, это мы, — сказала она. — Я и Игнат. У тебя компания, да? Празднуете? Счастливчики. А мы тут сидим, и у нас плохое настроение... Угу, как сычи.. Можно приехать, да? Не поздно? Сколько времени? — повернулась она ко мне, подключая этим поворотом к своему замыслу. — Ну прекрасно, мы приедем. Можем у тебя остаться? Ты нам дашь комнату? Ты прелесть, Дима. Настоящий друг. Ну хорошо, жди нас.

Она положила трубку и сказала бодро:

— Сейчас поедем. Развеемся. А то мне тоже что-то плохо стало.

Я был плохой актер. Все, что я хотел скрыть, само по себе нарисовалось на моей физиономии.

— У Димы и переночуем, — продолжала она, стараясь на обращать на меня

внимания. — Там у него несколько человек. Я их знаю, хорошие люди, для тебя даже полезное знакомство. Но если ты хочешь, мы будем только вместе с тобой.

— Это был твой врач? — сказал я.

Улитка перестала суетиться, замедлилась, застыла:

— Да...

— Ты говорила, что ему тридцать пять.

— Он просто так выглядит...

— Почему ты мне не сказала, что снова с ним встречаешься?

— Я с ним не встречаюсь... Так, раз в неделю, на улице или в кафе... Вообще-то он мне не нужен, но я же не запрещаю ему звонить...

— Разумеется, — сказал я. — Как можно что-нибудь кому-нибудь запрещать? Мы же свободные люди...

— Зачем ты так, Игнат... — сказала Улитка. А я, кажется, снова встал и ходил по комнате, руки в карманах. И ее я видел плохо, вообще не видел, вдруг как бы заставая то здесь, то там — будто она все время перемещалась в пространстве.

— Ты должна была мне об этом сказать. Хотя бы из уважения.

— Я бы сказала, сразу сказала, но ты не спрашивал.

— Не спрашивал, — подтвердил я. Я боялся спросить. Видимо, я боялся услышать правду. Я предпочитал не знать. Что же теперь делать? Я сел и обхватил голову руками. То есть я потом осознал, что уже сижу, поддерживая голову, чтобы она не упала на пол между колен, — осознал, когда увидел Улитку: она медленно подходила ко мне с гримаской сострадания и с пытливостью — готов ли я к тому, чтобы меня пожалели. Не знаю, что она там увидела, но решилась только положить мне руки на плечи. Она стояла передо мной, и весь ее стройный, теплый, упругий, легкий, гибкий стан призывал прижаться, забыться, утешиться — стоило мне только податься вперед щекой, лбом, затылком, и она взяла бы меня за руку и повела к постели для замирения или опустилась бы тут же, на диван, и я бы все простил и еще просил бы прощения, но я убрал ее руки и поднялся. И мне показалось, что она боится — то ли меня, то ли за меня.

— Что же мне делать? — сказал я, чувствуя, что теперь моя очередь поступать и что от того, как я поступлю, будет зависеть многое, может быть, все. Впрочем, решение созрело мгновенно, в ту самую секунду, когда она закончила разговор с НИМ, — надо было встать и молча уйти. Но прошло уже полчаса, а я был здесь и спрашивал, что мне делать.

— Разумеется, ты свободна, — сказал я. — Но свобода дается для того, чтобы сделать выбор. Я думал, ты его сделала. Я думал, ты выбрала меня.

— Ты прав, — сказала Улитка. Теперь она сидела на диване и держала книгу, которую недавно держал я, но не вверх ногами. — Ты прав, я сделала выбор. Но мы взрослые люди... И в общем, я не буду отрицать, что у меня бывают экспромты...

"Даже сейчас?" — вскрикнул я внутри, но она не услышала.

— Экспромты... — повторил я. Это было то самое, чего мне не хватало, чтобы уйти. — Да, конечно... Но я этого не принимаю. Я воспитан иначе. Прости. Пока я обувался, натягивал куртку, она вышла в коридор и смотрела на меня, прислонившись к стене. Я обернулся к ней, улыбнулся улыбкой сумасшедшего, открыл дверь и побежал вниз по ступенькам. Город, город, зимний, жуткий, укрой меня, пожалей, спаси!

В городе была метель. Пустой метельный город, легкая тяжесть дробно облипающих хлопьев, сонный трамвай из-за поворота — все это было уже столько раз, что больше не имело смысла. А зачем я живу? Можно жить, только если знаешь зачем. Я уже все прожил — и любовь, и измену, и самый смысл жизни, и поиск смысла. И все-таки ночью я спал, а с утра поехал в музей на службу, а вечером ковырялся в книжках. Книги я давно перестал читать, теперь я просто просматривал их, усваивая десять-пятнадцать страниц — больше и не нужно. Некоторые из них я потом все же прочитывал от корки до корки, но, кажется, ни разу таким образом не добавил ничего к первому впечатлению — оно было самым верным. Я уже подошел к возрасту, когда не читают, а пишут сами. Жажда знать исчерпалась во мне и уступила жажде поделиться. Но делиться было не с кем. Я снова остался один. И стихи писать я не мог. Вот уже год, как я не написал ни строчки. Раньше я знал, что они вернутся. И они обязательно возвращались и заставляли меня говорить на своем языке. Но теперь и это меня не волновало. Я много раз высказался, но это никому не понадобилось. Мир прекрасно обходился и без меня. Я родился напрасно. Я неудачник. Пусть неудачник плачет. Это Арина и я. Мы второй сорт — поэтому нас и не любят. Жить было невмоготу. Потому что только влюбленный имеет право... Но я ведь люблю... Так что же я? Зачем бегу от любви? Вожжа под хвост попала? Меня никто не гнал. Я сам. Гордый очень. Не так воспитан. Как же я воспитан? Я воспитан в сталинскую эпоху. В аморальную эпоху строгой морали. Строгость всегда обслуживала аморальные эпохи. Я большой пуританин: или — или. Третьего не дано. Третье — это и есть жизнь. Я не хочу жить. Я хочу жить. Я хочу к ней. Я без нее не могу. Я должен поехать к ней. Я сам себя прогнал. Я сам себя должен вернуть. Как вдруг стало легко, как просто вдруг стало. Она же сказала: "По большому счету он мне не нужен". А я нужен. Очень мы обидчивые. Это очень просто — уходить с высоко поднятым подбородком... Не бороться... Если меня там не будет, мое место займут... Рано или поздно... Я должен мчаться, бежать обратно. Я должен драться. Я хочу жить? Я хочу.

Средство от боли нашлось так быстро, что я сам себе удивился. Кажется, я был в здравом уме, но этот ум проделывал со мной какие-то невероятные фокусы. В общем, все как на ладони: он всеми силами старался избежать боли и работал, работал, крутился, мигая всеми лампочками, пока не находил решение; и он его нашел — вот оно лежало передо мной, тепленькое, чудесненькое: "надо вернуться!" А как с принципами? Ведь есть же у меня какие-то принципы... Нет у меня принципов — то, что я за них принимал, не годилось для жизни. Следовало выпростаться из них ради чего-то нового, иного, до чего я раньше не доходил, не дотягивался. Да, да — мой нравственный порог оказался ловушкой. За ним мерцала тьма. Я должен идти дальше, и лишь тогда я что-то пойму, чего раньше не понимал. Жить — это выламываться из своей вчерашней оболочки, из скорлупы, которая, если вовремя не пошевелиться, может и окаменеть. "Дальше" — это в настоящем означало вернуться. И тут я запаниковал уже совсем по другому поводу. Мысленно я уже мчался к ней, я уже все забыл и простил, да и было ли что прощать... Но как ей сейчас, что с ней, захочет ли она меня видеть? Или вчера вслед мне она вздохнула с облегчением — вторый ей не давался. Может, сейчас там уже ОН... Как же я не подумал об этом? Отправься мы вчера к Диме, как она хотела, — и мы были бы вместе, ночь бы помирила нас — ведь этого Улитка и хотела, потому и увезти из дома хотела, чтобы я не мучился глупой ревностью; пусть даже еще и потому, что опасалась визита того, кто ей позвонил, — разве в той ситуации она не предпочла меня? Боже мой, что я наделал! Я все погубил, я упустил ее, я проспал, гордыня сделала меня дураком. Гордые — чаще всего глупые. Гордость — это предрассудок. Глупость — это верность предрассудкам...

И вот я уже мчался к Улитке, нырял в метро на острове Декабристов и выныривал на Невском проспекте, догонял как раз пересекающий его трамвай, тринадцатый номер, и Садовая улица, несчастная, обнищавшая Садовая, на которую глаза бы не смотрели, казалась дорогой в рай, вот и Никола Морской — как хорошо она говорила про его купола: "Это золотые капли неба..." Вот уже и Лермонтовский проспект... Как грустно, пусто, разоренно здесь, какая глухая привычная бедность, как уныло, как привычно серо мы живем, и все потому, что не знаем, что можно жить иначе, не верим в себя, в свои силы — вот и влачим жалкое существование. Но нет уж, я не из вашей компании, я еще за себя постою! Вот и розовый дом ее цвета детской фланели. Окошки светятся, и ее — с краю — тоже светятся, переливаются, но я боюсь в них заглянуть: будь что будет, если она не одна, если ОН там — то это развязка. Вот и прекрасно. Все надо делать вовремя. Но еще можно повернуть назад. Еще можно ничего не знать. Можно не сталкивать лбами

то, что сталкивать не нужно. Но рука моя уже тянется к звонку, и я звоню, я звоню своей серией звонков — коротких и длинных и по замыслу веселых, — пусть ей будет известно, что это я, и, если нельзя, пусть не открывают, затаятся пусть. Не стану же я ломиться в дверь. Не стану. Сделаем вид, что их нет, ее нет. Она ушла, а свет забыла погасить. Она человек рассеянный. Свет есть, а ее нет, и я уйду. Но тут же в коридоре раздался шорох, и дверь, большая, тяжелая, обитая железом и покрашенная сочной коричневой краской, жженой сиеной, резко и широко открылась, будто меня ждали. За ней стояла Улитка — без улыбки, без удивления, без недовольства.

— Я мимо пробежал, — сказал я, — гляжу, свет. Я на пять минут, согреюсь — и дальше.

— Проходи, раздевайся, — сказала Улитка. Она была сдержанна, но не холодна. — Я знала, что ты придешь.

Не помню, о чем мы говорили. Наверно, ни о чем. Я пришел, этого было достаточно. И никого-то здесь, кроме меня, не было. Впрочем, о НЕМ мы, кажется, все же поговорили. Да, ему всего двадцать три... "Он выглядит на тридцать пять", — сказала Улитка. Это его она и называла натурщиком. И с приятелем по ресторанам — тоже он. И это он занимал у нее большую сумму денег и отдал с опозданием на месяц. В общем, она здорово понервничала — ведь он мог и не отдать. Как так? А так — сказал бы: "Ничего, деточка, я у тебя не брал. Где свидетели?" Но он оказался порядочным человеком. Хотя после этой истории она думает о нем хуже. И все-таки возврат денег она ставила ему в заслугу. Я извинился и сказал, что этого не понимаю. Что есть понятия чести и так далее. Но она сказала, что это, наверно, в моем поколении так, а в ее — совсем иначе. Возвращение денежного долга было для нее как бы подтверждением, что, пусть ненадолго, но судьба свела ее все-таки с порядочным человеком. Наверно, Улитке была небезразлична его порядочность. Косвенно она как бы оправдывалась передо мной за прошлое. Значит, я был для нее авторитетом, безотносительно к тому, как складывались мои собственные отношения с ней. Разговор этот придал мне силы и уверенности, и я выдержал свою роль до конца — побыл недолго и как бы заспешил дальше, по делам. Как много у меня дел, помимо Улитки, как много интересных дел! Как страшно я занят! Но вот выкроил минутку. Заскочил. — А ты приходи, — сказала она. — Я могу дать тебе ключ. Что бы там ни было, ты приходи, ты возвращайся. Хорошо?

Я кивнул ей, я взял ее за руку, я поднес ее к губам.

— Как ты думаешь, — спросил я когда-то свою бывшую жену. — Бог следит за нами? Он знает про нас с тобой? Наказывает? Поощряет? — Это было время нашей предразводной маэты, когда нам обоим было тяжело и больно.

— Даже если он есть, — ответила жена, — думаю, ему на нас наплевать.

— Что, мы не заслуживаем его внимания? — обескураженно спросил я.

— Не заслуживаем, — сказала она. — Все, что бездарно, не заслуживает внимания.

Кажется, я нашел тогда какое-то утешение в ее словах. И все же чем, как не его присутствием, ну, не Бога, а некой этической воли, воздающей тебе за все твои поступки, чем, как не этим, объяснить те периоды твоей жизни, когда разомкнутые обстоятельства вдруг становятся в четкий ряд, одно к одному, да так, как не снилось и самому гениальному драматургу? Кто тот режиссер? Случай? Но для случая слишком уж много великолепных находок. Вот мне и кажется, что во вселенских заботах своих этот самый Бог или Этос, нет-нет да и глянет в твою сторону... Я продолжал быть с Улиткой, я приходил к ней теперь даже чаще, чем раньше, я водил ее по музеям, по выставкам, я ходил с ней в театр, иногда мы забредали и в кинозал — картина могла быть любой, даже убогой, убожество тоже становилось предметом нашего кайфа. Наши вылазки из ее квартиры всегда были праздником. В квартире же ее что-то оставалось не так, хотя крылатый дьявол, обнимающий женщину, давно перекочевал ко мне, и я с обеих его сторон повесил по акварели с изображением двух северных церквей, написанных мною с натуры, — одна из них, Никольская, занесенная в каталоги ЮНЕСКО, была на Пинеге возле деревни Едома, другая же, а точнее, целых две, — в деревне Чикинской, ниже по течению. По моему замыслу, охранные эти акварели должны были удерживать зло в строгих рамках. Но у себя дома Улитка иногда мне жаловалась:

— Я всегда жду тебя, настраиваюсь, думаю о тебе. Я очень жду тебя и заранее радуюсь... Но ты приходишь и как будто тень приносишь... Ты очень мрачный, Игнат. Какой-то парадокс: когда тебя нет, я отношусь к тебе лучше. А когда ты есть... Почему ты такой нерадостный? Летом ты был светлый, серебристый, а сейчас скучный. Ты не обижайся, но мне часто скучно с тобой.

Однажды я даже вспылал:

— Что ты говоришь! Подумай, что ты говоришь!

И все. Не мог же я растолковывать очевидное. Ей ли не знать, почему я такой. Я был светел, пока был в ней уверен. Теперь же я приносил к ней тень своего открытия и делал это, пожалуй, даже сознательно. Я хотел, чтобы она видела мои терзания — ими я хотел еще больше ее привязать. Пожалуй, я мог бы поднатужиться, чтобы стать прежним, но тогда она бы решила, что с нее все как с гуся вода. А я хотел удержать ее в рамках моральных обязательств и долга. Вот и старался, как умел, поддерживать синдром ее вины передо мной. Чувство вины привязывает ведь не меньше любви. Если она еще не полюбила меня, только вина могла удержать ее рядом со мной. Я был уверен, что она меня полюбит. Она ведь говорила: "Я очень долго привыкаю к человеку..." Предложенный мне ключ я, конечно, не взял — зачем ее стеснять. Но дверьми занялся: к двери в ванную приделал с внутренней стороны ручку и щеколду, а у незакрывающейся двери из коридора в кухню стесал лишку с торца — мне не нравилось, что, когда Улитка говорила по телефону, голос ее был слышен на лестнице.

— Да пусть слушают, — пожала она плечами, — у меня нет секретов.

И все же я посоветовал говорить за закрытой дверью, потому что наружная, обитая железом, казалось, усиливала звук, как резонатор; кроме того, в ней от старого замка был пустой паз, заложенный лишь картонкой.

— Я тут все распишу, — говорила Улитка, оглядывая стены, потолок. — Я напишу фрески, я знаю эту технику. Я ведь была в Суздале, Владимире, училась у церковных художников. Фреска — это ведь значит "сырая". Это темперные краски по сырой штукатурке. Надо будет заново оштукатурить потолок. Знаешь мою мечту? — дали бы мне какую-нибудь церковь, заброшенную, пустую, и я бы ее реставрировала... Мы бы вместе реставрировали. Я бы взяла тебя в помощники.

— А как хозяева? — спросил я. — Не против потолка?

— Наоборот. Они даже рады. У кого сейчас найдешь фрески в квартире... Я же не возьму их с собой. Гойя весь свой дом расписал.

— Это самые мрачные его работы. Их так и называют — "черные".

— А у меня будут светлые. Только у меня мало темперных красок. Надо нам с тобой поискать.

Улитка, Улитка, как она хотела объединиться со мной в общем созидании...

— А то ты там где-то у себя пишешь, пишешь... А меня нет. Самое интересное ты делаешь без меня. А потом приходишь, и я вижу, что ты устал и тебе не до творчества, ты уже выговорился. Ты приходишь пустым. Я ведь чувствую. И я вроде должна развлечь тебя — я начинаю суетиться, что-то выдумывать, чтобы тебе стало хорошо. И свое не делаю. У меня, знаешь, слишком развито чувство долга: если человек рядом со мной, я должна с ним возиться, иначе я не могу...

— Да что ты! — возражал я. — Мне ничего не нужно, и внимания твоего не нужно. Я сам люблю за тобой наблюдать — как ты рисуешь, пишешь. Ты занимайся собой, не обращай на меня внимания. — Нет, я так не могу, — качала она головой. — Я ведь женщина.

В тот вечер мы не договаривались о встрече, мы встречались накануне, и все было хорошо. На ночь я не остался, Улитка сказала, что будет всю ночь рисовать и что раньше полудня звонить не надо — она будет спать. Я и не звонил — охранял ее сон. Я видел ее спящей в теплой, темной, занавешенной комнате; телефон, надеюсь, она оставила на кухне, накрыв подушкой, она и так постоянно недосыпала, и тогда у нее болела голова и ее мучили кошмары. Бегаю с утра по своим

делам, я был полон нежности к ее сну и ненависти к потенциальным его нарушителям, а когда ненависть исчезла, я понял, что она проснулась, — вот она умывается в ванной, сидя на корточках, подставляя под струю свое дивное смуглое тело — розовы только узенькие пятки. Иногда она мылась при мне, и я ждал, пока меня позовут: "Игнаша, потри спинку..." В старой ее квартире мне тоже случалось принимать ванну, она водила по моей спине намыленной губкой, купленной в Грузии, и в эти мгновения я чувствовал себя мальчиком — маленьким, согретым, защищенным. Ее жизнь, даже в мое отсутствие, шла перед моими глазами: вот она обедает, вот пошла по магазинам — дома у нее хоть шаром покати, и я обычно без продуктов не появляюсь. А если она сама их покупает, то говорит, что из-за меня: ей на день хватает корки хлеба и нескольких ложек меда, за которым она, сладкоежка, готова съездить на рынок. Постоянно воображать, чем она сейчас занята, стало для меня привычкой, скорее даже потребностью — это притупляло чувство одиночества, когда мы были порознь. Да и сказано: быть любимым — это состоять под наблюдением.

И вот в тот вечер, точнее — в какое-то мгновение вечера, я почувствовал, что теряю ее образ, как будто передо мной погас телевизионный экран, и я вдруг испытал приступ смертной тоски. Это случалось — когда я не хотел жить, но я знал, что это проходит. Однако тут нахлынувшее отчаяние было, я чувствовал, каким-то образом связано с Улиткой, и я позвонил ей, уверенный, что она поможет, как многожды помогала. Было занято, и, не в силах дожидаться, я помчался к ней.

Надо сказать, что последнее время, когда бы я ни приходил к ней — утром ли, вечером, — меня преследовала мысль, что рано или поздно я столкнусь с НИМ, этим человеком, который ей "не был нужен по большому счету", но почему-то продолжал присутствовать в ее жизни. Хотел ли я встретиться с ним вот так, случайно, на лестнице или в Улиткиной мастерской? Пожалуй, да. Мне хотелось увидеть его. Мне бы хватило взгляда, чтобы понять, с кем я имею дело, — я хотел знать опасность в лицо. Вот и теперь, чтобы не обнаружить себя раньше времени, я попридержал внизу парадную дверь, которая благодаря своей мощной пружине срабатывала, как катапульта. Пружина, недовольно прорывав, пропустила меня, и я ступил на ступеньку лестницы — их, этих ступенек, было тринадцать до Улиткиной двери. За нею с кем-то говорила Улитка. Я напряг слух, чтобы услышать — в этом уже не было сомнений — ответный мужской голос, но тут же понял, что она говорит по телефону, и еще понял, догадался, что это тот самый разговор, на который я наткнулся еще сорок минут назад, когда звонил. Я ехал, а он продолжался, и не было ему конца. С кем же можно так долго говорить — только с тем, у кого ключ к нашей душе. Я тихо поднялся, протянул руку к звонку и увидел, что она дрожит. Оказывается, меня трясло как в лихорадке. Рука моя опустилась. Я стоял и слышал голос Улитки. Много разных ее голосов я уже слышал, но такой — впервые... Голос, в котором были страдание и мольба и какая-то страстная заклинаящая нежность, и еще многое, многое...

— Почему ты так редко звонишь? — говорил этот голос. — Я страдаю, места себе не нахожу... целыми днями только и делаю, что жду, жду, жду. Я так больше не могу... Нет, я ни о чем тебя не прошу. Не смею просить. Только не забывай меня, хорошо? ...Твои родители? Я знаю, они против меня. Они считают меня проституткой. Они думают, что я тебе сломаю жизнь, карьеру. Нет... Нет... Нет... Они правы. Тебе нужна другая жена. Но я не могу без тебя. Не могу, слышишь? Я умираю, когда тебя нет рядом. Не знаю... Не знаю... Не знаю.. Все равно ты лучше меня не найдешь. Да... Да... Ты сам это чувствуешь. Я не знаю, что делать. Я ничего не знаю... Я не понимаю... Не понимаю... Далеко не все слова я слышал, скорее, догадывался о них по Улиткиной интонации, и более того — догадывался о словах, которые говорились ей. Не помню, почему я сел. Наверно, ноги отказались меня держать. Я сел, прислонившись плечом к двери. Прямо против лица была дыра от вынутого замка, заложенная картонкой. Голос Улитки стал еще явственней. Меня продолжало трясти, все тело ходило ходуном, и я стиснул зубы и крепко обнял колени, чтобы унять дрожь, загнать ее вовнутрь.

— Ну почему, — страстной мольбой звучал Улиткин голос, — почему все так

несправедливо? Почему ты бросил рисовать? Почему Бог не дал тебе творческого дара, а другим дал? Они... — (о, это "они", произнесенное с таким холодом отчуждения, что я его никогда не забуду, — ведь в числе "их" был и я!) — ...они творят, им все дано, счастливым... а тебе

ничего. Да, один из таких счастливичков сидел рядом, под дверью, униженно подслушивая, не в силах встать, распрямиться и распорядиться своей судьбой хоть с толикой достоинства.

Тут снизу раздалось шарканье, дверная пружина зарычала, и я вскочил и заметался, как затравленный заяц. Все, что я смог придумать, — это встать лицом к двери и заняться содержимым собственных карманов. Я стоял спиной к тому, кто поднимался мимо по лестнице, и как бы что-то усиленно разыскивал — сигареты, хотя я давно не курил, извещение о посылке, повестку в суд или квитанцию с собственных похорон. Шаги за мной смолкли, дверь наверху захлопнулась, и я снова сел, припав ухом к дыре. — Нет, мы не расстанемся, — звучал голос Улитки. Я без тебя погибну... Угу... Хорошо... Я согласна... Угу.. Когда у тебя будет время... Не оставляй меня надолго одну... Я согласна. Пусть твои друзья меня охраняют, чтобы никто не приставал... Хорошо... Хорошо... Только умоляю — звони мне... Ну хорошо... Хотя бы через день... Ты же знаешь — я всегда дома, я всегда жду... Хорошо... До свидания... До встречи... — И последнее, нежное, страстное, тихое, молящее:

— Я люблю тебя...

Все. Разговор был окончен. Трубка опущена, а за нею и занавес. Нет, занавес остался на весу во тьме колосников, как нож гильотины. Теперь был мой номер, мой выход. Зал затаил дыхание: как же поведет себя герой-любовник, с которым так нехорошо обошлись? Ну там красивые ветвистые рога — это само собой, но даже не в них дело, не в них, господа! Одни я уже скинул, отвалились бы и эти. Но... что же теперь делать? Задержись этот чертов трамвай на десять минут — и я бы ничего не узнал, и мы остались бы вместе, пока когда-нибудь то, чего я не узнал, не разрешилось бы само собой. Значит, так: позвонить сейчас в дверь как ни в чем ни бывало и дружить, любить дальше с одной только поправкой: я все знаю, все примечаю до судного дня, когда наконец потребую объяснений: "А теперь расскажите, чем Вы там занимались с часу до трех пополудни?" Нет, на такой вариант я не тянул, это не мое — мне оставалось быть самим собой. Это означало, что я не знал, что же сейчас произойдет. Я заставил себя поколебаться, как будто был еще какой-то иной выход, и нажал кнопку звонка. Между тем, как Улитка положила трубку, и этим звонком прошло разве что одно мгновение — на паузу у меня не было ни сил, ни рассудка. Не знаю, как бы я себя повел, случись рядом друг, — возможно, дал бы себя утащить подальше, на свежий воздух. Возможно, придумал бы что-нибудь. Решения надо принимать на свежую голову, с утра, натошак. Однажды под впечатлением сна, заставившего меня заплакать, я позвонил бывшей жене, с тем чтобы она вернулась ко мне; к тому времени она была снова замужем, и мне уже было отказано видеть дочь. Я позвонил, но телефон не отозвался. А потом я уже звонить не захотел. Ну да о чем это я? Короче, я позвонил — и Улитка тут же открыла. Она увидела меня и не улыбнулась. Лицо ее было напряженным и даже агрессивным, какими бывают наши лица, когда мы поставлены перед необходимостью защищать то, что нам дорого. И еще — лицо ее было испуганным, или так: на лице Улитки была досадливая тревога, было предчувствие чего-то нехорошего, что я принес.

— Добрый вечер, — сказал я. — Это снова я... Прости, что не предупредил. Я звонил, но у тебя было занято.

— Да, тут долгий разговор... Я об одной коллекции договаривалась, — сказала Улитка, даже не постаравшись, чтобы ее слова прозвучали убедительно. — Раздевайся, проходи...

— Может, я помешал? — сказал я.

— Да раздевайся ты... — сказала она и, посмотрев мне в лицо, тяжело усмехнулась. — Ты все от ревности с ума сходишь... — И, еще раз посмотрев:

— Что с тобой?

— Все нормально, — сказал я. — Чаем напоишь?

— Конечно.

— Ужасно хочется чаю, — сказал я, потирая руки, и прошел на кухню. Телефон — мой палач — невинно стоял на антикварном столике, выполнив свое черное дело. — Чаю и покурить. У тебя случаев нет сигарет?

— Что с тобой, Игнат? Ты же не куришь.

— Ужасно хочется сигарету. Неужели нет? У тебя же все друзья и подруги курят.

А... вот! — На подоконнике, как семейство поганок, торчала стайка вжатых в пепельницу сигарет. — Вот и курево! Надеюсь, среди твоих друзей нет спидоносцев?

— Зачем ты так? — почему-то вспыхнула Улитка. Нет, у меня и в мыслях не было обижать ее друзей. Странные обиды...

— Прости, — сказал я. — Это от недосыпа. Ночью мало спал, мозги перекутились. Щас покурю и...

Улитка молча следила за мной — как я искал спички, как, чтобы не обжечь пальцы, двумя спичинками держал у губ сигарету: это у меня еще с армии — докуривать подчистую. От пары жадных затяжек голова закружилась.

— Ну вот, — выдохнул я и провел рукой по лицу. — Теперь можно... Я пришел, чтобы сказать тебе нечто важное... Важное для нас обоих. Я все думал: говорить — не говорить? И решил — надо сказать..

— Что случилось, Игнат?

— Я все слышал.

— Что ты слышал?

— Весь твой разговор. Прости. Я не мог его прервать. Говорил же — закрывай кухонную дверь. А ты не закрыла. Да и дырку я не успел забить... И все слышал. Это нехорошо — подслушивать. Я дико извиняюсь. Но это меня Бог навел, черт бы его побрал! Ты любишь другого человека. Только что ты призналась ему в любви. Это прекрасно — любить. Прекрасное чувство. Поздравляю. Это большой подарок — любить.

Я поднял на Улитку глаза — она смущенно и легко улыбалась:

— Ты правда слышал мой разговор?

Я кивнул.

— И давно стоял у двери?

— Достаточно, чтобы все понять.

— Но это не совсем так... Точнее, совсем не так...

— Что?

— Я не так уж люблю его. Это слова. Знаешь, под настроение, под одиночество я могу все что угодно наговорить. Сидишь тут одна целый день...

Господи, боже мой! Она еще что-то отрицала! Но я вдруг за это уцепился — уцепился, ухватился за эту ниточку и потянул, потянул...

— Под настроение? Ты хочешь сказать — это была игра?

— Конечно, — небрежно пожала она плечами. — Ты же знаешь, я игрок.

Что я слышал?! Что она говорила?! Я помотал головой, чтобы стряхнуть наваждение. О женщина! Она уже верила своим словам — она не хотела меня терять, она не хотела причинять мне боль, она отыгрывала назад! Я был рядом, и она хотела, чтобы мне было хорошо и покойно, потому что сейчас, сию секунду я был ближе, чем тот человек! Она сострадала мне, жалела меня — она хотела меня утешить.

— Кажется, понимаю, — сказал я, вдруг словно озарившись пониманием человеческих отношений как некой чудесной игры, где любовь достается тому, кто рядом. Есть ближние, есть дальние — и ближний всегда выигрывает. Как отраднo было видеть, что она не хочет меня терять. Все-таки я что-то значил в ее жизни. Но что именно?

— Я бы тебе даже поверил, — сказал я, — если бы не слышал, как ты говорила, твой тон, твою интонацию. Какая самоотдача! Это, дорогая, был голос любви. Я давно живу и кое-что уже знаю. И голос любви я не спутаю ни с чем другим...

И тут я почувствовал, к ужасу своему почувствовал, что я гораздо ближе к истине, чем она, и что теперь мне остается только уйти.

Она молчала. И я снова заговорил:

— Перед любовью я снимаю шляпу. Я третий, который лишний. Я сейчас уйду. Это все, чем я могу вам помочь. Женитесь... Что вам мешает пожениться?

— Я не собираюсь жениться, — сказала Улитка. Она была единственной из встреченных мною женщин, которая путала эти два понятия: жениться и выходить замуж.

И что-то я еще говорил, чтобы потом не жалеть, что не сказал.

— У Лорки есть пьеса, — говорил я. — Старику достается юная красавица жена, он счастлив, но наутро он обнаруживает, что она любит не его, а юношу в красном плаще. И он устраивает ей свидание, переодевшись в красный плащ, и убивает себя на ее глазах, чтобы унести ее любовь к себе — юноше. Я себя не собираюсь убивать, но если мне удастся помочь вашей любви, это и будет смерть моей...

— Ничего не нужно делать, Игнат, — задумчиво сказала Улитка. — Совсем не нужно...

— Ну тогда я просто ухожу, — сказал я.

— Ты лучше меня не найдешь, — сказала она.

— Я и не буду искать, — сказал я.

— Я все равно буду стоять между вами, как Медуза Горгона, — сказала она.

— Пусть так, — сказал я.

— Все равно мы когда-нибудь столкнемся на Невском, когда я буду рисовать, и я захочу к тебе, и все начнется сначала...

Значит, она поверила, что сейчас я уйду, и уже приняла мою жертву... Это самолюбиво зацепило меня остаточной болью, и я сказал:

— Едва ли...

У нас тут закончился конкурс на лучший короткометражный фильм года, ввиду обилия картин длившийся несколько дней. Вчера было вручение премий. Первую премию разделили между двумя картинами, одна из которых наша!!! Посылаю вырезку из сегодняшней газеты. Все эти дни я была на конкурсе, так как меня чрезвычайно интересовали фильмы, сделанные в Испании за этот год. Публика была исключительно "короткометражная", атмосфера жуткая, аплодируют

только своему детищу, рассуждают, хотя очень мало понимают в кино. Были, конечно, интересные находки, но в основном это мир псевдофилософии, домашнего сюрреализма, утомительной многозначительности, так что простота и непритязательность нашего фильма, прозрачность его идеи взорвалась бомбой — в отрицательном смысле, так как фильм большинству знатоков не понравился. Он настолько выпадал из схем, что короткометражники не знали, как определить шкалу его ценностей. Уж больно все просто — ни тебе лесбиянок, ни гомосексуалистов; какой-то там ребенок... на него и времени-то нет в мозгу. Но это был маленький, киношный, необразованный, закомплексованный мир. А жюри, состоящее из министра кинематографии, двух режиссеров, кинокритика и актера, присудило мне премию, мне и молодому режиссеру, снявшему фильм о гангстерах. Один только Бог знает, как они меня разглядели. Меня ничуть не травмировала реакция зала, так как публика была недоброжелательна, завистлива. Тут борьба не на жизнь, а на смерть. Для меня же "Hola, Natalia!" — это всего лишь выход из мертвой точки и уже пройденный этап. Я способна на гораздо большее.

ПАКО, то бишь Франсиско, которого Виктор знал еще по Москве, работал инженером на крупном металлическом заводе, и в доме его был достаток; конечно, не такой, как у Виктора, но все же. Это значит, у него была хорошая квартира в хорошем районе и машина "рено", по классу, как объяснил мне Пако, почти равная "мерседесу". В гости к нам Пако приходил часто и всегда вместе с Юлией, своей женой. В Москве Юлия была педиатром, а в Мадриде работала медсестрой. Она была последней, то есть нынешней подругой Арины. Пако, низкорослый жизнерадостный толстяк, поначалу приглядывался ко мне, а Юлия сразу же взяла со мной приятельский тон — я был последней новостью из России и уже одним этим был ей интересен. Вот кто совсем не прижился на испанской почве и, похоже, не испытывал при этом никаких неудобств. Она была полна спокойной, трезвой радости жизни и этим, видно, и притягивала Арину. Мы с ней были однолетки. По-испански Юлия говорила бегло, но с ужасным славянским прононсом, да к тому же еще без артиклей. Ей было наплевать на артикли — определенный и неопределенный — и на сами существительные, требующие определения, ей было все равно, что думают испанцы о ее испанском, достаточно и того, что к испанцам она относилась ничуть не хуже, чем к русским, и Пако своего любила, деньги, пусть небольшие, зарабатывала, дочь заканчивала колледж, что еще? Юлия была непритворлива, как кактус, — ее можно было посылать для освоения новых миров. На ее ее крупных, всегда накрашенных губах блуждала уверенная улыбка, от нее крепко пахло духами и табаком — курили они с Пако как сумасшедшие. Наверно, благодаря ей у Франсиско была в Мадриде тысяча знакомых и еще одна тысяча в Барселоне, можно было ткнуть в любую точку на карте Испании, и, только на секунду задумавшись, сняв очки и быстро почесав большой, в капельках пота лоб, Пако вспоминал, у кого там они с Юлией останавливались. Они очень ругали меня, когда я вернулся из Андалузии. Они могли дать мне кучу телефонов и адресов — меня бы кормили, поили, показывали бы то, что никакая туристская фирма показать не может. Меня бы свозили туда, где родился римский император Адриан, — в Италику, мимо которой равнодушно проехал мой туристский автобус. Меня бы... Они действительно были расстроены, хорошие люди. Теперь они обещали взять меня с собой в Эстремадuru — они все время куда-нибудь уезжают на выходные. Они еще возьмут с собой свою приятельницу из Барселоны, нет, она испанка, уже тридцать три года как родилась, а в Эстремадуре не была — смешно? — ничего смешного, я вот тоже не был за Уральскими горами, ни в Грузии не был, ни в Армении... Не сравнивай, Игнасио, Испания — она вся здесь, в пятерне; самосознание нации определяется территорией, но, если территория слишком большая, самосознание становится рыхлым, Испания со своими колониями через это прошла...

Родился Пако в Толедо, городе военных и священников, где и работал бы, как отец, на фабрике, изготавливающей холодное оружие, да, да — из той самой знаменитой толедской стали — потому что металл и то, что из него можно сделать, всегда занимали воображение Пако. В металле была прочность и надежность, а это самое главное, что Пако ценил в жизни. Но про Толедо он не помнил ничего, — разве что страшный грохот, как во время грозы, когда улицы превращались в бурные реки, но он уже знал, что это не гроза, а война, с которой отец

возвращается по вечерам. Но и отца он почти не помнил, а лишь его винтовку, огромную, неподъемную, прислоненную к кухонному столу. Только через много лет он узнал, что его отец воевал в отрядах народной милиции, что они загнали в Алькасар, бывший королевский замок, а в те годы — военную академию — заговорщиков во главе с полковником Москардо, а через восемь недель безуспешной осады отступили от его продырявленных стен под натиском франкистов. Тогда, осенью 1936 года, и был расстрелян его отец, вроде бы принимавший участие в расстреле сына Москардо. Что ж, все верно, кровь за кровь, смерть за смерть.

Нет, Пако не судит отца и мать не судит, за то что она отправилась с тремя детьми в Астурию, к себе на родину, где снова вышла замуж — живое тянулось к живому, страстно желая выжить, — и даже за то, что в марте тридцать девятого она отвезла его вместе с младшим братиком на пристань в Хихоне, он тоже ее не судит. Он знает, что был голод, чудовищный голод, и что за отчимом-республиканцем охотились, и что это был последний акт умирающей республики — спасение своих детей, передача их в добрые руки тех, кто помогал. Но на советском корабле, увозящем в далекую Россию, Пако оказался без брата; того не взяли, почему — он не знает, кажется, был установлен возрастной ценз, малолетки должны были оставаться с родителями, у франкистских палачей не должна была подняться рука на малолеток... четырехлетний брат его остался на пристани Хихона, а утром его подобрала нищие бродяги, отогрели, накормили в своих трущобах, и мальчик выжил, не помня прошлого, не зная, что всего лишь в ста километрах, в деревне Фелечоза, живут его мать и сестра, считающие, что он вместе с братом в Советском Союзе. В пятнадцать лет он стал профессиональным вором, в шестнадцать убил человека, а потом сам был убит, а в это же время Пако уже учился в Московском автомобильном институте, помня многое в своем испанском детстве, к которому он однажды рванется, чтобы то ли похоронить, то ли воскресить свои странные сны.

А снов было несколько. Один — будто вокруг зелено и просторно и далеко видно, солнечный свет и голубое небо, под ногами зеленая трава, а неподалеку какие-то теплые смирные животные, большие, но не страшные, ему по грудь, кажется, овцы, тихое меланхолическое звяканье ботал, он замахивается прутиком, и овцы покорно, послушно прядают от него, а рядом сильно прихрамывает кто-то, кто его любит и всегда берет с собой и дает ему домашнюю лепешку, сыра и кусок сахара, — это, конечно, пастух. Пастух и снимает ему кору с прутьев, и Пако любит облизывать их скользкую, влажную, сладкую плоть, нежно-белую, как проклюнувшиеся грудки его старшей сестренки, которые она уже прячет и дает Пако оплеуху, чтобы не подглядывал. А еще — когда они выходят из деревни, он помнит на зеленом пригорке трех детей, которые почему-то не умеют ни ходить, ни разговаривать, как он, а сидят на траве целый день там, где их посадит мать, и только мычат, пуская слюни, и головы у них падают то к одному, то к другому плечу. А еще он помнит огромную кричащую толпу и стену парохода и что он крепко держит руку братика, потому что так велела мать, но потом он почему-то один, братика нет, и он начинает плакать и звать маму, он боится, что за братика ему влетит, как влетало каждый день с тех пор, как тот родился, и он рвется на пристань, а его не пускают, и кто-то рядом говорит, что за его братом пришли, ну, конечно, это мама пришла, и ему нужно обратно к ней, никуда он не хочет уезжать, и его впервые обожжет чувством одиночества, от которого он всю жизнь будет искать защиты среди друзей и дел и рано женится, и ничего ему не будет дороже постоянного присутствия рядом Юлии, и он будет ревновать ее даже к собственной дочке.

И однажды он, московский инженер Франсиско Мендес, поедет в Ирун, на границу Франции и Испании, потому что дальше ему, советскому подданному, нельзя, поедет, чтобы встретиться там со своими — матерью, тетками и старшей сестрой. К тому времени уже не будет отчима, умершего в далеком Пуэрто-Рико, а мать вместо Пако и младшего сына, история которого, если это действительно был он, станет известна от одного хихонского бродяги, мать во искупление вины возьмет на воспитание двух мальчиков-сирот. Он поедет в шестьдесят шестом году, когда из Международного Красного Креста ему наконец ответят, что в этом мире он не одинок и что есть, есть у него родные по крови люди, они живы и они в Испании. Он выйдет на пустую платформу Ируна, день будет мокрый, холодный, раннеапрельский, обложенный туманом, как оконная рама ватой, и только в середине этой рамы он увидит протаявшее пятно — четыре женские фигуры в черном, испуганно обернувшиеся на него, и он качнется, пойдет в их сторону, на их потусторонние лица, гадая, которая здесь мать, и начнет медленно, неуверенно улыбаться одной из них, но это будет тетка, и, чтобы он не совершил невозможной ошибки, другая женщина

качнется к нему и протянет руки. А ночью она войдет в его номер и встанет на колени возле его постели с еще невысказанными словами покаяния, но он притворится, что крепко спит. Не нужно слов, он и так простил, только вот потом, когда он уже переберется в Испанию, каждый раз, когда он навещал мать, что-то вонзалось ему в сердце. "Тише! — махала она на него рукой. — Разбудишь!", а в соседней комнате спали после ночной смены те двое, что заняли в доме его с братом место.

Первый раз он приехал в Фелечозу рано утром, с ним была Юлия, уже на седьмом месяце; да, было очень рано, но придорожная таверна была уже открыта и полна местного люда. У него дрожали ноги, и хоть старую эту таверну он не мог помнить, ему казалось, что и ее он узнал. Он вошел внутрь с Юлией, не глядя ни на кого, не смея взглянуть, заказал у стойки вина, чтобы справиться с нервами, и когда он сделал первый глоток, слыша спиной, как тихо стало в таверне, кто-то в этой тишине вдруг сказал: "Пако?"

Он не знал человека, который его обнимал, и других не знал, кто подошел и кто знал его, сквозь слезы он не различал их лиц и только одно заметил: как кто-то тяжело поднялся из-за столика в углу, опрокинул стул и, сильно прихрамывая, устремился к выходу. Оставив Юлию у матери, он вышел один из дома, которого тоже не помнил, и уверенно пошел налево, по дороге в гору. Вокруг были зеленые холмы, и утреннее солнце окрашивало взлобки ярким светом, он не знал, почему пошел в эту сторону, но чувствовал, что дорога ему знакома и что где-то там дальше, на окраине деревни, его должны ждать. Но там никого не было, только стоял на отшибе дом из темного камня. Пако постучал в дверь, и вышла старуха. Старуха посмотрела на него и сказала:

— Зачем ты сюда пришел, Пако? Бартоломе нет.

— А где Бартоломе? — спросил Пако.

— Его нет. Ушел, — сказала старуха и вдруг сердито глянула куда-то за спину Пако.

А там, выйдя из сарая, куда спрятался от избытка чувств, стоял тот, кого звали Бартоломе, седой, как Пики Европы зимой.

— Здесь я, Пако, — прохрипел пастух Бартоломе, шагнул к нему, сухая нога его подвернулась, и Пако едва успел его подхватить...

А когда он возвращался в дом матери, на освещенном пригорке возле каменной ограды он увидел трех сидящих на траве бородатых мужиков. Они глазели на него, радостно мыча, и головы у них качались от плеча к плечу.

Мы едем в Эстремадуру, испанскую провинцию, "землю за рекой Дуэро", в прошлом бедную, нищую, а теперь чуть ли не наоборот. Можно было бы поехать и в другую сторону, скажем в Арагон, но в Арагоне Пако с Юлией уже были, а вот в Эстремадуре как-то еще не пришлось, это последнее белое пятно в их Испании, вот и Кармен, их барселонская подруга, тоже не была в Эстремадуре, а Касерес — это, говорят, стоит посмотреть, к тому же наш с Виктором отец родом из Касереса, как все удачно совпало, просто редкостное совпадение, я сижу на заднем сиденье "рено" рядом с Кармен, и Пако, положив свои пухлые, но крепкие руки на руль, гонит по пустынной дороге на запад. Утро, небо затянуто пеленой, темная и светлая охра выжженных, но уже прохладных холмов, и темно-серая рваная полоса гор Гвадаррамы на горизонте, словно обметанная по верхнему краю белыми нитками.

— Что это там? — вглядывается Пако.

— Кажется, снег, — говорю я.

— Нормально! — крутит он головой. — Это, значит, ночью выпал.

При мне в нем, как и в Викторе, включается радость испанского бытия. Когда снег в горах растает, он отметит это с таким же удовлетворением. Месяц назад я проезжал в тех горах перевал

на высоте 1800 метров, на этой стороне мерклый свет, тучи, а на той — золотая от солнца долина... Тогда из Ла-Гранхи мы поехали в Сеговию, а потом завернули в прохладный Бальсаин, где Виктор с Ариной снимали верхний этаж большого крестьянского дома, пока привыкали к Испании и еще не открыли для себя Менорку.

В горах Гвадаррамы выпал снег, и через заснеженный перевал в эту минуту вел свою машину Виктор; Арина справа, сзади Антоха с Натали, Антоха хочет улечься в длину и нагло кладет ноги на сестру, а та хнычущим голосом девочки-переростка жалуется маме, хотя на нее, по словам Арины, уже поглядывают мужики. Жаль, что я не с ними; откровенно говоря, мне не очень хочется в Касерес, не хочу я копаться в прошлом, вот только соседство Кармен согревает, у нее взгляд умницы, да и Юлия подтверждает, что Кармен — редкая умница, она пытлива и любознательна и в этом смысле далеко не типичная испанка. Типичная испанка — домохозяйка и домоседка. Семья — ее Бог. А у Кармен Бог — книга. Она не читает, только когда спит. Ну, это в общем понятно — она не очень красива, полновата, с крупным задом и большой грудью, хотя лицо не без приятности. Брови. Ну да, две длинные полоски бровей — длинные и черные, как нарисованные, но в Испании такими бровями никого не удивишь. Нет, Кармен далеко не дурнушка, а стоит заглянуть ей в глаза да еще и заговорить, так сразу забудешь, что не очень-то стройна. И кисти рук маленькие и красивые, и бедра тугие, и грудь, видно, туга, и вообще Кармен мне уже нравится, я уже третий месяц в Испании, и если раньше испанки оставляли меня равнодушным, то теперь я смотрю на них пылко. Это просто у меня давно не было женщин. Вот проблема для заграничного гостя — женщина, то есть ее отсутствие, то есть больше двух месяцев без женщины.

Но вот и монастырь. Надо вылезти и размять затекшие члены. Монастырь иеронимитов-отшельников в Хусте, последнее пристанище Карла Пятого Великого, последние два года его жизни. Трудно было найти место печальней и уединенней. Нелюбимый народом король выбрал его сам, отказавшись от всех королевских дел в пользу своего сына. Такой — смилившийся, отрешенный — он вызывает сострадание. "Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается... Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека лучше? ...Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа... И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?"

Уже день настал, а солнце так и не выпросталось из-за облаков — земля, трава были влажны то ли от ночного дождя, то ли от утренней росы, скромный дворец тонул в листве каштанов и эвкалиптов, все было зелено вокруг, десятки тонов зеленого, а чуть сойти с дороги, подняться в лес — под ногами грибы, никто их не собирает, испанцы не знают грибов, кроме шампиньонов. Пако с Юлией, не выдержав, прочесывают подлесок, возвращаются с кучкой белых и подберезовиков, хотя берез не видно; Кармен с вежливым отвращением смотрит на грибы: "Что это? Это едят?", а есть и в самом деле хочется. В Хусте, прямо в монастыре, был ресторанчик, но нам отказали — перерыв-де, хотя зал был еще полон народу и густых вкусных запахов; нам отказали, нам не бросились навстречу, что могло свидетельствовать только об одном — об отсутствии конкурентов; больше всех рассердился Пако, в Испании он от такого отвык, это не испанцы, испанцы всегда накормят, потому он даже не стал выяснять отношений, а побежал к машине, подгоняемый работой слюнных желез. Ничто так людей не объединяет, как общая цель, особенно когда она становится страстью, и я бы добавил, что ничто так не разъединяет, как достижение ее, однако не буду спешить, так как мы еще были голодны, а поесть было негде. Пако, как человек, знающий толк в еде, довел нас до экстатического предвкушения трапезы. Он очень спешил, и Херес мы проскочили. Херес гордо возвышался на холме, весь в своих средневековых башнях и своей истории, но мы его проскочили, и Пако не захотел возвращаться — на подъем как бы уже не было сил и у проголодавшегося "рено", — и мы покатили под уклон.

За поворотом распахнулось пространство, и далеко внизу, словно на дне огромной зеленой чаши, уходящей краями в туман высоты, открылся белый городок под черепичными крышами, с одинокой, мышиного цвета колокольней на краю. Пако сунулся в дорожную карту:

— Техада дель Тейтар. Здесь и поедем.

— Подожди! — взмолился я. — Только два снимка!

Я потянулся мимо Кармен к окну с ее стороны и поймал в глазок это чудо, которое вдруг словно специально для меня наполнилось светом, и туман, клубящийся по лесистым холмам, стал жемчужным, а сам городок внизу просиял, от него по светло-кирпичной земле шли зеленые волны — террасные поля, а "рено", как бы тоже любуясь видом, тихо скатывался навстречу; щелкая затвором, я ощущал бедром бедро Кармен, которая не стала слишком отстраняться, чтобы пропустить меня к окошку, и щека ее оказалась рядом с моей, и в съёмочном своем порыве я прижался щекой к ее щеке, и она спокойно приняла и это, как бы спрашивая: "Что ты хочешь, chico¹¹?"

Мы оставили машину у въезда в городок и пошли пешком. Солнце окончательно пробилось сквозь облака, и в небе тут и там засверкали голубые окна. Первый раз видел в Испании такую пронзительную голубизну. Ах да, осень, первое ноября, день Todos los Santos — Всех святых.

— На площади можно поесть... — сказал нам старик, красивый, как все испанские старики. Он разговаривал посреди дороги с двумя другими стариками, но затем догнал нас и объяснил, где именно на площади можно поесть. Он вернулся к своим собеседникам, но затем снова нас окликнул и снова догнал. Он разрывался между друзьями и желанием показать нам свой город. Он прошел с нами метров двадцать и успел рассказать его историю. Историю он знал крепко, будто жил уже лет девятьсот с лишним, как Мафусал из Книги бытия. Дома были каменные, беленые, двух-трехэтажные, над входом — каменный брус в качестве перекрытия. На многих было выбито имя первого владельца и дата. Шестнадцатый век селился как раз вдоль этой дороги. Возможно, и посейчас здесь жили те же семьи. Пако нас поторапливал, ему тоже очень нравился старик, но хорошо бы, если б он подошел после обеда. Небольшая Пласа-Майор была забита машинами, а ресторанчик забит их владельцами. Что-то невероятное, чтобы в Испании негде было поесть. Оставалась столовая, нечто вроде деревенской корчмы, если мы, конечно, не возражаем. А чего возражать? Ну как же, Пако так хотелось, чтобы товар был только лицом, только лицом. Но голод не тетка. Тетку, в отличие от голода, можно перетерпеть.

Мы спустились в подвальчик, и Пако придирчиво огляделся. Но придираться было не к чему. Чисто и весело, в красно-белую мелкую клетку. Стол на шестерых. И девочка-официантка из местных — красно-белый передничек, смугленькая, улыбчивая, глаза словно обведенные углем, — извинилась, что на первое осталось только одно блюдо, а на второе — только два. А салат, а вино? Ну, конечно, и салат, и вино. Пако можно вино? Вино Пако можно. Полицию не волнует, выпьет Пако или нет. Иначе бы все автомашины на всех дорогах Испании пришлось бы остановить. Лучше поголовное пьянство, чем поголовная трезвость. А сытый голодного не разумеет. Приходили люди и садились за соседние столики. Громко говорили. Испанцы — народ громкоговорящий. И жестикулирующий. Все, что говорится, дублируется жестом. В каждом жесте — история Средиземноморья. Приходила и молодежь. Молодежь вела себя тише и сдержаннее, чем среднее и старшее поколения. Новое поколение в быту тихое, хотя и любит очень громкую музыку. Вон тот белокурый юноша — за соседним столом — тоже ведь испанец. Чистый испанец. Впрочем, что такое чистый испанец, никто не знает. И чистый русский голубоглазый блондин — тоже не совсем чистый, а скорее — скандинав, викинг. И здесь норманны оставили свое семя, свою кровь. Мы одной крови: ты, испанец, и я, русский, и она у нас варяжская. Голубоглазый юноша был похож на моего отца в юности. Не сын ли это еще одного моего сводного брата, от первой любви моего отца? Игнасио, у тебя не двоится? Тс-тс-тс... Давай не будем. А если будем, то давай. Тебе нравится Кармен? Нравится. И ты, Пако, мне очень нравишься. Очень. Очи черные...

Потом я почему-то ждал их на площади, забитой машинами всех мастей. На одной из машин, самой большой и роскошной, к лобовому стеклу изнутри была прилеплена свастика. Ничего. Ничего-го. Как-нибудь переживем. А так все хорошо. Просто отлично. Эй, Пако, Джулия, Кармен! Вон я! Рулите сюда!

В Касерес мы добрались на бровях.

¹¹ Chico – парень (исп.)

В Касересе еще был день, но дело шло к сумеркам, и надо было поторопиться. Пако сказал, что с отелем проблем не будет. Поэтому он не стал заказывать из Мадрида. Еще не было такого, чтобы они с Юлией не нашли в Испании номера. Мы оставили машину на обширной площади и, косясь на средневековые башни и ворота вокруг нее, двинулись к ближайшей гостинице. В ближайшей, показавшейся нам более чем скромной, даже нищей, отдельных номеров тем не менее уже не было. Был, впрочем, один — на две комнаты и четыре койки, совсем недорого, но разве в деньгах дело, — дело в элементарном комфорте, хотя бы и на одну ночь. Юлия было согласилась, да и Кармен не возражала, однако Пако упрямо покачал головой. Это был не тот товар, да и вообще не лицом, а я все-таки почетный гость из Ленинграда, да еще брат Виктора, которого Пако любит. Пако повел нас дальше, из старого Касереса в Касерес относительно новый, и там действительно оказались хорошие отели, один лучше другого, но вот незадача — нет свободных номеров, весь год, сеньоры и сеньорки, были номера, а сегодня, на Todos los Santos, словно наваждение какое. Никогда в Касерес не было такого наплыва. Да, да, что-то невероятное, increíble! Я вам очень сочувствую, господа, но помочь ничем не могу. Попробуйте в старом квартале. Были? Метрдотель только шумно выдохнул сквозь сжатые губы и возвел очи горе. Его сочувствие было праздничным — город шел в гору. Ну что ты дергаешься, Пако? Пошли назад, а то и того не будет. А навстречу нам уже топала еще одна семейная команда. Что, ничего нет? Ничего нет. А там есть? Там тоже нет. А там, куда вы идете, есть? Есть, сказала простодушная Юлия. Но Пако поспешно поправил ее — есть один номер, но мы его уже зарезервировали. Мы просто искали что-нибудь получше. Мы раскланялись с улыбками взаимного недоверия и ринулись назад. Я оглянулся. За нами никто не гнался, ну разве что по соседней улице.

— Если там уже заняли, придется ночевать в Пласенсии, — поспешал Пако, вытирая лицо носовым платком. Последний хмель улетучился, и нас объединяла новая страсть — поиск ночлега.

Город тихо опускался в сумерки, и только маковки старинных каменных башен были освещены закатным светом. Народу прибавилось, площадь загрохотали автомобили, из всех кофеен, баров, ресторанчиков неслась музыка и громкие голоса. По узким улочкам шастала молодежь, тинейджеры. — Если тот номер заняли, сразу уезжаем в Пласенсию, — повторил Пако. — А то и там ничего не будет.

Но смежный номер на четыре койки всего за три тысячи песет был свободен. Охотников на него не нашлось. Какое везение! Еще час назад казалось, что хуже трудно найти. А теперь ведь просто очень повезло, ну просто очень! Подумаешь, всего на одну ночь. Все почему-то вспомнили, что были студентами. Пако с Юлией вспомнили свою общагу и еще палаточный туризм. Игнасио тоже спал в палатке? Еще бы Игнасио не спал в палатке! Игнасио провел в палатке свои лучшие годы.

Мы поднялись на третий этаж по шаткой скрипучей деревянной лестнице и огромным ключом открыли дощатую дверь, выкрашенную в до боли знакомый зеленый военный цвет. Сам номер был двери под стать. Все скрипело и шаталось. Туберкулезный шкаф, чахоточные тумбочки, дистрофичные кровати. Впрочем, только две дистрофичные, в смежной комнате, по разные ее стены, а в первой — вполне полновесные супружеские койки бок о бок. Туалет и ванная в коридоре, общего пользования, ну да какая разница. Не медовый же месяц и не детей же здесь рожать. Всего одна ночь. Пошли, пошли, давай, давай, бегом, бегом, а то без ужина останемся. Похоже, тут сегодня все как у русских. Ты что, Пако, проголодался? А ты нет? Мы же недавно обедали. Разве это обед?! Сейчас мы устроим настоящий обед. Только надо немного поторопиться. Ух, женщины, женщины. Все-то им хочется приукраситься да принарядиться. Что ж в этом такого? Женщина должна нравиться. Если женщина не нравится, она не женщина. Пойдем, Игнаша, дамы нас догонят.

В городе совсем стемнело, близлежащие улицы загрохотало юное население. Толпа была такой густой, что приходилось вежливо продираться, но было заметно, что юноши держатся юношей, а девушки — девушек. Объединялись они в барах и дискотеках, откуда ревели музыка. "Почему вся молодежь здесь?" — спросил я. "Потому что здесь дешевле всего", — пояснил Пако. Мы пойдем в другое место, сказал он. Еще он посоветовал не забывать о своих карманах. "Я помню", — сказал я. "У меня есть нюх на опасность, — сказал Пако, — он меня еще ни разу не подводил".

— Игнасио! — бодрым, но несколько неестественным голосом позвал он меня спустя минуту, когда я подзадержался в галерее у витрины магазина, пропустив его с дамами вперед.

— Что?

— Ничего особенного. Держись рядом с нами, вот и все.

— Кто-нибудь собирался меня убить?

— Нет. Но какие-то два типа явно тобой заинтересовались.

— Что, так теперь и оглядываться?

— Не надо оглядываться. Как раз если ты не будешь оглядываться, никто не положит на тебя глаз.

— Кому я нужен?

— Ну, иностранец, турист легкая добыча. Я отвечаю перед Виктором за твою сохранность. А то украдут — выкупай потом за десять миллионов.

— Так дорого?

— Ну за пять... зачем ему головная боль?

— Интересно, во сколько бы я тебе обошлась? — сказала Юлия.

— Это еще вопрос, стал бы я тебя выкупать... — сказал Пако. Как влюбленный супруг, он мог себе позволить такую шутку.

Ресторанчик Пако выбрал достойный. Достойный семейный ресторанчик, где ужинали, то бишь обедали, люди с достатком. Музыки здесь не было. Сюда приходили, чтобы хорошо поесть. Здесь была музыка еды. Были и дети, с детства приученные к вкусной и здоровой пище. Мы выступили по рыбным блюдам. Каждый выбрал себе свою рыбину. По ходу трапезы мы перепробовали и блюда друг друга. В Испании это принято. Общительные испанцы извлекают и из еды добавочные порции общения. К тому же, когда твоему блюду отдают дань восторга, у тебя прибавляется аппетит. Ресторан назывался "Figon de Eustaquio"¹²; я даже взял на память красивую, с тиснением, салфетку, сказав сидящей слева от меня Кармен, что буду вспоминать этот ужин-обед, когда мы преломили с ней хлеб, и по ее взгляду я решил, что, пожалуй, слишком тороплюсь с воспоминаниями. Впрочем, это был всего лишь приветливый взгляд, свойственный умным женщинам. Пили мы немного, ну разве что чуть-чуть, под рыбу. Все вспомнили про печень, а Пако — про почки. Завтра предстоял большой день большого туризма, и не следовало перегружаться. Можно было и загодя его начать, так что прямо из ресторана мы вернулись к площади генерала Мола, где стояла наша машина, поднялись по ступенькам и под старинной каменной аркой вошли в средневековый Касерес, воинственный и гордый город, откуда вышло много знаменитых головорезов. Здесь было тихо и каменно: стены, башни, церкви, бронзовый конкистадор в нише, узкие мощеные улочки, брусчатка площадок, ступеньки вверх, вниз, поворот, поворот — средневековый лабиринт, пойдешь туда, не знаешь куда, принеси то, не знаю что. Пако с Юлией заблудились и потерялись; или это мы с Кармен потерялись и хотели поблуждать? Было тихо и прохладно, но не холодно, и небо снова укрылось облаками — ни звезды, ни луны, да и так все видно, рядом за средневековыми стенами гуляет Касерес, а тут никого, только мы с Кармен. Возле высокого нарядного фасада церкви Санта-Мария мы поднимаемся на что-то вроде смотровой площадки. Наши роли вроде определились: я приятель Кармен, а Кармен — моя приятельница. То есть люди приятные друг другу. Мы говорим, говорим, что там говорим — болтаем, и мне самому удивительно, откуда берутся английские слова. Я думаю, что они все-таки английские, раз Кармен меня понимает.

— Расскажи мне про Ленинград, то бишь Петербург, — просит она, — какой он?

¹² "Figon de Eustaquio" – «Приют у Эустакио» (исп.)

— Он красивый, — говорю я. — Лучше его только Париж, но он величественнее Парижа.

— Что значит величие? — спрашивает Кармен.

— Не знаю. Это все равно что стоять перед морем. Но в Петербурге нельзя жить, им можно только любоваться.

— Почему?

— Он придуман. Он вывезен по кускам из Европы и поставлен на нашем болоте. Петербург — это наша российская тоска по Европе, это город-фантом. Чтобы город стал городом, он должен сам родиться, маленьким и невзрачным, а потом вырасти. А Петербург, скорее даже Санкт-Петербург, сразу стал взрослым. У него не было детства. Люди без детства — суровые люди, а иногда даже жестокие и страшные. Таков и Петербург. В нем одиноко. Поэтому в нем долго никто не хотел жить и туда сгоняли силой. Достоевский называл его сном. Но и молодым, сильным Санкт-Петербург никогда не был — он сразу стал болеть, гнить, рассыпаться. Он прекрасен, но у него старые больные кости. С нами вечно так — мы способны перенять у Запада только внешнее. Вот и штукатурим из года в год тот же самый гнилой кирпич. Этот больной город породил великую литературу, которая тоже больна. У нее больная совесть. Вообще все здоровое европейское на русской почве почему-то начинает болеть. А собственного здоровья у нас или нет, или его упорно не замечают, потому что мы живем с вечной оглядкой на Запад. Петербург — это окаменевшая оглядка на вас.

— Твой отец из Касереса?

— Вроде так. Может, его крестили вот в этой церкви.

— Это можно проверить.

— Виктор проверял, но ничего не нашел.

Пако и Юлия сидели на ступеньках под каменной аркой и смотрели на ночную площадь. Судя по тому, как Пако нетерпеливо приподнялся, они ждали нас. Мы вышли на улицу генерала Эспонды, еще недавно забитую до отказа. Теперь же толпа распалась на группки, и в ней прочитывалась усталость. Пик веселья миновал. Пора, ребята, спать. На асфальте у поворота к нашей гостинице лежал юнец. Ему было плохо. Рядом в ленивом раздумье стояли два его приятеля.

Пако открыл нашу дверь нашим большим ключом.

— Ну что, мальчики отдельно, девочки отдельно? — сфальшивил я.

— Дудки! — сказал чудесный Пако. — У меня есть законная жена. А вы там разбирайтесь.

Душ я принял последним. Пако и Юлия уже легли. Пако лежал на боку, закрыв глаза, а Юлия читала. Увидев меня, она отложила журнал, погасила свет и, пожелав спокойной ночи, тоже повернулась на бок. А в нашей комнатухе, с деревенской занавеской на дверном проеме, свет еще горел. Кармен в ночной сорочке сидела на кровати и вытягивала ленту из волос. У нее были красивые полные руки. Освобожденные волосы, закрученные как пружинки, широко распались по красивым полным плечам.

— Раздевайся, я не смотрю, — сказала Кармен и, въехав в конверт одеяла с простыней — испанцы всегда спят в конвертах, — уткнулась носом в книгу.

— Пожалуй, я тоже почитаю, — сказал я, залезая в ледяное нутро постели. Я раскрыл книгу и минут пять тараторил на буквы.

— Я сплю, — сказала Кармен, — спокойной ночи.

— Тогда я тоже, — сказал я. Наши взгляды встретились и разошлись — Кармен повернулась к стенке и прикрыла краем одеяла обтянутое тонкой сорочкой плечо. Взгляд ее был спокойный, разве что чуть вопрошающий. "Чего тебе надо, chico?" Я привстал и выключил свет. Кровать заскрипела, как старая ведьма. Со стороны Кармен было тихо. Я лежал минут десять и, бесшумно выдрав наверх одеяло, опустил на пол левую ногу. Пол был каменный, ледяной. Я скрипнул, как бы поворачиваясь с боку на бок, и встал на обе ноги. Было совсем темно. До кровати Кармен было шагов семь-восемь. Кармен лежала лицом к стене. Я протянул руку и тронул ее за плечо.

— Это я, — шепотом сказал я.

Она живо повернулась на спину. Ее глаза были темней темноты.

— Я хочу быть с тобой, — прошептал я.

— Давай, — прошептала она. — Забирайся. — Я услышал ее улыбку.

— Только у меня ноги холодные...

— Ничего.

Я влез в ее теплый конверт.

— Здесь лучше, чем у меня, — прошептал я.

— Устраивайся, — прошептала она, подвигаясь, как если бы я заскочил погреться. Она была в сорочке.

— Сними ее, — сказал я, — в ней жарко.

— Пожалуй, ты прав, — сказала она.

Она была большой, теплой и доброй, и тело ее было таким же приветливым, как ее взгляд. Как будто мы уже сто лет были с ней любовниками.

— Первый раз в жизни говорю по-английски в постели...

— О, а я — много-много раз. В Англии у меня много друзей.

Ее постель тоже поскрипывала, хотя не так кошмарно, как моя, и мне казалось, что Юлия не спит, пытаясь понять природу скрипа. Но в коридоре тоже кто-то не спал, топал в ванную с туалетом, включал душ, спускал воду, сморкался и кашлял — наш неведомый добрый гений. А мне снова хотелось слышать сдерживаемый, на бархатных низах, стон Кармен. Чтобы Юлия выпалась, мы продолжили на полу, подстелив одеяло.

— Я думала, ты из робких.

— Разве нет?

Кармен, Испания... С тобой ли это, друг Игнасио?

Утром Касерес был тихий, сонный, солнечный. Мы позавтракали в одной из его полупустых кафешек и снова двинулись в старый город. Камни, камни, камни, золотящиеся на солнце, нагретые ноябрьским теплом, голубые небеса, остроугольники башен, теплое плечо Кармен. С вами все понятно, сказал мне взгляд Пако, но это ваше дело, ребята, а Юлия, похоже, была возбуждена — женщины впечатлительней. "Рено" ждал нас, весь в ночной росе, как в жемчуге, дорога была легкой, а впереди, как остров в океане, синел своей средневековой крепостью Трухильо, колыбель конкистадоров.

— Интересно, почему ваш отец не вернулся в Касерес? — обернулся Пако в мою сторону. — Он же вроде в Сарагосе похоронен... там, где у Терезы родня...

— Я бы тоже не вернулся, — сказал я. — От одних только названий его должно было тошнить. Генералиссимус Франко, главарь фаланги Примо де Ривера, тот же Мола... одни фашистские имена. Двенадцать лет после Франко... У власти социалисты...

— Свобода слова, старичок, слова и мнений. Хочешь — восхищайся Франко. Хочешь — ненавидь. Есть правые города, есть левые. Касерес, Толедо, Сеговия — правые. Мадрид, Барселона — левые... Так тебе не понравился Касерес?

— Нормальный городишко. Но я бы в него не вернулся.

— Игнасио, ты забит идеологией. Расслабься. Двенадцать лет после Франко — это не срок, даже для западной демократии. Есть разные точки зрения на нашу историю. Мне лично и Мола и Франко ненавистны. Но это мое личное дело. По этому поводу я не буду устраивать демонстрацию.

— А фашисты устраивают! — неожиданно поддержала меня Юлия. — Каждый год, в день рождения Франко, перед его памятником. Ты, Игнат, видел памятник Франко в Мадриде? Пожалуйста! Мы однажды застряли на машине в этой толпе, и нам приклеили свастику. Тогда ты, дорогой муженек, говорил совсем другое...

— Что говорил? Я и сейчас то же самое говорю. Но я не плюну в лицо человеку, если он фашист. Между прочим, Франко был умным человеком. Он ведь не стал воевать на стороне Гитлера — "Голубая дивизия" не в счет, это добровольцы. Он создал в Испании средний класс и вывел нас из нищеты, и наконец он, еще в полной политической изоляции Испании, начал прокладывать современные дороги. А это туризм, который кормит страну...

Я обернулся к Кармен. Она прилежно слушала, ничего не понимая.

— Все, ребята, дама скучает. Перехожу на английский, — сказал я.

Кармен сделала жалобную гримасу:

— Я думала, что буду хоть немножко понимать. Я уже взяла несколько уроков. Но вы говорите слишком быстро.

— А где ты занимаешься?

— Ко мне приходит один ваш парень. Кстати, он из Ленинграда. Он говорит, что работал в театре. Он приехал сюда с делегацией и остался. Мне не нравится, как он преподает. Он дает мне грамматику, а мне нужны фразы, слова, разговорная речь...

— А чем он вообще занимается в Испании?

— Ничем. Он говорит, что приехал наслаждаться свободой.

— На что он живет?

— Дает уроки русского языка. Сейчас многие заинтересовались русским, а учителей мало.

— И сколько ты ему платишь?

— Для меня — это деньги.

— Бросай его. Я приеду в Барселону и научу тебя русскому бесплатно.

Пако ударил ладонями по рулю и захохотал.

Трухильо был очень похож на Касерес. Это был его родной брат. На Пласа-Майор сидел на коне бронзовый тезка нашего Пако, личность абсолютно темная, но, надо же, прославившаяся в веках. Историческое зло представляло исторической добродетелью. Об этом я читал в одной из мудрых индийских книг. Конечно, история лжет. "Ложь — это хворост для костра подвига". Это только в настоящем неудобно жить по лжи, а прошлое именно она освещает своим разноцветным пламенем. Если бы не ложь, человечество лишилось бы своих самых любимых сказок.

Дорогой Игнаша! В нашей жизни много интересного — политика подступила, можно сказать, к самому порогу. Так в один прекрасный день, как раз в сиесту, когда Виктор приехал с работы на обед, кто-то позвонил нам по телефону, уточнил, мы ли это, и вежливо сообщил, что через пять минут наш дом взлетит на воздух. Я успела только рот раскрыть для вопроса, как трубку уже повесили. Можешь себе представить наше состояние. Пять минут — много это или мало? Оказалось, что много, так как я успела обежать все четыре этажа в двух подъездах нашего кооперативного дома и позвонить во все двадцать четыре квартиры: "Выходите! В доме бомба! Предупредили по телефону!"

Наташа спала, и Виктор с ней, спящей на руках, спустился вниз. В считанные минуты дом опустел — все его жильцы, кто в чем, но большинство в домашних халатах — сиеста! — собрались на другой стороне улицы. Почти у всех дети... Забавное было зрелище, особенно для проезжавших в машинах, — что за табор, откуда, почему? И вот что интересно: люди не взяли с собой ничего, никакого барахла, никаких вещей. Только одна вышла со шкатулкой, там, видимо, были ее драгоценности. И конечно, все смотрели на нас с Виктором как на абсолютных виновников. Мы из Союза, красные — именно поэтому нам и позвонили... Это было молчание абсолютного осуждения.

Приехала полиция, я, естественно, пошла объясняться, кто же еще... И вот они спустились в гараж с миноискателем, а мы стоим, ждем. Пять минут прошло. И шесть. И десять. А взрыва нет. Наконец полицейские вернулись и заявили, что ничего не нашли и что можно расходиться по квартирам. И еще сказали, что в случае такого звонка, надо не класть телефонную трубку, а бежать к соседу и звонить в полицию — только так они могут установить, откуда звонят. Я подхожу к нашим жильцам, объясняю все это, а на меня смотрят с таким выражением, что-де только вам, голубчикам, и позвонят. Нам звонить не станут...

И вот мы с Виктором, с Наташей на руках, она так и не проснулась, первыми пошли обратно, как бы подавая пример остальным, и о том, что там сквозь зубы говорилось нам вслед или пусть только думалось, можно было легко догадаться: "Вот из-за этих коммунистических тварей и живи теперь как на вулкане. Неизвестно, что делают, чем занимаются, — наверняка, шпионы..."

Потом Виктор меня успокоил, сказал, что это скорее всего проделки кого-нибудь из наших соседей правого толка. Только соседушка, конечно, не ожидал, что мы проявим такую прыть: весь дом предупредим, в том числе, и его самого...

Возможно, так оно и было, но жить нам здесь теперь, сам понимаешь, не очень хочется... Видимо, продадим эту квартиру и переедем.

КАЖЕТСЯ, я улыбался. Я шел по улице и улыбался. Поражение было полным и окончательным, и мне ничего не оставалось, как смиренно принять его. Я чему-то радовался. Видно, тому, что все встало на свои места. Это очень важно, чтобы все было на своих местах. Только тогда и понимаешь, что такое жизнь и что ты сам в ней. Это как бы минуты прозрения — да, они горьки, но одновременно и радостны, ибо приоткрывают тайну бытия. Вот чему я радовался, но уже осторожно спрашивал себя: неужто так просто все кончилось, без боли, без муки? Чтобы не было больно, надо все понимать — вот ключ, которым открывается дверь в эту мистическую иррациональную землю — любовь. Понимай все и не заблудишься. Смело иди вперед, держа разум как факел перед собой, и можешь быть уверен — ты придешь к выходу. К

какому выходу? И зачем мне выход? Куда я ухожу? Разве я собираюсь жить без любви? А зачем она? Зачем эта жуткая рабская зависимость? Лучше уж жить спокойно, владеть собой. Любовь — это потеря контроля над собой и жизнью, это телячий восторг, это когда по бурной реке, через пороги и аж захватывает дух... Но плывешь-то не сам, тебя несет, сносит неведомо куда, а ты радуешься скорости, с которой тебя несет к собственной гибели. Любовь — это гибель в конце. Ах, как интересно все-таки жить! Ничего-то нельзя загадать наперед. Рассчитываешь на одно, а получаешь другое. Все потеряно, все кончено, но это только-то и значит, что все начинается сначала. Погибнуть — это начать сначала. Что-то теперь впереди? Целых полгода я жил будущим, которое сложилось из наших с Улиткой отношений. Оно меня радовало, оно внушало уверенность в сегодняшнем — и вот его нет. Но так ли уж это плохо? На месте будущего было белое пятно, загроможденный белый холст. Что-то я на нем начну... Все-таки удивительно — никакой боли, даже радость... Видимо, в душе я холостяк. И в критические минуты все же предпочту свободу одиночества. Я странник. Я должен быть один. Сама жизнь устраивает так, чтобы я этого не забывал. "Не надо иллюзий! — пропел я сам себе. — Никаких иллюзий, мой мальчик!" Да здравствует свобода! Нет, все-таки есть в этом что-то, когда тебя бросают! Когда ты сам бросаешь. Как это нынче в газетах говорят — "судьбоносный момент". У тебя, мой дорогой, судьбоносный момент. Твоя судьба твоих руках. Больше ее некому нести. Неси один, сам, без посторонней помощи. Как это глупо, даже бездарно, — рассчитывать в жизни на кого-то, кроме себя самого. Если ты не можешь построить свою жизнь, свое счастье, ну, не счастье, но свою гармонию, свое спокойствие один, без посторонней помощи, значит, с тобой не все в порядке. Хорошо об этом у Сенеки: "Ты спросишь: чего я достиг? Стал самому себе другом". Вот единственно верный путь. А я все ищу друзей на стороне.

В общем, это был бред сивой кобылы, шок. А потом пришла боль. И когда она пришла, я взвился как ужаленный. И все полетело к черту. Увы, разум вторичен. Не разумом мы живем. Сначала было чувство. И вот оно что — я знал, что стоит мне позвонить Улитке, как боль исчезнет. И на следующий день я позвонил.

— Приезжай, — сказала она.

И я приехал. Я был у нее дома, я сидел на ее диване, пил ее чай и смотрел на развешанные вокруг ее картины, и больше мне не надо было ничего. Но так много слов сказано было вчера, и так они мешали, путались под ногами, что я должен был найти теперь какие-то другие слова, которые объяснили бы ей, но прежде мне самому, почему я здесь, несмотря ни на что... И я их нашел. Наверно, я не прав, сказал я. Наверно, я что-то еще не понял. Я не могу уйти, не поняв, — все-таки я поэт, не просто человек, я живу две жизни и из одной, жизни поэта, смотрю на другую, жизнь простого человека. И мне, поэту, этот человек непонятен, не совсем понятен. Оказывается, я не знаю, что такое любовь, хотя думал, что знаю все. Когда-то мне жена сказала, что нет в любви ничего сильнее, чем унижение любви. Теперь я ее понимаю. О, это огромная страсть! А я любопытен, вернее — поэт во мне любопытен. Ему хочется знать, что будет дальше, ему хочется, чтобы я прошел по самому краю этой пропасти и заглянул в нее — я ведь еще не знаю, как там, на краю, пока я лишь скатился по снежному склону, отказавшись от борьбы. А теперь я вернулся, потому что хочу бороться. Я буду бороться за любовь и за Улитку. И вот еще что: я не могу бросить Улитку, потому что это означало бы предать ее талант. Я, взрослый, сильный, умудренный опытом человек, к тому же имеющий какие-то нужные связи, каких-то полезных знакомых, должен помочь Улитке стать большим художником. Я же обещал ей с организацией ее выставки. Как она будет без меня? Вот оно — мне даже не лично важно в наших отношениях, а то надличное, надэгоистическое, что зовется родством душ: мне дороги ее картины, ей — мои стихи. Наши музы дружат помимо нас самих, помимо дрызг нашей рутинной жизни. Так, сидя у Улитки, я понял, что я буду здесь всегда и нет силы, которая бы меня прогнала.

— Да, ты прав, — сказала Улитка. — Я тебя хорошо понимаю. — И что-то добавила в том смысле, что я должен бороться за нее, если я настоящий мужчина, что именно так, в моей борьбе за нее, она и сможет наконец сполна меня оценить.

— Если честно, — сказал я, — то я уверен, что ты будешь со мной. У нас есть будущее — я это чувствую. И никто нам не преграда. Откровенно говоря, я не чувствую Бадри своим соперником.

— Вот видишь! — похоже, даже обрадовалась Улитка, что я сам все решил, дошел своим умом до всего.

Я был счастлив. Я улыбался ей, она мне.

— Ну, а Бадри мы пожалеем? — сказала она, и я не стал задумываться над тем, что она имеет в виду. Моего превосходства над ним мне было достаточно, чтобы не обращать внимания на мелочи.

Однажды в театре, на балете, в антракте, сидя в красивом кресле рядом с красивой Улиткой и остро чувствуя ее близость после только что пережитого чуда человеческой пластики, я наклонился к ней и сказал:

— Я все понимаю. Ты ничья. Ты и должна оставаться ничьей. В этом твоя талантливость. Я не помешаю тебе.

— Какой ты мудрый, Игнат... — посмотрела на меня Улитка, и я, растроганный своим открытием, прочел в ее глазах восхищение. Прямо как в пьяном анекдоте: "Раньше я тебя уважал, а теперь я тобой восхищаюсь".

ВИКТОР привез своих поздно.

— Ну как, братан, трахнул Кармен?

— Фу, как не стыдно, Виктор, — сказала Арина.

— Но я думаю, что он ее трахнул. Так, Игнаша?

— Это что, так важно? — сказал я. Мне не хотелось, чтобы Арина знала об этом.

— Bravo! Молодец! Другого я и не ожидал. В ней что-то есть. Что-то такое... испанское... — И он прищелкнул пальцами.

— Может, и ты с ней спал? Признавайтесь уж оба, — сказала Арина.

— Я ж тебе, мамка, говорил, что испанок я знаю только теоретически. Ну что, старичок, горячая кобылка? Не упарился?

— Я обещал приехать к ней в Барселону. Ты как, не против?

— Старик, ты становишься западным человеком! Мы поедем вместе. Я возьму себе отпуск — и катанем на недельку в Каталонию. Если, конечно, нас Ариша отпустит...

— К ней не отпущу.

— Ну зачем к ней... В Каталонии столько каталонков...

Дети и Арина ушли спать, а мы сидели в сауне, потягивая пиво из банок.

— Как тебе Касерес?

— Так же, как и тебе...

— Понятно... — задумчиво кивнул брат. — Тебе еще надо съездить в el Valle de los Caidos¹³, хотя это и мерзопакостное место. Попрошу Аришу, чтобы свозила.

— А ты?

¹³ el Valle de los Caidos – Долина павших (исп.)

— Туда не поеду. А тебе полезно. Кстати, Эскориал по пути. Эскориал-то уж сам Бог велел посмотреть.

Закинув голову, он допил банку и бросил ее в угол под электропечку.

— Будь они прокляты!

— Ты о чем?

— Все о том же. Ты должен был скрывать, что отец в лагере, я — что он в Испании. Нас приучили стыдиться отца. Понимаешь — сты-дять-ся... Они хотели нас сломать. Я думал, зачем им это нужно. Зачем унижать, топтать каждую семью? Знаешь зачем? Затем, что семья для них — это объединение, связь, а значит, сговор. Они хотели создать человека, завязанного только на них. И знаешь, они бы еще долго продержались. Их погубило невежество, самовластное невежество. Не надо было им топтать интеллигенцию — уж она бы им послужила.

— Жаль, что отец не дожил до наших перемен. Он был бы утешен.

— Нет, Игнаша. Ему не было бы лучше. Скорей, даже хуже. Он вовремя умер. По крайней мере, у него оставались какие-то свои идеалы, в которые теперь никто не верит. Сейчас он бы ничего не понял.

"Гернику" я увидел только на третье посещение Прадо. Я специально откладывал ее, двигаясь из глубины времен в наши дни. Я пришел к ней после Гойи и "Менин" Веласкеса, а этого-то, наверно, и не следовало делать. "Менины" — жизнь врасплох, шевеленье за кулисами, запах масляных красок и грунтованного холста, на котором, с той, невидимой стороны, — портрет. Каков он? Аккомпанемент стал темой, а тема ушла в аккомпанемент. Идея о жизни — в тени самой жизни, но не исчезла — только приобрела свой подлинный масштаб. Художник пишет идею с сильной поправкой на жизнь, ибо одна голая идея — это кровожадный монстр, рассудок без души, убийца. Художник учит тайне сердечности. Для этого он и появляется на своем полотне. Художник вроде пишет королевскую чету, но ее отражение в зеркале на задней стене расплывчато и вполне может быть принято за наше собственное. Художник пишет нас. Его усталый взгляд несколько ироничен и, пожалуй, недоверчив, но рука с кистью упруга и готова продолжать. Не будем ему мешать, он — открывает реальность, в которой мы живем. Мы можем ее не узнать, но это не значит, что художник ошибся. Просто слабое зрение не дает нам разглядеть себя в зеркале на дальней стене. Но это не страшно — когда-нибудь мы приблизимся.

— Вот она, — сказала Арина, подведя меня к "Гернике", и ушла в другой зал, а я остался стоять, пялясь как баран на новые ворота. И не то чтобы во мне заговорило естественное для всякого пытающегося мыслить существа чувство протеста, когда подсовывают нечто абсолютное, не требующее доказательств. К "Гернике" я как-никак был готов. Но "Гернику" я не увидел. И вряд ли мне послужит оправданием то, что сам Пикассо невысоко ее ставил. Нет, мой век не может заблуждаться, говорил я себе, а век признал "Гернику" шедевром. Наверно, так оно и есть. Наверно, когда я пробью лбом еще несколько потолков, я до нее дорасту.

Арина была мною недовольна. Арина перед "Герникой" всегда испытывала потрясение. Как же так, Игнасио? Не знаю, виноват. Простите великодушно. Я, конечно, понимал, чем могла потрясти "Герника" самосознание двадцатого века. Образами тотального насилия, тотального надругательства над человеком, его семьей, его жильем. Говорят, если убрать название, картина станет метафизикой. Нет — насилие и страдание налицо. Но молчит моя расплюснутая душа, скользя по плоскости картины. Не зацепиться, не внять. Я очень виноват.

Некоторое время мы ехали назад молча. Наконец, простив мне мою серость, Арина заговорила:

— Так ты действительно собрался в Барселону?

— Вроде и Виктор...

— Утром он мне сказал, что не поедет.

— Ну трепло!

— У него что-то экстренное.

— Экстренное всегда найдется.

— Не обижайся. Мне и так больно на него смотреть. Замучился мальчишка. Одна работа...

— Ему нравится.

— И нравится, и не нравится — все вместе. Что работа? Мы бы прожили и без нее. Поскромнее, но прожили бы. Так его же мучает, что станет с его командой. В этом месяце ему даже нечем им платить. Задержалось подписание двух контрактов, и сразу сбой. Это же политика. Один министр ляпнул что-то другому министру — и кто-то обанкротился...

— У вас нет денег?

— Не волнуйся. Заплатит им из своего кармана. Деньги будут. У Виктора всегда есть запасной вариант.

— Тогда я никуда не поеду.

— Ну конечно. Двадцать тысяч песет, Игнаша, это не деньги. Речь идет о миллионах. Тебе что, нравится Кармен? Я понимаю, она здесь, конечно, женщина исключительная, но ты у нас... такой эстет.

— Годы, Ариша. Годы делают и более разборчивым, и менее. Лет десять назад я бы ее не разглядел. Видимо, уже дорос.

— Браво, старичок. Мне это в тебе нравится. И все-таки ты должен знать, что Кармен, при всем своем интеллектуальном обаянии, очень страдает от своей внешности. Сколько раз она плакалась Юлии: "На меня ни один порядочный мужик не посмотрит. Только негры и арабы..."

Я взглянул на Арину. Она как ни в чем не бывало рулила, глядя вперед. Удар попал в цель. Я был уязвлен. Только зачем ей это нужно? Ревновать меня к Кармен? О женщины, женщины, как вы невеликодушны...

— Заедем в Растро, — сказала Арина. — Есть тут такой район, вроде барахолки. Мне надо кое-что посмотреть. Заодно одежду посмотрим. А то осень на дворе, а у тебя даже свитера нет. Как в Барселону поедешь?

— Никуда я не поеду.

— Обиделся. Какой ты, в сущности, еще мальчишка! Как Виктор... Я все это говорила для того, чтобы ты подумал, как себя вести с Кармен. Это приключение? Прекрасно. Пусть это и будет красивым приключением. А то я вижу, ты уже готов на колени упасть. Не морочь ей голову, вот о чем я тебя прошу. Пощади ее. Помнишь: "Переспать — это еще не повод для знакомства"?

Устав от музейных чудес, я уже равнодушно ходил за Ариной по уникальным антикварным развалам, каким в остальной Европе, по уверениям Арины, не было равных. Это понятно. Франкизм законсервировал Испанию, а долгая экономическая изоляция предоохранила старину от разбазаривания. Каждый магазин был как музей, начиная со средних веков, а кое-где и с античности... Арина искала деревянный сундучок века шестнадцатого, он почему-то ей понадобился для предбанника, а я ходил и вспоминал Улитку — это был ее воздух. Вазы, люстры, кресла, буфеты — "они ведь теплые, в них прошлая жизнь"...

Сундучок, в отличие от свитера, мы так и не купили. К тому же проскочили поворот на Виа-де-Кастельяно и вынуждены были катить дальше, к черту на рога, чтобы развернуться.

— Ой! — сказала Арина, будто укололась булавкой. Это, выехав из-под темной арки железнодорожного моста, мы оказались среди трущоб. Новостройка начиналась неподалеку, за холмом, а здесь, в полудомах-полусараях, обитала беднота.

— Остановись, я сниму, — сказал я, доставая фотоаппарат.

— Здесь опасно останавливаться.

— Хотя бы притормози на секунду...

Я высунул фотоаппарат в окошко и прицелился в видоискатель. Возле обгорелой развалюхи на нас сердито обернулась молодая полная женщина в черном. Рядом с ней была детская коляска. Я щелкнул затвором, и она, подхватив юбку выше колен, крикнула:

— Тебе ж... показать, сын сучьей матери?!

Арина нажала на газ, и мы обратились в бегство.

— Вот видишь, — укоризненно сказала Арина, когда мы снова проскочили темную арку моста.

— А что ее так рассердило?

— Унижение. А, может, ты из полиции, агент... Тут ведь живут без всяких прав. В любой момент их могут выгнать...

Мы затормозили на перекрестке, постояли под красный свет, вспыхнул зеленый, машины рванули, как на стометровку, обходя нас, а Арина рассказывала:

— По поводу бедняков я вообще с ума сходила. Мы еще жили на Эмилио Рубин, и я гуляла на пустыре с Пегги. Это значит, три года назад, Пегги еще щенком была. Ну я и подружилась на пустыре с одним цыганенком. Он выгуливал на веревке какую-то дворнягу. Он там и жил, на дальнем конце пустыря. Там был старый заброшенный особняк. Второй и третий этаж заколочены досками, а в нижнем поселилась его семья — труба из окна торчала и дым шел, значит, что-то варили... Этот цыганенок такой гордый был. В Испании ведь мало кто просит милостыню, из гордости. Это сейчас что-то не то... И вот мы гуляем вместе по пустырю. Цыганенок мне: "У тебя какая порода? А у меня мастин. Мой мастин сильнее твоей бельгийской овчарки. Только он еще щенок..." Господи, а там у него такое на кривых ножках ... И одет цыганенок бог знает во что. Из тапка все пять пальцев торчат, знаешь, уже цвета земли, но тапки не простые, а какой-нибудь там подобранный на помойке "Адидас", а на куртке "Найк"... И вот они там жили без всяких прав, с отключенной водой, без электричества. Отца его я несколько раз встречала в супермаркете. Он покупал обрезки мяса. Тут это для собак продают. Ну и цыганенок, конечно, считал, что у них свой особняк. Про школу что-то рассказывал, как учится, каким спортом увлекается, — сочинял, конечно. Какая там учеба... Ну а я слушаю, киваю, стараюсь не смотреть на пальцы из тапка. А на Новый год мы собирались в горы на лыжный курорт. И вот я накупила целый ящик всяких яств — шампанское, ананасы, шоколад, много всякого, и еще кроссовки с шерстяными носками. Виктор поставил машину неподалеку от этого "особняка", и я с ящиком, на цыпочках, подкралась к двери... из трубы как раз дым шел, и там, на пороге, и оставила. И мы удрали.

А потом эта семья исчезла. Об этом особняке пронюхали еще какие-то цыгане и заняли второй и третий этаж. Они были агрессивные, из Андалузии... Не знаю, что стало потом с тем цыганенком.

Будто специально для нас вечером мадридское телевидение устроило двухчасовую передачу о положении цыган в Испании. Прямой репортаж велся из трущоб, а когда совсем стемнело, возле камер зажгли огни и в их свете цыгане рассказывали телерепортерам о своей жизни — без работы, без надежды на работу, без каких бы то ни было социальных гарантий, без жилья. Трущобы жались к новостройкам, где жили испанцы небольшого, но все же достатка, по преимуществу рабочие. У рабочих тоже установили телекамеру — рабочие цыган не выносили. Между теми и другими шла война. Какой-то цивилизованный цыганский лидер, чуть ли не полномочный

представитель цыганской этнической группы в парламенте, беседовал с известным журналистом. Проблема цыган выглядела мрачно. Полмиллиона отверженных.

Вот уже почти две недели — нет, три, Господи, как бежит время! — не знаю ни отдыха, ни выдоха. Снимаю короткометражный фильм о том, как умирал сапожник, между бредом и реальностью, между грудой обуви и толпой, рвущейся в его мастерскую. По жанру — черная комедия. Заканчивается фильм могильным холмом, но не из цветов, а из ботинок. Обувь тоже будет играть свою большую роль, снятая как бы одушевленной, кру-у-упным планом — с глядящими дырками для шнурков, с разъявленной пастью оторвавшейся подошвы. Будет диалог сапожника с обувью, без слов, в ритуале общения с ней...

Только сегодня закончила монтаж фильма и только сегодня могу сказать, что фильм получился! Я поняла четко, что я — режиссер. Мое крещение — в работе с нелегким актером, таким, как Харрис, который после съемки сказал мне, что ни разу ни с кем не работал с таким наслаждением и сознанием своей высокой миссии актера. Он мне сказал, что я знаю, чего хочу от актера, и умею добиться этого честными методами, не играя в прятки, и доверием своим мобилизую тот максимум, который мне могут дать. Представь — кроме актеров, у меня было двадцать человек групповки, и я режиссировала всех вместе и каждого отдельно. Настоящее боевое крещение!

Скажешь — нахвасталась... Но сегодня я летаю. У меня получился хороший фильм! И я не боюсь актеров! И я умею работать с ними!

Мы приехали в Эскориал в понедельник, когда монастырь, то есть музей, был закрыт. Монастырь походил одновременно и на дворец, и на крепость — видом скорее строг, чем суров, как бы в рыцарских латах. Заостренные, как пики, вертикали собора и башен снимали ощущение монотонной долготы стен. Ослепительно голубело осеннее небо, аккуратный городок, прилепившийся к подножию огромной, покрытой лесом горы, был тих и респектабельно-уютен, а также благочестив, будто стал частью монастыря, хотя и возник гораздо раньше его. Доведись мне переехать в Испанию, я бы, пожалуй, здесь прижился. Словно угадав мои мысли, Арина сказала:

— Между прочим, это любимое место мадридских интеллектуалов. Особенно писателей. Здесь в монастыре прекрасная библиотека...

Вот, вот... В одно из моих окон глядели бы купола собора, а в другом возносилась бы на километровую высоту освещенная солнцем гора, покрытая лесами... Спустившись поближе к монастырю, я пил бы утренний кофе на одной из прилегающих улочек, а из окон консерватории, что напротив, раздавались бы звуки рояля... Затем, спустившись еще ниже по каменной лестнице, под арку, прямо к тому крылу монастыря, где колледж, я бы сидел на скамейку и глядел на школьников, высыпавших во время перемены на широкую каменную площадь. Я вот думаю: если каждый день, с детства видеть все это, то небось вырастешь каким-то особенным человеком, с тончайшим чувством прекрасного, горделивым, свободным, мыслящим...

Мы вернулись к машине и покатали вокруг горы к Долине павших. О ней мне писать не хочется, это одно из темных моих воспоминаний об Испании. Но я понимаю — сражайся мой отец на стороне фалангистов, и я бы там проливал слезы. Там была ИХ память. У выезда на шоссе в Долину дежурил в будке пожилой контролер в полувоенной форме — охранная зона той памяти начиналась здесь. Лицо у него было хмурое. Мне вдруг показалось, что у всего старшего поколения испанцев хмурые лица. Я стал вспоминать лица всех, кого здесь знал, и решил, что и молодые — хмурые. И даже в веселье глаза их обьяты тенью. Это потому, что они все помнят, подумал я. "Испанцы не любят вспоминать прошлое"... Прекрасная асфальтовая дорога вилась среди пологих зеленых гор Гвадаррамы, поросших сосной, и запах свежей хвои летел в окно вместе с ветром. Голубело небо, и легкие, ослепительно белые облачка тихо пересекали его. Крест я заметил издали и сначала не понял, что это. Мне показалось, что крест принадлежит валуну, мимо которого мы проезжали, метровый могильный крест на трехметровом валуне, но тут же

крест стал принадлежать близлежащей возвышенности, а потом другой — он был далеко, и он был огромен. Мы неслись в ту сторону, и крест, вырастая, появлялся тут и там, словно примерял на себя местность. А когда мы подъехали к мемориалу, он встал в полнеба.

На площади у подножия мемориала было оживленно. Поодаль работала подъемка, вознося на скалу к основанию креста, тут же был ресторан, стояли туристские автобусы и легковые машины. Дежуривший у въезда отставной вояка вежливо поднял нам навстречу ладонь, прося подождать, пока припаркуются перед нами, затем двумя кистями стал зазывать к себе и показал свободное место. Мы обошли бы и без него, теперь же его холуйское старание должно было быть вознаграждено.

— Пошли его к черту, — сказал я Арине.

— Неудобно, Игнаша, — пробормотала она, выходя из машины и протягивая монету.

Пожилой вояка отшаркнулся и коротко, но пристально глянул в мою сторону. Видимо, я не так на него посмотрел. Дерьмо, подумал я, проходя мимо. Здесь была ИХ территория. Я отошел в сторону, чтобы высокие темные ели не загораживали крест, и снял его во всей его красе. Сто двадцать пять метров в высоту, сорок шесть в ширину. По бокам на цоколе — статуи четырех евангелистов и прочая символика святости. Каменный крест, запрокидываясь, плыл среди облаков. Мы поднялись к базилике. Над входом на гранитном фасаде скульптор установил Пьету. Базилика была внушительной — целый собор в скале. У алтаря под вмурованными в пол плитами покоились останки Примо де Риверы и Франко. Когда хоронили Франко, траурная процессия растянулась от Мадрида до самого мавзолея — на пятьдесят километров. Мы обошли плиты и двинулись к выходу. Мавзолей бы похож на московское сталинское метро, только покруче. Где-то тут в склепах были замурованы останки сорока тысяч убитых, причем и со стороны тех и других — в знак национального примирения. Интересно, по какому принципу их отбирали. Что ж, мертвые сраму не имут. Этот храм-бункер еще при жизни Франко строили заключенные-республиканцы. Над входом дева Мария оплакивала Иисуса Христа. А кто их оплачет?

ТУТ и приехал ее отец. Приезд был связан с поиском для него невесты в Ленинграде, и просьба Улитки помочь ей в этом сильно, на мой взгляд, укрепляла мои позиции. После смерти бабушки семья Улитки мгновенно распалась, и сдерживаемые до того страсти выплеснулись наружу. Мать Улитки решительно переложила руль своей жизни и оставила мужа за бортом — тут же выгнав его из квартиры, где поселился ее душевный друг. И отец Улитки как человек мягкий и покладистый пошел жить в бабушкином доме, который по завещанию принадлежал Улитке. Алексей, так его звали, зарабатывал прилично, не пил, не гулял на стороне и для него было открытием, что их супружеская жизнь не удалась. Конечно, он был огорчен, но горем не убит, ибо был не от мира сего, чудаком-человеком, со всякими там космическими наворотами, и жил в свой интерес. Улитка говорила, что у него всегда хорошее настроение. Особенно когда обстоятельства были против него. Тогда он что-нибудь напевал себе под нос и улыбался. Он никогда ни на что не жаловался, хотя окружающую жизнь не принимал, заменив ее жизнью внутренней. Таких жизней у него было несколько. Одну из них он прожил рядом с дочерью, уча и учась. Около нее он овладел нотной грамотой и стал играть на фортепьяно, около нее же он занялся живописью, ну а сочинять стихи — это уже от него самого. Он был ее лучшим другом, вместе им было всегда интересно.

Признаться, поначалу я был несколько обескуражен нашей встречей. Алексей оказался вовсе не тем интеллигентным недотепой, какого рисовал я своим друзьям, спешно подыскивающим для него пару. И не инженером-электронщиком, как рассказывала Улитка, а всего-навсего электриком; правда, у него были золотые руки, и что-то он там действительно мастерил, но я сильно засомневался, что невесты с высшим техническим образованием, а таков был мой заказ, найдут с Алексеем общий язык. План же Улитки был такой: женить Алексея на ленинградке, а на деньги, вырученные от продажи бабушкиного дома, построить под Ленинградом собственное жилье. Тут как раз в связи с новыми веяниями нашему музею выделили садоводческие участки в пригороде, я тоже оказался в списке, и Улитка радовалась:

— Сначала мы построим твой дом, а потом будем строить мой. Ты не обижайся, но я хочу иметь свой собственный. Я хочу быть независимой от тебя, ты должен меня понять.

Я готовно кивал, но в сердце своем считал, что и одного дома нам хватит с лихвой на всю оставшуюся жизнь. Однако обещал Улитке, что и для нее выйду участок, надо только ей попасть нашу систему, хоть уборщицей. Вот так спланировали мы совместное будущее под одной или двумя крышами, и приезд Улиткиного отца был первым пунктом нашего замысла. Улитка меня представила.

— Слышал, слышал, — шагая по комнате, закивал Алексей, по-птичь, сбоку поглядывая на меня, как бы еще в легком смущении, хотя мы с ним сразу перешли на "ты". Я очень хотел, чтобы он мне понравился, и он мне понравился. Словно почувствовав мое старание, Улитка сказала: "Ничего, я его отмою, переодену, подержу в Ленинграде, и он будет первый жених."

Ко мне Алексей отнесся скорее терпимо, чем дружелюбно, я его мало заинтересовал, да, наверно, и возраст мой его не устраивал, я был всего на два года моложе него, но на данном этапе это было не главным, и мы сразу заговорили о деле, ради которого он приехал. Видно было, что намерения его серьезны:

— Ну, когда встреча?

Я сказал, что через день. По правде сказать, я был озадачен — я опасался, что невесты меня не поймут, и решил взять тайм-аут, чтобы обдумать ситуацию. Надо было их подготовить, сообщить им что-то в противовес уже сказанному, вернуть их к суровой реальности. Ох, Улитка, Улитка, опять она меня подвела. Впрочем, разве дочери могут быть объективны.

— Ну как? — улучив момент, когда мы остались одни, спросила она. — Он, конечно, такой неотесанный, деревенщина...

— Что ты! — с энтузиазмом ответил я. — Отличный мужик! Единственное... — я замялся. — Он действительно негородской...

— Я сделаю его городским, — сказала она. — Он поживет у меня с недельку, и я его сделаю.

— Да, да, нужно его немножко подготовить, — сказал я. — Надо потратить на него время. Если его сейчас показать невестам, боюсь, мы только испортим дело.

— Конечно! — загорелась Улитка. — Ты прав. Сейчас его показывать не будем. Надо походить с ним по магазинам. Приодеть. А то он приехал в какой-то дурацкой куртке... Ты видел его куртку? Надо его приодеть. Он привез мне деньги от бабушки. Часть моего наследства. Нет, не все. Знаешь, он этих денег боится. Он боится, что я их растрочу. И сам боится их держать. Он не привык к таким суммам. В общем, я должна его убедить, что у меня все нормально. Чтобы он поверил. Тогда он отдаст остальное. Значит так, завтра мы пропускаем, а послезавтра... Знаешь что, ты приведи сюда. Ну, одну из тех. И чтобы мы были рядом. Тогда он произведет более выгодное впечатление. Мы создадим обстановку. Я наведу марафет, выступлю тут первым номером. Если папа воспитал такую дочку, значит папа стоящий. Картины свои развешу, на пианино сыграю. Ты будешь создавать интеллектуальный фон...

Мы принялись фантазировать, от смеха сгибаясь пополам.

Вечером мы вдвоем гуляли по городу. На праздном Невском, хоть и сильно уступающем Елисейским полям, но все-таки почти европейском, почти столичном, Алексей вроде как оробел и слегка отвалил вбок и назад, как неравный нам, представителям белой кости и голубой крови. Улитка была в одном из сумасшедших своих нарядов, как всегда на нее глазели, и то, что ее отец бежал сзади, как станционный смотритель, ее, похоже, ничуть не смущало. Но мне стало неловко:

— Послушай, что такое, позови его.

Улитка взяла отца насильно под руку, хотя он отмахивался, как мальчишка, бубня, что сзади ему удобней, — она взяла его под левую руку, а под правую — меня, и так мы зашагали рядом,

странная троица, объединенная разве что сверхъестественными обстоятельствами. Они и были сверхъестественны...

— Мне эта жизнь не нравится, — продолжал Алексей начатый еще дома разговор. — Я бы хотел, чтобы меня взяли в другую цивилизацию, где-нибудь на Альфа-Центавра. Там, у них, — он так уверенно произнес это последнее слово, будто и не сомневался что "они" есть, — у них наша стадия пройдена тыщу лет назад. Мы для них дикари, поэтому они не вступают с нами в контакт. Они даже не могут поделиться с нами своими знаниями — это все равно что неандертальцу подарить компьютер. Мне скучно жить у нас.

Я поначалу возражал, в том смысле что недовольство настоящим должно быть конструктивным, деятельным, исправляющим жизнь к лучшему, раз другой реальности не дано, а потом подумал, что ведь и я тоже выключил себя из жизни, погрузившись в искусственную сферу культуры, то есть вторую реальность, я отчеркнул себя кругом от жизни, как гоголевский Хома Брут — от нечистой силы. Но надолго ли?

— Приезжай, — позвала меня Улитка на следующий день, — помоги справиться с тортами. Тут папа купил всего. Он у нас сладкоежка... — и по удалению голоса в трубке я понял, что она обернулась к нему. В ответ раздался невнятный грубоватый басок Алексея, и заиграло пианино.

— Это он играет? — спросил я.

— Да, с самого утра. У меня уже голова болит... Как там наша невеста? Я его тут шампунем вымыла. Волосы феном уложила. Такой красивый... — и Улитка снова обернулась к отцу. Пианино заиграло громче.

— Невеста завтра не может, — соврал я. — У нее вечером дежурство в народной дружине. — Дело в том, что, хоть я уже и передал свои непосредственные впечатления друзьям, однако ответа невесты не знал и тянул время.

— Ну хорошо, — сразу перестроилась Улитка. — Тогда я завтра свожу его в Эрмитаж. Чтобы добавить ему в глазах духовности. Пойдешь в Эрмитаж? — обернулась она к отцу.

От тортов я отказался и не поехал, хотя и хотелось. Мне всегда хотелось к Улитке.

Наконец друзья передали мне просьбу невесты выйти с ней на прямую связь, то есть позвонить. Что я и сделал. Я знал: ей под сорок, маленькая, но спортивная — зимой лыжи, летом байдарка, инженер, была замужем, но давно развелась, детей нет, характер сильный, козерог, любит дом, хозяйство, живет с престарелым отцом, который уже впал в маразм, так что долго не протянет, а вообще-то там двухкомнатная квартира... Голосу я придаю большое значение, может, даже большее, чем он заслуживает: во-первых, это социальный информатор — из каких-де вы слоев общества; во-вторых, он индикатор мировоззрения и нрава, ну и, конечно, образованности. Так вот, голос Галины, так звали нашу инженершу, произвел на меня хорошее впечатление — в нем была собранность, деловитость и начитанность. В нем также звучало, что от этой жизни многого ожидать не приходится, минимум романтизма, максимум трезвости, и еще — он был интеллигентным. Тут я еще больше закомплексовал и уже стал жалеть, что ввязался в эту историю. Тоже мне, Гименей. Улитка, конечно, дала маху — так не знакомятся и так не знакомят. Я извинился перед Галиной за неточность предварительной информации и, как на духу, выложил ей все — и наблюдения и соображения. Это был разговор равных. Однако лейтмотив у меня был четкий: мужик что надо — жаль вот только, что неотесанный. И вдруг, не веря собственным ушам, я услышал:

— Ну, разве это главное — манеры... Если он хороший человек...

Жар прилил к моим щекам, а уши позабыто, по-детски налились свечным пламенем. Это был голос женщины, отчаявшейся в одиночестве, женщины, еще полной нерастратченных сил любви. Она уже видела его по-своему, помимо меня, и от меня его защищала!

— Она согласна! — радостно известил я Улитку.

— Когда? — нетерпеливо спросила она.

— Завтра, после работы. Договорились, что я ее встречу и к вам привезу.

В пять вечера я встречал ее на станции метро "Маяковская", наверху, у разменных автоматов. Я описал свою внешность, а она свою. "Я буду в белом песце", — сказала она, и я решил, что уж песца-то не пропущу. И все-таки она узнала меня первой и сама подошла. Тут я должен сделать паузу, ибо, увидев, что именно эта женщина направляется в мою сторону, я стал умирать — нет, это ошибка, мы так не договаривались. Но она уже подошла и представилась.

— Как вы меня узнали? — глупо спросил я.

— Ну, это нетрудно, — усмехнулась она. — Интеллект... — все на вашем лице. Не спутаешь.

Наверно, я инстинктивно спросил про себя, чтобы не говорить про нее. Увы и ах, она мне не понравилась. И лихорадочные мысли уже в другом, противоположном направлении простреливали мой мозг: как я покажу ее, что обо мне подумают? Мне всегда казалось, что у ленинградока есть особая мета, а тут... Словно она приехала в том же поезде, что и Алексей, только в другом вагоне. Она подошла, глядя на меня потухшими глазами, с мертвой собачкой на плечах, почему-то названной белым песцом, в немыслимом берете, в ядовитом облачке каких-то тошнотных духов, и недоверчиво, безжизненно улыбнулась:

— Вы Игнат? Здравствуйте, я Галя...

Всю дорогу я рассказывал ей про Алексея и про Улитку, испытывая при этом сильнейшее желание сбежать, прыгнуть с подножки трамвая, и, наверно, прыгнул бы, если бы это был тот прежний, послевоенный трамвай, с открытым холодным тамбуром, из которого каждый уважающий себя пассажир считал делом чести высаживаться на ходу, хотя бы за пять метров до полной остановки. Но нынешний трамвай был надежно закрыт, понятия тамбура больше не существовало, электропечки добросовестно поджаривали пассажирские зады — все, увы, располагало к светской беседе.

— Да, я понимаю, — глядя в законное, зальделое пространство, кивала потухшая Галина, — такому человеку нужно женское тепло, — и собачонка на ее плечах мелко, простудно дрожала.

Дверь нам открыла Улитка, за ней, как школьник, маячил нарядный Алексей. "Не ждали"... А может, ждали. Алексей вел себя великолепно, хотя не без кокетства. Помог раздеться, проводил в большую комнату, предложил с холода чаю. Стол был полон сластей, включая жирный торт посередке.

— Я, знаете, сладкоежка, — сказал Алексей, поглядывая на Галину по-птичьи, боком, обращаясь к ней блескуче-натянутой после бритья щекой. Он подошел к резному громоздкому Улиткиному буфету, в стиле модерн, с лилиями, и, достав из ящика еще одну коробку шоколадных конфет, горделиво-небрежным жестом подбросил ее на стол.

— Да, — подхватила Улитка, — однажды я на день рождения послала ему целый ящик шоколада — слопал...

— Шоколад — это, я считаю, лучшая еда, — зарделся Алексей от внимания окружающих, — недаром же он входит в рацион подводников, космонавтов. Это чистый продукт с растительной основой, высококалорийный концентрат. А там это мясо, рыба — дикость, каннибализм какой-то. В космическую эру люди еще едят живую плоть. Надо переходить на синтезированный белок.

Я, конечно, предупредил Галину насчет его пунктика, и теперь отмечал краем глаза, что она слушает его с благосклонной снисходительностью врача, которому предстоит поставить на ноги расклеившегося пациента. Вот чего не было видно, так это — понравились ли они друг другу или нет. Воспитанность Алексея я явно недооценил.

— Не знаю, как вы, — решил я немного разбавить сладкую тему, — а я иногда люблю шашлык, ежели еще да на свежем воздухе, да под холодное красное вино...

Улитка засмеялась:

— Ну, мы с тобой оба низменные люди, мясоеды...

А Галина живо обернулась к Алексею, видимо, заинтересовавшись его мнением о вине.

— Вино... — сказал Алексей равнодушно. — Уж лучше тогда ликер. Особенно если в конфетах. Вот в Риге продают такие, "Прозит" называются, то есть по-латыни "За Ваше здоровье". А выпить можно и без мяса. Но я вообще-то не употребляю. Разве что по праздникам, за компанию.

Ах, знал Алексей, что говорить; значит, подумал я, заинтересовался и гнет нужную линию. Поели торт, попили чаю, и Галина потянулась к Улиткиным картинам. Она переходила от одной к другой с видом завсегдатая выставок, если и не очень рафинированного, то во всяком случае прилежного.

— Как вам, нравится? — спросил я, не скрывая собственного отношения.

Галина, глянув на меня как за подсказкой, кивнула. Но впечатление ее было сложнее простого "да" или "нет", и она заговорила, осторожно подбирая слова:

— Я, конечно, не столь подготовлена, мне трудно сразу, я должна подумать, но мне нравится, хотя я не все понимаю. Наверно, тут есть особый смысл, это ведь не чистый реализм?

— Да, это реализм не внешнего, а внутреннего, — сказал я. — Скорее, психологический.

Галина послушно кивнула. Она не кривила душой — картины ей нравились, и, наверно, Улитка ей тоже нравилась, а значит — и ее родитель. На душе у меня становилось веселее. — Какую надо иметь сложную душу, чтобы так видеть мир, — сказала Галина, обращаясь к Улитке. — Это, конечно, папино воспитание.

— Да нет, она у меня сама с детства такая, — заулыбался Алексей, по-прежнему вполоборота к Галине. — Всегда что-то там рисовала, лепила, красила. Я — ей еще года три было — волшебный ящик такой сделал, "Карьес" называется, это был такой фантастический рассказ, там аппарат такой — Карьес, значит. Ну а я для нее вроде как игру сделал, ящик такой. Из белой пластмассы, экран с подсветкой, чтобы рисовать, внутри там лампочки разного цвета, ну, тумблеры, конечно. Хочешь — зажигаешь зеленую, хочешь — красную или обе там. Еще звонок приделал: нажмешь — как будто в дверь звонят. Очень это дочке нравилось, она сама к себе, значит, в гости ходила. Позвонит и говорит: "Здрасте". — "Здрасте". — "Как поживаете?" — "Спасибо, хорошо", — и так далее. Дитя, в общем. А сбоку дырочки для карандашей, фломастеров. Любила она с этим ящиком возиться, с "Карьесом" то есть.

— Вот видите, — сказала Галина, — а вы говорите, нет папиного воспитания. Это вы и разбудили ее фантазию, ее воображение.

— Ну, не знаю, — зарделся Алексей, — может, и разбудил. А может, она меня разбудила. Вот когда она музыкой стала заниматься, я рядом пристроился. Ноты выучил, гаммы там, пробую теперь кое-что.

— Ой, папа, сыграй нам! — воскликнула Улитка.

— Да нет, чего там, — смутился Алексей, — я не для того говорил.

— Сыграйте, Алексей Сергеевич, — сказала Галина, голос ее прозвучал мягко, сердечно, и сам ее взгляд потеплел, а собачка на ее плечах вроде тоже повеселела.

Алексей поломался чуток и сел за пианино. Он положил на клавиши свои огромные, как два камчатских краба, рабочие руки, вздохнул и заиграл, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу. Это была первая часть "Лунной сонаты" Бетховена — адажио. Вообще-то она по силам и ученику второго класса музыкальной школы, но едва ли Галина знала это. Она сидела

неподвижно, с широко раскрытыми глазами, и я почувствовал, что мы с Улиткой здесь лишние. Они уже вступили в диалог. Вот так он ей будет играть по вечерам. А она вот так слушать. Тем временем Алексей добрался до знаменитой темы адажио — повторяющемуся, как вздох, сольдиезу в правой руке: "там-та-там", — однако он не просто нажал клавишу пятым пальцем, то есть мизинцем, а прибавил еще от себя нечто вроде фигурато: "турулям-та-там", как бы подпуская моцартовской беспечности в бетховенскую меланхолию; мы с Улиткой переглянулись, с трудом сохраняя строгую мину, но Галина слушала серьезно, вскинув подбородок и стиснув пальцы на груди; Алексей снова сделал свое "турулям" и покатил дальше триолями, слева направо и назад, как будто формировал железнодорожный состав на сортировочной станции.

Не помню уж зачем, я вышел в коридор, и Улитка выбежала следом, оставив их одних.

— Иди назад! — зашипел, замахал я руками. — Неудобно!

Улитка — рот до ушей — послушно закивала, но жажда поделиться впечатлением была в ней сильнее правил этикета:

— Ой, она такая смешная! И этот, как его... песец!

— Я дико извиняюсь, я сам не знал.

— Ничего, они вроде друг другу нравятся...

— Иди... иди...

— Щас... Только надо бы их выпроводить. Пусть погуляют, поговорят...

— Так тебя устроит такая мачеха?

— Мне все равно — лишь бы его устроила. Только этот песец...

Вскоре Галина засобиравлась домой, и Алексей готовно вызвался в провожатые.

— Как интересно вы живете, — сказала Галина нам на прощание, проникательно приняв меня за не совсем чужого человека в этом доме.

— Приходите! — сказала Улитка. — Приходите, я вас нарисую. — И я услышал, как про себя она добавила: "С песцом".

Алексей долго не возвращался, и мы решили, что они пошли в кино. Все складывалось как нельзя лучше. Не дождавшись Улиткиного отца, я уехал.

— Она ему не понравилась, — позвонила мне Улитка на следующий день. — Он говорит, что дома у него есть лучше. Представляешь? Зачем тогда приехал, напрягал нас? Ну и папаша... Дон Жуан...

— Полный песец, — сказал я.

— Что?

— Прости, нечаянно вырвалось...

— Надо найти ему другую невесту, помоложе. Я его все равно женю и привезу в Ленинград. Он нам поможет построить дом. Он же все умеет. Я с ним говорила — он согласен. Только ноет: "А куда я дену свои железки?" Он там с работы натаскал всякого металлолома — жалко оставлять. Я говорю — привезешь с собой. Он сразу успокоился. Он только в субботу уедет. Еще два дня. Найди кого-нибудь, я тебя очень прошу. У тебя же был еще кто-то...

— А тут что, финиш? — спросил я.

— Они вроде условились о свидании, только он не хочет идти.

— Пусть сходит, может, со второго раза она ему больше понравится. — Брать на себя ответственность за вторую неизвестную мне невесту я больше не хотел.

На свидание Галина не пришла, и Алексей, подождав, по словам Улитки, минут десять, радостно побежал домой. И лишь после отъезда Алексея я узнал, что в тот день у Галины умер отец, и она послала вместо себя свою верную подругу, так как у нее не было Улиткиного телефона, но подруга то ли не узнала Алексея, то ли пришла слишком поздно. И пока еще целые сутки Алексей был в городе, Галина звонила моим друзьям, чтобы найти меня — только я один мог снова связать концы этой веревочки, но, странное дело, меня не нашли. Потом я узнал, что Галина плакала в трубку: "Умоляю, сделайте что-нибудь!" Будь у нее время, она бы встала на полотно и остановила бы поезд, увозивший ее Алексея.

Так я стал Галининым врагом, разрушителем ее счастья, а Улитка меня утешала:

— Не переживай, ты ни при чем. Это судьба. Ему нужна другая тетка.

Я же испытал наконец на себе, что значит устраивать чужие судьбы, весь, так сказать, сарказм русской поговорки: "Чужую беду руками разведу".

Дорогой Игнаша! Никак не могу сосредоточиться на письме. Виктор придет 5 марта. Он был по делам в Лондоне, Париже, Берлине, Франкфурте, а сейчас — то ли в Вене, то ли в Брюсселе. Должен сегодня позвонить. Похоже, дела у него налаживаются — он полон планов и проектов. В Западном Берлине наш "Сапожник" прошел с большим успехом и был показан три раза (как правило, такого не бывает). С Виктором говорили насчет возможности продать его для телевидения многих стран. Приедет, расскажет мне подробности — ведь он представляет там мой фильм в качестве продюсера, каковым, впрочем, и является.... Можешь себе представить? Вчера была в русском книжном магазине и купила сборник Ахматовой, рассказы Бунина, Шукшина. В Испании, где книжные магазины и издательства прогорают из-за того, что книги никто не покупает, этот книжный магазин должен процветать, потому что все советские, живущие здесь, уже о нем провели...

Да, вот еще. "Сапожника" показывали на Международном авторском кинофестивале в Малаге. Для показа из 240 испанских фильмов выбрали только шесть, и "Сапожника" — среди них. История "Hola, Natalia!" еще не закончилась. Этот фильм в октябре был представлен на фестивале испанского кино в Вашингтоне и был в числе шести короткометражных фильмов, выбранных из продукции последних пятнадцати лет!!!

— ТЫ ЗНАЕШЬ, кто к нам завтра придет? — сказала Арина за ужином, когда — редкий случай — Виктор был с нами. — Мария Р. Ты читаешь ее статьи?

Виктор поднял брови и опустил веки, как бы обиженный — кто же не читает Марию Р. Но не это главное — оказывается, он ее и пригласил. Точнее, навел на тему — через Пако. О сегодняшних русских за рубежом — что они и как.

— Я завтра уезжаю в Барселону, у меня билет.

— Но ты, надеюсь, вернешься? Ариша, надо спрятать его паспорт, а то ведь он не вернется. Женится на Кармен, дети, внуки, головная боль...

— Я не буду давать интервью. Чтобы потом мне по шапке надавали...

— Мамка, слышишь? Игнаша отказывается давать интервью. Придется тебе за двоих отдуваться.

На следующий день, когда я складывал барахлишко в дорогу, за раскрытой на мою террасу дверью раздался тихий гул открываемых ворот и фырчанье въехавшей во двор машины.

Собственно, это был не обед, а предвечерний перекус, то, что англичане называют "five-o'clock". Я пошел в комнату за кухней, где мы трапезничали в будни, и увидел маленькую женщину лет тридцати пяти. Она быстро глянула на меня и заулыбалась. Она была похожа на Арину, и в первое мгновение их можно было принять за сестер — та же легкая торопливая повадка, тот же стремительный отклик во взгляде, глубоком и добром, та же готовность к понимающей улыбке. Но на этом сходство и кончалось, и если поискать сравнения, то она была змейкой, ящеркой. Я помню, что мне вдруг стало радостно. Она затараторила по-английски, как по-испански, и я не сразу подхватил тему, так как не поспевал за ней. До моего отъезда на вокзал мы втроем успели выпить и закусить. Арина держалась слишком уж радушно. Это в ней было — некоторая чрезмерность теплоты к гостям. Договорились встретиться, когда я вернусь. Естественно, обо мне в интервью ни слова, но я могу очень помочь. Надо позвать Пако с Юлией и еще кое-кого. Мне показалось, что, когда она обращалась ко мне, взгляд ее становился чуть смущенным.

В пять часов вечера Тино отвез меня на вокзал "Чамартин". Я сел в сидячий вагон — до Барселоны было семь часов пути — и забыл о Марии.

Я сидел в кресле у огромного окна и, раскрыв книгу, тихо наблюдал за входящими. Мне еще не надоело наблюдать. Жаль, что я не стал художником. В Испании я жил глазами, ни разу в голову мне не пришла какая-нибудь стихотворная строка. И не потому, что я уже год не писал стихов, а потому, что Испания звучала для меня по-испански. Я написал портреты Арины и Виктора, и еще несколько натюрмортов, и еще их дом и их сад. И еще портрет Наташи, говорят, очень похожий. А вот Антон мне не удался, но он сам виноват — не мог усидеть больше пяти минут — взгляд его соловел, и он падал со стула. Как он высиживает в колледже? А на Менорке я даже сделал несколько пейзажей. Виды на бухту Адайя. Теперь же я просто наблюдал. А может, не наблюдал, а созерцал. Легкое красное вино Риохи еще не совсем вернуло мою голову моему телу...

Поезд неслышно, словно по воде, взял с места и потек. Пейзаж за окном мне не нравился, впервые видел в Испании такой пейзаж, или, скорее, его полное отсутствие, — как будто прошлись бульдозером по лунному ландшафту, добавив кое-где помойные кучи. Вскоре, слава Богу, смерклося — поздняя осень все-таки, — и поезд пошел во тьме. В вагоне появилась проводница в красивой форме и сама красивая. Она несла связку наушников. Телевизионный экран ожил. Крутили фильм ужасов из первобытных времен. Первобытные люди спасались от первобытных монстров, монстры схватывались между собой, обливаясь ведрами крови. За наушники полагалась плата. Но все было понятно и без слов, и я не взял наушники. Да и на экран я смотрел только время от времени, когда глаза уставали от чтения. Я читал "Сказки Альгамбры" Ирвинга Вашингтона. Язык был непростой, из эпохи романтизма, и понимал я не все. Еду не несли. В поездах, в отличие от самолетов, не кормили, хотя ехать много дольше. В поезде все-таки безопаснее, чем в самолете. Наверно, там и кормят для того, чтобы отвлечь от неприятных мыслей. Или впрок, на всякий случай, а вдруг... Хоть сытым сверзишься с небес. Второй фильм был о чем-то смешном, и я пожалел, что у меня нет наушников. В салоне то и дело прыскали, глядя на экран.

Два фильма уже проехали. Это значит — почти полпути. За окном была чернота. Экран погас, поезд стал притормаживать. В динамике раздался мужской голос. То, что он сказал, я понял только в следующее мгновение, когда все в вагоне вдруг разом с досадой вздохнули и стали подниматься со своих мест. Мой сосед-студент тоже поднялся, краем глаза проследив, понимаю ли я происходящее. Я понял. Я понял, что что-то случилось и необходимо немедленно выйти из вагона. Все брали свои вещи, и я тоже достал с полки свою сумку. Поезд остановился, и в проходе выстроилась очередь. Никто не суетился, но и не медлил. Динамик снова ожил. На сей раз я понял лучше — я понял, что в поезд заложена мина. Паники не было, мне даже показалось, то пассажиры восприняли известие без особого удивления.

Поезд стоял у темной платформы, и из открытых освещенных дверей всех пяти или шести вагонов выходили люди. Поодаль виднелось помещение станции. Станция называлась Мората-де-Халон. Никто туда не пошел, все остались на платформе, словно чего-то ожидая. В иноязычной обстановке надо делать как все. И все-таки мне хотелось знать, что же дальше. Я побрел, сумка на плече, вдоль платформы, прислушиваясь к разговорам. Это, конечно, проделки террористов.

Опять чего-то добиваются. Для этого надо дестабилизировать обстановку. Террористы могут быть и левые и правые, в зависимости от того, чего хотят. Но действуют одинаково. Подонки, черт бы их подрал! Тут даже и переночевать негде. А что, если мины нет и это просто кто-то пошутил? Говорят, что есть. Говорят, позвонили по телефону диспетчеру и предупредили, что поезд заминирован. Тот связался по радио с машинистом...

На платформе появился человек со станции в полувоенной форме и попросил нас покинуть платформу, так как здесь небезопасно. С сумками, рюкзаками, чемоданами все стали спрыгивать на пути и перебираться поближе к станции. Редкие лампочки на столбах светили жидко, и местность выглядела мрачно, хотя и знакомо — что-то развалено, но не убрано, что-то строят, но не достроили, вонь из пристанционного нужника, мусор, тоска... Вот только звездное небо. Хотя всего восемь часов. В двенадцать я должен быть в Барселоне, там меня встречает Кармен. Что же дальше?

Неподалеку от меня, расставив туго обтянутые джинсами ноги, на рюкзаке сидела негритянка. Она выходила из вагона как раз передо мной. Негритянки обязательно говорят или по-французски, или по-английски. Негритянка курила, а я позабыл зажигалку. Я подошел и попросил огонька. Мне повезло — она была из Нигерии. Уже четыре года, как она в Испании, а все не привыкнет к этому бардаку. Я кто, немец, швед? Русский? Ого, она еще не встречала русских. Да тут русским и делать нечего. Тут вообще никому нечего делать. Какого лешего она связалась с Испанией! Везде люди как люди — в Германии, Англии, Франции, в Нигерии, наконец, а здесь — одни лохи. Козлы гремучие. А эти террористы ... Задолбали, заколебали. Пьешь кофе, а на дне чашки террорист сидит. Тут как-то решила сэкономить время, взяла билет на самолет из Малаги до Мадрида, уже все, трап убрали, пошли на взлет, и вдруг тормозим, на всем ходу тормозим, вещи с полок на голову, а сосед — мордой в переднее кресло, кровища, и все на ее белую юбку, а ей в белой юбке выступать! Опять террористы, бомба в багажнике. Совсем оборзели. Сама не понимает, как еще до сих пор жива. Мрак! Нет, пора возвращаться в Нигерию к родной мамочке...

— А чем вы здесь занимаетесь? — спросил я. Она подумала и сказала: — Танцую. — В варьете?

— Вроде того. В ночном клубе. — Она бросила сигарету и зло ввинтила ее в землю туфлей на высоком остром каблуке. — Если я сегодня опоздаю в Сарагосу...

— Тут где-нибудь есть телефон?

— Откуда в этой вонючей дыре телефон!

— Я думаю, все-таки есть.

— Если есть, то там, — неопределенно махнула она рукой в сторону слабо освещенных домов за темным павильоном станции.

— Хотите пить? — сказал я и достал из сумки банку кока-колы.

Негритянка протянула руку. Запястье у нее было длинное и тонкое, как у Улитки. Волосы туго убраны назад. В темноте она казалась миловидной.

— Сейчас приду, — сказал я и пошел искать телефон.

Поселок Мората-де-Халон уже спал. Жителей не было видно. Только кучки пассажиров толпились здесь и там, да добрая их часть перебралась в павильон станции. Я пошел дальше. На первом этаже одного из пристанционных домов горел свет — за окнами было что-то вроде конторы. Несколько человек, по виду — с поезда, стояли в очереди к телефону. Я толкнул дверь и вошел, поздоровавшись по-английски. Иностранцу не должны отказать. Говорившие оставляли хозяйке конторы деньги. Я положил перед ней триста песет и набрал барселонский номер. В трубке раздался теплый, низкий, бархатный голос Кармен.

— Добрый вечер, — сказал я. — Это я, Игнасио.

— Ты где, что случилось? — удивилась она.

— На пути к тебе, — сказал я. — Только нас высадили. Говорят, в поезд заложена мина. Террористы.

— О дева Мария! — сказала Кармен.

— Я звоню, потому что не знаю, когда мы поедem дальше, — сказал я. — И поедem ли вообще...

— Поедете, — сказала Кармен. — Ты, главное, не волнуйся. Все будет о'кей.

— Я не волнуюсь, — сказал я. — Я звоню, чтобы ты не волновалась. Встречать меня не надо. Если я приеду, я тебе позвоню. И возьму такси. Ты не выходи. Жди меня дома. Адрес у меня есть.

— Где вы сейчас?

— Мората-де-Халон...

Кармен помолчала, словно стараясь припомнить.

— Не знаю такого места. Это где-то до Сарагосы?

— Да. До Сарагосы мы еще не доехали.

— Все будет о'кей, Игнасио. Я уверена, что все будет о'кей.

— Только Арине с Виктором не звони. Это лишнее.

— Конечно, я не буду звонить. Все будет о'кей.

— Надеюсь, — сказал я, — Только неизвестно, сколько мы простоим. Не надо меня встречать. Договорились?

Что это была за контора, я не понял. На стене висел календарь с цветными рисунками птиц из семейства фазанов. Я и не знал, что павлин тоже фазановый.

Негритянки на прежнем месте не было. Состав стоял в ночи, светя квадратами окон и прямоугольниками раскрытых дверей. Два человека, то и дело нагибаясь, медленно продвигались из вагона в вагон к хвосту поезда. Еще один человек шел снаружи, приседая и освещая фонарем колесную подвеску. Можно было себе представить их самочувствие.

На небе добавилось звезд. Было свежо, но не холодно. Я поискал глазами, где бы присесть. Неподалеку темнела трансформаторная будка, возле нее на ступеньках кто-то сидел. Я подошел ближе — это были две женщины. Они курили. В одной из них я узнал мою негритянку.

— А, это ты, — сказала она. — Ну что, позвонил? Похоже, мы здесь будем ночевать. А мне так нужно в Сарагосу...

— Мину пока не нашли, — сказал я, проверяя, правильно ли понимаю ситуацию.

— И не найдут, — презрительно усмехнулась негритянка.

Ее собеседница тоже говорила по-английски. Когда она глубоко затягивалась, огонек сигареты освещал ее высокие резкие скулы. У нее был низкий, еще ниже, чем у Кармен, голос. Он звучал интеллигентно, во всяком случае интеллигентнее, чем у негритянки.

— Это мой знакомый, — кивнула ей на меня негритянка. — Он из России.

— Из России? — удивилась собеседница. — Русский?

Глаза мои привыкли к темноте, и я наконец разглядел ее. Она показалась мне красивой. Узкое лицо, нос с горбинкой, крутой подбородок и живой взгляд.

— Вы не шпион? — спросила она.

— Думаю, что нет, — сказал я.

— Он нормальный парень, — сказала негритянка.

— А вы откуда? — спросил я.

— Из Кейптауна.

Я только присвистнул.

— А что вы тут делаете? — спросила она.

— Путешествую, — сказал я.

— Подумать только, русский. Впервые вижу русского.

— Он свой парень, — сказала негритянка.

— Присаживайтесь, — сказала южноафриканка, отодвигая один из своих баулов. Ее звали Бианкой, а негритянку Мартой.

— Я не поняла, где ты работаешь? — сказала Бианка, возвращаясь к прерванному разговору.

Марта замялась:

— Потом скажу.

Время шло, и небо уже задыхалось от звезд. Возможно, придется под ним переночевать. Я вспомнил вагончик строителей, на который наткнулся в поисках телефона. Если даже дверь закрыта, ее можно чем-нибудь поддеть. Там и скоротаем время. А утром поедem дальше. К утру уж точно что-нибудь придумают.

Тут прямо к нашим ступенькам подкатили две машины — автофургон и микроавтобус — прибыла из Сарагосы специальная команда по борьбе с террористами, точнее — с их минами. У команды была овчарка, натасканная на мины. Она вытянула своего хозяина из микроавтобуса, повизгивая от нетерпения. Хозяин, молодой невысокий парнишка, одетый не в полицейскую форму, как остальные, а в спортивный великоватый ему костюм, строго прикрикнул, и пес разом послушно оцепенел, потом на пробу коротко взвизгнул и лег возле колеса, положив голову на лапы. Но глаза его продолжали следить за хозяином. Что-то напевая, парнишка поковырялся в своем освещенном внутренней лампочкой хозяйстве, захлопнул дверь, заметив нас, вежливо поздоровался и, на лету подхватив поводок рванувшегося вперед пса, поспешил за ним к составу.

— Ни хрена они не найдут, — проворчала негритянка Марта. — А у меня в Сарагосе выступление накрывается...

Вслед за командой народ потянулся к платформе.

— Не подходить, не подходить! — замахал кто-то руками, и пассажиры выстроились вдоль железнодорожного полотна как зрители.

Хозяин собаки, присев на одно колено, отстегнул поводок, и пес, порывав, уверенно побежал вдоль вагонов. За ним на расстоянии следовал его хозяин — теперь он не отрывал взгляда от пса. Вдруг пес остановился у моего вагона, сунулся носом туда-сюда, в нетерпении подскочил и, присев на лапах, полез мордой под вагон.

— Ап! — страшным голосом крикнул ему хозяин и высоко бросил в сторону пса что-то вроде легкой палки. Пес мгновенно развернулся, подпрыгнул, на лету поймал палку, а хозяин быстро подошел к тому месту, возле колесной подвески, и, нагнувшись, вытащил из-под вагона какой-то плоский предмет в полкнижки величиной. Он пошел по платформе навстречу остальным

полицейским, держа перед собой то, что было, видимо, пластиковой миной, а пес бежал рядом с палкой в зубах.

— Нашел! — первым очнулся кто-то в толпе, и вдруг все зааплодировали, все, кто стоял и смотрел. Это было как цирковой номер.

— Уф, теперь, кажется, поедem, — поднялась Бианка. — Вы поможете мне с моими баулами? Я их сюда еле дотащила. Тут мои костюмы. Мне тоже выступать, как и Марте. Только в Барселоне.

Бианка оказалась высокой и стройной. На ней был тонкий свитер и цветное трико. Волосы у нее были черные, прямые и на вид жесткие. Втроем мы подошли к освещенному составу. Я нес два баула Бианки.

— Я вон там, — кивнула она на предпоследний вагон.

— У меня крыша едет, — сказала Марта. — Они сунули мину под наш вагон...

— Все хорошо, — сказала Бианка. — Теперь все хорошо. Встретимся в баре, выпьем за то, что мы живы. За наше знакомство. — На свету она оказалась смуглой.

Я помог ей разместить баулы и пошел в свой вагон.

— Встретимся в баре, — сказала Бианка мне вслед.

Я сел на свое место и закрыл глаза. Мой сосед исчез. Возможно, для безопасности перебрался в другой вагон. Платформа неслышно потекла назад. Мы опаздываем на два с половиной часа, значит — приедем около трех ночи, если не подорвемся. Бедная Кармен... Интересно, почему они решили, что это единственная мина? Я попытался расслабиться, но без особого успеха. Поезд неслышно вошел в респектабельный вокзал Сарагосы. Мимо меня прошла к выходу Марта, волоча за собой рюкзак. Ее ягодицы играли, как ядра в руках у циркового силача. В дверях она обернулась и махнула мне рукой. Я кивнул в ответ. После Сарагосы народу в вагонах почти не осталось, большинство посчитало за лучшее выйти, чем еще два часа испытывать судьбу. На их месте я бы тоже вышел, но в Барселоне меня ждала Кармен. В Сарагосе меня никто не ждал, хотя там жили двоюродные сестры Терезы, похоронившие моего отца. Моя мать всегда его оправдывала. Я нашел для него оправдание, только когда собственная моя семья развалилась. Что скажет матушка, когда узнает, что я так и не был на могиле отца? Впрочем, можно будет выйти на обратном пути. Почему Виктор со мной не поехал? Я встал, взял свою сумку и пошел в бар. Бианка в наш вагон так и не заглянула, хотя я почему-то ждал ее. Чувство опасности объединяет, а безопасности — разъединяет. Надо выпить за безопасность движения разъединенных душ. В баре Бианки тоже не было, а одному мне пить не хотелось. Я прошел еще один полупустой вагон, открыл двери в следующий и в салоне увидел ее. По телевизору крутили американский мюзикл, и она сидела с наушниками. Что американцы умеют, так это мюзиклы. Тут они всем дадут сто очков вперед. Впрочем, "Иисуса Христа" и "Кошек" написал англичанин. Англичане ставят себя выше американцев. Но это неважно. Бианка увидела меня и улыбнулась, кивнув на кресло рядом с собой. В ее вагоне вообще было пусто — только по парочке впереди и сзади. Я подошел и сел. Бианка сняла наушники.

— Хороший фильм, — сказал я. — Я его не видел, но музыку знаю. До-ре-ми... До-ре-ми... Ты слушай, я посижу и пойду.

— Я его сто раз видела, — сказала Бианка. — Лучше поговорим.

— Может, пойдem в бар?

— Может. Так ты правда путешествуешь по Испании? А где ты еще был?

— Нигде. Вру... был. Во Франции был, в Западном Берлине...

— У меня отец немец, — сказала Бианка. — Отец немец, а мать индианка.

— Теперь все понятно, — сказал я. — А то я гадаю, на кого ты похожа... Так твои предки индейцы?

— По матери.

— А у меня испанцы. По отцу. Я думал, у нас с тобой ничего общего, а оказывается, мои предки воевали с твоими. Поэтому мы и встретились. Чтобы заключить мировую.

— Мне это нравится, — сказала Бианка и переместилась в кресле, чтобы удобнее на меня смотреть. У нее были узенькие бедра, в кресле им было просторно. — Ты веришь в переселение душ?

— Не знаю.

— А я верю. Наши предки — это мы сами. Мы вечны. Я знаю, что я уже была. Я знаю, что в другой жизни я была любовницей Распутина, мне было восемнадцать лет. Это я его убила.

— Распутин убил Феликс Юсупов. А Распутин хотел его жену — Ирину Юсупову, красавицу.

— Я была Ириной Юсуповой.

— А сейчас ты танцовщица?

— Да. В варьете. Но я не танцую, я хожу — гарцую. Надеваю перья и гарцую. Могу тебе показать. В этих баулах все мои наряды. Она встала, чтобы достать сверху одну из своих сумок, и коснулась меня стройным бедром. Мне показалось, что передо мной Улитка в одной из своих инкарнаций.

— Вот смотри! — Бианка стала дергать молнию сумки своими худыми длинными наманикюренными пальцами. Кисти у нее были суше, чем у Улитки. Кисти тридцатилетней женщины. В сумке была куча мала из тряпок, перьев, коробочек с гримом и фотографий.

— Это я! — выгребла она одну из еще не очень помятых цветных фотокарточек. — Это я на сцене. А это она, — вонзила она наманикюренный ноготь в свою соседку, дебелую, сильно разрисованную блондинку, тоже в перьях.

— Кто?

— Любовница моего друга. Разве она лучше меня?

— Нет, — покачал я головой. — Ты лучше.

— Он ничего не понимает. Он изменяет мне с этой бледной коровой. Что мне делать? Я не знаю, что мне делать...

— Измени ему тоже.

— Ты прав. Я ему изменю. Он свинья. Но я его люблю. Правда, я лучше?

— Гораздо.

— А ты мне нравишься.

— Ты мне тоже.

— Ты правда не шпион?

— Правда.

— А кто ты?

— Поэт.

— Ты похож на поэта.

— Я действительно поэт.

— Прочти что-нибудь.

Я прочел ей начало монолога Гамлета.

— А свое?

— Я пишу по-русски.

— Прочти.

Я прочел.

— Красиво. Я хочу побывать в России.. У вас есть варьете?

— Сколько угодно.

— Я хочу побывать в России.

— А я хочу тебя.

— Я тоже... Я положил руку ей на бедро и провел до колена. Под тонкой материей была теплая упругая плоть.

— Дай мне свою руку, — сказал я.

Она протянула. Я взял ее двумя руками и положил себе на бедро. Рука ее поползла вверх, нашла замок молнии и снова поползла вниз. Рука ее проникла ко мне, ласковая и нетерпеливая.

— Подожди, — сказал я, застегнулся и встал. Парочка впереди и парочка сзади смотрели телевизор.

— Я жду тебя в дабл'ю си, — сказал я и пошел к туалету. Так уже было. Не со мной. Так было в нежной французской кинопорнухе под названием "Эммануэль". Только в самолете. Дабл'ю си был под стать салону. С зеркалом в полстены и всякими белыми блестящими подробностями. В дверь постучали. Я открыл. Это была она. Целуя, я свободной рукой опустил ее трико. Она порывалась встать на колени, чтобы помочь мне, но в этом уже не было нужды. Для двоих здесь было тесновато, и она сама повернулась ко мне своим маленьким смуглым задом. У нее были точеные шелковые ягодицы. И узкая талия, как у Улитки. Она была очень удобной. И так тоже уже было. У Бунина в рассказе "Визитные карточки". Он его, конечно, не выдумал. В выдумке не было нужды. И такая же поза. Только там молодой известный писатель, а тут немолодой и никому не известный поэт. Внутри она была горячее. Она была как вялое пламя. Она откинула голову, и я услышал хриплый животный стон. В зеркале она отражалась в профиль. Она и я. По ее вздетому подбородку текла сладкая струйка слюны. Все это уже было, в темном купе, на второй полке, по пути из Ленинграда в Москву.

— О-ооо-оо... — хрипло стонала она и, в истоме повернув голову, вдруг глянула в зеркало, прямо мне в глаза. Ее брови ошеломленно взлетели, будто я позволил себе запретное. Но про зеркало она ничего не сказала. Она сказала о другом.

"Я не знала, что русские такие страстные".

Бианка, Бианка, страсть за собой не наблюдает.

"Such an experience... — повторяла она чуть позже, в салоне, приходя в себя. — Such an experience".¹⁴

— Дай мне свой мадридский телефон, — сказал я. — Я тебе позвоню. Я могу тебя увидеть в Барселоне? — сказал я.

Она покачала головой:

— В Барселоне я буду у друзей. Позвони в Мадриде. Я вернусь через три дня...

— Я тоже через три. Я тебе позвоню.

— Such an experience, Ignasio...

В Барселоне она вышла на остановку раньше. Поезд стоял полминуты, и я едва успел вынести все ее баулы и вскочить обратно. Она осталась на подземной платформе, высокая, смуглая, растерянная, на стройных длинных ногах, и все смотрела на меня. Следующая остановка была моей. Я взял сумку и вышел в тамбур. После черноты туннеля снова оранжево высветилась станция подземки. Было полтретьего ночи. На пустой платформе я увидел Кармен.

— Ну вот, — подставила она щеку для поцелуя, — я же сказала, что все будет о'кей.

Мы поднялись по ступенькам и вышли на улицу. Ночная Барселона была тихой и теплой. И нарядной, как Париж.

— Мы не возьмем такси? — спросил я.

— Зачем? Я тут живу недалеко, — сказала Кармен.

Она шла рядом, спокойная, добрая, уверенная, друг и товарищ, и я понемногу стал чувствовать, что я с ней. Мы свернули с широкой, в ночных акациях, улицы в узкий переулок. Ее квартира была на третьем этаже. Мы выпили слабого чаю, приняли душ и легли. Кармен была большой и мягкой. И голос у нее был добрый, миротворящий. Голос бабушки, матери и жены. В ней было не горячо, а просто тепло. Как дома. Я оставил руку на ее большой груди и заснул.

Ночью я проснулся. За окном плакала собака. Так уже было. Это мне приснилось. Я чуть не проспал свою остановку. Я выскочил в тамбур и увидел на платформе Кармен. "Я же сказала, что все будет о'кей".

Завтра мне исполнится тридцать лет. Давно уже мысленно я готовилась к этой дате, и отпраздновать ее мне хотелось по-особенному. Как-то все представлялось, что это еще день молодости, еще бурлящей, и я еще полна сил и оптимизма. Но вот уже, можно сказать, завтра придет дата и после такой, казалось бы, подготовки застигнет врасплох. То, что врасплох, я чувствую очень остро. Наверно, это и есть ДАТА ВРАСПЛОХ. Что-то позади состоялось, а в основном — нет. Основное — это я. Хотелось бы мне в свои тридцать суметь с иронией посмотреть назад и с иронией посмотреть вперед. Но на это нужна мудрость, а за спешкой, за суетой дней она может и запоздать, а то и вовсе обойти. Ты спросишь: чего мне хочется в мои 30 лет?

Жизнь — ведь это только миг,

Только растворенье

Нас самих во всех других,

Как бы им в даренье.

¹⁴ Such an experience»...- Какое приключение (англ.)

Хотелось и мне обрести эту пастернаковскую ясность и раствориться. Тут-то и нужна мудрость СОСТОЯТЬСЯ РАСТВОРИВШИСЬ. А всякие там прыжки в поисках самовыражения — они, конечно, пусть останутся, но вот только на такой основе. Я же сейчас вся в прыжках, а хочется мне простоты...

На днях позвонил мне из Альгорты Роберто — автор моих фотографий, и сказал, что мы получили Гран-при на конкурсе. Жаль, что у тебя нет этой фотографии: бесконечная извивающаяся лестница, соединяющая берег с островом, и я бегу по этой лестнице с белым развевающимся полотном...

В БАРСЕЛОНЕ было еще петербургское лето. Солнце под петербургским углом освещало террасу и белую стену дома напротив, где за кирпичной оградой балкона хозяева, уехавшие на выходные, оставили собаку.

— Таких людей нельзя подпускать к животным, — качала головой Кармен. — Она там, бедная, страдает, терпит, а потом ходит под себя. Все это течет на соседей внизу. Те жалуются. Тут такие страсти! А у хозяев для собаки в машине места нет. Не помещается при полном сборе. Бедная псина... Но они вернутся, и она будет счастлива и все забудет до следующей субботы. А то, как она плачет, они не слышат. Это мы слышим. Пока сам не заплачешь, другого не поймешь...

У Кармен была прекрасная библиотека. Все систематизировано и каталогизировано. Моя мечта — расставить когда-нибудь книги в надлежащем порядке. Но Кармен была стихийным человеком. Это лишь ее интеллект требовал порядка. "Для того и порядок такой на столе, чтобы оползень жизни сдержать". Арина со слов Юлии говорила, что у Кармен раньше бывали запои. Однако она справилась с собой. Теперь она собиралась заняться серьезным делом. Она раскопала интереснейший сюжет из средневековой истории Барселоны. Сначала она хотела написать статью, потом повесть, теперь же материал тянул на целый роман. Тридцать три года — идеальный возраст, чтобы заняться прозой. Кармен напишет роман по-каталонски. Огромной каталонской литературы я не знал вовсе. По культуре каталонцы ближе к Франции, чем кастельяно, то есть говорящие на кастильском — основном испанском наречии. Барселона и вправду чем-то неуловимо напоминала Париж, в ней была склонность к грации и изысканности. Мадрид много суше, а в городах Андалузии был аромат Востока. В Барселоне был тонкий европейский вкус и чувство меры. И барселонцы отличались от мадридцев, как, скажем, ленинградцы от москвичей. Мы вышли на улицу Диагональ и пошли к готическому кварталу.

— Я тебе покажу мои любимые места, — сказала Кармен.

Если бы она приехала в Ленинград, я бы не смог показать ей свои любимые места. У меня их нет. Я просто провел бы ее там, где красиво. В Ленинграде у меня было только одно место, где я всегда останавливался, если не спешил, — у перил главного пролета Кировского, то бишь Троицкого, моста, откуда Стрелка Васильевского острова с Биржей Тома де Томона и двумя роstralными колоннами казалась океанским пароходом, входящим в Невскую губу. Словно что-то новое прибывало в застылость жизни.

Мы свернули на зеленую Виа-Сакра. Кроме платанов здесь были еще цветы — десятки лавочек, торгующих цветами. Цветы в корзинах и горшках, цветы в ведрах были выставлены прямо на тротуар. Казалось, город кидает их под ноги в честь твоего приезда.

Город был прекрасен. Самый прекрасный город после Парижа. Если бы я не был в Париже, я бы назвал Барселону самым прекрасным городом мира. Здесь было изящество и достоинство, было богатство, но что-то еще, много еще чего-то непередаваемого. Да и воздух был другой — не сухой, нагорный, прозрачный, как в Кастилии, а с влагой, с жемчужным рассеянным светом. И была история, прошлое было. Артезианские колодцы истории. Они действовали. Из них можно было напиться и сегодня. Вода истории была холодна и чиста, от нее ломило зубы. Орошающий современность водоносный слой истории залегал где-то в третьем веке до новой эры, привносил в город чувство грации, гармонии и собственного достоинства. Есть города-мужчины, Барселона для меня была городом-женщиной. Я готов был поселиться в Эскориале, в этом городе-

отшельнике, ничего не поделаешь, я эскапист, человек в тени. Но, надоев самому себе, я приехал бы только сюда. Испания представлялась мне теперь некой совершенной средой обитания, вроде жилого космического модуля будущего, где каждое помещение соответствовало определенной жизненной функции: место для усиленной работы мозга, место для физической нагрузки, место для самосозерцания, для сна, для танцев, для слушания серьезной музыки, для любви, для мечты. В Испании можно было найти все части самого себя.

Мне было хорошо с Кармен, но постель — коварная штука, потому что дает обманное чувство единения, слитности. Это чувство не лжет, пока принадлежит своему месту, но, когда начинаешь переносить его в другие места, можно здорово обжечься. В Барселоне мне не хватало одиночества, хотя Кармен была идеальной спутницей. Если уж быть с кем-нибудь в Барселоне, так это с ней. Есть только одна блестящая альтернатива — быть с самим собой. Но это было невозможно, и я старался, чтобы вместе нам было хорошо.

— Отвези меня к Гауди, — попросил я.

К Гауди она не хотела, к Гауди она спокойна. Так и должно быть — она другая. Гауди — это то, к чему стремилась Улитка. На альбомного Гауди я набрел поздно, лет пятнадцать назад. Все мы открывали Запад через альбомы. У нас альбомное образование. Пятнадцать лет назад я сидел в душном читальном зале Публичной библиотеки, перелистнул страницу и задохнулся. Или провалился. Куда-то сквозь все этажи своих лет, пробивая перекрытия одно за другим, пока не очутился в своем детстве, солнечном детстве на берегу Рижского залива, где тонкий поющий песок. Кашица мокрого песка струилась между пальцами, плетя башенки на берегу, одну, другую, третью. Подходили люди: "Смотри, какой замок!" Это и был собор Святого семейства в Барселоне. Будто бы готику облизнуло морской волной. Все потекло, но осталось, застыло — вода ушла... Два безумца, или два мыслящих существа из другого измерения, соорудили то, чего не может быть. Одним из них был каталонский архитектор Антонио Гауди, другим — его меценат граф Гуэль. В том моем альбоме у собора Святого семейства было всего четыре башни, четыре кукурузных початка, теперь их стало восемь. Гауди не успел достроить свое творение — в 1926 году он попал под поезд. Но главное он успел. Ему было семьдесят четыре, когда душа его, пролетев под сталактитовым сводом портала, взглянула в последний раз на эти каменные, башни, сплетенные из стеблей, листьев, и цветов... Все мы в детстве лили сталагмитовые башни на морском берегу, и все мы знали, что их смоем волной, — их и смыло. И только один человек в это не поверил. Он пришел утром — и башня стояла. Он пришел через много лет — и башня стояла. Значит, дело не в материи и не в материале — дело в вере.

"Когда я построю свой дом, у меня не будет плоских потолков. Они будут натекать, как в пещере..." До меня Улитка не знала про Гауди.

Мы бегали вокруг Искупительного храма Святого семейства, как термиты перед термитником. Точнее, бегал я, Кармен мудро не мешала мне быть неофитом. Все это она пережила в детстве, а потом заново в юности, и теперь ей здесь было неинтересно. Готике, подновленной модерном, она предпочитала саму готику. Она считала, что Гауди — это баловство, каприз, пусть и гениальный. Гений не должен капризничать, считала она. Прихоти чувств она предпочитала разум. Она много лет плыла по волнам чувств и еле-еле выбралась на твердый берег рассудка. Современным интеллектуалам Гауди не близок. Так вот откуда у Сальвадора Дали его оплывшие, как забытая свеча, формы. Дали еще жив, он живет в ста километрах от Барселоны, в замке, вместе со своими картинами, ему восемьдесят четыре, семь лет назад умерла его жена, она была старше его, и она была русской, он звал ее Гала и часто писал ее странное, почти некрасивое лицо. Без нее он стал быстро угасать — она вела его по жизни. Жены из России были у Пикассо и у Леже, у Ромена Роллана и Арагона... Если бы у Виктора не было Арины...

Мы с Кармен поднимаемся в одной из фаллических башен, ввинчиваемся в нее, а она вместе с нами ввинчивается в небо, слева направо, по закону кукурузного початка и галактической спирали. Ни разу в этом храме я не вспомнил о Боге. Вернее, Бог был, но другой, — земной, веселый, во имени Пан. Однажды, когда мне было лет семнадцать и я был занят открытием мира, то есть осознанием факта своего присутствия в нем, так вот однажды утром я проснулся с космическим ощущением какого-то своего великого открытия. Оно было связано с Богом. Я

проснулся с открытием Бога. Это был мой Бог, я нес его в груди, грудь же моя равнялась Вселенной — последняя вся помещалась там и представлялась мне чем-то вроде часового механизма: все было в движении, хоть и с разной скоростью, все было взаимообусловлено и одно двигалось относительно другого, и это великое множество разнонаправленных движений имело некий постоянный центр, что-то вроде оси. Ось и была открытым мною Богом. У Бога было две руки, он обнимал ими Вселенную, как стрелки — циферблат, он проводил ладонями по лику Вселенной, открывая и закрывая планеты. И, помню, в восторге я сказал тогда себе: "Бог — это упорядоченное движение". И если само наличие движения в мире мало меня занимало, то факт его упорядочивания представлялся мне божественным. Я был счастлив в тот день и не дал себе труда подумать, что с таким же успехом Бога можно было бы вывести из закона всемирного тяготения...

То был действительно Пан, владыка лесов и пастбищ. На ночь он прятался в одну из башен Искупительного храма, превращаясь в улитку. Улитка сладко спала на вертикальной стене, презрев закон всемирного тяготения. Где-то тут прятались и дриады. Улитка часто рисовала дриад на ветвях деревьев. Она конечно, была из свиты покровителя охотников и пастухов.

Солнце уже скрылось за горы Тибидабо, но небо еще не померкло, и серые шерстяные облачка сбивались в кучку на его окраине. В каменном лесу собора вверх-вниз сновали парочки, выглядывали из дупел, и их глаза мерцали, как у ночных зверушек. Далеко внизу лежала Барселона, а под нами — ее район Энсанче, там уже загорались первые вечерние огни, и крыши автомобилей на стоянке, как мелкие лужицы, отражали небо.

Вечер мы провели дома. Кармен готова была еще куда-то меня вести, город был неисчерпаем, и каждый поворот что-то сулил. Но я вдруг почувствовал, что еще вернусь сюда, и успокоился. Надо было просто жить. А жить — это не спешить. Надо было разглядывать этот город в ритме жизни. Вечером можно было посидеть дома и перелистать семейный альбом. У Кармен был прекрасный семейный альбом. Он был прекрасно срежиссирован, жизнь в нем была организована под знаком того, что Кармен о ней думала. Там была ее система и ее взгляды. Мне показалось, что нынче Кармен только тем и занималась, что размышляла о жизни. Что она как бы ее уже прожила, и думать о минувшем ей было интереснее, чем жить дальше. Мне показалось, что на данный момент времени мы с Кармен схожи, и различие наше лишь в том, что и минувшая моя жизнь прошла под знаком робости — жизнь как постоянное вычитание из нее того, что не получилось. Но кто сказал, что для души процесс вычитания менее благотворен, чем обратный? Мы с Кармен были тихи и спокойны, потому что были равны. Не помню, чтобы она особенно интересовалась моим прошлым — мое прошлое было на моем лице, — да и о своем она рассказала вскользь между ужином и сном, перелистав альбом и отметив десяток фотографий, выстроивших минувшее. Притом мы пили вино, а вино делает память короткой, и из ее рассказа я почти ничего не запомнил. Помню только, что отец у нее каталонец, а мать из Андалузии. И это оттуда, с юга, столько черных кружев в наряде бабушек и тетюшек. За прабабкой зияла пустота — ни дагерротипов, ни миниатюр, род был бедный, крестьянский. Но и бедные роды в Испании помнили себя лет на пятьсот вглубь. У испанцев долгая семейная память, поэтому они столь самонадеянны. У них такие мощные корни, что целые поколения считают себя вправе не утруждаться, а шелестеть в свое удовольствие на ветру вечности. Склонность к праздному созерцанию жизни свойственна и русским, но они не умеют устраивать из этого праздник. Для праздника им роковым образом не хватает внутренней свободы.

В альбоме Кармен были сидящие прабабушки и пратетушки в мантильях и прямостоящие, будто проглотившие шпагу, их мужья. Еще примечательное зрелище — это фотографии твоей подружки в нежном возрасте. В лице ребенка никаких человеческих страстей — в лице его космос, выражение его универсально, как у Будды. Но вот взгляд все уже, уже, теплее, человечнее, зависимее, первый поцелуй, первый мужчина, пока еще все первое, — вот женщина, и она земная, она готова быть возлюбленной, женой, матерью, она умеет делать тортилья де пататас и знает три языка; почему же никто не ведет ее в храм под венец? Какая-то запутанная и долгая история любви, треугольник, она и два брата — если б это не было правдой, я бы не осмелился на такой сюжет, — но было, два брата, старший и младший, из которых младший никогда не был в России, а старший, от того же отца и той же матери, вернулся из России лишь десять лет назад. Наконец-то я понимаю, откуда тяга к русскому... Младший брат был лучше, много лучше, но он был вторым, сначала она познакомилась со старшим, он приехал в Барселону как к себе домой, потому что это

была родина его родителей, хотя сам он родился во Франции и французский знал не хуже испанского, и родители, испанские коммунисты, даже там, в Париже, чуть не до самой смерти Франко жили как бы в подполье и при каждом звонке или стуке в дверь были готовы к самому худшему; подумать только — двадцать шесть лет ежедневной готовности к расправе, и Анхель, так его звали, рассказывал ей, как его, малыша, пятилетнего карапуза, учили, что, если во дворе у него спросят, где его отец, он должен отвечать, что отца у него нет. И он так выучился говорить, что отца у него нет, хотя отец жил вместе с ними, что и сам стал считать его не совсем отцом, как бы ненастоящим, — иначе Анхелю не надо было бы врать, а отцу прятаться, красться на цыпочках к двери и смотреть в глазок, в то время как мать спешила к черному ходу, проверяя, нет ли там засады. И когда двенадцатилетнего Анхеля отправили на средства подпольной испанской компартии из Парижа в Москву, он испытал великое облегчение, потому что только в Москве он понял, что отец у него человек, которым надо гордиться.

А потом умер Франко, режим одряхлел, компартия вышла из подполья и... развалилась. Кто-то тогда пустил шутку: для того чтобы развалить компартию, надо было ее легализовать. Увы, свет и воздух политической свободы сделали с организмом партии страшную штуку — началась стремительная реакция деления, как в растительной клетке; коммунисты погрязли в междоусобице, развеяв на ветру весь свой боевой пыл. Да, Анхель во-время понял, что с ними ему не по пути, и в Испанию он вернулся просто испанцем, знающим, что такое прокатные станы, а также русский язык, почему Виктор и взял его в свою команду; а до того Анхель прозябал в Барселоне, в родительском доме, без работы и без своего жилья, рядом со впервые увиденным младшим братом, и забытый парижский кошмар ожил в нем снова. Как любовник Анхель был мучителем — он мучил и одновременно завораживал Кармен своей перекрученной судьбой, ей хотелось ему помочь, сделать из него испанца. А потом вышел на сцену возмужалый, отслуживший в армии брат Анхеля Фернандо, красивый, чистый, благородный, и еще не скоро Кармен разобралась, что если и любит Фернандо, то только за ту же кровь, что текла в жилах его старшего брата. После Анхеля у нее был Луиджи, итальянец, художник. Она бы и сейчас была с Луиджи, если бы он не был таким сумасшедшим. Что значит сумасшедший? Сумасшедший, и все. Бешеный. Без тормозов. Везувий. Но хороший художник. Вот книга с его иллюстрациями — "Приключения Робинзона Крузо". Он сам себя нарисовал. Да, он такой. Могучий, лохматый, бородатый. Прекрасный парень. Но ужасный. Horrible... Она только полгода как от него с грехом пополам отделалась, и снова вернулась в тишину и спокойствие. Нельзя жить с Везуviем каждый день. К Везувию можно только съездить на экскурсию. Он не давал ей жить ее собственную жизнь. Он поселял ее в свою, где вспоминал про нее между приступами вдохновения. Она была его лучший отдых. Рядом с ней он быстро восстанавливался творчески. Она снимала его стрессы и вдохновляла для новых подвигов. Он и живет как Робинзон Крузо. Ему необходимо постоянно самоутверждаться, у него это получается, в этом он обретает свою радость жизни. Женщина ему не нужна, он даже не подозревает, насколько ему не нужна женщина. Ему, как Робинзону, как Силькерку, достало бы козы. Она не могла быть его козой. Он никак не мог взять это в толк. Нет, кажется, под конец он все-таки понял, иначе бы и сейчас ломился в дверь. Да, он живет где-то здесь, в Испании, Испания ему нравится больше Италии, она больше отвечает его необузданной натуре, к тому же в Италии нет корриды, а он помешался на корриде.

В эту ночь любовь у нас получалась лучше, чем в предыдущую, и Кармен это отметила. Я просто старый, сказал я. Ты вчера просто устал и перенервничал. Пожалуй, сказал я, вспомнив про Бианку. Я не люблю молодых, сказала Кармен, я не люблю секс с молодыми, я не люблю их слишком тугие дубинки, они делают только больно, они всаживают в тебя свою дубинку, как будто собираются прикончить, они смотрят на тебя как на добычу, это не секс, это совсем не тот секс, который она любит. А много у тебя было мужчин, спросил я, когда мы отдыхали и она призналась, что ей давно не было так хорошо. О, я не знаю, сказала она. Ну, пятьдесят, сто... провоцировал я ее, прикидывая свои собственные встречи. Что ты, сказала она. ТЫСЯЧИ. Я не знаю сколько. Их были тысячи. И негры? — спросил я потрясенно. Само собой, сказала она. Много негров. Тебе нравились негры? Да, негры очень хороши в сексе. У них прекрасные данные для секса. И они очень нежны. Они мощные и нежные. Они умеют отдаваться сексу целиком. Без всяких комплексов. Они как дети. Я уже пожалел о своем вопросе. Каждому хочется быть исключением. Мне тоже хотелось. Когда мы снова занялись любовью, мне хотелось быть лучше, чем негры. Я отнимал ее у них, а это раззадоривало чувства. Когда тебе сорок пять лет, в сексе

психология соревнуется с физиологией. В молодости с тремя разными женщинами я вел себя одинаково, теперь же с каждой женщиной секс был совсем иным. Когда-то ведь и мне казалось, что главное — это продемонстрировать свою мощь. Только с умеренностью пришло ослепительное ощущение гармонии. О, я тебе раскрылась так, как мало кому раскрывалась, сказала Кармен, когда мы снова отдыхали. Возможно, она сказала правду. Какой ей был смысл лгать? Я снова потянулся к ней, но она сказала — нет. И я сразу заснул. Мне снились испанки. Их путь к постели был короче и проще, чем у русских женщин. В них было меньше тайны, но больше соучастия. Испанка не считала, что ее берут. Она сама тебя брала, если ты ей нравился, хотя, как все женщины мира, и скрывала это. Такой вот смешной сон, априори.

Ночью кто-то звонил Кармен по телефону, набиваясь в гости. Ну и публика, двух дней не потерпеть... Утром я сел за ее портрет. У меня с собой были мелки. Только в Испании я обнаружил, что рисование мелками вполне заменяет сочинение стихов. Такая же радостная, до самозабвения, глупость. То есть, может, и не глупость, если считать, что в твоём существовании есть хоть крупица смысла. Кармен сидела передо мной в обрамлении черных густых волос, про которые нельзя было сказать, что они падали ей на плечи, потому что они не падали, а как бы держались на весу, спиралька за спиральку, — она сидела передо мной, спокойная, добрая, разделяющая со мной мой идиотский порыв, и я, торопясь передать судорожным мелком свое неясное чувство, как бы пытаюсь задержать стремительно проходящее сквозь нас время, я вдруг отчетливо осознал, что это мы уже начали прощаться. Впереди были день и ночь, а может, еще несколько дней и ночей, но с каждым цветным штрихом мотив прощания становился все очевиднее.

Портрет ей понравился. Наконец-то она с уверенностью может сказать, что он имеет к ней отношение. Хотя, конечно, это льстящий портрет. Луиджи тоже ее рисовал, она может мне показать, только ей каждый раз приходится объяснять, что это она. Луиджи не затруднил себя изобразить что-либо похожее, он занят только собой, он-то действительно похож, а она — это куча цветных стружек в углу листа, даже неясно — древесных или металлических. Так он ее чувствует, объяснял ей Луиджи. Вот уж кто ей не льстил. Рулон плотной бумаги, который не без сопротивления позволил себя раскрыть, с недовольным гулом сам собою снова свернулся, и она бросила его в угол за шкаф.

— Ну что, идем?

— Подожди, — сказал я и шагнул к ней. Я обнял ее, прижал к себе и положил голову ей на плечо. Плечо было доброе, теплое, спокойное.

— Что? — спросил ее голос.

— Ничего...

— Что с тобой?

От звука ее голоса, доброго, бархатного, слезы подступили к моим глазам, и я еще сильнее прижался к ней, не давая взглянуть в мое лицо.

— Ох уж эти русские, — вздохнула она. — Mystic guys...¹⁵

Видимо, Анхель для нее так и остался русским.

Вечером мы отправились в китайский квартал, в самое чрево "грязной" Барселоны. Я не просил Кармен об этом, она сама повела меня туда. Она обещала провести меня по местам своей юности. Здесь было очень похоже на улицу Сен-Дени в Париже, только взвинченнее и агрессивнее. Но запомнились не проститутки, а те, кто ради них стекался сюда со всех концов города, мужчины, толпы мужчин.

¹⁵ Mystic guys - Загадочные ребята (англ.)

Я крепко держал руку Кармен, готовый ее защищать, но лицо ее было спокойно, будто нам ничто не угрожало. Возле раскрытой двери одного из притончиков начиналась заварушка — что-то вроде предисловия к драке, когда соперники перебранкой доводят себя до необходимой кондиции: какой-то верткий испанский юноша задирает высокого широкоплечего блондина, по виду американца или скандинава. Они еще не обменялись ударами, но уже толкались. Высокому блондину драться не хотелось, хотя страха в нем не было. Драться в чужой стране — дело заведомо проигрышное. Вокруг стремительно стягивалась толпа, как в воронку. Я решительно потащил Кармен дальше. На перекрестке нас обогнал блондин. Он приостановился, глянул назад и неспешно, не слишком испуганно побежал направо, а мы свернули налево. Вслед за ним на перекресток вылетел его противник, свирепо глянул туда-сюда, будто жаждал крови, и повернул назад, где перевес сил был на его стороне. Этот эпизод напомнил мне мое послевоенное детство, когда двор воевал со двором и были "хулиганы", и "блатные", и ножи, так называемые "финки", ни разу на моей памяти не пущенные в ход.

— Зайдем сюда, — сказала Кармен, и мы вошли в темноватое обшарпанное помещение с высокими закопченными потолками. Судя по всему, эта таверна знавала лучшие времена — столики были мраморные, на стенах в облупленном позолоченном багете висели копии картин Веласкеса. Эти масляные копии его водоноса, его кузнецов и пьяниц преследовали меня по всей Испании. Мы сели за круглый столик у стены, появился официант, и я заказал пива. Почти все столики были заняты, но народ толпился и перед экраном цветного телевизора — кто с фужером вина, кто с чашкой кофе, а кто прямо с бутылкой. Публика была бедная, но все держались с достоинством богачей — равные в своей бедности, они были одинаково богаты.

— Кто они? — спросил я, оглядывая посетителей, имевших как бы общее выражение лица — выражение доброты и простоты.

— Обычные бедные люди, — сказала Кармен. — Без работы и без особых надежд на будущее. Я люблю здесь бывать. Здесь мне всегда хорошо.

Но здесь были не только безработные, здесь были и просто очень пожилые люди, которые уже не могли ни работать, ни рассчитывать на работу. Никогда не видел в нашем кафе стариков и старух — здесь же было их пристанище. Таверна всегда была пристанищем для испанца. С юности все свободное время он проводил в таверне, в общении с такими, как он сам. И судьбу его можно было определить по тем местам, какие он посещал. Но как бы она ни сложилась, он всегда сидел за столиком или опирался на стойку бара среди равных.

Из глубины темного помещения вышла на свет старуха, держа толстый старинный альбом для семейных фотографий. Она подошла к нам и протянула его, сказав что-то по-каталонски. Кармен покачала головой, и старуха спокойно пошла с альбомом дальше. Руки ее были написаны Веласкесом.

— Что она хотела? — спросил я.

— Чтобы мы купили ее альбом. На самом деле она просила милостыню.

— Ну так надо дать, — полез я в карман за мелочью.

Кармен покачала головой:

— Просто так она не возьмет.

— Но я видел берущих.

— Это наверняка были молодые... Сегодня у молодых меньше гордости, чем у стариков.

Она закурила, следя за старухой — как та переходила от столика к столику. Никто ее альбома не купил. А если б купил, с чем бы она ходила...

— Возможно, и я такой буду, — сказала Кармен. — Это мое будущее. В старости я приду сюда насовсем. Здесь добрые, хорошие люди. Они поддерживают друг друга. Здесь мне не будет страшно. Я приду сюда. Я приду сюда умирать.

Дома была бутылка "Мартини". Кармен пошарила в холодильнике, но к "Мартини" ничего не нашлось. Да и не обязательно. "Мартини" можно пить и без ничего, вернее — с ничем. Кармен поставила пластинку с Жильбером Беко и наполнила два высоких хрустальных стакана. Беко пел свои песенки, по которым она училась французскому, и она подпевала. У нее был хороший прононс. Она была европейской женщиной. Она подпевала Беко и подливала "Мартини" мне и себе. Себе она подливала чаще, потому что мне не хотелось пить. Я думал, что мне делать. Она сказала — останься, хоть на неделю. Я сказал, что у меня кончаются деньги. Пять тысяч песет я выложил в ресторане. Оставалось полторы тысячи на такси от "Чамартин" до дома Виктора. Хотя там, может, хватит и половины. Но Кармен сказала, что деньги ерунда. Она сказала, оставайся, если хочешь, — завтра она добудет денег. И я ничего не ответил. Я думал. Или не думал, надеясь, что это решится само собой. Просто наступает миг, когда все решается само собой. А Кармен все ходила со стаканом "Мартини", перешагивала через мои ноги, подпевала Беко, садилась рядом, обнимая меня за плечи, снова вставала, ища бутылку, которую она каждый раз оставляла в новом месте. Она уже была пьяной, но не понимала этого. Ей хотелось напиться, и она спешила туда без меня. Там я ей был не нужен. Беко спел что-то явно не в тему, и она зло хохотнула. Голос у нее стал хриплый и чужой. Она покачивалась на грани между тем миром и этим, где был я.

— Не пей больше, — сказал я и крепко взял ее за руку.

И она сразу сникла, как будто ждала, что кто-нибудь ее остановит. Мы легли и так занимались любовью, что с верхней полки мне на спину свалилась большая матерчатая обезьяна, которая была у Кармен с детства.

— Бедный, ты так вздрогнул... — тряслась от смеха Кармен.

— Я думал, это твой Луиджи, — сказал я.

Утром она пошла на работу. Мы простились у станции подземки на бульваре Грасиа.

Под вечер мощный тихий "Тальго" подъезжал к Мадриду. На фоне невысоких серо-синих скал вспыхивали и оставались позади островки деревьев с желтой листвой, будто еще два дня назад она была зеленой, затем поезд втянулся в нищую городскую окраину, самочинно застроенную развалюхами, и наконец впереди сверкнули чистые плоскости красивого вокзала "Чамартин".

—Я СОСКУЧИЛАСЬ, — звонила мне Улитка.

— Тогда я вечером приеду.

— Давай. Только у меня народ будет. Лилька придет с подругой, потом еще кто-то, краснодеревщик придет — он взялся реставрировать мои стулья. Вечером действительно набежал народ, большей частью мне неизвестный. Краснодеревщик оказался молоденьким круглоголовым блондинчиком, мастером-преподавателем в ПТУ, после армии, неженатым, пишущим стихи, — Улитка обещала ему, что я их посмотрю; "кто-то" был чернявым тридцатилетним увальнем, закончившим юрфак, но нигде не работавшим, Улитку он знал давно и пришел к ней, чтобы обговорить деловое сотрудничество: она пишет картины, он их сбывает, кладя в карман десять процентов комиссионных, — повеяло первым рыночно-кооперативным ветерком, тут и там стали открываться выставки с приподнявшим голову авангардом, и юрист сколачивал круг художников, на которых можно было сделать ставку; гигантская смазливая Лилька, прибывшая в город из провинции, чтобы стать кулинаром, уже бросила под воздействием Улитки свой техникум и теперь рассчитывала попасть в ночное варьете ресторана "Нева", где работала ее подруга, которую она привела. На вид подруге было лет восемнадцать, маленькая ушастая головка на высокой шее с профессиональным балетным поставом, подругу звали Леной, и, как мне успела нашептать Улитка, она собиралась снять квартиру, чтобы зарабатывать на мужиках, прежде всего на

иностранцах — то бишь "фирме". "Она пришла у меня деньги в долг просить, — сказала Улитка, — а я ее отговариваю. Она думает, мне жалко — а мне ее жалко. Нельзя так начинать — потом уже не поправишь. А она думает, что заработает, оденется и снова станет чистенькой".

От курева, магнитофонной музыки и разговоров под стук деревянного молотка краснодеревщика я ушел в Улиткину спальню, лег на кровать, взял книгу.

— Тебе скучно с моими друзьями? — прибежала Улитка. — Они мне тоже надоели. Я их скоро прогоню.

— Да что ты, — сказал я с благодарностью. — Все прекрасно. Я просто немного устал.

— Ну ладно, полежи. Я к ним пойду. Можешь у меня сегодня остаться.

Она ушла, а я попробовал читать "Мастера и Маргариту", ее настольную книгу. Но не читалось. "Забавно, если сейчас придет Бадри", — вдруг подумалось мне. Я попробовал представить, что же в таком случае будет дальше, но не представлялось. Интересное имя, раньше не встречал, Улитка говорит — персидское, что-то связанное с восходом солнца. Отец — грузин, мать — русская, из-за этого у отца были в богатом его роду неприятности, он дал в Первый медицинский большую взятку за сына, чтобы приняли, — хорошая семейка; иногда у Улитки на столе появляются какие-то экзотические яства, мясные или фруктовые, ясное дело, из Грузии; раньше она мне говорила, что купила на рынке, — на наших рынках такого не продают даже грузины. К одиннадцати вечера гости стали расходиться, и вскоре мы остались одни. Последним ушел рыхлый чернявый юрист.

— Ну так ты подумай... — многозначительно сказал он Улитке, после того как церемонно, за руку, попрощался со мной.

— Ты ему понравился, — сонно улыбнулась Улитка, положив мне руки на плечи. — Ты, серебристость...

— Что значит "я — ему", кто он такой? — спросил я.

— Никто, — снимая руки с моих плеч, сказала Улитка. — Пожалуйста, не думай ничего плохого. У меня ничего с ним нет. Ты же слышал, он хочет мне помочь с выставкой, хочет стать моим торговым агентом. Знаешь, он головастый. Он может что-нибудь придумать. Ты зря обижаешься. Вот и он заметил, что ты очень ревнивый. Он просил передать тебе, чтобы ты не волновался — у нас с ним чисто деловые отношения. Он ведь мне очень помог, когда я приехала в Ленинград. Я же была одна, как кутенок, без крыши, без угла. Тогда у нас с ним что-то было, но это все. А потом он исчез. Два года я его не видела. А тут вдруг звонит, приходит — такой обрюзгший, я его едва узнала. Говорит, что лечился от алкоголизма. По-моему, он к женщинам равнодушен; даже тогда, помню, только встанет после этого, закурит и продолжает разговор с того, на чем остановился. Он очень много знает... Ну, опять нахмурился, опять ревность. Ты же мне обещал. Сам говорил, что это унижительное чувство. Я, например, ни к кому тебя не ревную. Можешь приходить ко мне с кем угодно. И вообще можешь изменять мне. Я это не считаю изменой, я на это смотрю нормально...

— Это потому что ты меня не любишь, — сказал я.

Улитка вздохнула, потерла глаза двумя руками, зевнула, тряхнула головой, словно прогоняя сон, и сказала виноватым голосом:

— Я что-то тоже устала... Хочется побыть одной. Ты уж извини — оторвала тебя от работы, позвонила. Ты бы писал стихи... Я очень хотела тебя видеть. — Она снова зевнула и потрясла головой. — Еще эти друзья... Господи, как я от них устала. А завтра еще Бадри должен прийти, с приятелем. Я тебе про него говорила. Такой же высокий, мы его зовем "Тростник". Какое-то у них дело ко мне.

— Да, я пойду, — сказал я. — Я тоже что-то не в форме. До завтра.

— Я тебе сама позвоню, — сказала Улитка. Это означало, чтобы я ей не звонил, не проявлял инициативы. Я и не проявлял. Целый день и целый вечер и ночь телефон молчал. Ночью, точнее в четыре часа утра, я проснулся как от толчка. Как будто меня ударили по лицу. Сердце колотилось. Он там, понял я. Он с нею. Нет, сказал я себе. Он приходил с другом. По делу. И он ушел. Иначе бы она не стала мне говорить. Я поднялся с постели, вышел на кухню, выпил холодной воды из-под крана и лег. Но долго не мог заснуть. Он там, там — колотилось во мне сердце.

И на следующий день она мне рассказывала по телефону:

— Ты знаешь, он пришел такой печальный, как в воду опущенный... Ну, конечно, с другом. С Тростником. Они вместе пришли. И он так на меня смотрел — с таким страданием... Похудел, одни глаза. Таким я его еще не видела... Представляешь, он чувствует тебя. Вообще вы оба чувствуете друг друга. Когда ты у меня был последний раз, когда же это — да, позавчера, когда все были, Саша-юрист и все остальные, — он, оказывается, тоже приходил. Он услышал у меня музыку, голоса, постоял у двери, выкурил сигарету и ушел. Я ему: "Почему же ты не зашел, я бы познакомила тебя с Игнатом". А он тебя боится. Я все ему рассказала про тебя и про нас с тобой. Я не люблю скрывать, ты же знаешь... Я рассказала ему все, думала — теперь он уйдет. А он сидит и молчит. Я говорю: "Что же ты не уходишь? Где твоя грузинская гордость? Теперь ты должен уйти". А он мне: "Я тебя люблю". Он сказал, что уйдет, если я сама его прогоню. Но я же не могу гнать человека. Меня и бабушка учила: бойся обижать людей. Это меня все обижают. Он сказал, что я ему могу изменять, что у него нет на меня прав. Представляешь, он даже считает, что я не буду виновата. Он только сказал, что если бы вошел в комнату, где я с кем-то, он бы этого человека убил, а меня бы не тронул... У него есть ключ от моей квартиры. Он как-то взял у меня запасной и не отдал. Теперь придется вставить второй замок.

— Он остался у тебя? — спросил я.

— Да, — тихо, но твердо ответила моя Улитка, решившая во всех случаях жизни говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды.

"А Бадри мы пожалеем?"

Мой противник побил меня моим же оружием. Что мне было делать дальше — другого оружия у меня не было. Но она же ничья. И она хочет быть со мной. А его жалеет. "По большому счету он мне не нужен". А я, выходит, нужен. Зачем я нужен ей? Я не знал. "Да", — сказала она, рассчитывая на мое всепонимание. И я понял. Я понял, что иначе быть не могло. Если бы могло быть иначе, иначе и было бы. Но что мне делать? Оставаться рядом с ней, дружить, покровительствовать, поддерживать ее талант? Она ведь талантлива. За талант можно простить многое. Лишить ее свободы — это значит отнять у нее талант. Она должна жить так, как может жить. Я могу принимать, могу нет. Я свободен в выборе. Я принимаю ее такой, какая она есть.

— Хочешь, приезжай, — сказала она. И я поехал. Ну да, он остался. Но это ведь еще ничего не значит. "Ой, он такой холодный". Но зачем бы ему оставаться просто так? Господи, что мне делать? Я без нее не могу. Мы оба без нее не можем. Она заколдовала нас. Нам бы прийти к ней вдвоем и вдвоем уйти, бросив ее ко всем чертям...

Улитка была тиха, нежна, полна внимания: "Я показала ему твое фото. Он все понял. Он принял, как есть".

— А ты мне можешь его показать?

— Ты его видел.

— Где?

— Вот, это его портрет.

Задумчивый юноша с твердой линией подбородка, молодой бог, Иисус Христос - суперстар...

— А фотография его у тебя есть?

Улитка молча кивнула, полезла в ящик стола и протянула мне фотографию, сделанную, судя по всему, ею же. Да, это был он, собственной персоной. Она не польстила ему в своем рисунке — он был красив подлинной мужской красотой. Он был красив, строен и высок, где-то под метр девяносто, он играл в баскетбол и был без пяти минут врач, и даже не терапевт, а хирург, специализирующийся на благородной хирургии сердца. И он любил Улитку, он любил ее так, что мог ей все простить, и было ему всего двадцать четыре года. А мне сорок пять, и мне понадобилась вся моя жизнь, чтобы научиться так, как он, прощать.

— Хороший парень, — сказал я. — Красивый. Почему ты не хочешь за него замуж? Вы красивая пара. Ведь он любит тебя.

— Ну и что, — сказала Улитка. — Он мне не нужен. Я ему об этом прямо сказала. Но он не уходит. Наверно, на что-то надеется. Но это бесполезно. Я ему говорю: "Бадри, давай я тебе найду красивую девочку. Я тебе все равно не подхожу. Тебе нужна хозяйка дома, она нарожает тебе детей, будет на тебя молиться: вах, вах, вах! А я тебе только жизнь испорчу". Но он меня не слушает.

И вдруг мне стало легко. Все правильно. Все идет правильно. Побеждает тот, кто умеет терпеть, — самый терпеливый. Я вытерплю все.

— Ну что, — повернулся я к ней с улыбкой. — Живем?

И Улитка, до этого момента чуть напряженная, зависимая, как бы чуть виноватая, расцвела, потянувшись ко мне, повисла на шее, по-детски подставляя губы — целовалась она только по-детски. Ах, родная моя, любимая, ах, родная моя! Кровь ударила мне в виски, затмила зрение, но я нашел в себе силы сделать шаг назад, разомкнуть ее руки. Нет, не сейчас. Нельзя сейчас. Есть какие-то негласные законы. Нельзя через них переступать. И Улитка тоже это поняла — сдержала свой безотчетный порыв, усиленный, наверно, контрастом, обновляющим чувство. Мы попили чаю. Я поиграл на пианино и уехал.

Любовь — это самоотречение. Такой любви я еще не знал.

Вскоре Улитка мне сказала:

— У Бадри большие неприятности. Очень большие. Помнишь, он брал у меня деньги. Я думала — так, для дела: купить, продать. А он, оказывается, проигрался в карты. И ему сказали: не отдашь завтра деньги — умрешь. Оказывается, он играет на деньги. На большие суммы. В тот раз он проиграл три тысячи. И если бы я не дала, его бы убили. Но он мне ничего не сказал. А тут на днях он зашел, всего на пять минут, грустный такой, и говорит: "Если я исчезну, не удивляйся — значит, меня убили". И все мне рассказал. Там у них в гостинице "Прибалтийская" какая-то карточная мафия. И если кто не платит проигрыш, ему выпускают кишки. Это мне еще его тетя рассказывала. Она же на "скорой помощи" работает. Ее несколько раз туда вызывали. Она рассказывала страшные вещи: кровь, растоптанные внутренности... Если б она знала, что ее любимый племянник влез в это дело...

— Зачем ему деньги? — спросил я.

— Как? Он привык, что у него есть деньги. Не мелочь, а действительно деньги. Когда мы с ним ездили в Ригу (Господи, она и не помнила, что я этого еще не знаю), он на меня столько потратил — все, что у него было. Он привык жить широко. Папа у него миллионер. Но он у него не просит. А где студенту заработать? Вот он и играет. Я чувствую, я должна вмешаться. Должна что-то сделать. Если с ним что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Я расскажу его тете. — Улитка нахмурилась, покачала головой. — Он, конечно, мне этого не простит. Мы поссоримся, но я должна его спасти. Он потом поймет. Да, решено, я все расскажу тете. Я должна на это пойти.

Помню, в тот миг я пожалел, что не играю в карты и что моей жизни ничто не угрожает. Что я мог сделать? Вернее, что мне оставалось делать? Мне оставалось оставаться на прежней высоте или даже набирать новую. Бадри жил у тетки где-то на окраине города в районе новых станций метро. Ленинградская его тетка была моей ровесницей. С мужем она давно развелась и жила

соломенной вдовой, воспитывая сына, которому исполнилось семнадцать лет, да своего красавца племянника, у которого пользовалась, по грузинским традициям, авторитетом. Тетка могла наставить его на путь истинный, но для этого нужна была истина, которую Бадри от нее скрывал. Улитку тетка знала хорошо — она ее вместе с Бадри и лечила. Улитка у нее не раз ночевала. Раньше эта женщина, врач "скорой помощи", с которой дружит Улитка, существовала в моем сознании отдельно от Бадри, теперь они соединились — вот и вся разница. Тетка считала Улитку невестой своего племянника, была убеждена, что лучше ему не найти, при мне Улитка несколько раз разговаривала с ней по телефону, длинно, "за жизнь". При мне же Улитка приглашала ее в гости, и, кажется, та приезжала, но мы с ней ни разу не столкнулись, хотя, опять же, по словам Улитки, тетка знала о моем существовании, о нашем треклятом треугольнике.

И вот Улитка сказала мне, что договорилась с ней о встрече, предупредила об исключительной важности разговора, так что тетке пришлось отложить свои дела, она ждала Улитку в шесть вечера, когда дома больше никого не будет. День был мерзкий, слякотный, с огромными грязными лужами, отороченными коричневатой снежной кашей. Я сидел у Улитки и пошел ее провожать. Трамвая все не было, Улитка нервничала — надо было обязательно переговорить до прихода Бадри, — а тут еще час пик, толпа из метро, как паста из тубика... Я поднял руку и остановил такси.

— Я тебя отвезу, — сказал я.

— Какой ты благородный, Игнат, — сказала Улитка.

За такие слова я готов был везти ее хоть на край света. И мы понеслись куда-то к черту на кулички, где я никогда не бывал, да где и города-то, по сути, не было — разбитые дороги, раздрыганные перекрестки, убогие нищенские фасады каких-то фабричонков с громкими названиями "Рассвет", "Возрождение" — это по-нашему, — фонтаны из-под колес встречных машин, словно мы плевались друг в друга. Но это там, снаружи, в том мире, из которого я себя исключил, как и Улитка, а мы сидели здесь, в тепле и относительном комфорте, Улитка была рядом, тепло ее тугого бедра, ее тонкая смуглая сильная кисть, покоящаяся в моей руке, отдыхающая в ней, передоверившая ей, то есть мне, все свои тревоги и заботы. Разве не так? Мне ведь тоже теперь безразличен этот человек по имени Бадри. И судьба его безразлична, и я хочу, чтобы у него все было хорошо, и если Улитка как-то может повлиять из это, то, естественно, она должна это сделать. И все же я чувствовал Улиткино напряжение, ожидание грядущего конфликта, который, возможно, что-то навсегда изменит в ее отношениях с Бадри. Как изменит — в мою пользу или в его? Мне ли не знать, как привязывает общая беда, общее страдание. Господи, почему я не болен, почему у меня все так подозрительно нормально, ровно, бла-го-по-луч-но, несмотря ни на что? С тех пор как я выбыл из игры, у меня все благополучно. Может, то, что я считаю своей жизнью, на самом деле нежизнь? Только я об этом и не подозреваю? Может, исключить себя из общества — это перестать жить? И со мной уже произошли перемены, бессмысленный трагизм которых налицо? Может, уйти от общества — это обречь себя на духовное бесплодие? Но разве общество, в котором я жил, не бесплодно? Разве оно не выродилось? Мною двигал инстинкт самосохранения, я не хотел заразиться — только и всего. И вообще поиск истины, дух — это прерогатива единичного сознания, одиночек. Об этом и Швейцгер говорил. Он говорил, что новые духовные ценности создает только личность, но никак не коллектив. Это ведь так. И потом я не один. Теперь уже не один. Мы вдвоем — я и Улитка. Вместе мы можем многое, можем гораздо больше, чем по отдельности. И мы не мешаем друг другу, мы дополняем, а значит — усиливаем друг друга. И мы будем вместе. Всегда. Что бы ни случилось. И, сильные, мы способны помочь другим людям, многим. Вот и сейчас мы едем помогать.

— Кажется, здесь, — сказала Улитка, вглядываясь в серые корпуса двенадцатиэтажек, похожих скорее на каменные надгробия, чем на жилье, как сам район — скорее на кладбище. Я открыл дверцу, вылез и подал Улитке руку. Лицо ее было сосредоточенным.

— Я должна это сделать, — сказала она. — Хотя мы с ним, конечно, поссоримся, он может не простить. Ну ладно... поезжай. Здесь я сама.

— Может, мне лучше пойти с тобой?

— Ну нет. Зачем тебе в это ввязываться?

— Ладно. Я уезжаю. — И я просительно сжал ее руку у локтя. — Будь умницей.

Улитка кивнула.

— Позвони мне вечером, — сказал я, оставляя ее, садясь в машину. — Обязательно.

— Хорошо, — сказала Улитка и решительно пошла к дому, вглядываясь в верхние этажи, будто оттуда кто-то смотрел на нас.

Она позвонила мне поздно, в двенадцатом часу.

— Добрый вечер, — сказала она. — Как ты там?

— Я-то нормально, ты как? — сказал я.

— Тут тоже все нормально, — уклончиво сказала она стесненным голосом, как если бы ее слышали. Так оно и было — я различал в трубке фон другого разговора.

— Бадри пришел? — спросил я.

— Да, — сказала она. — Я потом расскажу. Все. Пока...

— Ты что, там остаешься?

— Да, — сказала она.

— Нет, — сказал я, — пожалуйста, ты должна уехать, я тебя встречу.

— Я не могу, — сказала она. — Вообще... тут мне трудно говорить. Я позвонила, потому что ты просил. Пока. Я вешаю трубку.

— Нет! — крикнул, простонал я. — Нет, пожалуйста! Не оставайся там! Ты не должна оставаться!

— Игнат, если бы я знала, что ты так... Ты же мне сказал, что все понимаешь... Я кладу трубку. Тут... Я больше не могу... — И я услышал рядом с ней недовольный мужской голос, конечно Бадри.

— Умоляю тебя! — закричал я. — Всем святым на свете! Умоляю тебя, не оставайся с ним! Ложись вместе с теткой! Я умоляю тебя, не будь с Бадри ночью! Я умоляю, слышишь, умоляю! Ты не должна!

— Хорошо, — ответил мне мертвый Улиткин голос, и в трубке, раздались частые гудки.

Я уткнулся лбом в прохладный панцирь телефона. Что же это такое! Я не вынесу этого! Господи, помоги мне!

Я бы написал, что боль была непереносимой, но это неточно, потому что ведь я ее перенес. То есть, куда-то перетащил, с одного места на другое, и там оставил. Вместе с самим собой. Настало утро, но света не прибавилось, и небо было ровно с овчинку. Меня бил озноб, и дико болела голова. Я смерил температуру и с удовлетворением убедился, что и душевную боль можно измерить — она была на целый градус выше душевного покоя. Я сообщил на работу, что заболел. Матушке сказал, что у меня библиотечный день. Вид у меня был смурной, но я давно привык камуфлировать свои страсти-напасти под ночное вдохновение. Ага, сочинял всю ночь. И вправду, рассудок мой сочинял в полусне какой-то мерклый бред, что-то вязалось, вязалось, между верхом и низом, и обрывалось то там, то здесь и снова вязалось и обрывалось без всякой надежды на то, что этот почетный труд будет когда-нибудь закончен. Раньше я летал, еще совсем недавно, года

два как перестал, а раньше жил во сне свою вторую летательную жизнь, то есть жизнь летающего человека, при том что я оставался самим собой, вот только умел как-то так подтянуть мышцы живота, сделать такое волевое усилие, что в результате медленно отрывался от земли, от пола. Почему-то чаще всего я летал в больших комнатах — отрывался и невысоко, метр-два-три, повисал в воздухе, а мог и перемещаться, не быстро, но быстрее, чем шагом, при этом ничего вдобавок не делал, не размахивал руками, а только наклонял корпус вперед... Во сне я знал, что все удивляются моему дару, но терпят его, как не приносящий никакого вреда. Ну, летаешь и летаешь... Мне же очень важно было сознавать, что в любую минуту я могу приподняться над землей. А тут будто я взлетел под самый потолок, и влип в паутину и повис между верхом и низом, и мне сказали — это твое, ты тут главный, охраняй и поддерживай, и я плету, плету, а оно рвется, я чувствую это вздрогом моего невесомого тела, то тут рвется, то там, я не хочу висеть, ведь это не просто так, почему мне не пошевелить ни рукою, ни ногою, почему так больно под сердцем? Ведь это меня распяли, вот оно что...

Сначала я звонил Улитке через каждый час, а как стало темнеть — через полчаса, но только в седьмом часу вечера трубку подняли, и ее голос, ровный и немного усталый, сказал:

— Алё!

— Здравствуй, это я, — сказал я. — Как дела, как себя чувствуешь?

— Это ты как себя чувствуешь? — воскликнула Улитка.

— Я нормально.

— Правда?!

— Говорю — нормально.

— Нет, правда?! — Как ей этого хотелось...

— Вот те крест.

— Ну хорошо. А то вчера ты меня огорчил. Я же поверила тебе, что ты все понимаешь. Если бы я знала, что ты...

— Да все нормально. Ну, сорвался чуток, с кем не бывает. Но тут же взял себя в руки.

— Что-то мне не очень нравится твой голос. Я хочу видеть тебя, ты приедешь?

— Угу.

Какой я идиот! Чего я только не нагородил! Я осторожно, бережно положил трубку, спазмы душили меня, слезы катились из глаз.

Вечер выдался тихий, стало подмораживать, мелкий снежок принялся и прекратился, и в разрывы облаков недоуменно глянули на меня две звезды. Машинально я поискал третью.

Улитка, подкрашенная явно к моему приходу, сняла с меня куртку, посадила за стол, налила чай, пододвинула мед:

— У тебя совсем больной вид...

— Я страдал, — сказал я.

— Так нельзя, Игнат.

— Я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Вчера не мог, а сегодня справился.

— Ты меня подводишь...

— Прости.

— Это ты меня прости. Все из-за меня, я понимаю. Но в чем я виновата? Пока я иначе не могу, я тебе об этом сказала.

— Да. Только я не ожидал, что это так трудно. Я чуть не умер вчера.

— Какой у тебя был голос... Прости меня. Не хочу, чтобы ты страдал, но я не знаю, как быть. Скрывать плохо, не скрывать — еще хуже.

— Ничего, я вытерплю. Я все вытерплю. Я хочу быть с тобой.

— Иди ко мне...

— Я не могу.

— Иди ко мне. Хочу, чтобы ты был со мной. Чтобы ты был во мне. Хочу твоего тепла...

— Не могу. Так нельзя.

— Прости меня... Только так ты меня можешь простить...

Улитка потянула меня за собой одной рукой, второй поспешно снимая с себя то небольшое, что мешало нам соединиться, из непригнутой рамы тянуло холодком по плечам, спине, Улитка гибко распростерлась подо мной, закинула голову, закрыла глаза, но холодок тек наискось по спине, и не было во мне желания.

— Я не могу, — сказал я. — У меня не получается. Я так не могу. Я заболел.

— Бедный, — шептала она, обвив меня своими руками, — я заставила тебя страдать. Все из-за меня. Иди ко мне!

Ее шепот обжигал мне ухо, и, словно из-под неволи, я последовал за этим жаром, но душа моя оставалась холодна и со стороны сухими грустными глазами смотрела на нашу бедную, ничем не прикрытую близость, вымученную и вымороченную. "Больно, — морщилась Улитка, кусая губы. — Ой, больно... Все там стерто... Нет, не уходи... Я потерплю... все равно, все равно... Будь во мне. Только осторожней... Это я сама себя наказала". "Но так же нельзя, — сторонне, сам по себе думал я, послушно не отпуская Улитку. — Зачем это?" Потом мы лежали неподвижно, и из оконной рамы поддувало, но холод больше не ощущался, и я понимал, зачем то, что было. Это было ее возвращение ко мне. Наверно, окончательное.

Дорогой Игнаша! Все эти дни как в полете, в парении, на мягких, теплых, просторных крыльях. Итак, у нас сын, очень красивый, черненький, с длинными волосами, гениально выточенными ушами, милым разнорылым прямым носиком, с большими раскосыми глазами, пока очень темными, ротик мягкий, а когда орет, то как чемодан, подбородок явно выраженный, с ямочкой. Головка прелестная, бровки четкие, чуткие. Удивляет загадочностью, явной нерусскостью, глубоким взглядом. Тельце хрупкое, жеребьячи ножки с длинной прямой стопой, пальчики рук и ног длинные и совершенные. Попка сжатая, сухонькая. Весь тонок и поэтичен.

Счастлива! И хочу иметь много детей!

По рождении Наташи помню свое истерзанное тело, свое настолько не тело, что только и оставалось — душа. И чем больше мук принимало тело, тем выше становился дух, и я была постоянно наполнена тихим счастьем и тоской по маленькому существу, такому хрупкому, уязвимому, ненаглядному.

А теперь все иначе. Была измучена душа, но было сильно тело. Оно жило и функционировало, как у нормальной здоровой женщины. И я растерялась перед этим спокойным и уверенным состоянием. Не было никакой невесомости, все клетки были на месте. Мальчик был со мной с первых же секунд, рядышком, в своей кроватке, маленький, еще красненький, еще с чуть

припухшими глазами, с длинными стариковскими ручками, и я спрашивала себя: "Как любить?" Виктор был рядом и звонил всем по телефону, сообщая новость.

Наташу я любила сразу же, неистово, а с этим малышом у меня был момент отстранения. Но сейчас, когда я замираю над ним ночью, когда просыпаюсь утром для него, выполняя самую высочайшую из животных функций — кормлю, Господи, откуда столько любви в человеке!

...ДВА дня после Барселоны я проходил в героях — как-никак чуть не подорвался. Я был уверен, что об этой акции террористов будет в газетах, но, к моему удивлению, ни одна так и не обмолвилась о случившемся. Да полно, была ли бомба?

— Вот тебе и гласность, — сказал я Виктору.

— Зачем попусту нервировать народ... — пожал он плечами. — Люди перестанут ездить в поездах...

— И компания понесет убытки, — сказала Арина.

Виктор крикнул и, обиженно подняв брови, принялся накладывать себе салат из салатницы. Вид его говорил, что нас, горбатых, только могила исправит.

— Но ведь это так? — поднажала Арина.

— Мамка, я молчу. Ты видишь, я молчу. Зачем спрашивать, если у вас уже есть ответ?

— А что еще можно ответить? Тут все очевидно.

— Ну хорошо. Я могу порадовать вас заявлением, что наши социалисты снюхались с нашей крупной буржуазией и предают интересы простого народа. Ну так об этом пишут. Пишут! Вот! — И Виктор продемонстрировал нам обложку иллюстрированного журнала с фотографией Фелипе Гонсалеса. Текст поверху гласил: "Запахло дерьмом..." — Конечно, и у нас кто-то кого-то хочет купить, кому-то зажать рот — это нормально, это ведь все люди, а не святые, столкновение интересов, это борьба, сегодня ты, а завтра я, а послезавтра мы оба в дерьме, главное-то, чтобы все это жило, варилось, работало. — И, бросив вилку, Виктор интенсивно завращал кистями, изображая кипение жизни. — Жизнь, ребята, нельзя придумать, нельзя заставить ее жить так, а не иначе. Она сама себя живет. В том-то и дело, что ортодоксальный марксизм на дух не переносит реальную жизнь и потому он обречен.

— Хорошо сказано, — кивнула Арина, — только завтра не забудь повторить.

— Почему завтра?

— Завтра к нам придет Мария Р.

Собраться решили в баре. Кроме Пако и Юлии должен был приехать и Анхель — мне было интересно на него посмотреть, но в последний момент он позвонил — у жены начались родовые схватки. Так он женат... Последней на маленьком "пежо" приехала Мария. В длинном, чуть не до колен, сером свитере, в черном трико она была похожа на циркачку — маленькая, черноглазая, с бледным лицом, как будто из серии клоунов, актеров и акробатов раннего Пикассо. Она взглянула на меня как на доброго знакомого, морщинкой улыбки обозначив свою приязнь. Про мину в поезде она сказала, что не первый раз социалисты не обнародуют козни террористов — делают вид, что они полностью контролируют ситуацию в стране.

...Все выступали не без блеска, как бы вдруг проникшись сознанием, что кому-то это интересно. Особенно витийствовал Пако, так что когда дошла очередь до меня, я чуть не дымился от ответственности. Но главное — мне очень хотелось понравиться Марии...

Наконец она отложила авторучку, пошевелила пальцами, разгоняя кровь, сделала маленький глоток вина, встала:

— На сегодня все, а то я вас утомила...

— Что-нибудь получается? — ревниво спросил Виктор.

— Очень интересно, — уклончиво сказала она. Год назад она уже была в России и наши перемены принимала близко к сердцу. Она стояла, маленькая, стройная, деловитая, и мне хотелось смотреть на нее. Сейчас она уйдет, и больше мы никогда не встретимся.

Все вышли во двор. Я прощался с Марией последним. Она дружески протянула мне руку, но за этим жестом я угадал в ней то же сожаление, которое испытывал сам. Я порывисто пожал узенькую ладонь, а левой рукой тронул ее руку выше локтя, неизвестно что вкладывая в это дополнительное прикосновение, будто одного рукопожатия, этого древнего ритуала обмена теплом, энергией тепла, мне было мало. И она мгновенно отозвалась, улыбнулась, кивнула мне, одарив быстрым азартно-печальным взглядом. Когда она садилась в машину, я посмотрел на ее ноги в черном трико — стройные легкие ноги маленькой циркачки с картин Пикассо.

— Фу, наконец-то, — сказал Виктор, когда машины гостей уехали.

— А по-моему, было ничего, — сказала Арина.

— Слова, слова, слова... Очень много слов. Пако просто фонтан.

— Зато Игнаша молодец. Да, ты сказал Игнаше, что мы завтра уезжаем?

— Не успел...

— Куда? — удивился я.

— Мы завтра летим на Менорку, дня на три-четыре. По делам. Ты останешься с детьми. Будешь, старик, за хозяина... Твое слово — закон. Главное, не давай слугам распускаться. Ну а с детьми, думаю, у тебя не будет проблем. Дети тебя любят.

— Что вам делать на Менорке?

— Дом собираемся купить. Помнишь доктора Руиза? Он дом продает...

— Фантастика! — сказал я.

— Если только это серьезно... По моим наблюдениям, Руиз несерьезный человек. Не уверен, что с ним можно иметь серьезные дела.

— Но он же звонил тебе, — сказала Арина. — Вы же договорились...

— Что-то уж он слишком торопится, притом что мы последние, кому он этот дом предложил. Я навел справки — дом продается с лета, когда мы еще там были. Боюсь, что он заложен-перезаложен.

— Покупай! — сказал я. — Дом — фантастика!

— Посмотрим, — усмехнулся Виктор.

Я взглянул на Арину. Ее лицо было непроницаемо. Я понял, что она мечтает об этом доме.

Когда я уже лег с книгой в руках, раздался стук в дверь и вошел брат, неся бутылку вина и два фужера:

— Не помешал?

Я вылез из постели и надел трусы. Спать я мог только голым. Виктор наполнил фужеры, и мы выпили.

— Игнаша, зачем тебе уезжать? Поживи еще месячишко...

— Не могу, работа.

— Какая там работа! Пошлем телеграмму, что болен. Не нравится — пусть увольняют. Сколько тебе там платят?

— Сто пятьдесят.

— Старик... — Виктор красноречиво посмотрел на меня. Даже вроде обиделся за брата.

— Все равно не могу...

— Почему?

— Мне здесь нечего делать. Я никому не нужен.

— Ты нам нужен.

— Боюсь, что мне этого мало. К тому же мы с тобой почти не видимся.

— Как это не видимся? В любой момент, старик. В любой момент. Ты только скажи...

— Мы с тобой никуда не ездили, а собирались. Арина за тебя отдувается...

— Это нормально, старик. Родство не нуждается в ежедневном подтверждении...

— Но общаться-то нужно. Хоть раз в две недели мы могли бы куда-нибудь вырваться.

— Непременно, Игнаша, непременно. Но ты знаешь, как я занят. Что-то запредельное... У меня расписан каждый день на полгода вперед...

— Кому это нужно, Виктор! Тебе это нужно?

— Да, мне это нужно. Самоутверждение, старик. Са-мо-ут-верждение! Единственный смысл жизни. А насчет тебя мы тут с Аришей советовались. Почему бы тебе, скажем, к нам не перебраться?

— В каком смысле?

— Ну... вообще. Насовсем. Могу устроить тебя на своей фирме. Будешь делать переводы. Ты же можешь переводить технические тексты? Не хочешь служить, дома есть что делать. Дети... Был бы воспитателем, гувернером, русскому бы их научил, если, разумеется, тебе это интересно. Можно найти работу, Игнаша. В Испании много работы...

— В чем дело, брат?

— В чем дело? Ни в чем дело. В тебе дело...

— А что я?

— Ты один. Ты же один...

— Ты тоже один.

— Ты так думаешь?

— Вижу.

— Ошибаешься, Игнаша. Мне хорошо. Мне отлично! И я хочу, чтобы тебе было хорошо. Что ты там потерял? По самым оптимистическим прогнозам там еще на двадцать лет бардака.

— Там моя матушка...

— Матушку привезем. Будет свой дом на Менорке. Можно и там жить. Ездить в гости друг к другу. Еще дом купим — пожалуйста.

— Старик, я не могу жить на иждивении.

— Какое иждивение?! Ты будешь зарабатывать.

— Я о другом.

— Тогда не понимаю...

— Чего тут понимать? Арина об этом говорила Марии. Жить в другом народе, в другой судьбе — это жить на иждивении. Я ничего этого не заслужил.

— Это по теории, старик. А по жизни так живут тысячи, миллионы. Заграничные русские, вспомни. Гоголь, Тургенев, Герцен, Набоков...

— Это не для меня. У них был, и об этом мы тоже говорили, другой уровень культуры. Они жили в двух, трех культурах с детства. А я тут как туземец. Сколько лет мне понадобится, чтобы встать на уровень элиты — десять? Или те же двадцать? И ради чего? Чтобы что сказать?

— Ну ладно, братан. Не будем ставить точку. Ты подумай. Мы уезжаем, а ты подумай. Не так уж много жить осталось, Игнаша. А жить хочется. А жить — это жить хорошо. Зачем же плохо жить? Никто ведь не даст потом еще раз попробовать. Вот в чем штука, Игнаша. А народы, культуры — это все мелочи, это не главное.

Ночью я проснулся от частого дыхания рядом с собой. Это пришел Моро.

— Иди! — сказал я. — Иди к Арине, к детям — И хлопнул его по крепкому задку. Моро неохотно развернулся и пошел, пыхтя как паровоз из моего детства. За опущенными жалюзи, за садом в ночи прострекотал мотоциклист.

И НАСТУПИЛА тишина. Улитка была моей. В этом больше не было сомнений. Чтобы закрепить наши новые отношения, мы даже решили куда-нибудь съездить, хотя бы на день, и в последний момент остановились на Москве — там были и выставки, и комиссионный антиквариат, стоивший, по словам Улитки, дороже, чем в Ленинграде, почему она и прихватила с собой что-то на продажу. В дороге мы пережили легкое приключение, и я запомнил тесное ночное купе, двух мужиков внизу, то ли спящих, то ли затаивших дыхание, фотовспышки заоконных огней из-под приспущенной шторки и незнакомо-безудержное Улиткино тело, ее долгий прерывистый выдох, слышный лишь мне одному. Возвращались мы в двухместном купе, и я еще раз убедился, что Улитка не поклонница легализованных удовольствий. Это делало несколько проблематичной нашу будущую совместную жизнь; но разве мы с Улиткой не были похожи и разве это не служило залогом того, что обыденность, которой я и сам чурался, нам не грозит?

Улитка жила легко, с ней и было легко. Конечно, из каждого дня устраивать праздник я бы не смог, но ведь и встречаться каждый день — это убивать чувства. Ей, как и мне, казалось, что будущее у нас одно — совместное, и только как бы разность нашего жизненного опыта попридерживала ее, чтобы не приступить немедленно к обустройству этого будущего, — Улитка говорила, что должна еще пройти какой-то путь, чтобы сравняться со мной, вот тогда уж мы и пойдем рука об руку.

Она по-прежнему нигде не работала, но деньги у нее не переводились — они сами шли ей в руки, льнули к ним. Из ее рассказов я постепенно узнавал новый, неизвестный мне людской

конгломерат, не тот, работающий, нечто производящий, о котором изо дня в день говорили газеты, радио и телевидение, а совсем другой, нигде не работающий, обойденный общественным вниманием и лишь собирающий то, что когда-то было произведено и сработано другими, и само это собрание из приятного на каком-то этапе становилось еще и полезным и хорошо кормило. Помимо Улиткиного приятеля Димы так жили многие в Москве и Ленинграде, в Киеве, Таллине и других городах, куда время от времени навевалась Улитка. Снятая ею квартира постепенно превращалась в музей модерна, и только сами экспонаты — люстры, вазы, безделушки, кое-какая мебель — постепенно менялись на более дорогие, как бы улучшая собственную породу. Меня они по-прежнему не трогали, но я с уважением относился к Улиткиной страсти, и когда от меня требовалось разделить ее радость по поводу удачного приобретения, я разделял.

Вскоре прибавилось еще одно увлечение — йогой. Улитка сразу начала с раджа-йоги, посчитав, что тело ее само прошло путем хатха-йоги и стало совершенным. Кружок любителей был строго законспирирован, и попасть в ученики можно было только по знакомству. Ни телефонов, ни адресов руководителей ученики не знали. Улитка хотела, чтобы я занимался вместе с ней, но я отказался. Я и ее пробовал отговорить: раджа-йога вещь серьезная и результат занятий непредсказуем. И еще я сказал, что это опасно для таланта, для творчества.

— Ну и что, — отмахнулась Улитка, — если мне станет только лучше, зачем рисовать? Все равно это не женское дело.

Легкость, с которой она готова была отказаться от того, чем жила, меня удивила, и я подумал, что это просто голос упрямства. Если Улитка что-то задумывала, стоять на ее пути было бесполезно. Теперь она занималась два раза в неделю, и наши встречи сократились. По ее словам, среди учеников не было интересных людей, и она не понимала, что их влечет к йоге. Она продолжала жалеть, что я в стороне. Однажды она принесла свою натальную карту и сбивчиво, новыми для нее словами пыталась мне ее объяснить. У нее было какое-то редчайшее сочетание светил, сулящее редкую судьбу. Среди великих людей такое сочетание выпадало только Гитлеру, и это Улитку забавляло. Когда гуру увидел Улиткин астрал, он сказал, что ей нет смысла ходить на занятия, они ей ничего не дадут, так как у нее уже все есть. Раджа, как и хатха-йога, уместалась в ней целиком и полностью от природы, от рождения. Еще гуру сказал, что в нынешней своей инкарнации, то есть в нынешней жизни на земле, Улитка может ничего не делать, только праздновать и наслаждаться, так как в предыдущих своих жизнях она отдала бесконечно много сил. Гуру предложил ей подумать, стоит ли тратить время и деньги на то, что она уже и так постигла.

— Я все равно буду заниматься, — сказала Улитка. — Мне это интересно. Вот если бы еще ты...

И я решил.

— Вот хорошо! — обрадовалась Улитка, захлопала в ладоши, закружила меня, по-детски приткнулась губами к моим губам. — Я поговорю о тебе. Тебя возьмут. Там такие пни. А тебе полезно. Ты станешь светлее. Я люблю тебя светлого. Дней десять после того, как Улитка заявила обо мне, ответа не было. Тайные руководители то ли осторожничали, то ли что-то проверяли. Улитка обмолвилась: — Ты знаешь, им все про меня известно. Где была, с кем встречалась. Гуру сказал, что я неправильно одеваюсь... — Но, увидев, как у меня перекосилось лицо, засмеялась: — Да брось ты. Они вовсе не дают. Они только дают советы. Я беру то, что мне нужно. Я чувствую, что не мое. И ты будешь так же. Надо же критически относиться к тому, что дают...

Через две недели ожидания Улитка сказала:

— Тебе на днях позвонят...

Но двух недель мне было достаточно, чтобы ощутить слежку и за собой. В моей жизни за мной несколько раз принимались следить, впрочем, скорее по недоразумению, ибо хоть я в студенческие годы и посещал некоторые инакомыслящие квартиры и даже читал кое-что запрещенное, однако оставался в пассиве, одиночкой, и дело бы мое не сулило больших наград тому, кто им бы занялся. Что изумило меня тогда, так это возможности КГБ, позволявшие чуть ли

не к каждому третьему гражданину своей страны приставить по стукачу. И вот память о том странном состоянии, когда даже в бессолнечный день за тобой следует твоя тень, память эта вдруг всколыхнулась и ожила... Скорее всего слежка мне померещилась — что от меня нужно бедным подпольным йогам, но в тот момент я взбесился: обкладывают! И вот раздался телефонный звонок, и звонкий мужской голос, каким в прежние времена оглашали округу коробейники, попросил меня к телефону. Голос этот все и решил. Есть голоса — как постоянная слуховая травма, ну, скажем, голоса руководителей нашего государства. Этот голос был не старше тридцати лет. Бодрый, коренастый, комсомольский, с румянцем во всю щеку, он звучал напористо и деловито. Голос сказал, что ОНИ приветствуют мое решение вступить в их ряды, но что для этого сначала нужно встретиться и поговорить. "Когда вам удобно?" — спросил голос и сразу назначил свое время. Я сказал, что это мне не подходит, и как бы увидел, как голос не без неудовольствия потеснился для меня.

— Называйте день, час — вторник, среда, четверг? Пожалуйста! — стараясь быть вежливым, подсовывал голос мне под нос свое коробейное тряпье.

— Вы не поняли, — сказал я. — Мне вообще это не подходит.

— Как? — растерялся голос. — Но ваша знакомая нам сказала...

— Я передумал, — сказал я. — Извините, но я передумал.

— Нет, как это? — заметался голос между уничижением и хамством. — Должны же быть какие-то причины? — Его подмывало пригрозить, но он сдерживался.

— Уверяю вас, — как можно миролюбивее сказал я, испугавшись за Улитку, — никаких причин, кроме сугубо личных. Просто изменились обстоятельства.

— Непонятно, — как бы сам себе сказал голос, будто до этого им со мной было все понятно.

— Я очень извиняюсь, — сказал я.

— Вы все-таки подумайте, — сказал голос напористо и многозначительно.

— Нет, — сказал я. — Спасибо. Я не смогу.

— Ну что же! — зазвенел голос, как наглый бубенец. — Тогда прощайте. До следующих инкарнаций! — Последняя фраза прозвучала почему-то угрожающе.

Положив трубку, я долго нервно посмеивался. Кем будет этот щекастый в своей следующей инкарнации? Я передал Улитке наш разговор, рассказал про голос, и она сказала, что такого не знает, что это, видно, из тех, кто над ними, кто возглавляет куст, — их тоже можно понять, они ведь вынуждены конспирироваться.

— Я боюсь, что теперь они что-нибудь тебе устроят, — сказал я. — Это был очень нехороший голос, какой-то кэгэбэшный. Ты должна объясниться со своим гуру.

— Не волнуйся. Я уже объяснилась. Я сказала, что мы с тобой поссорились и разошлись. Это ведь почти так. Иначе бы ты тоже занимался. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь, Игнат.

— Я хочу, чтобы ты была со мной.

Она промолчала.

Но вскоре размолвка забылась, так как напомнил о себе наш садовый кооператив, сделав первый крупный подбор среди своих пайщиков на окультуривание торфяной пустоши. Улитка снова загорелась:

— Если мне не дадут участок, я куплю половину твоего. Я думаю, два дома уместятся. Или так — один дом, но с глухой стеной посередине. Сначала мы построим твою половину, а потом мою. Пусть отец там пока и живет. Он нам все сделает.

И часто она возвращалась к этой теме:

— Ой, как я хочу строить! Когда мы начнем наконец строить? Я уже все обдумала. Знаешь, какие у нас будут потолки? Не плоские, а такие... сталактитовыми натеками, плавные. Это делается гипсом, нужно обязательно гипс достать... — И ее поднятые изумительной красоты кисти принимались лепить ее потолок.

И еще одна идея снова сблизил нас — съездить во Владимир. "Когда мы поедем во Владимир..." — говорила она. Надо было забрать ее работы, которые хранились у бабушки на чердаке. Они огромные, одной ей не увезти. Раньше она писала только огромные полотна. Это от дилетантства. Сейчас-то она робеет и перед пяточком пустого холста — как его насытить светом и цветом? Вообще теперь ее тянет к такой детальной проработке, что и маленькие холсты кажутся ей огромными. Во Владимире мы походим по церквям, она мне все покажет. Она покажет мне фрески, которые реставрировал ее дядя. Она покажет Николу Угодника, у которого сама расписывала одежды.

Но живописью она теперь занималась гораздо меньше.

— У меня нет холстов! — оправдывалась передо мной. — Надо где-то заказать холсты. Лучше прямо с рамками. Ведь рама — она сама подсказывает, организует пространство...

Тогда я стал покупать ей репродукции картин на тонких холстах. Типографская краска вполне заменяла грунт — поверху можно было писать маслом. Но Улитка продолжала жаловаться то на формат, то на "жлобскую" рамку, то на свое настроение.

— Надо нам с тобой поискать хорошие рамы, — говорила она. Но даже в антикварных магазинах, ее любимом месте времяпрепровождения, ничего подходящего не было, и замыслы откладывались.

Я посоветовал сделать копию "Чаепития" на продажу, но и эта работа у нее не пошла. Только голова лошади на подносе смотрела на свой череп с каким-то сверкающим ужасом. Вместо живописи Улитка теперь занялась рисованием уже знакомых мне женских фигурок в интерьере эпохи модерна — она исполняла их пером и подкрашивала цветными карандашами. Их скупал знакомый мне юрист. По его словам, они пользовались спросом у зажиточных стариков. За продажу каждого рисунка он брал положенные десять процентов, но, так как цены устанавливал он же, процент мог быть и гораздо больше.

— Ну и что, пусть наживается, — отмахнулась Улитка. — Я эти рисунки не ценю.

Мне казалось, что Улитка остановилась в своем развитии, и это меня смущало.

— А куда спешить? — говорила она. — Вот объясни, куда мне спешить? Я знаю свой срок. Я все успею. Не подгоняй меня — это только хуже.

В другой раз она говорила:

— Живопись сейчас никому не нужна. Давай лучше откроем кооператив по интерьеру. Мы будем ходить по богатым домам, сейчас знаешь сколько богачей развелось, будем ходить и давать консультации. Деньги у них есть, а вкуса никакого. Они же невежественные, они не могут отличить ампира от рококо. А когда мы накопим приличную сумму, можно открыть и мастерскую по интерьеру. Возьмем этого нашего краснодеревщика. Роспись, лепка, реставрация... Вот что мне сейчас близко.

Или вдруг хватала меня за уши, дышала мне в лицо своим детским дыханием:

— Ты, серебристость... Пойдешь ко мне директором в салон красоты? Мы вчера с Лилькой решили открыть салон красоты. Прически, макияж, массаж. А ты можешь делать теткам массаж, я тебе разрешаю. Я хочу, чтобы наши тетки были красивыми. Они не умеют ни одеваться, ни краситься, ходят, как утки. А ты такой солидный, они будут на тебя клевать.

Ее стовосьмидесятипятисантиметровая Лилька не то работала в варьете, не то уже вообще не работала, поскольку богатые ухажеры у нее не переводились, в паузе же между ними она переселялась к Улитке. Улитка говорила мне по телефону:

— Знаешь, она хорошая девчонка. Она у меня все делает: моет, убирает, ходит за продуктами. Мне это удобно. Я ей плачу десять рублей в день. Пусть у меня живет, чем по мужикам болтаться. И вдвоем не страшно... Представляешь, мы вчера устроили банный день, ночью, часа в три... Помылись, ходим себе нагишом, волосы сушим, и Лилька вдруг говорит: "Ой, там мужик!" И я вижу в окне морду какого-то мужика, прилепился к стеклу, глаза вытаращил. Ты же знаешь, там можно к окнам подобраться. Если б не Лилька, я бы тут же рехнулась от страха. Вообще у меня квартира какая-то страшная — когда я одна, я всю ночь свет жгу — всю ночь что-то скрипит, охает, стонет, да еще крыса приходит... Я ее уже месяц гоняю — не могу же я ее убить. Наверно, это кто-то из бывших жильцов... Не хотела бы быть в будущих инкарнациях крысой.

— Почему ты меня никогда не попросишь помочь?

— Что ты, Игнат, я уважаю твоё время.

— Я все равно убиваю его без тебя.

— Ты должен работать. И потом Лилька — она мне не мешает. Что есть она, что нет ее, — сидит или лежит, что-то там почитывает. Я ее и не замечаю. А тебе я должна уделять внимание, я не могу иначе. Ну, если уж ты настаиваешь, помоги мне постирать куртку. Она такая толстая, мне с ней не справиться.

И я прилетел, счастливый раб. Я купал в ванне зимнюю Улиткину куртку, словно тюлениху, а Улитка рисовала, играла на пианино, отвечала на телефонные звонки. Дверь я не закрывал, и под плеск воды Улитка разговаривала со мной. Один ее знакомый художник обещал ей холсты на подрамниках, уже загрунтованные. Он делает все сам, очень аккуратно, только она еще не знает, во сколько это ей обойдется. Конечно, если он заломит сумму... Но не должен. Картины его она еще не видела. Мы можем вместе сходить в его мастерскую. Нет, лучше сначала она сходит сама, а то он еще раздумает продавать холсты. Он авангардист и еще ни одной своей работы не продал. Она не знает, сколько ему лет, на вид около тридцати. Он-то и познакомил ее с йогами, он сам там занимается, только в другой группе и на другом уровне. А еще один тип из их группы пытается за ней ухаживать, он кооперативщик, и у него куча денег и "Жигули"-девятка, после занятий он подвозит ее и все ждет, когда она его пригласит зайти, а она не приглашает. Она чувствует, что не картины ему нужны. А так он ей совсем не нравится; если бы не занимался йогой, вообще был бы жлобом.

Куртка плюхала, как беременная тюлениха, а Улитка набирала номер телефона. Я понял, что она говорит с этим самым художником. Я старался особенно не прислушиваться, но прежний, тяжело раненный, хоть и выживший зверек против моей воли насторожился во мне и наставил уши. Мне было стыдно подслушивать, и я оглушал себя плеском.

— Это Игнат, — сказала в трубку Улитка. — Я тебе говорила. Это мой друг. Он мне тут куртку стирает... И я слышал ее улыбку.

И еще я слышал:

— Ой, я просто умираю от любопытства. Когда ты покажешь мне свои картины? Они у тебя на казеине? На осетровом клее? Ого! Ну и что... Тебе же мои не понравились. Понравились? Ты же говорил, что нет. Да, в этом ты прав, но технику можно нажать, а вот остальное... Технику я подгоню, не волнуйся. Когда ты мне позвонишь? Завтра? Ну хорошо, я буду ждать. Только не обманывай, я человек обязательный. Раз договорились... До свидания. — И я слышал, как трубка легла на рычажки.

Обычный приятельский разговор, рассчитанный на мои уши, на мое понимание Улиткиной свободы. Это был как бы наш собственный с ней разговор о наших правах и наших границах. Это был урок наших отношений, как их понимала Улитка. Урок для меня. И все было бы прекрасно,

если бы не ее интонации. Так когда-то говорила она со мной, полная живого, отзывчивого любопытства к моему миру. Я вытащил наконец куртку, которая весила килограммов сто, — вода стремительно вытекала из нее, и куртка стремительно легчала. Улитка помогла ее повесить. Ее благодарность была подчеркнутой, а в глазах читался вопрос — как я принял разговор, не взревновал ли. Все нормально, отвечал я глазами, но чувствовал, что мышцы моего лица чуть зажаты, и улыбался, чтобы расслабить их. Я спокоен, я абсолютно спокоен, мои морщины разгладились, мой лоб, щеки, губы, подбородок — все спокойное и прохладное, мое "я" — в пределах меня самого.

А когда я позвонил ей на следующий день, тут же почувствовал, что она не одна.

— Знаешь, мне сейчас трудно с тобой говорить, — сказала она. — Я очень спешу.

— Но не было в ее голосе ни торопливости, ни спешки. Голос оправдывался. Ведь это я сам ей советовал так отвечать на несвоевременные звонки: что спешишь, что вернулась с порога...

— Знаю, как ты спешишь! — вдруг услышал я самого себя. — Желаю успеха, пока! — Я бросил трубку, сердце мое колотилось.

Была Пасха. Так вот почему она отказалась пойти со мной в Никольский собор на Всенощную. Она предпочла этого подклеившегося осетра. Город не спал, в Николе Морском, как всегда, пел хор Мариинского театра, дома на кухне засыхал неосвященный кулич и пирамидка творожной пасхи, которой я обещал угостить Улитку, — в полночь я набрал ее телефон, но, конечно, никто не откликнулся.

Еще двое суток прошло в телефонном безмолвии, и вот под вечер мой телефон зазвонил и в трубке раздался голос Лильки:

— Игнат, куда ты пропал? Улитка тут страдает из-за тебя.

— Не понял, — сказал я. Только что я умирал от тоски и безысходности, но вот уже — бодр и самоуверен. Хорошо, что у меня такой голос. Так ей и надо.

— Чего "не понял"? Мы тут два дня сидим, никуда не выходим. Улитка ждет, что ты позвонишь, а ты не звонишь. Она тебя боится.

— Пусть спит спокойно, — улыбнулся я. — Завтра позвоню. — И, счастливый, положил трубку. Вот так. Только так. И никак иначе! Нет, если все слишком хорошо, то это плохо. С Улиткой надо играть, постоянно играть. Не соскучишься.

С Осетром у Улитки вышел конфуз. Осетрина оказалась с душком, и я тихо торжествовал. Потом она мне рассказала:

— Ой, он такой самовлюбленный, мне это не интересно. А картины у него... Я-то думала, там у него какое-то другое измерение, выход в астрал... а он, по-моему, просто передрал мое "Чаепитие". Он ведь был у меня, вот и передрал. Там такая же женщина у него, только срез лица он покрыл сусальным золотом. По-моему, у меня органичней. А у него все плоско, заданно, как картинка в букваре. Но какие холсты, какие рамы! Он очень себя любит, только себя и любит.

Ну да Бог с ним, я и так чувствовал, что это несерьезно, что это вообще никак. Так, каприз, "экспромт", попытка забыть своего красавца Бадри, забаррикадировать уход от него. О нем мы больше не говорили, и я склонялся к мысли, что там все кончено, а если еще и нет, то висит на последней ниточке. Одно движение, и... Но вроде они иногда еще встречались. Да и магнитофон его стоял у нее — тот самый, под который он одолжил когда-то деньги. Но деньги он вернул, а магнитофон не забрал. Я мечтал, что приду в один прекрасный день, а магнитофона нет. Иногда я наткался в пепельнице на окурки "Мальборо" — в ту пору десять рублей пачка на черном рынке. Бросил ли он карты? Наверняка. Потому-то Улитка и успокоилась. Только его беда могла удержать Улитку возле него. Еще какая-то история, спокойно рассказанная Улиткой как доказательство, что их отношения сошли на нет. Как-то он заглянул к ней под вечер, а когда шел обратно (не оставшись на ночь!), на улице его остановили трое, попросили прикурить. Пока один

прикуривал, другой зашел сзади, а третий сбоку стоял. А Бадри, недаром спортсмен, баскетболист, реакция отменная, спиной уловил замах сзади и резко нырнул в сторону, так что тот, который был за спиной, угодил по затылку прикуривавшего. Они хотели его раздеть — на нем было дорогое кожаное пальто из лайки, но он тут же двоих уложил, а третий убежал. По его словам, ему, врачу, было больно их бить. Он жалел их, недоумков. Он старался бить так, чтобы не сломать им кости. Я думал потом, зачем она это мне рассказала. Не для устрашения же. Наверно, чтобы оправдаться, чтобы я знал, что он настоящий мужчина и достойный человек, что к недостойному она бы не привязалась...

Но вскоре я почувствовал, что у нее опять кто-то появился. Телефонные разговоры были странными, и за полночь ее еще не было дома. Я не знал, что и думать. Раза два я устраивал засаду, чтобы выследить, с кем она. Презирал себя, плевал на себя со стороны, но ничего не мог с собой поделаться. Алчный зверь, у которого отнимают законную добычу, пробудился во мне и жаждал крови. Я думал, что восхожу. Что, проходя неизвестными прежде путями, я обучаю чувства и голову, но чувства не захотели больше обучаться — они ошетинились, цепляясь за свое, и бедная моя голова боялась к ним приближаться. Мой наблюдательный пункт был в доме напротив Улиткиного, и с подоконника пятого этажа я следил за двором, за входной дверью, с собой у меня была книга, и я принимался читать, чутко прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь. А когда хлопала и во дворе было пусто, это означало, что кто-то вошел, я всматривался, не вспыхнет ли свет у Улитки. В своих сумеречных комнатах она включала свет даже днем. Или же сейчас свет ей был не нужен, и, скатившись на второй этаж, я судорожно вглядывался из окна лестничной площадки в ее слепые окна, чтобы уловить какое-нибудь движение в незакрашенных уголках ее витражей, чтобы увидеть ее кисть, протянувшуюся между рамами, где хранились продукты. Должны же ОНИ выпить чаю с медком... Когда же мне становилось окончательно ясно, что Улитка дома и не одна, я бежал вниз, пересекал двор, неслышно открывал и закрывал за собой входную дверь и, подкравшись, замирал возле заделанной мною дырки в Улиткиной двери. Квартира молчала, но молчание могло быть и живым, и я принимался звонить. Что я намеревался сделать, если она дома? Я не собирался устраивать скандал — с меня было бы достаточно знать, что я обманут. Я бы узнал и ушел. Сразу бы повернулся и ушел, без разговоров, навсегда. Я звонил, звонил, а квартира молчала, и я понимал, что Улитки нет.

А вечером она вдруг сама возникала в телефонной трубке и жаловалась, что устает после занятий, что ей было плохо и скучно и она ходила в кино на какую-то двухсерийную туфту. "Вообще-то фильм интересный. Там есть один актер, он чем-то на тебя похож, он...", и она принималась рассказывать, творя летучую версию нашего бытия, и я слушал, и мое окаменевшее сердце снова становилось хлипким, послушным комочком, согласно бьющимся в такт ее словам: "Да, да, да".

Знала бы она, что я тут вытворяю.

Мой день рождения мы решили отметить у меня, матушка сказала, что мы ей не помешаем, лишь бы только музыка была не слишком громкой, а дверь она со своей стороны завесит одеялом и будет спать. И чтобы я отключил в ее комнате телефон — у нас было два аппарата.

Вечер удался, и Улитка была королевой бала. Я предлагал ей привести кого-нибудь из своих подруг, но она сказала, что, раз это мой праздник, пусть будут только те, кто мне дорог. Под занавес раздался телефонный звонок, кто-то спяну взял трубку, и Улитка вдруг быстро испуганно сказала:

— Меня здесь нет! — И, словно очнувшись, добавила со смешком: — Мало ли кому я понадобилась.

Она осталась у меня на ночь, и то ли от вина, то ли оттого, что мы давно не были вместе, Улитка была непривычно страстной, отдающей, шепчущей какие-то свои заклинания.

На день рождения она подарила мне свою картину, ту самую, с женщиной, за которой тянется толпа чудовищ. Я повесил ее ближе к окну, потому что она оживала только на дневном свете, и часто глядел на нее. Я помнил ее рождение — из ничего, из разводов, оставленных тряпкой; какой же там смысл? Да и есть ли он? Чудовища с мерцающими глазами появлялись из полунощного

моря и женщина-троеручица тайком передавала нож вурдалаку, признающемуся ей в любви. Во второй левой руке она держала батистовый платочек и щелкала пальцами опущенной правой руки, как бы досадуя, что неверно рассчитала ходы. Вторая женщина, безликая, смотрела на нее расплывшимися пятнами глаз из-за парусов корабля, а старик у нижнего среза картины настойчиво смотрел на меня, словно хотел что-то подсказать.

Игнаша, вот я и снова вся в работе. На телевидении мне вместе с одним режиссером поручили сделать многосерийную передачу об истории общества, а скорее — об истории культуры. Уже прошли наши передачи о семье, о церкви, о школе, о музыке... Мы много импровизируем, хулиганим, раскованность порождает необузданную фантазию. Программа пользуется успехом, и меня уже узнают на улице, но прежде всего — дети в нашем дворе. Вчера я узнала, что передача, посвященная истории музыки, послана на фестиваль телевизионных фильмов в Канны. На телевидении в восторге от нашей работы. Обо мне повсюду ходят слухи: отмечают необычность, артистичность, своеобразие, глубину, талантливость... Вплоть до каких-то собраний актеров, на которых говорится, что вот и в "Форелях" (фильме, где я до этого снялась) играет совершенно потрясающая актриса из Советского Союза, и при этом добавляют: "Естественно, они там все с высшим образованием". А ведь я сделала так немного. Теперь бы мне большую роль — я бы смогла. У меня появляется уверенность, что все будет, и во мне постепенно все выстраивается. Виктор не перестает и не устает верить в меня и помогает мне на каждом шагу.

Продолжаю письмо через две недели. Все не было времени. Наша телевизионная программа неожиданно для всех вызвала дискуссию, а так как телевидение пока еще реакционное, возможно, что нас выкинут. Критика сводится к тому, что мы посягнули на авторитеты: на церковь, на семью, — и жаль-де, что они "вовремя не разобрались в социальной опасности этих передач". Все это говорит о том, что демократизация страны — процесс сложный. Несомненно, в передаче есть доля острой критики, но это не было для нас самоцелью и опасности для существующего порядка вещей не представляет. Если нашу передачу действительно запретят, это будет два шага назад...

ВИКТОР с Ариной улетели утром. Я отправил детей в школу, слегка понервничав, так как Антон копошился у себя в комнате до упора и надо было его чуть не вытаскивать. Антоха жил напряженной внутренней жизнью и часто впадал в глубокую задумчивость, как правило — не ко времени. Жить рутинно, автоматически ему плохо удавалось, потому и учился он плохо, даже несмотря на дружбу Виктора с директором колледжа, а может, благодаря ей. Он не был бездарен — наоборот, в нем что-то постоянно варилось, какая-то странная смесь из общих представлений о жизни и исключительно личного ее переживания, и мы с Ариной подозревали в нем некий еще нераскрытый большой талант. Только Виктор относился к нашим прогнозам скептически — сын удовлетворял его самолюбие меньше дочери. Наверно, потому, что она была понятней. Наташка родилась в Москве и была гораздо больше русской, чем Антон, — русский язык был для нее первым, а не вторым, как для брата. Прошло несколько лет прежде чем Арина научилась испанскому, и сознание Наташки было выстроено и освещено на русский лад. Потом, когда ее перед школой пришлось перестраивать, языковой удар испанского был слишком силен, и на несколько месяцев Наташка вовсе замолчала. Впрочем, теперь ее испанский был безупречен и более естествен, чем Аринин, она не делала ошибок, и единственным следом русского языка была ее привычка растягивать слова, что для испанского уха звучало как манерность, ведь по-испански строчат как на швейной машинке, в то время как по-русски будто вышивают гладью. Наташка, выросшая на русской замедленности, была тихой, романтической, со славянской грустью в зеленых глазах, она и считала себя русской, из-за чего прошла через вражду своих сверстников, когда, еще в государственной школе, ее называли красной и советовали убраться в Россию. В частном же колледже с его широким замесом эти проблемы отпали, и Наташка чувствовала себя как все. Антохе было несравненно легче: он был, конечно, стопроцентным испанцем, да и русский язык ему так пока и не дался. Он не испытывал к нему интереса и охотнее занимался английским. В доме Виктора говорили по-испански, опять же из-за детей, и только для сильных выражений

иногда прибегали к помощи русского. Сильные русские выражения в испанском доме звучали вкусно. В Антохе было много испанской гордыни, он не признавал даже малейшего насилия над собой, и стоило чуть пережать, как с ним могла случиться истерика, — все мы, взрослые, старались обращаться с этим гордым мальчиком аккуратно. Но путь к его сердцу был прямым и коротким, если Антоха чувствовал к себе уважение, если отношения были на равных. Это первый из встреченных мною в жизни детей, кто требовал равенства даже от взрослых. Трудно бы ему пришлось в советской школе.

Тино увез детей в школу, а я пошел в сад размяться. Из-за путешествий мой теннис заглох, и я представлял себе свой бледный вид, когда встречусь дома с партнерами. В саду была осень, или, скорее, она была за садом, за оградой — в ржавой мелкой листве каких-то неказистых деревьев. Ветер забрасывал эту листву в бассейн, и дно его было в темно-коричневых пятнах. Но Тино уже не чистил бассейн. Бассейн вышел из строя — перегорел мотор, гоняющий воду, к пущей радости Тино, у которого были свои счеты с бассейном, а монтера все не вызывали, ибо не сезон. Клумбы с розами померкли, только два огромных белых бутона еще держали свое пламя в ночные холода. Саду тоже надо было пережить запустение осени, и Тино почти перестал в нем возиться. Березки, так и не сбросившие свою еще с лета пожелтевшую листву, стояли, словно в летаргическом сне, для которого все времена — одно время или же его отсутствие, а сосенки и "кремлевские" серебристые елочки, как и всегда, незаметно освобождались от жестких бурых обезвоженных игл, сохраняя свой зеленый колючий наряд. Из цветов меньше всех уступили переменам бархатцы, оранжевые, как апельсиновые корки среди травы. Колонии мушек-самоубийц исчезли, но на поверхности бассейна хватало и прочих неудачников — седых ночных бабочек, больших черных мух, жуков, кузнечиков и стрекоз. Чего им не жилось? Птичьи песни тоже переменялись: пропали длинные, как бы удивленные свисточки неизвестных мне пернатых, зато тут и там вовсю поскрипывали голубые сороки. Однажды я услышал над собой клики деревянных дудок и, подняв голову, увидел двух белых лебедей, стремительно, как реактивные лайнеры, летящих на юг, в Африку...

Я пустился трусцой по саду, стараясь не сбиваться с дорожки и не топтать траву, и дальше — по двору, мощенному оранжевым туфом, делая круг за кругом по личной Викторовой земле. Моро решил пробежаться вместе со мной. Он считал своим долгом следовать рядом, возле правой ноги, на всякий случай. Я бегал минут двадцать, и Моро со мной, только иногда призадерживаясь в саду, чтобы найти неподвижный, не играющий с ним литой резиновый мячик, — тогда он настигал меня уже в конце двора, у своей загородки, виляя хвостом, и, улыбаясь, заглядывал мне в глаза — не рассердился ли я на него. После бега хотелось нырнуть в воду, пот обжигал, но мне оставался только душ... Включив его на всю мощность, я остужал струящуюся из тела энергию, разворачивая ее вспять, остриями вовнутрь, а Моро из солидарности подставлял морду, ловя на язык мелкие струи и яростно встряхивая мокрой головой.

За детьми мы поехали вместе с Тино. Колледж был тут же, в Моралехе, в лабиринте ее улочек, в которых за три месяца я так и не разобрался, ибо все они были на одно лицо — деревья и ограды, забранные циновкой из мелких прутьев кустарника... Я столько восхищался городскими улицами Запада, что позволю себе и обратный ход — улочки богатой Моралехи были мертвы, были отчуждены от жителей, служа разве что пограничной территорией между владениями да еще для колес, — обрехиваемый собаками пешеход появлялся здесь редко. Возле ворот уже толпились школьники. У школьников не было ни ранцев, ни портфелей, здесь они как-то не приняты. Возле бровки тротуара уже стояло несколько машин. Молодые мамы за рулем приветливо поглядывали в мою сторону. Они не работали. Я тоже не работал, я даже не хотел вести машину. Солидный человек... Мои племяшки ничем не отличались от других, хотя, скажем, Наташка каждый день надевала что-нибудь новое. Они вышли из ворот, красиво жуя жвачку. Они шли к машине небрежной походкой, со спокойными лицами, но было видно, что им приятно, что я заехал за ними, и они не спешили сесть, дабы все нас хорошо разглядели. Молодые мамы были красивы, и взгляд их говорил, что дома им скучновато. Молодые мамы были похожи на красивых птичек в золотой клетке — они и не подозревали, что я их потрепанный брат. Не пускайте в море караса — он там погибает. Арина говорила Марии, что в какой-то момент перестала совершенствовать свой испанский, чтобы остаться иноземкой. Я это понимаю. Акцент нужен, нужен сильный акцент. Акцент — это поправка на свою собственную судьбу и культуру. Кроме своей судьбы можно

прожить еще только одну — судьбу своего народа. И даже твоя испанская кровь течет не туда, где твой род, а туда, где ты родился и где пели тебе колыбельную.

Вечером, когда дети уже сделали уроки, посмотрели видео и позанимались на пианино — каждый из них был по-своему музыкален, с парадоксальным ощущением музыки: если в игре мягкой, романтической Наташки явно проступало волевое, организованное начало, почему она и любила, скажем, Баха, то Антон, наоборот, предпочитал аморфность, превращал нотные тексты в плавающую звуковую дрему а ля Дебюсси, — так вот, вечером позвонил Виктор. Я слышал, как Наташка за дверью говорила ему: "Да, па, очень хорошо. Все очень хорошо". Да и в самом деле было хорошо. Дети меня слушались, я на них не давил. Да и чем взрослый лучше ребенка? Путь взросления — это путь потерь, прежде всего радости жизни, которой детям не занимать. Антоха тоже поговорил с родителями, а потом к телефону позвали меня.

— Ну как, купили? — спросил я.

— Почти, — сказал Виктор. — Остались кое-какие формальности.

Фантастика — дом Руиза на Менорке наш! Может, все-таки остаться, переехать туда, слушать зимой трамонтану и писать стихи?

Никого со мною нет,
Только я и Бог...
Холод, блеск, мистраль.¹⁶

Лег я поздно, небо вывездило, и перед сном я гулял вокруг дома в сопровождении молчаливой тени Моро. Утром, когда я был в саду, из окна меня окликнула Тина:

— Сеньор Игнасио, вас к телефону сеньора!

Я был уверен, что это Арина, хотя могла быть и Бианка, удивленная тем, что я ей не звоню, но голос в трубке принадлежал Марии.

— Здравствуйте, Игнасио. Это Мария. Вы помните меня? Я приезжала брать интервью...

Я засмеялся:

— Естественно! — Я должен был ответить точнее, потому что она, конечно, спрашивала меня о другом: думал ли я о ней? Думал. Тот тепловой разряд непонятого чувства симпатии эти два дня продолжал согревать меня. Мой смех ее явно подбодрил, и торопливый голос ее, которым были сплошные вопросы и сомнения, зазвучал увереннее:

— Служанка мне сказала, что ваш брат с женой на Менорке?

— Да.

— Очень жаль. Я хотела пригласить вас троих в ресторан. Я бы еще хотела поговорить. Мне бы очень хотелось поговорить лично с вами. Уточнить какие-то вещи...

— Мне тоже, — сказал я улыбаясь. Я не скрывал, что рад ее звонку. Я как бы снова касался свободной рукой ее плеча, я касался ее руки двумя руками, так чтобы ее тепло текло в круге моего тепла.

— Тогда мы можем увидеться? — сказала она.

— Конечно, — сказал я, улыбаясь до ушей.

— Я как раз сегодня вечером свободна, — сказала она. — Я могу заехать за вами.

— Отлично, — сказал я.

¹⁶ И. Бунин. Одиночество

— А детей можно оставить? — сказала она.

— С детьми я договорюсь, — сказал я. — Слуги за ними посмотрят.

— Тогда я приеду в девять, — сказала Мария.

— O'key, — сказал я. — I kiss you.¹⁷ — По-английски это было так легко.

— Me too¹⁸, — чуть растерявшись ответил ее милый голос.

— Bye!

— Bye!¹⁹

Теперь задним числом можно было бы обдумать, равно ли быстрое, необязательное русское "целую", всего лишь точка в дружеском разговоре, равно ли оно английскому "I kiss you". Но я обдумывать не стал. Что тут обдумывать, Игнасио? Как там поется? "А испанок — так тысячи три..." Да, до Дон-Жуана тебе далеко. Видимо, народ раньше был порезвее. Да и свободного времени больше. Технический прогресс все-таки нас поприжал. У Амброджо Контарини читаю про москвичей пятнадцатого века: "Их жизнь протекает следующим образом: утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу". Даже с поправкой на зиму, картина впечатляющая.

Звонок Марии я воспринял однозначно. Вспоминаю свою юность, полную неясных томлений. Неясных, потому что я не знал их пути. Теперь я знаю путь — но, увы, едва ли томлюсь. Видимо, я солгал, утверждая, что с годами не так уж много потерял. Я потерял почти все. Или же я стал другим. Теперь я совсем другой человек.

Она опоздала почти на час, ровно на столько, чтобы я, пометавшись, затих и уверовал, что НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. То было совершенно ясно, ЧТО должно быть, а тут вот НИЧЕГО. Это мне поделом — за самоуверенность и вертопрашество. Мозги мои провентилировались и пришли в то самое состояние, чтобы я от счастья подскочил до потолка, когда услышал за воротами приглушенный шум мотора и вскрик звонка в кухне. Я загодя предупредил Тино, что открою, я хотел сам подойти к воротам в знак особого расположения, но Тино, естественно, все забыл или даже и не помнил, или кто-то из нас двоих разучился понимать по-английски, — он дал автоматике открыть калитку, так что мне осталась только входная дверь, когда Мария постучала в нее латунной скобой, какие украшали двери в прошлые века. И вот Мария уже стояла в прихожей, улыбаясь, извиняясь, от смущения говоря громче обычного, а из коридора, куда выходили двери комнат Антохи и Наташки, уже смотрели в нашу сторону две пары круглых все понимающих глаз.

— Hola!²⁰ — сказала Мария, поворачиваясь в сторону моих бдящих племянников.

Похоже, им было странно, что к их родному дяде может прийти испанская женщина. За два последних дня они уже снова стали считать меня своей собственностью. Глаза у Натальи стали действительно круглые, а у Антохи — даже квадратные. Еще мы с Марией не знали, кто мы друг для друга и что нас ждет, а дети уже все просекли и могли бы рассказать про нас много интересного. Мария сама заговорила с ними. Наташка знала, что Мария — известная журналистка, и держалась как очень воспитанная девочка. Они поговорили о том, каких писателей Наташка проходит в колледже, и Мария пообещала ей принести какую-то очень нужную книгу. Антону она тоже что-то пообещала. Она понравилась моим детям — это было сразу видно.

— Я хочу забрать у вас tio²¹ Ignasio на несколько часов, — сказала она. — Вы не возражаете?

¹⁷ I kiss you. – Целую (англ.)

¹⁸ Me too – Я тоже (англ.)

¹⁹ Bye! – Пока (англ.)

²⁰ tio – дядю (исп.)

²¹ Hola! – Привет! (исп.)

— Нет, нет! — страстно замотали головами мои племянки.

— А мама с папой когда вернутся?

— Только через два дня, — сказала Наташка в том смысле, что у Марии еще есть время.

Я заглянул в кухню, где забывчивый Тино возил тряпку по идеальной чистоты белому плиточному полу, и повторил, что уезжаю, вернусь поздно и что я взял ключи. Еще я сказал, чтобы он пустил Моро в дом.

— О'кей, мистер, — кивнул Тино своей коричневой головой, похожей на вареную фасолину. Он даже не поинтересовался, кто пришел — та ли сеньора, которую я ждал, или кто другой. Главное — это сразу нажать на кнопку автоматики, если кто-то звонит. А там хоть трава не расти. Вот так ночью позвонят — и он откроет. Чего ему бояться — его не тронут. Хорошо, что Моро в доме.

Со слабо мерцающим чувством вины я захлопнул за нами калитку, а потом за собой — дверцу маленького "пежо" Марии, она включила мотор, развернулась на пяточке, и мы рванули во тьму. Я почему-то решил, что она повезет меня к себе, Виктор говорил, что у нее дом тут же, в Моралехе, но мы уже выехали на шоссе. Мария уловила мои мысли — она вообще хорошо слышала молчание — и сказала:

— Мне посоветовали один итальянский рестораник. Я там никогда не была...

Вечерняя скоростная трасса была полна машин, а точнее — сотен пар красно-оранжевых огней, летящих, как осенние листья, под уклон, туда, где вдали, на холмах, тлело кострище Мадрида. Мария выглядела нарядно. На ногах ажурные чулки, о каких мечтала Улитка. Испанку можно узнать по ногам — длинные икры и сухие щиколотки. Ноги танцовщиц. Фламенко веками оттачивал линии этих ног. И прямая спина с развернутыми плечами, поднятый подбородок. Но Мария не выглядела типичной испанкой, ее можно было встретить в любой части цивилизованной Европы. Это был европейский тип маленькой интеллектуалки. Ее троюродные сестры учились вместе со мной в университете. Им не обязательно было быть красавицами — красоту им заменяла одухотворенность. Но и дурнушек среди них не встречалось — высокий дух выбирал плоть по образу и подобию своему. Арина была из той же компании.

Я заставил себя не смотреть на коленки Марии под черным нитяным узором, но перестать слышать аромат ее духов я не мог. Волнующее благоухание жизни, все не кончающейся, снова обещающей что-то, — грудь сладко стеснена и доносится какая-то музыка. Автомобиль резво и безусильно, так что и мотора не было слышно, нес нас по трассе.

— Ты хорошо водишь, — сказал я. Или же я сказал: "Вы хорошо водите", коль скоро местоимение "you" позволяло не совершать русский сокровенный переход на "ты". Станный народ англичане — выкающий. Даже в интимном. Поют же: "I want you, I miss you, I need you"²². Все равно что по-русски сказать: "Я вас хочу".

— О да! — сказала Мария по поводу вождения. — Уже шесть лет... И ни одной аварии.

— У нас бы тебе дали звание "Отличник автовождения".

— У вас есть такое звание? — засмеялась она.

— Нет, — сказал я. — Это я так шучу. Но вообще у нас было принято за то, что человек делает хотя бы нормально, называть его отличником. У нас даже дом мог отличиться. Вешалась табличка "Дом высокой культуры". Каково другим домам, представляешь?

— А твой дом?

— Он не отличник. В нем девятьсот квартир, так что попадают и с низкой культурой.

²² "I want you, I miss you, I need you" – Хочу тебя, скучаю по тебе, ты мне нужна (англ.)

— О Господи, смешной мир...

Мария вздохнула, перевела скорость, чуть наклонив голову вперед, и мы по плавной дуге ушли в сторону от сумасшедшего потока, вскоре свернув на тихую улицу, затененную ночными деревьями.

— Кажется, здесь, — сказала Мария, вглядываясь в светящиеся вывески. Она затормозила у тротуара, я вылез, захлопнул за собой дверцу и, обойдя машину, помог выйти Марии. В руках у нее была тяжелая коробка автомобильного приемника. В ресторанчике было чисто, тихо и голо, хотя народ имелся. Но голо. Слишком много плитки, всяких там гладких холодных изразцов. Ресторанчик был рассчитан на лето, на жару. Он и вправду был итальянский, и робкая, оттого что плохо говорит по-испански, белокурая итальянская официантка, одетая как стюардесса, с тихой вежливой улыбкой подала Марии меню.

— Я есть ничего не хочу, — сказал я.

— А я хочу, — сказала Мария.

— Тогда я тоже хочу, — сказал я.

— Мясо, рыба? — спросила Мария. — Тут что-то больно много всего. Это подозрительно. Когда в меню слишком много блюд, значит, ни одного вкусного.

— Возьмем спагетти? — сказал я.

— Есть спагетти с сыром, — сказала Мария. — Подходит?

— Лучше сыр со спагетти, — сказал я.

— Решено, — сказала Мария. — Пиво, вино?

— Вино.

— А я возьму пива.

— Ты не любишь вино?

— Сейчас не хочу. У нас целая ночь впереди.

Нет, я неправильно перевел. Она сказала иначе. Она еще в машине это сказала, а теперь повторила: "It's my night"²³.

— Так о чем мы говорили? — подняла она на меня глаза, когда официантка ушла с нашим заказом.

— Не помню.

— Что-то интересное...

— Просто нам интересно друг с другом.

— Ты прав. Странное чувство. Будто я давно тебя знаю.

— У меня то же самое.

— Это странно, Игнасио, это странно. Так очень редко бывает. Может, мы придумываем на ходу?

— Может быть... — сказал я.

²³ It's my night – Это моя ночь (англ.)

Спагетти с сыром оказались ничуть не лучше сыра со спагетти. Мария попробовала и отодвинула тарелку. Есть не хотелось — хотелось говорить. Казалось, интервью продолжается, и я нес какие-то банальности про пробуждающийся народ. Она слушала меня со смущенной улыбкой, которую можно было понять так: "Да, все это очень интересно, но для другого раза. У нас не так уж много времени, а мы все сидим в этом дурацком ресторане". Я заказал чай, а Мария ромашку — в Испании принято заваривать какой-нибудь цветок.

— Куда же нам поехать? — сказала Мария, глядя на меня.

— Не знаю, мне все равно, — невинно сказал я, будто готов был всю ночь колесить по Мадриду. — Мне все интересно.

Мария чуть нервничала — видно, я слишком увлекся своей ролью. Игры взрослых людей — забавная штука. Все построено на противоходе текста и подтекста. И чем четче подтекст, тем замысловатее внешний рисунок.

— Тут есть хороший ночной джаз-клуб, — сказала Мария, как бы досадуя, что он есть. — Можно заглянуть туда. В ночном Мадриде есть куда поехать. — Еще немного, и она рассердится на меня за то, что я такая орясина.

— Поехали лучше к тебе домой, — сказал я. — У тебя есть джазовые записи?

— О, к сожалению, ко мне нельзя, — покачала головой Мария.

— Почему? — простодушно удивился я.

Мария посмотрела на меня так, чтобы я попытался это правильно понять, и сказала не без усилия:

— Я живу не одна.

Я не сразу нашелся, что ответить, хотя меня и не спрашивали. Меня просто ставили перед фактом. Тогда какого лешего — тоскливо подумал я, заулыбавшись. Уж не знаю, как это у меня получилось, потому что щеки подморозило, как под местной анестезией.

— Что ж, тогда можно и в джаз-клуб. — Господи, какой я идиот. Был идиот, есть идиот и помру идиотом. Вот что называется — принимать желаемое за действительное. Последнее было совсем в другом месте и по другому поводу. Мария смотрела на меня соболезнующе. Разговор продолжался, и я изо всех сил делал вид, что ничего не произошло. Но — произошло! Господи, а что теперь-то? Какой-то джаз-клуб, а там всепогодный Дюк Эллингтон, "Караван". ...Нет! Домой, спать! Уснуть и видеть сны. "To die, to sleep..." ²⁴Так всю жизнь и проспал. И самые прекрасные женщины ушли с другими. Виктор же говорил, что она не замужем... Какого лешего?! Я расстроился, как мальчик. О чем-то мы еще говорили, но я даже не помню. Мария курила, и я тоже взял сигарету. Кажется, ее не очень озаботило мое огорчение. Собственно, чего ей напрягаться по моему поводу? Я хотел расплатиться с официанткой, но Мария не позволила.

— Нет, это я пригласила...

— Но у нас платит мужчина...

— Оставь свой патриархат при себе...

Какой мерзкий ресторан. Мерзкие стены в узорах. Это не узоры, а прилипшие спагетти, посыпанные сыром.. Мария открыла машину, вставила в гнездо приемник, а я со стыдом вспомнил о бутылке вина, сиротливо притаившейся в полиэтиленовой сумке на заднем сиденье. Вино должно было быть высокого качества. У Виктора в доме не было плохих вин. "Это маленький секрет", — сказал я Марии, когда бросил сумку на заднее сиденье.

²⁴ "To die, to sleep..." – Умереть, уснуть (англ.). В. Шекспир. Из монолога Гамлета.

— Ну что, в джаз-клуб? — сказала Мария, будто я мог предложить ей что-нибудь повеселее. Я как можно беспечней кивнул. Итак, едем дальше. Да здравствует ночной Мадрид! Впрочем, город я видел неясно. По сравнению с ночным, сентябрьским, когда меня впервые прокатили по нему, он затих, успокоился, или просто улицы нам такие выпали — пустые, сонные, респектабельные, только спящие стада машин вдоль тротуаров. Кто-то ведь на них приехал. Куда все подевались? Где же веселье, ночной кутеж?

Похоже, Мария нечетко знала, куда ехать. Мы вильнули туда-сюда, наконец вроде нашли, но припарковаться было негде, и Мария тихо ругнулась, объезжая машины, жадно припавшие к тротуару, как на водопое. Мы вырулили на другую сторону улицы, втиснулись куда-то, и Мария снова вынула радиоприемник. Так мы и будем таскать его всю ночь...

— Ну, пошли? — улыбнулась она мне. У нее было прекрасное настроение. Что ж, гулять так гулять. Пока не сядут батарейки. Я дружески обнял ее за талию, и мы пошли на противоположную сторону. Улица была широкой и тихой, и деревья над тротуарами были широкие и тихие, с еще не опавшей листвой. Мы ступили на бровку тротуара, но мне не хотелось убирать руку с талии. Руке было хорошо. Руке было тепло от тепла Марии, и что-то снова изменилось. Мне вдруг тоже стало хорошо, будто она ничего мне не говорила. Я повернул Марию к себе той же рукой, наклонился, прижался щекой к ее щеке... Мы постояли так, между нами был радиоприемник, и Мария опустила руку с ним, чтобы он не мешал. Теперь ничто не мешало, я прижал Марию к себе и нашел ее губы. Когда я ее целовал, у меня закружилась голова, и я почувствовал, что у нее тоже кружится и она теряет равновесие. Я обнял ее второй рукой, не желая отрываться от ее губ, отвечающих мне. Я ждал, что вот-вот раздастся стук приемника об асфальт, и взял его. Кто-то, шаркая, прошел мимо. Рядом на поводке неслышно протекла большая собака. Когда я отпустил Марию, она посмотрела на меня снизу — она была на голову ниже — и спросила:

— Так мы идем в джаз-клуб?

— Ну его к черту! — сказал я.

— Тогда есть одно место, куда можно пойти, — сказала она.

— Пойдем, — сказал я. Мы снова сели в машину. Мария включила зажигание, положила руки на руль, но я взял их в свои, потянул Марию к себе и снова поцеловал.

— Так мы не доедем, — сказала она, переводя дыхание и встряхивая головой, чтобы разглядеть улицу за ветровым стеклом. — Хорошо, что недалеко.

Через квартала два мы остановились. Мария повернулась ко мне и сказала:

— У меня есть ключ от квартиры. Это квартира моей подруги... Это не очень плохо, что я взяла с собой ключ?

— А у меня есть бутылка вина, — сказал я, доставая с заднего сиденья полиэтиленовую сумку.

Мария засмеялась:

— О, эти смешные взрослые люди...

Улица была нарядна, и дом тоже. Еще один ключ предназначался для парадной двери.

Лифт поднял нас на пятый этаж. Лифт был современный, а дом — прошлого века. Комнаты были большие, с высокими потолками, а мебели мало. И много книг — на полках, в креслах и на полу. В спальне книг не было. В спальне была широченная кровать, но не шире той, на которой я спал в доме брата. Открытые окна глядели на улицу, на дом напротив. Я хотел задержать тяжелые шторы, но Мария сказала:

— Не надо, будет душно...

Глаз она не закрывала. И смотрела, смотрела, смотрела прямо мне в глаза, будто не хотела ни на миг остаться одна, — только взгляд становился все глубже и отчаяннее, словно она боялась потеряться или что-то потерять.

Потом она сказала:

— You crazy Russian boy...²⁵

Мы сели обняв колени. Грудь у нее были маленькие и упругие, грудь нерожавшей женщины. И нагота девочки-подростка. Лицо ее было старше, чем тело, а взгляд старше лица. Ее тело противоречило ее взгляду — оно было пылким и жадным до жизни.

— Послушаем джаз? — сказал я.

— Только негромко, — сказала она.

Я пошел в соседнюю комнату, где видел проигрыватель, перебрал стопку пластинок и нашел Брубeka.

— Брубеk подойдет? — крикнул я.

— Подойдет, — сказала из спальни Мария.

Я поставил пластинку.

— Вина налить?

— Пока не надо.

Я вернулся в спальню. Мария сидела в прежней позе и курила.

— Ты почти не пьешь вина, — сказал я.

— Я в нем не нуждаюсь.

— Я тоже не нуждаюсь. Вино мне ничего не добавляет.

— Мне тоже.

— И здесь мы похожи.

— Чем дальше, тем сильнее у меня ощущение, что мы давно знаем друг друга.

— Ничего странного. С нами так и должно быть.

— Нет, нет. Это может быть самообман, наши фантазии. Я большая фантазерка. Я ведь вовсе не собиралась изменять Марку. Сегодня я первый раз изменила ему. Первый раз за три года...

— Вы три года женаты?

— Мы не женаты. Мы живем вместе. Когда я преподавала в Штатах, я влюбилась в него, а он в меня. И он приехал ко мне. Он занимается психологией.

— Ты его любишь?

— Теперь думаю, что нет.

— Почему?

²⁵ You crazy Russian boy... – Ты, сумасшедший русский мальчишка (англ.)

— Это тяжелая тема. Давай лучше поговорим о тебе, crazy Russian boy. Садись сюда, my Teddy-Bear²⁶.

— Разве я похож на медведя?

— Нет, ты скорее похож на кота. На кота с гладкой шерсткой. Иди сюда, my silky Tom-cat. I want you to touch me.²⁷

Музыка наступала, держала в горсти, нанизывала на пять спиц, пять лучей нотного стана, где каждый луч был органом чувств...

— Почему у тебя глаза отдельно?

— Чтобы не потерять голову.

— Подумаешь, потеряла бы разок.

— Я уже теряла, и не раз. А потом очень больно.

— Ты боишься боли?

— Да, я боюсь боли. Я не умею легко расставаться.

— А зачем расставаться?

— Затем, что все мы одиноки и рано или поздно осознаем это.

— Тебе не встретилось человека, с которым ты не была бы одинока?

— Почему? Пока я любила, я не чувствовала себя одинокой. Но любовь проходит. И мы ее снова придумываем, чтобы вырваться из одиночества.

— Разве в любви нет истины?

— Боюсь, что нет, — иначе она была бы вечной.

— Для любви достаточно и относительных истин, — сказал я. — Сейчас, например, ты любишь меня.

— О, Игнасио, ты мне очень, очень нравишься...

— Очень, очень нравиться — это и значит быть любимым.

Мария засмеялась, приподнявшись надо мной, чтобы заглянуть мне в глаза:

— Пожалуй, ты прав.

— Вот видишь... Будем считать, что ты призналась мне в любви.

— Ты хочешь, чтобы тебя любили?

— Да.

— Тебя никто не любит?

— Кроме тебя, никто.

— Ты врешь, Russian silky cat. Скажи, из-за чего ты развелся.

²⁶ my Teddy-Bear. – Мой медвежонок (англ.)

²⁷ my silky Tom-cat. I want you to touch me. – Мой шелковый кот. Хочу твоих ласк (англ.)

— Из-за ведра.

— Из-за какого ведра?

— Мусорного. Когда я возвращался со службы и открывал дверь, в прихожей меня ждало ведро. Его надо было сразу же, не раздеваясь, вынести на помойку. Я выносил его целых два года. Я считаю, что еще долго продержался.

— Может, ты чересчур впечатлительный?

— Не знаю. Потом я еще приходил встречаться со своей дочерью. Жена снова была замужем, и ее нового мужа в прихожей ждало мусорное ведро. Я все понял. Но он продержался дольше — целых три года.

— А сейчас она одна?

— Нет, снова замужем. Надо бы мне позвонить ей и дать совет по поводу семейного счастья.

— Я думаю, Игнасио, что твоей жене просто не повезло. Есть много больших любителей выносить мусор. Марк, например...

— Не хочу говорить про твоего Марка. *It hurts me.* ²⁸

— Ты прав. Прости.

Стоило моему сопернику приобрести пару реальных черт, как я испытал приступ ревности. Первая размолвка... Но оттого еще неистовей было желание отнять у него Марию — хотя бы ее тело, хотя бы ее плоть... И снова она не хотела забыться, вольно раскинув руки и ноги и впившись мне в глаза своим долгим, сумеречным, беззащитным взглядом.

— Принести вина?

— Нет, мне и так хорошо.

— И мне хорошо.

— С тобой так спокойно, Игнасио. Давно мне не было так спокойно.

— Это потому, что ты меня любишь.

— *Oh, naughty boy! ****

— А ты сколько раз была замужем?

— Ни разу...

— Но ты же любила.

— *Si, pardon, yes.* Я любила три раза. Или четыре. Первый раз я полюбила, когда мне было семнадцать. Было такое сумасшедшее время. Все было сложно, трудно, мучительно. Молодость — мучительное время. В семнадцать лет я еще была чистой девочкой: дом, семья, строгость. И вот я окунулась в этот мир. О, это было тяжело! Ведь мы входили в него с новой моралью. Все мы были детьми шестидесят восьмого года, молодежной революции. Мы отвергли все ценности старшего поколения. Мы сняли все запреты, мы отменили мораль — мы называли ее моралью буржуазии. Мы говорили: ты свободен, делай все, что хочешь. Все равно что. Мы ненавидели богатых, мы были бедны, и мы говорили — нам ничего вашего не нужно, только не мешайте нам быть самими собой. Мы считали себя настоящими, свободными, мы презирали буржуазию и философию потребления.

²⁸ *It hurts me.* – Мне больно (англ.)

— Вы были хиппи?

— Да, мы были хиппи. Это было очистительное движение всей молодежи Запада. Мы хотели перетряхнуть все общество, и прежде всего его мораль, порождающую рабов системы.

— У нас хиппи ругали...

— Естественно. Они выступали против тоталитарных режимов. Они были пацифисты. Они жили коммунами, утверждали равенство и ненавидели капитализм. И в любви у нас тоже было равенство. Мы считали, что любовь двоих — это тоже буржуазный предрассудок. Мы были за свободную любовь. О, сколько я настрадалась из-за этой свободной любви! Я была чистой домашней девочкой и в один день перестала быть и чистой, и домашней... Я влюбилась в одного человека, а у него уже была девушка. И я, согласно нашей морали, должна была мириться с этим и делать вид, что все нормально. Но ведь это ненормально, если ты любишь. Это были одни страдания, потому что я хотела, чтобы этот человек был только со мной. Старая мораль мне была ближе, и я стыдилась себя, считала, что недостойна быть среди хиппи, что я предаю их. Наверно, мы все скрывали друг от друга свои подлинные чувства. О, бедная юность... Не хотела бы я еще раз ее пережить. Я так и не смогла смириться и ушла от того человека. А потом у меня был Санчес, аргентинец. Мы с ним жили четыре года. Он был бродяга, уличный музыкант. Или он даже не был музыкантом. Он никем не был, он не хотел работать. Он считал труд тоже буржуазным предрассудком. У него не было ни дома, ни денег, ничего. Я снимала какую-то квартиру, и он жил у меня. И я все время ломала голову, где достать денег. Я училась в университете и уже что-то писала для газет, но за это мало платили. А Санчес был старше меня, и он был очень красивый, и у него была борода, как у Че Гевары, но, кроме красоты, у него не было ничего. Он жил тем, что он красавец, и у него это получалось. Его все любили, он был добрый и ласковый и ничего не делал. И жил за счет любви других. Он был ужасный вун, но я ему долго верила. И даже когда поняла, что он меня обманывает на каждом шагу, я еще долго не могла расстаться с ним. Я целых два года уходила от него. Мне казалось, что я отвечаю за него, несу моральную ответственность. Мне казалось, что я его воспитываю и что в один прекрасный день он станет таким, каким я хотела его видеть. И поэтому я все не решалась его бросить — мне казалось, что без меня он погибнет. Хотя жить с ним было невыносимо. Это очень трудно — трудиться в поте лица рядом с тем, кто ничего не делает. Когда я говорила, что ухожу, он становился таким жалким и несчастным, что я чувствовала себя преступницей. А потом я узнала, что так же, как со мной, он жил еще с несколькими женщинами, они его тоже содержали, заботились о нем. Он был добрый — он никому не запрещал себя любить. Он все время куда-то исчезал, ездил по Испании, но я не могла ездить с ним — я училась и работала. Но все равно я с ним очень трудно простилась и до сих пор испытываю что-то вроде вины. Мы ведь всегда виноваты перед теми, кто слабее нас, хотя я не уверена, что это правильно. А потом я полюбила Мануэля. Он тоже был журналистом. Я уже закончила университет, и меня взяли в газету, и там я его встретила. Это был мой самый большой друг, ни до, ни после у меня не было такого друга. Он все понимал, и я с ним тоже все понимала. Вместе с ним я гораздо больше понимала про жизнь, чем без него. Но я его не любила. В этом все дело. Я не любила, когда он ко мне прикасался. Он был тоже видный парень, но я не могла заниматься с ним любовью. Не знаю почему. Я любила его душу, его ум, но его секс вызывал у меня неприязнь. Я мучилась и опять считала, что это я сама виновата. Что во мне что-то не так, раз мне с ним неприятно в постели. И я старалась убить свой секс — ведь Мануэль был такой прекрасный человек, прекраснейший. Но когда я ложилась с ним в постель, это была для меня пытка. В конце концов я больше не смогла с ним жить и ушла. И мы оба плакали как дети, но ничего у нас все равно не получалось. Я хотела чувствовать себя полноценной женщиной...

"А как сейчас? — хотел спросить я. — Как сейчас с психологом Марком?" Но не спросил. Однако она услышала мой вопрос. Потянулась к стулу, нашла среди вороха одежды свои часы:

— О, уже полчетвертого... Мы остаемся или уезжаем?

— Не знаю. Как наша хозяйка?

— Она придет только утром. У нее ночное дежурство на радио. Она радиожурналист.

Если мы останемся, тогда мне надо что-то придумать для Марка.

— Это лишнее, — сказал я. — Не надо лишних проблем. Тебе лучше поехать домой.

— Ты не обидишься?

— У меня нет права, — сказал я. И еще я сказал, чтобы она не принимала меня всерьез. Я просто ее ночное приключение. Но если ей хорошо со мной, то мы еще встретимся.

— Мне очень хорошо, мне так хорошо с тобой, — сказала она.

Мадрид спал, спала улица Мигеля Анхела, то есть Микеланджело, как вдруг сообразил я, где ждал нас маленький "пежо" Марии, только по Кастеяно шел бессонный, хотя и поредевший косяк машин. Уже в пятом часу утра я тихо открыл металлическую калитку, прошел по нашему двору, вставил ключ в замок двери, потянул ее к себе — в темноте прихожей передо мной молча стоял Моро. Как бы он встретил вора? Лаем или вот так же молча, чтобы нас не будить, перегрыз ему глотку? Интересно, звонил ли Виктор. Моро, конечно, знал, но не мог сказать. Я заглянул к детям — они сладко спали. Постоял в ванной комнате перед зеркалом. Господи, как я устал. Стареть не хотелось. Пусть будет хотя бы как сейчас. Сколько раз я считал, что все кончено и жить дальше не стоит. Не надо зарекаться. Мы не умней жизни. Я поставил будильник на полдевятого и мгновенно уснул.

Ты, конечно, уже знаешь, что у нас была попытка военного переворота. Для меня, человека далекого от политики, как, впрочем, и для Виктора, непросто привыкнуть к мысли, что наша жизнь здесь тесно связана с тем, какие силы у власти.

В тот вечер я как раз сидела у телевизора и слушала дебаты в сенате. Обсуждали кандидатуру нового главы правительства, так как популярность Суареса, много сделавшего, чтобы ослабить послефранкистскую государственную систему, резко упала. Народ был недоволен, что его правительство так и не справилось с экономическим кризисом и не покончило с терроризмом. И вот вдруг в зал заседаний вваливаются какие-то люди, и один из них — это был, как потом стало известно, подполковник Техеро Молино — командует: "Всем смирно!" И все депутаты, естественно, рассмеялись. Это было похоже на плохой театр. Тогда он выстрелил в потолок и скомандовал: "Всем ложиться!" И вот на глазах потрясенных телезрителей все депутаты: и правые, и левые, и коммунисты во главе с Каррильо — полезли под стулья... Один только Суарес, хотя он уже сдал свои полномочия, повел себя как мужчина. Он подошел к Техеро и потребовал объяснений. Его отшвырнули, а он снова подступил — один, так как все остальные лежали в проходах... И все это снималось, хотя заговорщики сразу приказали прекратить съемку. Все и прекратили, но один оператор, уходя, оставил включенной свою камеру, и она продолжала работать... А на телестудии тоже оцепенели от растерянности и, не имея никаких указаний сверху, продолжали давать все в эфир.

Военный переворот! Я была дома одна, только я и дети. Виктор был в Германии. Я бросилась звонить Терезе, но телефон не работал. И опять повторилось то, что я уже испытывала. В одно мгновение ты стал никем, ты стал крошечным, оторванным от мира островком. Это был момент полной беспомощности и незащищенности. Одна, с детьми. Что делать? Куда бежать? Или ждать, пока за нами придут? А что придут — в этом у меня не было ни малейших сомнений... Где-то уже в полночь телефон вдруг снова заработал, хотя до Терезы я так и не смогла дозвониться. Но я дозвонилась до одного знакомого журналиста. Спрашиваю у него: "Что это, Луис?" А он отвечает: "Что это? Это значит, увидимся на стадионе Бернабео..." А на Бернабео Франко когда-то сгонял всех коммунистов и подозрительных.

Спать я не легла. И во втором часу ночи по телевидению выступил король Хуан Карлос. Он повел себя чрезвычайно четко и мужественно в этой ситуации. Он осудил мятеж и призвал армию к повиновению — ведь по конституции он являлся главнокомандующим. Похоже, со стороны военных на него было оказано сильное давление — ему было предложено уехать на время то ли в Португалию, то ли еще куда. Но он созвал свою семью, жену, детей и заявил категорическое "нет". Уже и прежде было видно, что он отнюдь не нуль, не серая личность, каким выставляли его в прессе то левые, то правые, когда им это было на руку, но именно теперь

он и завоевал в стране прочный авторитет. Хорошо, что он военный, что в его подчинении были люди, с которыми он вместе учился. За несколько часов он собрал верные себе армейские части и окружил здание кортесов. К полудню мятежники сдались. Удивительно, но обошлось без кровопролития. И в этом многие тоже увидели заслугу короля.

Да, главное ощущение, которое я вынесла из этих событий, что наша жизнь — она буквально на ниточке. И что все эти системы, партии, режимы — это какая-то бесовская игра, в которой ты всегда только жертва... В чужой стране, думаю, это можно пережить, а вот в своей не хотелось бы.

20 марта 1981 г.

—НАЙДИ мне кого-нибудь, — просила Улитка. — Мне надоело Лильку рисовать. Она, конечно, видная девица; когда мы вместе, только на нее и смотрят, но у нее вульгарное лицо. Она мне надоела. Найди мне кого-нибудь с хорошим лицом.

Лилька и вправду была вульгарной, но это ей подходило; мне нравилось, как она танцует, нравилось, как она открывает рот в танце... она была без тормозов и горой стояла за Улитку, но и ее часто отлучали от Улиткиного дома.

Поздно вечером в вагоне метро напротив меня села молоденькая девица, я машинально глянул, снова сунулся в книгу, а это был не кто-нибудь, а Владимир Соловьев, но дивный будоражающий его текст, похожий на утренний ветер с моря, вдруг перестал до меня доходить, словно повернув вспять, — я почувствовал, что моя оболочка прорвана и я больше не один. Я снова поднял глаза и посмотрел на девицу. И тут я понял: сквозь пустенькое выражение ее лица проступали поразительные черты. Лицо лепили как бы два континента — Африка и Европа. От Африки была нижняя часть — точеный подбородок, выдвинутые, чувственные, развернутые губы, а от Европы — чистый лоб, прямые брови, тонкие ноздри. Но поразительнее всего были глаза — карие, глубоко посаженные в узкий, раскосый разрез век, скорее глаза прекрасного зверька, чем человека. Глаза эти приметили мой взгляд, скакнули в сторону, но снова исподтишка глянули на меня. В них было любопытство. Следующая остановка была моей, последней, и все вышли. Я нагнал девицу и тронул за рукав куртки. Она обернулась. Лицо ее было приветливым. Если бы она обернулась агрессивно, я бы извинился и пошел себе дальше. Но у нее, видно, был добрый нрав. Я тут же сказал ей про ее лицо, и что именно такое лицо ищет моя знакомая художница для своей картины. Девица мне вроде поверила. Наверху, на улице, я попросил у нее телефон. Она назвала, и я записал.

— А почему вы думаете, что я вам не наврала? — сказала она.

— Не знаю, — сказал я. — Я вам верю.

— Да, это мой телефон, — подтвердила она.

Она сказала, что свободное время у нее есть и она согласна попозировать. Она назвалась Несси. Так ее зовут друзья. Родители к этому привыкли. А вообще-то она Элла. Ничего себе имечко. Уж лучше Несси.

На следующий день я повез ее к Улитке. Я спешил по делам и пробыл с ними недолго. Улитка поила Несси чаем и рассказывала про нас. Она говорила, что мы собираем вокруг себя интересных людей.

— Но я совсем неинтересная, — сказала Несси.

— Это еще неизвестно, — сказала Улитка. — Мы собираем интересных и красивых людей.

По Улитке я не понял, удачна ли моя находка, и ждал вечернего звонка.

— Ты знаешь, — успокоила меня Улитка, — она очень хорошая девочка. Очень добрая. И очень несчастная. Работает на какой-то кондитерской фабрике. Родители развелись. Она очень неуверена в себе. И конечно, абсолютно невежественная. Она вообще ничего не знает. Но она так потянулась ко всему нашему, ко мне... Она сказала, что таких людей, как мы, еще не встречала. Я учила ее играть на пианино. Я надписала ей клавиши, и она играла. Ой, у нее такое лицо! Эти глубокие глазки, этот носик, эти влажные губки. У меня в детстве, помню, такая кукла была, немецкая. Только я ее не любила. Я вообще в куклы не играла. А имя какое — Несси! Это в честь того чудища из Шотландии? Она, когда уходила, расплакалась. Сказала, что это сон, что так хорошо ей никогда еще не было. Бедная... Мы ей поможем.

Для начала Улитка отказалась в ее пользу от своего билета на концерт страшно популярной немецкой рок-группы. Билеты достались мне по великому благу, и, хотя я к подобной музыке был равнодушен, я полагал, что рядом с Улиткой пойму больше.

— Сама с ней сходи, — сказал я. — Ты же хотела послушать.

— Нет, я все равно занята, — покачала головой Улитка. — Ко мне вечером один коллекционер должен подъехать. Он только на день из Москвы. У него есть Врубель, "Ангел с кадилльницей", один из вариантов. Я все к нему подбираюсь... Идите. Ты потом мне расскажешь.

И я поехал с Несси. Рядом с ней я мог выступить разве что в роли папы или дяди, и молодые люди в метро, не слишком меня стесняясь, пялились на нее. Несси тоже стреляла глазками, оборачивалась, показывала язык. — Ты себя не уважаешь, — сказал я. — А заодно и меня.

— А что они вылупились?

— Ты красивая, я их понимаю. Но ты должна вести себя иначе. Ты не должна суетиться, тем более если рядом с тобой мужчина.

— А что я должна делать?

— Не обращать внимания. Ты со мной, и все.

— Хорошо, я не буду. — Несси неуверенно хихикнула и еще более неуверенно взяла меня под руку. Жесты у нее были немного деревянные.

— Ты с отцом ходила когда-нибудь в театр, в кино?

— Еще чего... — хмыкнула Несси.

— Наверно, тебе со мной неловко?

— Нет, нормально. Мне нравятся такие...

— Какие такие?

— Ну, как ты.

— А парень у тебя есть?

— Спрашиваешь...

Почти за каждой ее фразой следовал смешок.

— Я имею в виду — парень, которого ты любишь.

— Петька. Только я его не люблю. Он меня любит. А я ему изменяю.

— Зачем?

— Хм... много будешь знать.

— Он кто?

— А... инженер. У него жена есть, ребенок. А он говорит, что меня любит.

Так мы с ней и разговаривали, поспешая в крикливой и гульливой молодежной толпе к огромному зданию, похожему на кусок турбины, покрашенный белой краской. Походка у Несси была враскачку, с ноги на ногу, плечи опущены, а мерзнувшие на вечернем майском ветру кисти спрятаны в длинные рукава спортивной куртки. — Ты что, греблей занималась?

— Не-а. Плаванием.

— А "Скорпион" тебе нравятся?

— Будто бы нет...

— Что, нравятся?

— Спрашиваешь...

Места у нас были хорошие, в партере, но пространство между первым рядом и эстрадой уже было запружено толпой, и нам пришлось перебраться повыше.

— Я тоже туда хочу, — кивнула Несси в сторону толпы. — Я всегда там. Там тусовка. Все прыгают, танцуют. Я тоже танцевала. Два часа. — Лицо ее приняло мечтательное выражение и стало красивым. Красивая импортная кукла с закрывающимися глазами.

— Ну иди, — сказал я.

— Не, с тобой буду. Ты обидишься.

— Ради Бога! Иди. Найди какого-нибудь мальчика.

— Ну их. Они мне надоели. Мне с тобой нравится. Ты что, любишь Улитку?

— Люблю.

— Она мне тоже очень нравится. Вы меня не бросите?

Концерт оказался, что называется, ничего себе. Я ожидал худшего. Немцы работали добросовестно. У солиста был голос, а у группы были мелодии. Толпа перед эстрадой бесновалась, жгла бенгальские огни и вскидывала руки с двумя выставленными пальцами — указательным и мизинцем. Так в детстве мне изображали козу-дерезу. Сотни черных рожек на фоне стреляющей светом, задымленной сцены... Это были они, улитки.

— Ты знаешь, у нее способности к живописи, — звонила мне Улитка. — Только к абстрактной. У нее такое чувство цвета... Я учу ее, как пользоваться красками. Мы вместе будем писать картины — она начинает, я заканчиваю. Ты ведь все время занят... Она хорошая, добрая, она мне совсем не мешает. Только надо ей другую работу подыскать. Она же на кондитерской фабрике, по восемь часов на ногах с этим кремом, с тестом... А мужики там отнимают у девочек коньяк, который на торты идет. У нее все время неприятности. Я говорю — уходи. Не ходи на работу, и все. Пусть будет прогул. Пусть увольняют. Хоть по статье. Ей же восемнадцать лет. Она эту трудовую книжку выбросит и другую заведет.. Мамаша ее — тоже мне! Эксплуатирует дочь. Сама устроилась на тепленькое местечко — сторожит что-то два раза в неделю за девяносто рублей. А дочь должна сто восемьдесят приносить. Я с мамашей уже говорила. Ой, знаешь, у нее прямо страшно. Пустая квартира. Представляешь, совсем пустая. Ванной комнаты нет. Одна жалкая облезлая раковина на кухне. С мужем она развелась, но он живет тут же, в другой комнате. Муж — пьяница, он тащит у них что ни попадя и пропивает. Мамаша счастлива, что я за Несси взялась. Уже клонит к тому, чтобы я ее и содержала... Ну и родители. А Несси привязалась ко мне, как собачонка. Куда я, туда и она. Я ей говорю: я тебя сделаю настоящей женщиной. Введу ее в круг хороших людей. Надо мне ее с кем-нибудь познакомить. Ей замуж надо. Она из тех, кому

нужно замуж. Одна она погибнет. Она без хребта, без характера. Куда помянут, туда и идет. Я чувствую ответственность за нее. Надо ее сводить к Диме. Пусть посмотрит его коллекцию — пора ей приобщаться к красивому. А он пусть тоже подключается к ее воспитанию.

Теперь часто, когда я звонил Улитке, она говорила: "У меня Несси".

— Она не мешает тебе?

— Нет, что ты.

Жених все не подыскивался. Тростник, друг Бадри, Несси не прельстился. "Слишком большая ответственность, — вроде бы сказал он. — Я не могу это взять на себя".

Зато Дима проявил активность.

— Ты зря волнуешься, — говорила мне Улитка. — Он ей ничего плохого не сделает. Он же импотент. Женщины ему не нужны. Ему лишь бы покрасоваться в ее компании да глазки построить. Он ей как папаша. Водит по музеям, на выставки... объясняет. Она его слушает.

Вдруг позвонила сама Несси и попросила о встрече.

— Зачем? — не очень вежливо спросил я.

— Просто так, — сказала она. — Мне плохо...

— С Улиткой поссорилась?

— Не знаю... — замялась она.

Я встретил ее у метро, и мы пошли пешком по майскому теплу, заглянули в кафе. Я заказал два кофе и пирожные. От пирожных она отказалась:

— Я сладкое не ем.

— Так зачем я тебе понадобился?

— Не знаю... Просто так... — Несси хохотнула.

— Так что у тебя с Улиткой?

— Ничего.

— А что плохо? Дома? На работе?

— А... там всегда одинаково.

— Петька бросил?

— Я сама его бросила. Надоел.

— Кто же у тебя теперь?

— А... всякие там. Армянин один... фотограф. Позвал фотографировать. А потом в постель потащил. Противный такой. Жениться, говорит, на тебе хочу.

— Ты что, переспала с ним?

— А что делать... — Несси хохотнула.

— Он же противный.

— Да нет, ничего себе.

— Зря... — сказал я. — Тебя там вроде воспитывают — Улитка, Дима. Дима к искусству приобщает, мне Улитка рассказывала.

— Ну, конечно, к искусству... — хмыкнула Несси. — Она только с ним познакомила, он сразу полез. Мы в ресторане были, а потом втроем к нему пошли. Пьяные были. А потом я вижу — Улитки нет. А он лезет на меня, совсем заколебал. Я вырвалась и побежала вниз. А она уже в такси садится. Я как закричу: "Улитка, не бросай меня!" А она все равно уехала. А Дима догнал и вцепился...

— И ты вернулась к нему?

— Еще чего... Я пошла пешком. У меня денег не было. Дошла до Улитки. Она меня не пустила. У нее был Бадри. Она дала мне денег на такси и дверь захлопнула.

Дальше я слышал плохо.

— Ты что такой? — спросила Несси. — Ты что, любишь ее?

— Не знаю, — сказал я.

— А я тебя люблю, — сказала она и хохотнула.

Про Бадри Улитка рассказала сама:

— Он у меня целую неделю жил. Я придатки простудила, и он колот меня через шесть часов антибиотиками. Он знает мои болячки. Замучился, бедный, у него сессия, а тут я, старая больная кляча.

И я не посмел ни слова ей сказать. Но история Несси не шла у меня из головы, и я сам ей позвонил.

— Хочешь, я к тебе приду? — сказала она.

— Нет, лучше погуляем, — сказал я.

Мы пошли в то же кафе, но оно было закрыто, и мы вышли на берег залива. Дул свежий, но теплый ветер, засинивший болотно-оливковый цвет Невской губы.

— Почему ты не хочешь, чтобы я тебя любила? — спросила Несси.

— Потому что я старый, — сказал я. — Через десять лет я буду совсем седым и старым, и ты меня бросишь. А я не хочу, чтобы меня бросали.

— Ты просто любишь Улитку. Она лучше меня.

— Любишь — не любишь... Лучше расскажи про себя.

— Ты для этого меня позвал?

— А ты хочешь, чтобы я, как Дима, к тебе полез?

— Уй... он такой мерзкий. А Бадри красивый.

— Ты что, познакомилась с ним?

— Угу. Мы провожали Улитку на эту самую, на йогу. А потом вернулись к ней. У Бадри есть ключ. Я думала, что мы будем целоваться, а он это... он взял меня на руки и отнес на диван. Постоял, посмотрел и сел на пианино играть. Он сказал, что меня не тронет. А мне хотелось.

— Ты бы его полюбила?

— Да... Но он любит Улитку. А она на нем висит: "Мой Бадри, мой Бадри..."

И снова потемнело у меня в глазах. Это крокодил солнце проглотил.

— Ну вот, — сказал я мертво, — а ты собираешься меня любить...

Бедная Несси, никому мы с тобой не нужны.

— Ты что, разочаровалась в Улитке? — спросил я на обратном пути.

— Немножко. Я думала, она лучше. Она меня больше не пускает к себе. Говорит, что я ей мешаю. Она снова с Лилькой.

— Ты все там же, на кондитерской фабрике?

— А где же еще... — хохотнула она.

— Улитка вроде хотела помочь.

— Сейчас... поможет она... Ей некогда, она с Бадри.

— Что, правда тяжело?

— Спрашиваешь... Сам бы попробовал. Еще мужики пристают...

— Коньяк просят?

— Ко мне пристают. А скажешь "нет" — избыют. У нас там только урки работают.

— Ты же одна, а их много.

— Не, не одна. И к другим девчонкам пристают. Только ко мне больше. — Несси хохотнула.

— Ну так позови начальство, милицию.

— Зачем? Мне его жалко.

— Кого?

— Женьку. Он два года отсидел. А теперь его не прописывают. Он детдомовский. Он совсем один. Ночью он мне говорит: "Маленькая моя, маленькая моя". Жениться хочет.

— А ты?

— Не, я его не люблю. Он пьет. Когда выпьет, лучше ему не попадаться. А так он добрый. Я один раз его пожалела, а теперь он проходу не дает.

А Улитка, давась от смеха, рассказывала мне очередную историю, из которых и состояла ее жизнь — жизнь как сумма историй, роман, разбитый на главы; интересно, где помещался я — в отдельной главе или же был одним из сквозных героев? Я слушал ее, но уже не так внимательно, как раньше. Часть меня отделилась и существовала теперь в стороне, наблюдая за мной, за Улиткой, и намерения этой отделившейся части были мне не вполне ясны. С этим успеется, говорил я, отодвигая эту часть плечом, но странно — то, что она была теперь у меня за спиной и в любой момент могла понадобиться, грело меня. Я стал спокойней, чем раньше, спокойней и уверенней.

Улитка собирала истории, а я начал собирать ее недостатки. Она не хотела учиться, она мало читала. А как она относилась к людям? К своим бесконечно сменяющим одна другую подружкам? Нуждалась в них? Но легко и расставалась. Без сердечной боли. Да полно, любила ли она кого-нибудь? Умеет ли она любить? Она окружает себя одноклеточными, чтобы быть царицей бала, инфузорией в туфельках, принцессой простейших, — она окружает себя одноклеточными, потому что они глупы и добры. И она ими помыкает. А кто я? Тоже простейший? Или не совсем, потому что ей непросто, неуютно со мной. Я для нее как укор, как соломинка в глазу. Я свидетель ее прожигания жизни — я один из всей ее гоп-компании понимаю, что она прожигает жизнь. Ей

приходится оправдываться передо мной. Ей со мной не в кайф. И я решил с ней поговорить, но она почувствовала и ускользала, переводила все на шутку или вдруг ни с того ни с сего принималась что-то увлеченно рассказывать — то бишь заговаривать зубы. Но тема повисла в воздухе, в паузах молчания заявляя о себе, и по выражению Улиткиного лица я видел, что она догадывается, о чем я молчу. Впрочем, что мне было до ее недостатков... Если б не Бадри, если б не он...

Однажды днем я сидел у нее, когда он позвонил. "Вы чувствуете друг друга". Улитка отвечала уклончиво, стремясь поскорее свернуть разговор. Для этого был наработан прием — начать что-нибудь рассказывать. Пусть невпопад. Но ревнивец Бадри учуял постороннего.

— Да, не одна, — ответила Улитка, стараясь быть честной.

— У меня Игнат, — ответила Улитка, стараясь быть очень честной. — Сидим, пьем чай.

— Ну перестань, — сказала она.

— Прошу тебя, перестань, — сказала она.

— Не надо. Пожалуйста, не надо, — сказала она. — Сколько можно говорить на эту тему...

И в этот момент раздался звонок в дверь — это, как обещал, заскочил на секунду Дима за своей штуковиной.

— Это Дима пришел, — сказала Улитка в трубку. — Ну что, теперь успокоился? Ясно, что успокоился. Я бы так точно успокоился. Ведь я бы не знал, что Дима только сунется в дверь, поздоровается и тут же исчезнет, так как внизу ждет такси, а Дима не любит, чтобы денежки тикали зазря. Мы снова остались одни, даже чай не успел остыть, и ничто нам теперь не мешало заняться, скажем, любовью, ничто и никто — ни молодые ревнивцы, ни старые импотенты. Я торопливо глотнул чаю, словно на дорожку, на дальнюю дорожку, вздохнул поглубже и сказал, что мой час настал. Ухожу. Единственное, чем я могу ей помочь, это своим уходом. Впрочем, если будет во мне нужда, она может позвонить. "Мы остаемся приятелями", — сказал я. Если это ей нужно. "Я буду твоим прохладным приятелем", — сказал я, улыбаясь, чтобы губы не дрожали. Она тоже заулыбалась. "Прохладный", "прохладно" — ее любимые слова. Она любила состояние прохлады. В таком состоянии ей особенно хорошо работалось. Прохладно — это когда высоко и одиноко, это дух. А тепло — "мне тепло с тобой, ты меня согрел" — это слишком земно, телесно, это когда вдвоем, это плоть. "Я буду твоим прохладным приятелем", — сказал я и ушел. Как приятель. И даже поцеловал ее на прощание. И по ее глазам я понял, что она хоть слегка и опечалена, но отпускает меня. "Раз ты, Игнат, так решил... Я понимаю тебя, Игнат... Сейчас я не могу его бросить... Нет, я не люблю его... Я и так уже голову сломала, как быть... Все кончится тем, что появится кто-то третий... Нет, муж мне не нужен".

Когда я ехал домой, я подумал: теперь она его бросит, раз теперь ей ничто не мешает быть с ним.

ПОЗВОНИЛ ВИКТОР.

— Когда возвращаетесь? — спросил я.

— Если ты не будешь возражать, мы еще задержимся на пару деньков.

— Пожалуйста, — втайне обрадовался я.

— Ты не будешь огорчен? — сказал брат, и я понял, что он все знает. — Тут, Игнаша, этот старый мудака Руиз настолько запутал простое дело, что я должен задержаться.

— Да пожалуйста...

— Тем более что ты интересно проводишь время... Старик, что они в тебе находят? Поделись секретом. Не могу же я объяснить твой успех только лишь переменами в России. Ну, как она в постели? Нет, я себе этого не могу простить — жить в Испании и не знать испанок... — Видно, Арина была рядом.

— Кто тебе сказал?

— Ну, старик, тут вся Менорка это обсуждает. А то они уже стали забывать, как ты покорял Сан-Боу. Мы тут с Аришей посоветовались и решили, что это то, что тебе надо. Машка — женщина будьте нате. В Испании таких, как она, не больше десятка. Так что не отпускай, держи крепче. Приеду — помогу... Если, конечно, она тебе понравилась. Она понравилась тебе? — Голос в трубке удалился, но все-таки я разобрал: "Подожди, мамка. Имею я право поинтересоваться сексуальными впечатлениями брата?"

— Понравилась, — сказал я.

— Хотя главное не это, — сказал Виктор. — Главное, чтобы ты ей понравился. Но я, в общем, не сомневаюсь... — Голос его опять удалился — это он обернулся со значением в глазах к Арине. — Могут, конечно, быть нюансы... Некоторая славянская упертость, ортодоксальность. Или вы еще не успели поговорить?

— Успели, — сказал я.

— Ты ее не напугал? — испугался на том конце провода Виктор.

— Кончай травить, — сказал я.

— Нет, я серьезно. Она человек левый, передовой...

— Я тоже левый.

— Тогда немножко поправей, — сказал Виктор. — Чтобы было о чем поговорить...

— Так что мне, подождать, пока вы приедете? — сказал я, готовый к обиде.

— Ни в коем случае, старик, ни в коем случае. Сегодня вы встречаетесь?

— Не знаю.

— Как это "не знаю"... Ты должен знать.

— Она обещала позвонить.

— Это другое дело. Позвонит — пригласи к нам. Организуй музыку, ну, скажем, в баре. Если, конечно, тебе там нравится... Скажи, чтобы Тино организовал стол. Или ты предпочитаешь — раз, и на матрас?

Рядом с голосом Виктора раздался возмущенный голос Арины, но он не давал ей трубку. Этот спектакль он устраивал для нее, но, видя, что перебирает, заговорил нормальным голосом:

— Ну ладно, Игнаша, пока. Мы тебя нежно любим и целуем. Вечером я позвоню детям, но ты не волнуйся. У тебя с ними хорошо? Ну и прекрасно. Все. Тут ветер. Холод. Но мы еще потерпим. Главное, чтобы тебе было хорошо...

В девять вечера маленькая бордовая машина подрулила к нашим воротам. Я открыл калитку, и выскочивший из-за меня Моро сунулся к Марии. Но она не испугалась — дома у нее было трое таких, как Моро, правда не столь воспитанных, а скорее хулиганов и бандитов, которые делали все, что хотели, и считали, что дом Марии это прежде всего псарня и люди в ней живут постольку, поскольку псы с этим мирятся.

Дети были рады Марии. Как и родители, они что-то смекнули на свой лад и принимали ее как своего человека. Мария одарила Наташу и Антона обещанными книгами, и мы спустились в бар. Круглый стол, где столешницей служило толстое стекло, положенное на чугунные ножки, был уже заставлен яствами по-филиппински, а может, и по-испански: множество разных жареных и пареных мелких штучек, а Биби на кухне еще что-то соображала в придачу.

— Спасибо, хватит, — сказал я ей. — Ну как же, сеньору надо угостить. Такая хорошая сеньора.

— Сеньора не голодна.

— Потом проголодается... Говорят, это очень известная сеньора?

— Известная.

— Ах, ах, какая хорошая!

Все вокруг были рады, что и у меня наконец появилась настоящая сеньора. В наше время нельзя без сеньоры. Надо думать о будущем. Время так быстро идет, а мы так быстро стареем. В старости мы никому не нужны. В старости уже никому мы не приглянемся. Старость отвратительна. Надо загодя позаботиться, чтобы не остаться в старости одному.

— Очень хорошая сеньора, гуара.

Даже Моро сводничал. Он то и дело, клацая когтями по деревянным ступенькам лестницы, прибежал к нам в бар, словно проверяя, все ли идет как надо. Обычно к гостям он не проявлял интереса, а тут, как и я, он был приятно взволнован. Я клал ладонь на его широкий лоб — Моро замирал на мгновение, а потом бежал наверх, к детям, поделиться последними впечатлениями. Потом к нам спустилась Наташка и, невозможно скромная и воспитанная, передала нам привет от только что звонившего папы, за ней в дверь ревниво заглянул Антоха — в руках его был учебник — и сказал, что если сестра здесь, то и он здесь...

— У тебя еще математика не сделана, — строго сказала Наташка.

— А ты еще на пианино не занималась! — заныл он, боясь, что его прогонят.

Мы с Марией засмеялись. Всем хотелось побыть с нами. Сейчас придут Тино с Тиной, и мы сыграем свадьбу.

— Пойду наведу порядок, — сказал я, поднимаясь. — Хочешь, музыку поставлю?

— Я подожду, пока ты вернешься.

Я увел детей. За ними с немой укором следовал Моро.

— Тебе нужна моя помощь? — спросил я Антона.

— Я сама ему помогу, — сказала Наташа.

— Прекрасно, — сказал я. — Доделывайте уроки, а потом, если вам хочется, спускайтесь к нам.

— Нет, Игнаша, мы не будем вам мешать, — сказала Наташка.

— Иди, Игнасио... мы сами... мы не будем, — сказал Антоха. Я похлопал его по плечу, а он схватил мою руку и пожал, страшно гримасничая. Так он выражал свою мужскую солидарность.

Я вернулся в бар. Мария сидела нога на ногу, обняв высоко поднятое колено. Она рассеянно улыбалась чему-то своему. Словно что-то умиляло ее, пробуждая забытое.

— Дом полон ажитации, — сказал я. — Это из-за тебя. От тебя исходят какие-то волны...

— От тебя тоже, Игнасио. Все это странно. Очень странно. Не думала, что будет так.

— Ты думала отделаться легким флиртом. Ничего не получится. Русские к любви относятся очень серьезно. Они любят страдать. Ты готова страдать?

— О, я всю жизнь страдала. Это-то меня и пугает.

— Ничего. Зато когда все кончится, ты возвысишься. Ты будешь дальше видеть и больше знать.

— Нет, Игнасио. Я больше не хочу такой любви. Я устала. Я хочу спокойствия. Я хочу тишины.

— Ну тогда тебе просто повезло. Перед тобой как раз воплощение спокойствия и тишины.

— Может быть, очень может быть, Игнасио. Это не так смешно.

— А я и не смеюсь.

— Ты сказал, что мы будем слушать музыку. Я готова, я настроилась.

— Я не знаю, что тебе нравится.

— Когда нас возили в Загорск, мы попали на вечернюю службу в Троицком соборе. Там пел хор. Это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Эти низкие мужские голоса... Когда мы вышли, мне показалось, что мир вокруг меня изменился. Был конец мая, небо еще не померкло, и золотые купола светились... И я испытывала какое-то новое чувство — мне хотелось что-то немедленно сделать для всех людей, отдать что-то, избавиться от себя и все отдать. Мне хотелось подарить свое счастье всем людям.

— Это в тебя вошел Бог, — сказал я.

— Нет, — твердо покачала головой Мария. — Бог тут ни при чем. Это музыка, это низкие мужские голоса, это иконы Рублева...

— Я знаю, что поставить, — сказал я и, порывшись, нашел "Всенощное бдение" Рахманинова.

Она послушала и покачала головой.

— Что, не нравится?

— Нет, это сильно, это слишком сильно. Это надо одной слушать.

Я положил пластинку в футляр и протянул ей:

— Бери, она твоя.

Мария смутилась:

— Это ведь твоего брата?

— Это я ему прислал. Бери. Я еще ему пришлю.

Я покопался в стопке пластинок и поставил избранное из репертуара "Битлз". "Yesterday" — "Вчера все мои тревоги, казалось, так далеко..."

— Это мои университетские годы, — сказал я. — Эти ребята — мои одногодки. Мы собирались в аудитории и слушали их первые записи. Нам с детства долдонили про империализм, про то, что это наш смертельный враг, а мы слушали "Битлз" и понимали, что у врага не может быть таких песен. А потом у вас была революция шестьдесят восьмого года, песни протеста. А у нас... В том же году наши танки вошли в Чехословакию. В то лето я должен был быть в студенческом строительном отряде в Чехословакии, но меня не пустили из-за отца. Потом наши

студенты вернулись оттуда. Они ничего не рассказывали — им запретили. Их вывозили оттуда на бронетранспортерах. По-моему, тогда мое поколение и замолчало. И я замолчал. Если мы и говорили о политике, то только шепотом.

— У нас при Франко было то же самое, — сказала Мария. — Люди шептались.

Тоталитарная власть всегда сильнее людей. Нет ничего стыдного в страхе перед ней. Люди хотят жить. Жизнь дороже политики.

— Но это уже другая жизнь. Я хорошо помню, как с каждым годом прибавлялось то, о чем нельзя говорить. Когда долго молчишь, думая, что таким образом не участвуешь во лжи, то в результате все равно виноват.

— Но мы все виноваты, Игнасио. Мы виноваты перед миллионами людей, которых дурачат политики. Мы должны открывать людям глаза на правду. Вот почему я для себя выбрала журналистику.

— И тебе не мешают говорить правду?

— Мешают. Однажды я узнала, что в наших тюрьмах и через десять лет после смерти Франко людей во время допросов подвергают пыткам. И я написала об этом. И меня стали травить правые газеты и журналы. Обвиняли в клевете, говорили, что я продалась красным, звонили ночью по телефону — грозили расправой. Мне было страшно, но у меня были друзья, и я стояла на своем. А вскоре мне добыли неопровержимые доказательства пыток. И тогда была назначена правительственная комиссия, и все подтвердилось. Виновников судили, и никто меня не убил.

— Я бы не выдержал травли.

— Это только так кажется, Игнасио. Человек плохо себя знает. Он скорее знает про себя плохое, чем хорошее. Поэтому тоталитарная власть нуждается в плохих людях, а демократия — в хороших. Но если подумать, это все тот же самый человек.

Когда мы шли по узкому бесшумному коридору ко мне, в комнатах детей было уже темно. Антоха лег головой к двери, и мне показалось, что он еще не спит, только старательно зажмурился. Моро хотел проскочить вслед за нами, но я его не пустил. Пусть лежит около детей, там и коврик его. Коврик сначала ему нравился как обновка, но потом надоел. И он предпочитал роскошный дагестанский ковер в прихожей, который стоил здесь Виктору немалых денег. Ковер быстро пропах псиной, однако была надежда, что и он Моро скоро наскутит. Я включил приемник и нашел по УКВ музыку. Ванна наполнилась водой, покрывшись сверху пеной, как Антарктида снежной шапкой, и я позвал Марию. Потом я накинул на нее большое махровое полотенце и отнес в постель. Сегодня было иначе, чем вчера, и в желании было больше нежности, чем страсти. В третьем часу ночи я поднял жалюзи, отодвинул стеклянную дверь и выпустил Марию.

Вчера закончился цикл концертов квартета моих друзей Полины и Франциско. Последний концерт был, как и предыдущие, замечательным, но особенно сложным, так как они играли музыку Бартока и Шостаковича и на бис — Хиндемита. После концерта мы допоздна "гудели" в одной из таверн старого Мадрида.

Родители Поли уехали в Союз две недели назад... Их приезд оказался драматичным — настолько они не приняли и не поняли эту жизнь. Мне очень жаль Полю и Франциско. У Поли так тряслись руки, что она не могла играть. Причина же очень сложная, и я для себя пыталась уяснить все многочисленные "почему", так как Полинину мать мне тоже было очень жаль в ее неистовой и несправедливой ненависти. Она и ее муж Ося посвятили всю жизнь Полине — отказывали себе во всем, спали без простыней, сидели на одной картошке, пили только чай — и все это чтобы оплатить лучших учителей талантливой маленькой скрипачки. Жертвуя собой, они тем не менее были главными действующими лицами: они воспитывали гения. Но и у гениев судьбы складываются по-разному. В консерватории Поля встретила Франциско и уехала в

Испанию... Поля вполне довольна своей судьбой. Она играет в квартете, в дуэте, дает классы. У нее прекрасный муж, который к тому же отличный скрипач, и умные дети. Но Белла Львовна так и не смогла смириться с мыслью, что это тоже жизнь, что в этом тоже есть смысл, что совсем необязательно быть недостижимым, единственным. Ей кажется, что жизнь прожита зря: если Поля в Испании не стала миллионершей, то, значит, ее муж — говно, и если она до сих пор не звезда, то заодно и она — говно. И смысл теперь только во внуках: давай, тяни, выжимай, жертвуй собой, бросай работу (все равно не Ойстрах) и готовь детей для пьедестала...

Пишу, Игнаша, об этом так подробно, потому что Поля мне призналась, какой травмой было для нее открытие, что она не лучшая, не первая, и с каким трудом ей удалось усмирить свое тщеславие перед лицом реальности. К счастью для нее, она еврейка и, значит, действительность принимает такой, какова она есть, и приспосабливается к ней.

Вот и я думаю, как воспитывать детей, к чему их готовить, как научить их любить обычный день, обычную жизнь и сохранять светлые идеалы, но так, чтобы без комплексов, без травмы — с мудростью. Еще я думаю о том, что, если бы во мне видели гения с детства, я бы со своим нервным складом не вынесла напряжений и ухабов в моей профессии, в моей творческой жизни, которая скорее не складывалась, чем складывалась.

В свои 33 года я подошла к рубежу. Что за ним, я не знаю, но то, что было до него, меня уже не интересует. Мое актерское ожидание себя исчерпало. Этот момент очень противоречив и тягостен, но голову я все-таки подниму, потому что есть во мне что-то, какая-то сила, заставляющая выживать. Или это просто инстинкт самосохранения?

ВИКТОР объявился в полдень.

— А где Арина?

— Мамка осталась еще на пару дней. Надо все обмерить, мебель заказать, решить с ремонтом. Лучше это проверить сейчас, пока там сонное царство.

— Значит, все-таки купили.

Виктор достал из холодильника две банки с голландским пивом, хлопнул крышками, наполнил тяжелые бокалы:

— Взбрызнем, старик... Хотя я не совсем уверен, что сделал правильно. Но Ариша очень хотела.

— А ты будто бы нет... — Я видел, что он доволен покупкой.

— Старик, если речь идет о моих слабостях, то я — да, я удовлетворен. Это, конечно, прекрасно, это греет, но это не бизнес. Я еще не настолько богат, чтобы идти на поводу чувств. Я обычно вкладываю деньги в то, что выгодно. А это не тот случай. Помнишь, там вокруг дома огромный участок? Но я не могу там построить даже собачьей будки, не говоря о новом доме...

— Как это?

— Участок входит в заповедную зону. Есть у нас такая организация — "Икона", так вот хоть я и владею участком, но по законам этой самой экологической "Иконы" не могу его эксплуатировать, то есть извлекать из него прибыль. Ну да ладно. Все равно райское место. Сад, лучший сад на Менорке, гранаты, апельсины... Приведем его в порядок. Можешь поехать, освоить. Возьми свою Машку... Так у вас любовь?

— Вроде того.

— Вот и женись. Я скажу, какие нужны документы. Она должна приехать к тебе в Союз и зарегистрировать брак. Содержать ее тебе не придется...

— Она не одна. Она живет с каким-то американцем, психологом.

— Что, расписаны?!

— Нет.

— Ну так пусть гонит его в шею. Психолог? Нет ничего проще, чем выгнать психолога.

— Может, она его любит...

— Ну да, а спит с тобой. Нет, старик, она тетка с принципами. Значит, ты чем-то ее зацепил. Ох, Игнаша... — Виктор сходил к холодильнику и принес баночку маслин. Он был приятно возбужден. Все ладилось. Хорошая покупка. Да и у брата солидный улов.

— Неужели ты вправду хочешь, чтобы я здесь жил?

— Старик, напоминаю: я редко чего-нибудь хочу или не хочу, это не мои категории. Есть принцип целесообразности. Так вот, сообразно обстоятельствам мне кажется, что здесь тебе было бы лучше. Но это ты будешь решать, старик, только ты. Чтобы потом ты не говорил, что я твою жизнь загубил. Хватит с меня и Ариши. Сколько Марии лет?

— Тридцать шесть.

— И нет детей... Критический возраст, старик. Она выйдет за тебя замуж. Если она вообще хочет замуж. Лучше ее здесь тебе не найти. Родит тебе... Она ведь курит?

— Как сапожник.

— Скажи, чтобы бросила. Когда вы встречаетесь?

— Завтра мы собирались в какой-то театр. Сегодня она занята.

— А я свободен. Прилетел на переговоры с одним засранцем, а он взял да заболел. Или кто-то ему отсоветовал разговоры со мной. Тут, старик, такая закрутка... А там Ариша, одна, с этим психом Руизом. До трех у меня есть время. Предлагаю съездить в город, проветриться и постричься заодно. Ты когда последний раз стригся? Надо, чтобы тебя омолодили. Таких, как Машка, в Испании раз-два и обчелся. Ох, Игнаша, и заживем мы с тобой... А, Тино! — ослепительно заулыбался он, завидев Тино, неслышно несущего пылесос.

— Добрый день, сеньор! — приветствовал его Тино.

— Это что ж, он только в полдень дом убирает? — сказал мне Виктор и, снова заулыбавшись, обратился к слуге на том невозможном даже для моего уха испанском, который, он считал, Тино лучше понимает: — Сеньора Арина нет. Еще два дня нет. Поэтому Тино и Тина ходить покупка, делать кушать вся семья. Тино понимать?

— Понимать, сеньор! — осклабился Тино желтыми от табака зубами. Он держал пылесос, как вор, застуканный хозяином.

— Как эти мудозвоны себя вели? — повернулся ко мне Виктор, кивком отпустив Тино.

— Нормально, — сказал я. — Я им, кажется, не мешал.

— Вот и хорошо. Главное, чтобы они чувствовали себя как дома. Нет... уволю. После первого января уволю.

— Да что вы мучаетесь? Не нравятся — увольняйте сейчас.

— Сейчас, старик, никак нельзя. Сейчас неудобно. Ведь им после года работы положена еще одна зарплата, вроде вашей тринадцатой. Дети, семья, родственники на Филиппинах, неудобно как-то не дать им тринадцатой зарплаты. Ужо потерпим. В Ариной машине кресло прожжено, видел? Дырка от сигареты. Арина не курит, я тоже... А это наш друг Тино немножечко не заметил. Убирался в машине и не заметил. Хорошо еще, что не на голову детям стряхивает пепел. Что дом не спалил. А даже если и спалит, что я ему сделаю? Ничего я ему не сделаю. Я ему буду улыбаться, чтобы он хоть не отравил нас...

Пока хозяев не было, слуги, конечно, жили в свое удовольствие. Тина оказалась страстной футбольной болельщицей: часами просиживала перед телевизором, и даже через несколько стен я слышал ее азартные взвизги. То, что я невольно отмечал отсутствие в филиппинцах должного прилежания, ложилось мне на душу лишним грузом, и я был рад, что Виктор объявился.

Его вышедший из ремонта "мерседес" стал вроде еще новее и был похож на коробку золотых сигар с золотой облаткой. Собственно, сигар было две — два загорелых мужика. Несколько пар женских глаз благосклонно нас отметили. Не у Пушкина ли я читал про одну молодую особу, абсолютно убежденную, что все графы — красавцы? Богатство в некотором смысле и есть красота. Вот какая штука. Хочешь быть красивым, будь богатым.

АРИНА вернулась с Менорки угнетенной.

— Представляешь, Игнаша, ты ведь помнишь Руиза? Так вот теперь это наш враг номер один. Или, скорее, мы его враги. Я звонила Виктору на работу — он в шоке, как и я. Выходит, Виктор прав, и этот Руиз действительно темный человек. Ну как же так?

— Да в чем дело? Я ничего не понимаю...

— Разве Виктор тебе не рассказывал?

Я покачал головой.

— Ну да, понятно. — Лицо Арины стало непроницаемым, словно она подражала мужу.

— Он верен себе. У него все прекрасно. И никаких проблем.

— Да что произошло? Вы купили дом?

— Купить-то купили... и дом, и сад. Да только я вот теперь не уверена, что это надо было делать. Мне, Игнаша, нехорошо. Пойдем в бар, я хочу вина. Хочу, чтобы ты меня выслушал.

С того дня как здесь была Мария, я в бар не спускался. Проигрыватель не был убран на место, рядом с ним лежали пластинки. Виктору я сказал, что отдал Рахманинова. "Атакуй, старик, атакуй", — ответил он. Я налил Арине и себе, и она, кутаясь в шерстяной платок, хотя в доме было тепло, рассказала:

— Ты знаешь, Руиз ведь просто умолял нас приехать. Он год продавал дом, и никто у него не купил. Мы были его последний шанс. Хотя приценивались многие, скажем — Серрат, есть у нас такой известный певец. Так вот, мы тебе не говорили, но у Руиза уже была на острове дурная слава. Я его защищала, я считала, что такой оригинальный человек имеет право на дурную славу. Он еще тогда говорил, что собирается уехать в Бенидорм, это такой популярный курорт на побережье, там живут одни иностранцы, а врачей мало. Он говорил нам, что там практики больше, а сумасшедшие ему надоели, что зиму будет жить там, а лето здесь, — ну в общем, как у всякой артистической натуры, у него все было перепутано. Таким я его и принимала. Как врач он, конечно, себя на Менорке скомпрометировал — он в последнее время стал опускаться — не мыл рук перед уколом, не попадал в вену, много пил, я даже теперь думаю, не колол ли он себе наркотики...

И странная вещь, Игнаша, даже когда летом мы были у него в доме, я знала, что я этот дом куплю. Какое-то необъяснимое чувство, что рано или поздно этот дом будет наш. А он там жил с этим шизофреником, Хосе-Луисом. Тот, бедный, весь день ходил за ним с пепельницей, куда Руиз стряхивал пепел от сигары... А раньше у Руиза была жена, художница, англичанка. Она сбежала от него к какому-то меноркину. Помнишь, в прихожей у Руиза ее картины? Совершенно потрясающие! У нее была только одна тема — старые заброшенные поезда — в кустах, в траве, среди деревьев... Как после крушения. Где она их видела? Совершенно безумные картины. Вот так ждешь приема у Руиза по пять часов среди этих картин, а потом хоть под поезд бросайся... Брал он за визит восемьдесят долларов, это не шутки. За день примет человек пять, а это столько, сколько многие в месяц зарабатывают. Он должен был бы быть очень богатым человеком, а он оказался банкротом, и этот дом — все, что у него оставалось.

И вот он убежал в Бенидорм, и ему нужно было продать этот дом, и мы остались единственными его покупателями. А на Менорке, Игнаша, сейчас грустно. Летом там миллион туристов, а сейчас на весь остров — тысяч пятьдесят жителей, не больше. Только в центре города еще можно кого-то встретить. И в квартире нашей грустно, влажность большая, сквозняки... Руиз нас встретил в аэропорту, пунктуальный, идеально одетый, договорились деловую часть разговора перенести на вечер, как у испанцев принято. Руиз нервничал, сказал, что придет со своим человеком из банка. Ну и Виктор, естественно, смекает: значит, будет повышать цену на дом... И вот мы встречаемся вечером, ужинаем в одном немецком ресторанчике, заходит разговор о доме, и через пять минут выясняется, что ни Руиз, ни его человек из банка ничего не понимают в купле-продаже, полные дилетанты. Этот провинциальный служащий, видно, хотел произвести впечатление на Виктора, стал называть каких-то влиятельных, по его мнению, людей; тогда Виктор, как бы между прочим упомянул среди своих приятелей директора того самого банка, в филиале которого и сидел этот человек, — он, бедный, сжался в комочек, на этом, собственно, соперничество и кончилось. Очень смешная сцена... Я, кажется, первый раз видела Виктора в деле, и должна тебе сказать — это впечатляет. Руиз начинает рассказывать байки об острове, главная тема висит в воздухе, но никто за нее не берется. А Виктор знает, что дом продавался за двести тысяч долларов и покупателей не нашлось, что в общем странно, потому что богатых людей много, а место потрясающее. Потом Руиз, по слухам, скинул пятьдесят тысяч, и Виктор считал, что возле ста пятидесяти тысяч и будет вестись торг. Но разговор идет, а о цене — ни слова. Непонятная какая-то ситуация — то Руиз заклинал нас приехать, а теперь уходит от самого главного. И Виктор, как человек опытный, недаром он этим с утра до вечера занят, Виктор почувствовал, что тут что-то не так, и перевел разговор на другую тему. Стал спрашивать, в какой валюте Руиз хочет получить деньги за дом, может, в дойч марках, это вдруг стало чуть ли не самым главным... На том и расстались. И в машине Виктор мне говорит: "Надо завтра с утра съездить в Меркадаль, посмотреть документацию на этот дом и участок..." Все-таки какое у него чутье! Оказалось, что дом уже заложен-перезаложен и что через день-два он перейдет банку в погашение долга. Этого нам Руиз не сказал, мы даже не подозревали, в каком дерьме он сидит... Так вот банк оценил дом Руиза в сорок тысяч, а участок — в двадцать. И таким образом, завтра или послезавтра банк заполучит все это, потому что Руиз банкрот. И Виктор мне говорит: "Ты пойми, я думал, я вкладываю деньги, делаю хороший бизнес. А теперь получается, что я не вкладываю, что я покупаю каприз. Стоит ли таких денег каприз?" И он говорит: "Каприз таких денег стоит. Он стоит даже больше. Я заплачу Руизу сто тысяч долларов". Виктор звонит доктору, хочет встретиться, а тот вроде собирается бежать в Бенидорм, бросив все, как есть. Прячется от опасности. То ли просит отсрочки у банка, то ли неизвестно на что надеется. Я Виктору говорю: "Если ты сам все это не прокрутишь, то человек останется ни с чем". В общем, Виктор назначает встречу, говорит, что дом оценен в сорок тысяч, участок — в двадцать, а я плачу тебе сто. И это, Игнаша, честная сделка. Виктор отдает ему эти деньги без расписки, как между друзьями. Тот безумно счастлив, он расплачивается с банком, он больше не должник, у него даже остается приличная сумма, чтобы начать новую жизнь в Бенидорме. Все прекрасно, только у Виктора горечь, что они не поторговались, Руиз мог бы еще один-другой десяток тысяч выклянчить, но — неопытен. Ну да ладно — Виктор улетает, а я остаюсь, чтобы посмотреть дом, сделать обмеры для мебели, для ремонта. И вот я два дня сижу в промозглой квартире и не могу встретиться с Руизом. Звоню — его нет дома, наговариваю ему на автоответчик свою просьбу — ноль внимания. На третий день сажусь в машину, беру с собой нашего хозяина Пепе и еду к Руизу. И он дома. На крыльце сидит этот шизофреник Хосе-Луис, говорит мне: "Доктор спит". Я прошу передать, что

приеду попозже, мы с Пепе болтаемся по Меркадалю, приезжаю уже часа в два. Выходит Руиз, в халате, с сигарой. Я говорю, что хотела бы посмотреть дом, кое-что измерить, перед тем как улететь. Ведь Виктор даже не заглянул сюда. И вот, Игнаша, ситуация. Я хожу по его дому, а он стоит попыхивает сигарой. А я прикидываю — тут четыре метра, там — три... И мне ужасно неловко. А он: "Да ты меряй, меряй..." И мы с ним все равно что Лопаксин с Раневской. Только я Лопаксин, а он Раневская. И сад не вишневый, а гранатовый... И получается, Игнаша, что я купила его жизнь. Его сны, его мечты... И купила за бесценок. Потому что сколько стоит жизнь?

И я ему говорю: "Вы знаете, мне очень неловко. Я не могу мерить при вас. Это все-таки насилие над вашим домом, вашими вещами... Я прилечу еще раз, когда вы уедете. Когда вы собираетесь уезжать? Может, вам помочь? Собрать книги?" Говорю, что это, конечно, непростой момент, почему бы нам не поужинать где-нибудь, вы мне расскажете об этом месте — что и как содержать... А он говорит — нет, сегодня я занят. И это на него не похоже, потому что даже от Пепе я знаю, что последние месяцы он жил только за счет своих знакомых, которые платили за него в ресторанах. И вот стоит он, стоит этот сумасшедший Хосе-Луис, слава Богу, стоит за моей спиной Пепе, и обстановка, Игнаша, напряженнейшая. А я еще себя плохо чувствовала — чистила нашу квартиру, отравилась химией, кашляла... Руиз вдруг вспоминает, какая чудесная вода в этом доме... Все не то. Короче, дает он мне вторые ключи от дома, говорит, что завтра ответит насчет своего отъезда, а я уже про себя решила: Бог с ним, улетаю, хотя Виктор будет недоволен. И я говорю ему: "Хорошо, до свидания", протягиваю руку, а он убирает свою за спину. Таким очевидным жестом — дескать, руки вам не подам. А я понимаю так, что это какая-то символика — ну, скажем, как у нас на "ни пуха ни пера" посылают к черту. И я улыбаюсь и говорю: "Да? И откуда эта примета?" И вдруг слышу от него: "Я не подам руки ни вам, ни вашему..." — как это по-русски сказать, тут мат полагается "ни вашему подонку-мужу... Потому что вы воспользовались удобным моментом, потому что вы ограбили меня!" Представляешь, Игнаша... А Руиз все говорит, говорит: "Он низкий человек... Конечно, с его мертвой хваткой... Приехал, раздавил, уничтожил... купил за бесценок..." Это, Игнаша, был поток ненависти. Но самое-то интересное, что я в тот момент его прекрасно понимала. С ним происходила страшная вещь: он вдруг осознал, что дом и сад ему больше не принадлежат и что ему надо начинать все сначала, и он боялся, он смертельно боялся этой неизвестной новой жизни. И в нас он видел своих убийц. Хорошо, что рядом со мной стоял Пепе, иначе бы я не смогла взять себя в руки. Я ответила Руизу, что у него нет никаких оснований так говорить хотя бы потому, что никто не заставлял его продавать свой дом, что он сам нас позвал. Я сказала, что Виктор очень удивится, когда все узнает, поскольку он считал, что он его спас. Тут Руиз начал хохотать. Подожди... Я сказала ему какую-то хорошую фразу, как-то мне удалось ее сказать... Да, я говорю: "Вы знаете, ни мне, ни Виктору, нам не нужно пользоваться чужим несчастьем, чтобы купить здесь такой дом, какой мы хотим; тем более вашим несчастьем, потому что еще три минуты назад вы были нашим добрым знакомым. И мы не можем отвечать за ту боль, какую вы испытываете, потому что вы сами хозяин своей судьбы".

А начал он вот с чего: "Что, думаете сделали хорошую покупку?! Так вот я вам скажу — этот дом стоит на подземных пещерах. Ночью вы не сможете спать — вы будете слушать, как падают камни, их уносят подземные реки, и дай Бог, чтобы этот дом провалился!" Это потом мне Пепе сказал, что надо было ответить: "Значит, вы нас просто обманули. Значит, это потерянные деньги!" Но мне это не пришло в голову. И на этом мы расстались. Я сказала: "Ну а теперь я не подам вам руки". Мы сели в машину и уехали. А потом у меня в мозгу начался такой шорох: кручу, кручу, кручу... Поднимаюсь к Пепе. Но что он мне может сказать. Меноркины, они хитрые. Он, конечно, за меня. Говорит, что на Менорке вообще нет таких цен, какую заломил Руиз. А я страшно мучаюсь. Нахожу одного общего друга — нашего и Руиза — архитектора, которого Руиз "лечил", приезжаю к нему, спрашиваю: "Вот смотри мне прямо в глаза и, если хоть на секунду ты усомнишься, что мы правильно рассчитались с Руизом, честно скажи об этом. Потому что я на этот остров больше не приеду, если у меня останется чувство, что мы совершили какую-то страшную несправедливость по отношению к этому человеку". Я сказала, что могу допустить, что Виктор в своей деловой атаке не заметил границы, которую нельзя переходить. И в таком случае это ляжет ему на душу тяжким грузом — я-то его знаю. "Скажи правду. Потому что ни сто тысяч, ни двести, — не цена за наше спокойствие". А архитектор мне: "Что ты говоришь?! Он год продавал. Никто не купил. И я бы не купил. Я деловой человек, а эти деньги не растут. Эта земля

из-за "Иконы" в настоящий момент — ноль". И так далее. А я ему: "Но ведь за этим все-таки стоит трагедия человека..." А он: "Какая трагедия! Этот человек..." В общем, не буду поливать Руиза грязью... Я позвонила Виктору, мне было очень важно, как он на это отреагирует. Он был потрясен. То есть он был потрясен... Он кричал мне по телефону: "Я рад! Я счастлив, что я оказался прав! Теперь ты сама убедилась, что это за человек! Я его выручил, когда никто из его друзей и пальцем не пошевелил. Вот благодарность!" А я говорю: "За что ему тебя благодарить? За то, что ты ему подарил веревку, на которой ему впору повеситься? Он не мог благодарить. Я понимаю его. Потому что он жизнь свою продал". А Виктор: "Так он сам до этого дошел!" Я говорю: "Но нельзя покупать у друзей, у знакомых в тот момент, когда они жизнь продают... Когда у них катастрофа". А Виктор: "Ты что, забыла, что он сам нас втянул в это дело? И он ни слова не сказал, что это за земля. А если б я не узнал, мы бы как идиоты выложили пятнадцать — двадцать миллионов песет... И он бы не испытывал никаких угрызений совести. И, я уверен, он все равно бы нас ненавидел, потому что нет цены собственному поражению". Виктор все это мне говорил, и я успокаивалась, успокаивалась...

Но, конечно, что в итоге... Этот человек — он хотел мне мстить. Он уедет, а там будет бродить этот шизофреник. А я шизофреников почему-то как мед притягиваю. И вот в эту сумасшедшую голову да под полную луну вдруг придет что-нибудь... Мне страшно за детей. Мне страшно, что я купила такой, знаешь, сундучок Пандоры, а там все грехи человеческие... и мне страшно. Там, в этом доме, в этом саду, ощущение какой-то катастрофы. Там витают какие-то призраки. Там след человеческой драмы, и это никуда не выкинешь.

Я разубеждал Арину как мог, я даже вспомнил, что Руиз читал русских философов, и, стало быть, широта натуры в нем возьмет верх, но я помнил дом и сад доктора, полные странной тревоги даже тогда, когда я там был, и на душе у меня стало беспокойно.

ЧЕЛОВЕК вроде привыкает к боли. На сей раз боль показалась несильной, может потому, что из средостения разлилась по всему телу, по всему городу, по всей Вселенной. Вселенская боль. Нет, это уж слишком. Глянув на меня, никто бы не поверил, что я несу вселенскую боль. Улитка не звонила, и в груди у меня стало закипать бешенство. Бешенство или ненависть, которую невозможно сдерживать. Но когда я набрал Улиткин номер телефона и спросил что-то про жизнь, про дела, Улитка тут же сказала:

— Игнат, пока у тебя такой голос, я не могу с тобой говорить.

— У меня нормальный голос, — мгновенно превращаясь из волка в ягненка, кротко отвечал я. Но Улитку нельзя было обмануть.

— Что с тобой, Игнат? Ты сначала приди в себя.

— Я в себе, я только хотел сказать... — Но я уже не мог выговорить то, что собирался. Какую-нибудь формулу обвинения. Или что-нибудь такое, чтобы она сказала: "Приезжай ко мне", а я бы ответил: "Я к тебе больше никогда не приеду". Мне хотелось ее боли. Но она ускользала. Услышав мой безумный голос, она говорила:

— С таким тобой я не могу разговаривать, я кладу трубку. Прости, Игнат... — И я слышал гудки.

С месяц, весь почернев, я днем и ночью носил в себе свою ненависть, не зная, куда ее деть. По моим расчетам Улитка должна была уже бросить Бадри и понять наконец, что только я ее будущее, и, пока она этого не поняла, пока не хотела понимать, я ее ненавидел. Я вспоминал все, за что она заслуживала ненависти, и ненавидел. Она обманывала меня всегда, с самого начала. Никто ее не уводил, не принуждал — это все она сама. Этот Бадри возник чуть ли не на следующий день после моего отъезда на Север. Она несла тяжелый арбуз и он предложил помощь. Вместе они и съели тот арбуз. А потом она ему сказала: "Можешь остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно". Так оно и было, Несси не придумала. Помимо меня Улитка была и с другими, у нее всегда кто-нибудь был, потому что у нее не было сердца, потому что у нее не было секса, а

только спокойное холодное любопытство — как с теми лягушатами. И с Димой, конечно, она тоже была. А с этим осетровым авангардистом, про которого она сказала, что он "изящный самовлюбленный мальчик", она прокрутила роман чуть не на моих глазах. Какого рожна ей нужно?! А потом я ужасался своих мыслей и молился, чтобы Бог их не услышал и не передал ей.

И она наконец позвонила. Был поздний вечер. Матушка спала в своей комнате, и я, как всегда, отключил ее телефон — ведь Улитка могла позвонить и ночью.

— Игнат, здравствуй, — сказала она. Голос ее был спокоен, хотя и такой он обычно нес ее настроение. А тут он был без ничего, с ничем. — Игнат, у меня неприятность, — спокойно сказала она. — Большая неприятность.

— Что случилось? — Сердце мое упало и возликовало одновременно.

— Только что у меня был Дима. Пьяный в стельку. Он разбил все мои вазы, лучшие вазы из моей коллекции. Вся комната в стекле. Хорошо хоть, что котенка не раздавил.

— У тебя кот?

— Я взяла маленького дымчатого Генри. Бедный Генри едва ноги унес. Черт с ними, с вазами, главное, кот жив...

— Где Дима?

— Уже убежал.

— Мне приехать?

— Нет... Тут такой разор... Мы сами уберем. Лилька тут. Он ей чуть руку не сломал. А мне синяк поставил... Что ты молчишь?

— Я не молчу...

— Он позвонил по телефону, уже пьяный. И я с ним поругалась. Сказала, что он козел. Он же действительно козел. Жлоб и козел. Он наживаете на мне. И вдруг звонок в дверь. Я никак не ожидала, что это он. Он ввалился и начал все громить.

Мы с Лилькой не могли с ним справиться. Он был как сумасшедший. Все побил. Слава Богу, Генри жив... Приезжать не надо. Я не знаю, почему тебе позвонила. Просто так. Не знаю, что с ним произошло. Он никогда таким не был.

— До козла дошло, что он козел, — сказал я.

— Не знаю... Все... До свидания... Я потом тебе позвоню.

Она повесила трубку. А я понял, что произошло. Это моя ненависть случайно нашла Диму, наткнулась на него...

Протрезвев, Дима не на шутку перепугался. Наутро он стал звонить Улитке, просить прощения, но она была непреклонна. Она решила его не прощать. Она сказала, чтобы он возместил ей убытки, и на этом все кончено. Дима успокоился. Она не собиралась заявлять на него в милицию, натравливать на него своих друзей. Правда, взбешенный Бадри пригрозил отрезать Диме ухо — так, по крайней мере, она рассказывала мне по телефону, но до членовредительства, кажется, не дошло. Все-таки Дима был не тот человек, чтобы его наказывать. Он и так теперь наказан. Он обещал компенсировать причиненный ущерб — частично деньгами, частично предметами, всего на полторы тысячи рублей, как подсчитала Улитка. Но в ее глазах он теперь навсегда подонок и ничтожество. Настоящий коллекционер, ценитель прекрасного, не может поднять руку на красоту. То, что Дима разбил, уже не возродить. Это было, дошло до наших времен и теперь исчезло навсегда. Как бы в тепле, овевающем Улитку, оказалось несколько

холодных зон. "У меня такая рваная аура, — жаловалась она мне. Это ей гуру сказал. — Нужно ее как-то восстанавливать".

Шло лето. С Улиткой я не встречался, только звонил иногда. Я сдал документы на поездку в Испанию и ждал, разрешат или нет. Я-то был уверен, что не разрешат, но времена менялись буквально на глазах, в интонациях власти стали проскакивать человеческие нотки, что-то обещалось, и обещанному хотелось верить. Как хотелось верить всегда. Буду умирать, вспомню день, когда я позвонил в ОВИР и мне сказали, что мне разрешено. О, это значило гораздо больше, чем просто возможность повидаться с братом — в конце концов, он сам мог приехать ко мне, — это значило, что в моей анкете, в моей биографии нет больше пятна, по которому нечистых отличали от чистых. До сорока пяти лет все сжималось в моей груди, когда передо мной клали анкету. Отец, брат... До сорока пяти я был как бы виноват за них. Какое счастье, думал я раньше, вписывать в графы о близких родственниках заветные слова "не был", "не имею", какое счастье не иметь судьбы. Сколько лет мне снились тюрьмы, камеры. Но еще чаще камер мне снилось, как ломятся ко мне в дом, в мою дверь, а я не пускаю, я пытаюсь не пустить. Сколько ночей этой отчаянной борьбы, сколько ужаса и унижения страхом... Стало быть, я действительно ощущал себя виноватым перед властью. Днем я совершал преступления мысли, а ночью меня ждало наказание страхом, самонаказание. Но иногда я говорил себе: с тобой все в порядке, тебя никто не арестовывал, не допрашивал, ты никому не нужен, это тебе снится пережитое отцом и матерью, это прапамять... Может, она-то и велит мне изжить страх перед закрытой дверью, за которой чудится шорох чьих-то шагов? Может, она велит не запирается больше на все замки, а смело распахнуть дверь — и окажется, что там никого и ничего, только солнце и ветер да загорелый трилистник плюща, скребущий по облупившейся краске... Так что же ты там хоронишься в углу, пора! Может, и вправду — пора?!

На радостях я позвонил Улитке и позвал в Кавголово, смолчав, что меня выпускают. Я молчал, потому что не верил, что поеду, поверить было невозможно. Улитка согласилась составить мне компанию. При всем своем чувственном отношении к природе она была скорее равнодушна к ней. "Я никогда не пишу с натуры. Мне это неинтересно". Она была городским человеком, городу же могла предпочесть только море — водную пустыню. Я не видел Улитку два месяца, и красота ее меня резанула. Она была в каком-то невозможно коротком платице — черной тряпочке с блестками, которая больше открывала, чем прикрывала, в корзине у нее копошился Генри, сопровождавший ее во всех прогулках — "ему тоже нужны новые впечатления", — и была весела и беспечна, ни следа разлуки со мной, будто таковой и не было. Я услышал то, что чаял услышать: после моего ухода ее отношения с Бадри резко пошли на убыль, она потеряла к нему интерес. Но что мне с того? Теперь у нее был другой мальчик, семнадцати лет, кандидат в сборную эсэсэсэр по волейболу, двухметровый красавчик, который моет у нее в мастерской пол, ходит за продуктами, который от нее ни на шаг, и она учит его рисовать и играть на пианино. У него хороший слух, и он делает успехи. Бадри, конечно, застрадал. Он-то был уверен, что лучше его не бывает. А она доказала — бывает... Она даже не искала — мальчик сам пошел за ней как замороженный. Иногда она его прогоняет, и он звонит по телефону, плачет и предлагает себя в мужья. Мы лежали на пригорке, поросшем малинником, возле моего любимого озера Хепо-Ярви, и моя рука, покоящаяся на обнаженной Улиткиной груди, не дрогнула. Я спокойно подумал, что у меня, прохладного Улиткиного приятеля, теперь, пожалуй, даже больше льгот, чем раньше. На обратном пути она нарвала всякой полезной травы, потому что йога рекомендовала травоедение, вдобавок я нес несколько копий камыша, сорванных у берега, и всего этого было так много, что я должен был бы проводить Улитку до дому, войти, попить с нею чайку, а потом, может быть, согреть ее изнутри, чтобы она сказала: "Как хорошо, как спокойно с тобой..." Но на трамвайной остановке что-то накатило на меня, я сказал, что спешу, перепогрузил на нее травы, отдал корзинку с Генри и пошел восвояси. Катитесь вы все к чертовой бабушке!

На следующий день я все-таки не выдержал и позвонил. Она ведь говорила, что сейчас одна, что волейболиста своего прогнала, что он надоел. Ответил мне молодой мужской голос. Я мрачно попросил Улитку. "А кто это?" — поинтересовался молодой голос. "Не все ли вам равно?" — сказал я. "Значит, нет, раз я спрашиваю", — сказал молодой голос. Я бросил трубку.

Еще две недели я не звонил. Иногда мне уже мерещилось, что я живу сам по себе, что я уже сошел с любовной орбиты и лечу себе в пространстве куда глаза глядят, но, если я проезжал

Невский проспект, у меня сжималось сердце при виде засидки художников. Там могла быть и Улитка... Раз я выскочил из троллейбуса и пошел ее искать. Она, конечно, не одна — рядом будет или Бадри, который ей почти безразличен, или юный акселерат, который едва ли понимает, куда его занесло, — да, пора мне с ними познакомиться, даже парочка фраз завертелась в голове, в меру ироничных и остроумных; до мордобоя, думаю, дело не дойдет, я произнесу эту парочку ни для кого не обидных фраз и пойду себе дальше на легком катере. И все-таки сердце мое колотилось. Я был уверен, что она сидит у решетки Александровского садика, но ошибся. Не было ее и возле Думы. Я нашел Улитку напротив — перед бывшим Екатерининским костелом, где в прошлом году художники еще не гнездились. Вообще уличных художников стало много даже для Невского, и конкуренция возросла. Стоило только остановиться, как тебя тут же брали в оборот. "Спасибо, я сам рисую", — отвечал я. Тогда предлагавший начинал извиняться за выставленные образцы своей уличной портретистики. Что тут могло мне нравиться год назад?

Улитка была не одна. Рядом сидела Несси. В корзине возились два котенка — дымчатый Генри и черно-бело-коричневый Чарли. Улитка подобрала Чарли на улице для компании скучающему Генри. На металлической треноге Улитка приспособила вертящуюся деревянную рамку с надписью "Лирический портрет". Это была ее новая реклама. Подготовка рекламы была ее самым любимым делом. Но конкуренция возросла, и никто к Улитке не садился. Одета она была странно — в белые широкие брюки, не достигающие до лодыжки, в черные, с зимы, полусапожки, сверху белая мужская рубашка, которую я ей когда-то отдал. Улитка была не накрашена и показалась мне очень бледной. А Несси еще больше походила на кареглазую немецкую куклу, уже сильно загоревшую. Возле нее увивались два худосочных юноши училищного вида, тоже промышлявшие портретами. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на котят, позировать никто не хотел. К художникам привыкли и перестали их замечать.

— Несси со мной везде, — сказала Улитка. — Когда мне нужно отлучиться, она охраняет моих котов и мой этюдник. Она очень нравится фирмачам. Они заказывают мне ее портрет и платят доллары и франки. Зачем мне их доллары? Чарли любит сырое мясо, а мясо на доллары не купишь. Я отдаю их Несси, чтобы она купила себе у фарцовщиков каких-нибудь тряпок. Пойдем, я соку хочу. — И Улитка крепко взяла меня за руку, вправляя свои чудесные живые пальцы между моими, так что во мне снова возникло обманчивое предвкушение праздника. Будто и вправду рядом с ней мир преображался... — Я как раз собиралась тебе звонить, — сказала она. — Ты не можешь найти человека, который пишет киносценарии? Может, ты сам напишешь?

— Что именно?

— Понимаешь, можно хорошо заработать. Приехал один кинорежиссер из Литвы. И ищет сценариста и художника. У него есть человек, который может вложить в фильм любые деньги. Миллионер. Ну вот, а эскизы буду делать я.

— Что за тема?

— На наш выбор. Понимаешь, людям некуда девать деньги, они хотят поощрять художников, поэтов, сценаристов. Вроде меценатов. Давай сделаем им фильм. Я уже назвала ему тебя. Он хочет познакомиться.

Она еще не договорила, а я уже видел — чушь, бред сивой кобылы, сон шизофреника.

— Ты не веришь, — потускнел голос Улитки. — Игнат, ты очень изменился. Ты стал мрачный, злой...

— Я тебе еще ничего не сказал.

— Я же вижу. Как хочешь... Можешь этим не заниматься. Тогда хоть назови мне кого-нибудь. Я не знаю сценаристов.

Фильм, меценат, режиссер. Кто-то из нас тронулся.

— Я подумаю, — сказал я. — Я тебе позвоню.

— Только поскорей, — сказала она. — Через три дня он уезжает...

— Кто?

— Режиссер из Литвы...

— Он у тебя живет?

— Ты опять о своем. Какой ты, Игнат, зануда... У нас с ним деловые отношения. У меня сейчас еще один дядечка живет, московский фотограф. Знаешь, у него очень интересные работы. Твоего возраста, но живчик такой... Я в Москве на Арбате с ним познакомилась. Я хотела на Арбате заработать, а остановиться было негде. Жила в его мастерской. А сейчас сюда пригласила. Андрей звонит мне, а ему мужики отвечают. Он там, несчастный, с ума сходит. Говорит им по телефону: "Послушайте, зайки..." Представляешь, "зайки"... "Послушайте, — говорит, — зайки. Даю вам полчаса на сборы. Если я приеду, а вы еще там, возьму за уши и выброшу в форточку..." А у него друг такой же, как он сам, даже еще больше, гигант. Мои дядечки бледнеют, передают мне трубку, и я начинаю его стыдить. Разве можно себе такое позволять, никакой интеллигентности. Я делаю ему выговор — он плачет, извиняется... Потом он с другом приехал. Я их познакомила. Так фотограф знаешь как их теперь зовет — бройлерами! Смешно, да?

Сок был отвратителен. И местечко, куда мы зашли на этом жарком, липком, потном Невском, было соку под стать. И Улитке я больше был не рад. Я расплатился и пошел с ней обратно, хотя мне хотелось просто уйти. Мне хотелось свистнуть Несси и уйти с ней.

— Ой, я тут такой камин нашла! — схватила Улитка меня за руку. — В соседнем доме, который ремонтируют. В подъезде. Такой камин! Мрамор. В стиле модерн. Я там час проторчала около этих лилий. Потом поднялась по лестнице, вылезла в окно на леса, оттуда на крышу. Белая ночь, крыши, трубы, и я одна... И я пошла по крышам, пошла... Так хорошо, тихо, только немного жутко. В следующий раз я тебя с собой возьму...

С кинофильмом дело, естественно, не выгорело. Что-то там расстроилось — то ли режиссер резко разочаровался в Улитке, то ли она в нем, то ли меценат лишился своих миллионов, то ли все это было очередной Улиткиной фантазией. Вдруг ей понадобилась моя постель, хотя бы несколько мелков. Я решил, что это просто повод для встречи, только зачем? Голос у меня был мрачный, и, чтобы разрядить напряжение, Улитка рассказала мне историю про своих молодых котов:

— Представляешь, я ходила в гости к одному антиквару. Взяла с собой Генри с Чарли в корзине. Они у меня там так и спали, хотя им уже было тесно. А у антиквара огромная квартира, уж не знаю, сколько там комнат... Ну вот, мне уходить, а Генри куда-то исчез. Мы все облазили, все шкафы, все углы — звали, звали — исчез, и все. Пришлось мне с одним Чарли возвращаться. Я думала, Генри найдется, позвонят. А он пропал. И знаешь, Чарли будто подменили. Два дня он бродил как потерянный, а потом, когда меня не было дома, разбил вазу на буфете и ушел в форточку. Все от меня уходит. Я только несчастье приношу.

Договорились, что я сам к ней зайду. В назначенное время я был у Улитки. На кухне два молодых грузина пили чай. Возле них стояла верзила Лилька, покрашенная сверх меры, как перед вечерним промыслом. Два молодых грузина разговаривали с ней между глотками чая. Лилька была в майке и в Улиткиных шортах, с натугой натянутых на ее литые бедра. Ноги у нее тоже были литые, и грузины смотрели на Лильку как два кондора, прикидывающиеся скворцами.

— Мы с Лилькой собираемся в Грузию, — радостно сообщила Улитка. — В Тбилиси. Сегодня улетаем...

— Зачем? — спросил я, хотя мне было все равно.

— Буду рисовать. Мне нужны деньги.

— В Тбылысо на партрэтах можна карашо заработать, — сказал один из грузин. Второй кивнул. Чаю им не хотелось. И на меня смотреть им не хотелось. Они смотрели на Лилькины загорелые ноги.

"Сколько можно прощать обиженного, — спрашивал Петр Иисуса, — до семи ли раз?" — "И ты полагаешь, что этого достаточно? — возразил ему Иисус. — Не до семи, а до седмижды семидесяти". О, это не так уж трудно, когда любишь. Но если бы сам Христос был столь терпим и терпелив, он бы не придумал для грешников ада. Тут у него явная осечка.

"Когда мы поедem с тобой на юг..." В Кавголово на берегу озера Хепо-Ярви мы вроде договаривались о юге. Она хотела ехать со мной — не с Андреем и не с Бадри и не с десятком других, прошедших для меня безымянно своих друзей, а со мной. Мы собирались еще с прошлого года. И вот она улетала без меня, с ногастой Лилькой.

Миновала еще неделя, и раздался ее звонок — вернулась. В Тбилиси было ужасно. Какие там портреты?! Едва они с Лилькой появились на улице, как их оцепило все мужское население города. Они прятались где-то у грузинских знакомых, на пятом этаже, а внизу всю ночь патрулировало несколько "волг", чувствуя, что добыча близко. Вроде даже обзванивали квартиры. Но им не позвонили, иначе бы конец — хозяев бы связали, а ее с Лилькой изнасиловали. Под утро подфарники "волг" сердито растворились в тумане, а бледный, с трясущейся челюстью хозяин вывел их с черного хода к своему гаражу и увез в горы на дачу, где они с Лилькой еще пару дней дрожали от страха, пока он доставал им авиабилеты обратно. Но на Ленинград билетов не было, и они улетели в Таллин — видно, хозяин дома считал, что Таллин вроде пригорода. Но это даже хорошо, потому что они посмотрели Таллин. Они летели с одним дядечкой, чуть ли не главным редактором тбилисского телевидения, и он всю дорогу угощал их шоколадом и приглашал в гостиницу, если им негде будет переночевать, а им и в самом деле оказалось негде, так что поздно вечером они ввалились к нему, а поскольку номер был одноместный, бедному главному редактору пришлось интеллигентно провести ночь на полу, благо там был синтетический ковер, да еще они выделили ему простыню и подушку. Он уже был не такой жизнерадостный, как в самолете, а утром чихал и кашлял и предупредил их, что сегодня улетает домой, хотя вчера говорил, что будет в Таллине целую неделю. Он даже деньги им предложил на автобус до Ленинграда, хотя деньги-то у них были. Но в Ленинград вернулась одна Лилька, а сама она поехала во Владимир, мы же с ней вместе собирались и во Владимир, "но ты не захотел...". Не помню, чтобы я отказывался. Во Владимире было плохо. Мать, выгнав отца, ее тоже не пустила в квартиру, хотя там остались кое-какие Улиткины вещи. Мать навесила цепочку и разговаривала в дверную щель. Мать защищала свою новую жизнь с новым человеком и на появление Улитки сказала: "Это провокация!" Чего испугалась? Потом она пошла в завещанный ей дом бабушки, где теперь жил ее отец. Отец тоже оказался не один, а с женщиной, про которую он рассказывал Улитке. Женщина Улитке понравилась. Еще молодая, лет тридцати, с высшим образованием, то ли социолог, то ли юрист... Хорошая фигура, почти такая же, как у Улитки. Очень смутилась, увидев Улитку, да и отец застеснялся. Так что Улитка решила им не мешать и на следующий же день уехала. Вечером Улитка пришла ко мне в гости, валялась на диване, показывая свои ноги, съела почти всю коробку шоколадных конфет, болтала без умолку, принесла послушать кассету с музыкой, которая ей теперь помогала "работать", ждала, когда я наконец ее обниму и согрею, я не удержался, обнял, тронул груди — она сразу расцвела, заулыбалась, обмякла, — "у тебя чистые руки?".

— Что с меня требовать, Игнат! Разве можно с меня что-нибудь требовать... Ты ко мне неправильно относишься. Принимай меня как я есть, и все...

В самом деле — почти праздник! Вдруг она вспомнила, что обещала позвонить одному коллекционеру, заворчала, обзывая его жлобом, ибо только жлоб мог назначить деловую встречу в метро полдвенадцатого ночи... Стала ему звонить, и я с облегчением понял, что она сейчас уйдет. Договорились завтра встретиться, но она не позвонила, а я не стал напоминать о себе. Я согласился принимать ее такой, какова она есть. Но такая она мне была не нужна. Близился мой отъезд, а от нее не было ни слуху ни духу. Ругая себя последними словами, я набрал номер ее телефона. Мне ответил незнакомый басок. Ну, это само собой. И все-таки я попросил позвать ее.

— Она щас здесь не живет, — сказал грубоватый басок. — Тут ее грабанули... Через окно... Разбили и...

— Где она? — спросил я.

Басок назвал номер телефона.

Около полуночи я позвонил, и она подняла трубку.

— Что произошло? — спросил я.

— Меня обокрали, — сказала Улитка. Голос у нее был спокойный, но неживой. — Разбили окно, залезли в мастерскую и все вынесли, всю мою коллекцию, вазы, серебро, все — магнитофон, куртку, даже две бабушкины чернобурки.

— Магнитофон Бадри?

— Он уже давно стал моим. Бадри его отдал в погашение долга. Я его хотела продать, я себе новый тут купила. Все унесли. На пианино у меня было восемьсот рублей, мне только что их вернули. Тоже унесли.

— Ты заявила в милицию?

— Да. Они с собакой приходили. Что милиция... Я теперь и так знаю, кто украл.

— Кто?

— А... два мужика, фарцовщика. Лилька их приводила, когда меня не было. Потом они поехали ее провожать, она в Жданов улетала, домой, ну и потом вернулись. Ты же знаешь, там по трубе нетрудно залезть... Разбили стекло... А вышли в дверь. Они знали, что меня нет, Лилька, глупая, им сказала. Теперь она боится, что я ее прогоню.

— Ну и что дальше?

— Что дальше... Ничего. Мы с Лилькой увидели их на Невском возле Гостиного, где вся их мафия собирается. Так они на нас: "Что такое?! Первый раз видим! Катитесь, пока живы!" Пригрозили нас убить, если что ... Это же мафия... Что ты молчишь?

— Я не молчу. Почему ты мне не позвонила?

— Не хотела.

— А что твои спортсмены, Бадри? Надо было с ними идти к Гостиному...

— Ты же знаешь, что я никого не ввязываю в свои дела. Я никогда никого ни о чем не прошу...

— А что с Лилькой? Ты прогнала ее?

— Зачем? Она же не виновата. Просто глупая, доверчивая... Без меня она пропадет.

— Там какой-то человек мне ответил.

— Да, это один мой знакомый... Я больше не могу там жить, я сняла другую квартиру. А там, там все поругано, уничтожено, растоптано... Там был мой мир, моя коллекция. Они сложили все в мои сумки и унесли. Что они понимают в модерне, для них это только деньги...

— А твои картины?

— Картины остались. Мои картины и мой буфет... Теперь он мне тоже не нужен, он один... Я посчитала, на сколько меня наказали. Примерно на десять тысяч. А мне сейчас как раз нужны деньги, много денег...

— Зачем?

— Я решила уехать. Я больше не хочу жить в этой поганой совдепии. Здесь меня оскорбили, растоптали то, что мне было дорого... Если бы ты помог мне уехать. У тебя же есть родственники за границей. Мне нужен фиктивный брак. Иностранцы берут за это десять тысяч...

Я съездил в Москву, чтобы получить визы государств, которые предстояло пересечь, только испанская виза задерживалась — ее мне обещали поставить в день отъезда. Во французском посольстве девушки, сносно говорящие по-русски, прибавили мне к трем положенным на Париж дням еще два, и я принес им лучшие цветы, какие только нашел в Москве. Оставалось проститься с Улиткой, но я перестал понимать свою роль в ее жизни. Чтобы ей позвонить, я теперь каждый раз преодолевал чудовищный барьер. Мое место было занято, она давно уже была с другими, но мне все казалось, что о чем-то главном мы так и не поговорили. Я все ждал, что она позвонит и скажет: "Знаешь, Игнат, я все поняла. Я поняла, что ты мой главный и единственный. Я хочу к тебе. Я хочу с тобой..." И я бы отложил поездку. Я бы вообще не поехал. Нет, мы бы поженились, а через пару месяцев поехали бы вместе. Ведь шел август, а разрешение на выезд у меня было до января.

И она позвонила.

— Мне нужно с тобой встретиться, — сказала она. — Ты можешь принести мою картину?

— Зачем? — спросил я.

— Дело в том, что приехал один человек... ОТТУДА... Он покупает мои работы и хочет посмотреть эту картину. Только это срочно. Он завтра уезжает.

— Что он купил?

— "Чаепитие" и еще несколько акварелей. Они там будут висеть в его собственной галерее.

— Где?

— В Риме.

Договорились встретиться в Александровском садике.

К назначенному времени я снял со стены ее картину, обернул бумагой, заклеил липкой лентой. В том, что рано или поздно Улитку откроют, я не сомневался, и все-таки это случилось раньше, чем я полагал. Полгода я приучал себя различать Улиткины фантазии и собственно Улиткину жизнь, а теперь она доказывала мне, что это одно и то же. Надев туфли, я посмотрел в зеркало на свое старое лицо. Хорошо, что утром вымыл голову — все-таки вид посвежее. Я вышел, захлопнул дверь и только в лифте сообразил, что картина осталась дома. Возвращаться было нехорошо. Нехорошая примета. Вся моя история с Улиткой была полна примет и символов. Ничего, решил я, мы встретимся и заедем ко мне. Она потеряет полчаса, не больше. Может, даже погуляем по городу, как когда-то... Я спустился в метро, сел в вагон. Поезд тронулся, ворвался в темный гремящий тоннель, и тут вдруг мне стало трудно дышать. Ненависть поднялась в моей груди, ударила в голову, ослепила... Кто мог у нее купить картины? Какая там личная галерея? Ей просто платят за постель, за удовольствие. А она верит, она принимает эту игру за чистую монету. То есть, конечно же, не верит, но хочет, чтобы выглядело именно так... Какой там музей, какие выставки... Это не ее идея, это ей подсказали, это ее дошлый дружок из фирмачей. Она хочет уехать, она взялась за дело! В один миг я возненавидел ее. Теперь она собиралась продать то, что подарено мне, что было нашим общим прошлым. Я был черен, когда подходил к Александровскому саду, хотя, увидев Улитку, постарался улыбнуться. Она была с телохранительницей Лилькой, одетой с ног до головы в дорогую кожу. Не те ли домшники отслюнили ей ее долю...

— Ты не принес? — сказала Улитка и помрачнела. Впрочем, она помрачнела еще раньше, еще до моей улыбки. Она знала меня.

— Не успел, — сказал я, продолжая через силу, еще более фальшиво улыбаться. — Я не из дома. Мы можем сейчас съездить...

Улитка пристально глянула на меня, жестко и незнакомо усмехнулась и сказала с торжеством, будто наказывала:

— Все! Я уезжаю из этой сраной страны, где одни подонки!

— Когда? — невпопад спросил я.

— Скоро! Оставайтесь в своем совке, копошитесь в дерьме!

— Что-то ты не то говоришь... — сказал я.

— То! Как раз то, что нужно. Тут не ценят красоту, тут искусство никому не нужно!

— А там ценят?

— Там ценят, а тут грабят. Я любила модерн, я любила его собирать... А мне плюнули в душу. Я этого не прошу!

— Там тебя тоже ограбят, — сказал я. — Красоту везде грабят.

Улитка зло хохотнула. Где-то я уже слышал этот хохоток.

— Ну ладно. Поехали. Мне нужна моя картина. — Она обернулась и кивком позвала за собой Лильку.

— Теперь я тебе ее не отдам, — сказал я. Нижняя челюсть у меня двигалась плохо.

— Что-что? — протянула она, упирая руки в боки.

— Я не хочу тебе ее отдавать, — тихо, отдельно выговорил я. Сказать громче у меня просто не было сил.

— Как это так? — сказала Улитка. — Она моя. Я дала тебе ее на время, а теперь забираю. Ей плохо у тебя, она мучается. Ей не нравится твоя темная квартира.

— Я ее перевесил, — сказал я. — Теперь ей хорошо...

— Что? Может, тебе деньги дать за нее? Сколько ты хочешь за мою картину? У меня есть деньги, у меня теперь много денег.

— Ты мне ее подарила, — сказал я. — Там написано, что это подарок. Там написано: "Тебе от меня". Сколько стоит "тебе от меня"?

— Нарисуй ему копию, — подала сбоку голос Лилька. Голос был наглый.

— Лилька, отойди! — прикрикнула на нее Улитка незнакомым мне железным тоном.

— Ты уж прости, — сказал я, — но эта картина мне дорога. Она про нас. Она принадлежит нашему прошлому. Ты написала ее при мне, на моих глазах.

— Это моя вещь, — сказала она. — Ты ко мне плохо относишься, значит, и к ней плохо. Я у тебя ее забираю.

— Я к тебе хорошо отношусь, — сказал я.

— Что ты с ним разговариваешь? — услышал я Лилькин голос.

— Лилька, отойди! — топнула Улитка.

— Я к тебе хорошо отношусь и потому картину не отдам, — сказал я.

— Так ты не отдашь?

Закусив губу, я покачал головой.

Улитка вся передернулась и, оскалившись, выставив челюсть, сказала:

— Пошел вон, козел!

И нас отбросило в разные стороны.

Через какое-то время я осознал, что иду по Невскому в сторону Адмиралтейства. Его золотой кораблик летел на юг...

Я думал, что она позвонит и извинится. Но Улитка не позвонила. Через три дня я уехал.

ЗВОНИЛА Мария. Каждое ее свидание со мной было как попытка вырваться из того, другого, ее мира, который держал ее крепко. Она всегда спешила. Не от меня, а в том мире, где у нее была бездна дел. "Зачем ты так много работаешь?" — спрашивал я. "Потому что я это люблю", — отвечала она. И все-таки я удивлялся этой ее готовности отдаваться с утра до вечера как бы не главному в жизни, завидовал ее занятости. Она извинялась, что мы опять не сможем увидеться, она только что вернулась из провинции, где записывала беседу с одним интересным человеком, и теперь всю ночь будет расшифровывать, чтобы утром сдать в газету, как обещала, а днем у нее самолет на Сан-Себастьян, где она обещала принять участие в телепередаче. Только мне она, дальновидный человек, ничего не обещала и с легким сердцем откладывала меня на потом.

— О, я так хочу с тобой увидеться, Игнасио. Это ужасно, что сегодня я не буду с тобой.

— Тебе правда жаль? — переспросил я.

— О, Игнасио, о чем ты говоришь. Разве ты не чувствуешь?

И тогда я сказал:

— Хочешь, я тоже приеду в Сан-Себастьян?

Не давая себе засомневаться и передумать, я тут же решительно набрал рабочий номер Виктора.

— Конечно, немедленно! — зарычал он. Чувствовалось, что у него там дым коромыслом и он даже не очень врубается в то, что я ему говорю.

— Когда нужно? Какой отель?

— Отель не нужен. У Марии будет отель.

— А что нужно?

— Билет, старик. Она говорит, что на самолет билетов уже нет. Ей взяли последний. Есть поезд с утра.

— Значит, едешь на поезде?

— Да, родной. Если ты сделаешь билет.

— Нет проблем, Игнаша. Нет проблем! Я, нет, моя секретарша... она через полчаса тебе позвонит. Ты дома?

Где я еще мог быть? Я, как в детстве, скрестил два пальца на удачу.

Мой дорогой Игнаша! Пользуюсь случаем и пишу тебе. Все эти дни провела в чрезвычайном беспокойстве, воображая себя Комиссаржевской. И хотя невоплотимость замысла была для меня очевидна, воображение меня несло, уносило и заносило. Так что все, что я хотела сыграть, я уже сыграла. Но инерция еще дрожит, что-то я продолжаю открывать для себя и переигрывать по-новому. Тупость судьбы, так как возможности сняться в советском кино для меня не существует. Я для советского зрителя не являюсь никаким символом, а Комиссаржевскую должна играть актриса известная и любимая, ритмически совпадающая с современностью, как совпадала когда-то Вера Федоровна. Это обязательные условия игры. Ты увидишь, что результат дерзновенных поисков режиссера, пригласившего на пробы даже меня, будет более чем типичен: остановятся на какой-нибудь известной, талантливой, любимой...

Когда я говорю о современности актрисы, я имею в виду форму протеста именно против современности. Мода на форму протеста постоянно меняется, уже не говоря о содержании протеста. Актрис с духовным началом, а главное, с духовным богатством почти нет. Из тех, кого помню, я, пожалуй, не смогу назвать ни одной; но неврастеничные и талантливые есть. Неврастения — порождение времени — она сейчас подменяет и духовное и интеллектуальное начало. Быть дилетантом очень тяжело. Можно сойти с ума. Время обрекает нас на это. Сейчас тот талантливее, кого сильнее тошнит, кто, наслаждаясь ненавистью, блюет на глазах у зрителя. Духовное отступило перед душевнобольным. И возможно, вовсе неуместно сейчас.

Но тем не менее о Комиссаржевской необходимо говорить. О духовном не смогут, но — хотя бы о том, что была интеллигентна. Думаю, это серьезная тема на кинематографической барахолке. Совершенно оригинальная в своем роде. О праве интеллигенции на гениальность. Наконец-то персонаж не от сохи, не от нутра, не задницей чувствующий, но умом, сердцем, богатством и ума и сердца, да еще при трепещущем теле. Об этом ли сценарий? ...

Вера Федоровна предчувствовала свою судьбу, была чрезвычайно суеверна, страшилась умереть некрасивой и умерла безобразной. Дни и часы ее всегда были сочтены: она дышала невозможным кислородом чуда — и в любви, и в театре. В изображении должно быть много пространства, напряженного и обреченного, но пространства, построенного на ощущении вечности и детали, детали в вечности, детали как вечность. Я бы снимала у Комиссаржевской дрожащую бровь, дышащую ноздрю, трогательное ухо, нервные руки — так сказать, почленно. И после каждой сцены камера бы уносилась ввысь и парила бы над ма-а-аленьким изображением. Ну, это я про свой сценарий...

Игнаша, ты видишь, как нет надо мною звезды.

У Северного железнодорожного вокзала я взял такси и назвал отель, где должна была остановиться Мария. Отель назывался "Монте Игуэльдо". Дородный таксист понятливо кивнул, и мы поехали. Город показался мне очень красивым. Мы пересекли красивый мост через реку, которая могла называться только Урумеа, и покатали по красивым улицам. Мария говорила, что отель на горе — "монте" и есть гора — и оттуда красивый вид. Сан-Себастьян — город королевский, точнее, курорт королей; так его под присмотром королевской фамилии и застраивали, и поэтому он был безусловно красив — город всевозможных фестивалей, скачек, парусных регат, гольфа и тенниса. "Сладкая жизнь", фильм моей юности, неужели, пусть статистом, и я попал туда? Дорога в несколько кругов одолела гору, я расплатился с таксистом, смело вошел в отель, назвав портье свою фамилию, и он, кротко и приветливо улыбнувшись, будто узнав или вспомнив, выложил передо мной ключ от номера Марии. Это было так просто, что я от неожиданности спросил:

— Я больше ничего не должен?

Портье покачал своей аккуратной, коротко подстриженной молодой головой и сказал по-английски:

— Сеньора просила вам передать, что будет в пять часов.

Лифт вознес меня на четвертый этаж, я открыл номер, вошел и бросил сумку. Возле двери валялась дорожная сумка Марии, со спинки стула свешивалось боком пальто, в ванной комнате на подзеркальнике — сумочка с туалетными причиндалами, которые как бы не успели выскочить из крокодильей пасти молнии, сердито застряв в ней. Следы страшной спешки, стиль Марии. Я подошел к окну во всю стену и раздвинул темные плотные занавески. За стеклом был балкон, а за балконом внизу — море. Я открыл стеклянную створку двери и подошел к перилам. Вот оно, подумал я, как будто все, что я видел прежде, было предуготовлением к этому. Сначала панорама неба, огромного, разного, но там, на стороне океана, где должно быть солнце, — нахмурившегося; ниже неба, справа, — панорама гор, ниже гор — белая дуга города, ниже дуги — синяя бухта Конча, посреди бухты — зеленая гора острова Санта-Клара, а за островом, в левом конце дуги, — мыс еще одной зеленой горы по имени Ургуль. Полагаю, в одном из прежних своих воплощений душа, которую больше не рискую назвать своей, была в более тесной связи с морем, скажем, принадлежала какой-нибудь морской птице, может быть даже противной хищной чайке, и в моем сне, когда душа свободнее от того, что я ей днем навязываю, она и пытается летать. Да, вспомнил! Или вспомнилось — что летал я не только в комнатах, но — пусть очень редко — и над водой. А вот других летающих я не помнил — видно, они летали в своих собственных снах.

...Передо мной был Бискайский залив, Кантабрийское море, передо мной был Атлантический океан. Я улыбнулся ему как старому знакомому — ведь и я жил возле одного из его дальних северных закоулков, всегда радуясь его свежим напористым облакам, проходящим летом и зимой над моим василеостровским домом, сметая вонючий смог. Ода западному ветру... Я и сам пробовал писать о нем.

Там был океан — до самого горизонта, очень высокого отсюда; вода была притемнена, хотя пространство ее было окрашено серым, густо-синим, опаловым неравномерно, и широкая кисть ветра ходила то вдоль, то наискось, задерживаясь на какой-нибудь детали этого безмерного холста; море дышало, и каждый его медленный вздох откликался белой вспышкой прибоя у скалистого основания острова Санта-Клара и горы Ургуль — вспышкой, неслышной отсюда, так она была далеко; а в бухте Конча вода лежала ровно и спокойно, как стеклышко, разве что слегка морщась, и ее тонкий слой был везде разный: у песчаных пляжей — бирюза, на глубине — аквамарин, а над подводными грядами камней — александрит; совсем не испанской влажной прохладой веяло от океана, и было ее так много, что, конечно, только горы, только Кантабрийские Кордильеры, заслонявшие горизонт с восточной стороны, могли удержать здесь дожди и туманы. Я стоял и, может быть, впервые в Испании дышал полной грудью, вдыхая свежий западный ветер. Без этого родного ветра мне не прожить.

Я принял душ, надел новый спортивный костюм. Я хотел, чтобы меня, любили... Я надел спортивный костюм и минут пять постоял на голове, чтобы освежить мозги для радости общения с Марией. Ровно в пять шелкнул замок, дверь распахнулась и влетела Мария.

— Игнасио, ты здесь! Как хорошо! Целые сутки мы будем вместе, и никто нам не помешает! Я так устала, ночь не спала. Я хочу лечь, Игнасио. Я должна немного поспать, набраться сил. К восьми мы должны быть на телевидении. Ты полежишь со мной? Мария разделась — у нее это получалось чуть ли не одним движением — и побежала в ванную комнату. Я подумал, идти ли за ней или подождать ее здесь.

— Только мы ничего не будем делать, хорошо? Я должна поспать.

— О'кей, — сказал я и сел в кресло.

— Как мне надоела эта суматоха, Игнасио, — говорила Мария сквозь шум душа. — Они записали меня на радио, потом потащили для интервью в газету...

Я встал с кресла и подошел к открытой двери ванной комнаты:

— May I come in? ²⁹

²⁹ May I come in? – Можно войти? (англ.)

— Конечно, Игнасио...

Мария плескалась за занавеской. Занавеска была короткой, и возле ванной на кафельном полу стремительно вырастала лужа. Колени у Марии были стройные, и ее тело за полупрозрачной занавеской было желанным. Чтобы переключить мысли, я сказал:

— Неправда. Тебе все это нравится, all the stuff³⁰.

— Нет, Игнасио. Это мешает мне быть с тобой. Сейчас это меня только раздражает.

— А вместе со мной ты согласна купаться в лучах славы?

— С тобой — да.

— А что скажет пресса, если я появлюсь рядом? Ушлые газетчики? Дошлые репортеры? Ты хочешь пустить их в свой интимный мир?

— Мой интимный мир их не волнует. Они ко мне хорошо относятся. Пока, хвала мадонне, хорошо...

— И им неважно, что я красный?

— Неважно, если ты не будешь устраивать мировую революцию.

— Мировая революция — это теоретическая ошибка.

— Тогда они будут носить тебя на руках.

— Мы за приоритет общечеловеческих ценностей...

— Игнасио, тебе цены нет...

— И за деидеологизацию международных отношений.

— Игнасио, ты голубь мира.

— Это не я придумал.

— Неважно, Игнасио. Важно, что это говорит красный.

— По-русски "красный" — значит красивый, прекрасный, beautifull, guaro...

— You are guaro, my dear.³¹ — Мария оттолкнула занавеску и, протянув руки, перешагнула через борт ванной ко мне. Я завернул ее в махровое полотенце и понес в кровать. Постель была неразобрана, и, придерживая Марию одной рукой на колене, другой я сдернул покрывало.

— Я еще мокрая, Игнасио...

Я вытянул из-под ее маленьких ягодичек полотенце и вытер ее с ног до головы, держа на колене, как ребенка.

— Ты такой заботливый...

Я лег рядом с ней, мы обнялись, и Мария заснула на моем плече. Во сне у нее было печальное выражение лица. Я смотрел на нее, пока сам не уснул. Но и сквозь сон я помнил о ней и чувствовал на левой, обращенной к балкону щеке дыхание океана, а на правой — ее дыхание.

В семь запиликали на ночной тумбочке часы, и я проснулся. Мария шевельнулась и, не открывая глаз, жалобно сказала:

³⁰ all the stuff – весь этот наворот (англ.)

³¹ You are guaro, my dear. – Ты прекрасен, дорогой (исп., англ.)

— Неужели пора?

Моя правая рука, на которой спала Мария, онемела, и я осторожно шевелил пальцами, чтобы вернуть ей ощущение легкого тела Марии.

— Игнасио, ты можешь выступить вместо меня? — сказала Мария, по-прежнему не открывая глаз.

— Могу.

— Расскажи им что-нибудь про Россию. Зачем им Южная Америка? Пусть послушают про Россию.

— Ты была в Южной Америке?

— Я везде была. И уже сто раз об этом рассказывала. Это у них на местном ти-ви называется "Клуб путешествий".

— У нас тоже есть такой.

— Видишь, телевизионщики везде одинаковы...

Мария открыла наконец глаза и села. Грудь у нее были с маленькими шоколадными сосками. Кожа смуглая, как у Улитки.

— Выступи, Игнасио... Телевизионщики даже не заметят замены.

— У меня бедный английский.

— Ничего, я буду синхронно переводить на богатый испанский.

— Богатый язык — это много эпитетов. Я эпитеты не люблю.

— Хорошо, я буду обходиться самыми простыми — только добавлять *mucho* или *muchísimo*³².

— По рукам...

В полвосьмого в дверь постучали. Это была молодая женщина с телестудии, помощник режиссера. К Марии она относилась как к звезде. Мария представила меня, назвав русским поэтом. Помощник режиссера решила, что я тоже звезда; иначе бы что мне делать рядом с Марией? Теперь она улыбалась нам обоим одинаково. По-английски она не говорила, что усиливало нашу звездность. Внизу ждала машина. Помощник режиссера села впереди, а мы с Марией сзади. Машина свинтилась с горы и вмиг домчала нас до телевизионного центра, сиявшего в свете фонарей своей суперсовременной архитектурой. Центр действительно только что заработал, и им здесь гордились. Охранник у въезда на территорию внимательно изучил мой паспорт, и Мария мне объяснила, что это связано с терроризмом баскских сепаратистов. Телецентр был построен для передач на испанском. Баски же, добившиеся автономии, имели свое национальное телевидение и к *castellanos*³³ относились прохладно. "Потом расскажу", — шепнула Мария, потому что мы уже шли по узким, пустым, ярко освещенным коридорам, еще пахнущим краской, к ведущему "Клуба путешествий". Перед его дверью толпилась молодежь — участники передачи. Попасть в телепередачу даже в роли аудитории считалось престижным, и все тут тоже ощущали себя звездами.

Ведущий, которого звали Альфонсо, был похож на Дон-Хуана, благополучно разменявшего шестой десяток. Видимо, проблема выживания была в том, чтобы от чего-то вовремя отказываться. Дон-Хуан погиб, потому что не хотел изменить духу молодости. Он, конечно, умнел, но поступал все так же, как вначале. С годами у него накопилось колоссальное

³² *mucho* или *muchísimo* — очень или очень-очень (исп.)

³³ *castellanos* — испанцам (исп.)

противоречие между поступками и обретаемой мудростью. Он уже не мог поступать свежо, импульсивно, и чувства его постепенно превращались в интеллектуальные головоломки, на решение которых шла вся его мудрость. Любовь стала скорей игрой ума, и, чтобы пробудить чувство естества, все противоестественное требовался антураж. Его последний любовный поединок — это отчаянная попытка вернуть прошлое, стать прежним, но для этого остались одни лишь неправые средства. Отсюда безумие надежды и жажда расплаты... Однако и скучно из Дон-Хуана превратиться в дона Альфонсо и доживать свой век, ведя телепередачи "Клуба путешествий". Во всем же остальном Альфонсо был еще хорош: высок, и статен, и улыбчив, с томной памятью баловня любви. Этот мужской тип к старости выглядит хоть и импозантно, но мелковато, точно, ибо на одну лишь любовь ставить в жизни не по-мужски.

Альфонсо считался другом Марии, он старался считаться другом всех знаменитых людей. "Это такая женщина!" — подмигнул он мне, но не флиртованно, а восхищенно. За соседней дверью была гримерная. Перед зеркалами в вертящихся креслах сидели два юноши — одного гримировали, другой гримировался сам. У последнего грим был очень сложный, грим-маска, то ли японская, то ли китайская, да и одет он был соответственно — в черное кимоно с драконами. Первого юношу превращали в красавчика — он должен был ответить на вопросы экспресс-викторины, что-то вроде нашей "Что? Где? Когда?". А юноша в кимоно должен был показать какой-то восточный номер — за креслом в углу я увидел большой изогнутый деревянный меч, покрытый серебрянкой. Кто хотел, мог тоже зайти и прихорошиться. Красавчик встал с кресла, и гримерша, усадив Марию, принялась и ее превращать в красотку. Альфонсо присел на подлокотник кресла, красиво скрестив свои длинные, должно быть еще сильные ноги, и травил анекдоты. Один анекдот он рассказал по-английски. Я посмеялся, хотя ничего не понял. Альфонсо умело создавал непринужденную обстановку. На меня он смотрел как на своего, как на элиту. Он сказал, что и меня хочет видеть среди зрителей-участников. Он был очень чуткий ведущий. Затем все прошли в павильон, расселись амфитеатром, и я оказался в первом ряду рядом с китайцем — так решил Альфонсо, наверняка имея в виду если не нашу общую с Китаем границу, то — общее азиатство. Пока объектив камеры наезжал на китайца, рядом с ним на мониторе я видел себя. Марию посадили отдельно — она была гвоздем программы. Дали сигнал, и запись началась.

У нас, зрителей-участников, была задача живо откликаться на происходящее и аплодировать, когда это нужно. Я, правда, аплодировал с некоторым опозданием, вслед за другими — по-жирафьи. Даже мой свитер тому соответствовал — в крупную клетку... Мария сказала, что ей сделают копию этой записи и она будет смотреть на меня, когда я уеду. Я старался не ударить лицом в грязь. Молодой испанец, окончивший что-то вроде факультета изящных искусств Пекинского университета, исполнил номер с мечом из китайской борьбы у-шу, затем показал, как китайцы едят, а затем — как китайки ведут себя в постели. Подразумевалось, что об этом он знает из личного опыта. Ели китайцы как свиньи, а китайки визжали в любви как поросята. Такую, видимо, страсть вызывал у них студент факультета изящных искусств. Зрители-участники весело смеялись, а Мария слушала мрачно и ни разу не улыбнулась. Показчик-рассказчик, сорвав аплодисменты, сел на место, довольный собой. По его гриму струился университетский пот. Затем Альфонсо радостно представил Марию, и она рассказала об одном из своих приключений в Латинской Америке. Рассказывала она слишком быстро для моего замедленного уха — я только и уловил, что они плыли по какой-то Лимпопо, кишевшей крокодилами, и лодка опрокинулась и кто-то кого-то чуть не съел. Потом красавчик, победитель предыдущей викторины, то бишь финалист, не смог ответить ни на один из вопросов, и Альфонсо вручил ему в качестве поощрения всего лишь пластиковую авторучку. Такую же авторучку он подарил после записи мне, хотя я, может быть, и ответил бы на вопросы. Мария бы тоже ответила — это было видно по ее страдальческой гримаске, с которой она наблюдала за думающим красавчиком. Сконфуженный финалист говорил, что он просто не понял вопросов. Те, кто ему сочувственно кивал, посматривали на него с превосходством. Про выпускника Пекинского университета Мария шепнула мне, что он shit и nazy³⁴. Альфонсо был доволен записью. Главное, что он сам ни разу не сбился и они уложились в хронометраж. Он был доволен собой и ждал от меня похвалы. Я сказал ему: "Блестящая работа!", и он благодарно похлопал меня по плечу. Все-таки Дона-Хуана знало в

³⁴ shit и nazy – дерьмо и фашист (англ.)

лицо гораздо меньше людей, чем его, Альфонсо. Альфонсо подбросил нас на своей машине в центр и бодро порулил домой, к жене и детям.

Мы побродили по тихой пустой набережной. На скамейках обнимались молодые парочки, в домах под горой Ургуль горели окна, а наш далекий отель на горе Игуэльдо сверкал, как бриллиантик. Хотелось есть.

— Я только покажу тебе одно место, и мы поедem домой, — сказала Мария. — Это мое любимое место. — И она махнула такси.

Водитель перевез нас в старый город за гору Ургуль и снова выкатил к воде.

— Мы сейчас вернемся, — сказала ему Мария и, взяв меня за руку, повела за собой. Справа было черно. Там был океан. Волны лениво толкались в темноте у скального подножия и бетонных плит набережной, словно ворочаясь во сне с боку на бок.

— Зимой здесь бывают ужасные бури, — сказала Мария. — Видишь отверстия в набережной? Вода бьет в пещеры под ней и вылетает из этих труб фонтанами на пять этажей. И рев такой, будто из ада. О, это зрелище, Игнасио. Жаль, что сегодня море спокойно. Мы поднялись по каменным ступенькам и постояли возле этих дыр. Я наставил ухо и услышал далекий сдержанный рык — будто диких зверей в подземелье.

Таксист отвез нас в отель. Мы не доехали метров двести. Я расплатился, и дальше мы пошли пешком. Так хотела Мария. Она вела меня по тем местам, где когда-то уже была счастлива. Она несколько раз открывала Сан-Себастьян с теми, кого любила прежде. Об этом было нетрудно догадаться — так вдруг она замолкала тут и там. Она вспоминала. И наверно, сама себе удивлялась. Про меня она, конечно, не могла загадать в своем прошлом. "Ну что ж, — сказала Арина, когда я уезжал в Сан-Себастьян, — это красивое приключение". Мне не хотелось быть приключением Марии. Хватит с меня приключений. Внизу под нами за каменной оградой дороги тихо вращался маяк. Его четыре луча были как крылья опрокинутой мельницы. Лучи поочередно упирались в крутой склон, нестерпимо слепили верхушки деревьев и окунались в темноту. Казалось, что это океан, надув щеки, тихо вращает их. Возле маяка мы простояли дольше, чем в других местах. Лучи уходили и возвращались, уходили и возвращались, молча о том, что видели там, в темноте...

Ночью Мария говорила:

— Это заблуждение, что женщина, в отличие от мужчины, склонна к постоянству. На самом деле он приедается ей гораздо раньше, чем она ему. Женщина не может быть постоянной — она нуждается в новых впечатлениях, в новых красках. Ей мало одного мужчины. И не потому, что она распутна, а потому, что она не может не обновляться. Иначе она перестает быть женщиной. Ей нужно, чтобы ее постоянно любили. А на это один мужчина, увы, не способен. Еще она говорила:

— Марк не хочет иметь детей. Поэтому мы, наверно, разойдемся. Я чувствую, что мы разойдемся. Мне тридцать шесть, и я больше не могу без детей. Все, что я знаю, что накопилось во мне, я должна кому-то отдать. Может, я припозднилась с детьми, но сейчас — мое время.

Еще она сказала:

— Мы три года боролись с Марком друг за друга, боролись за понимание, за общий язык — мы ведь из разных цивилизаций. Мы прошли с ним такой трудный путь, и теперь я вижу, что все напрасно. Мы никуда не пришли, и наша дорога в глубоких ямах. Борхес говорил, что язык предполагает не столько общее настоящее, сколько общее прошлое. Это нам с Марком не под силу. Он говорит со мной по-испански, а мне его жалко. Если бы даже я жила с англичанином или французом, я бы не чувствовала такой разницы. Нет... между Америкой и Европой — пропасть. У американцев нет прошлого — им нас не понять.

... И снова она смотрела мне в глаза до последнего мгновения, словно боясь что-то упустить, — может быть, какой-нибудь кусочек неведомой русской истории, теряющейся в веках.

Утром я осторожно, чтобы не разбудить Марию, встал, оделся, взял мелки и бумагу и вышел на балкон. Солнце еще не выпросталось из облаков над Кордильерами, бухта была тиха, город, казалось, спал, только белопенная оборка с западного края острова Санта-Клара и горы Ургуль была шире, чем вчера. С океана дул ветер. Я пристроился возле бетонной перегородки, разделявшей балконы номеров, и стал рисовать, точнее — писать, потому что цветом пишут. Писать с натуры лицо или пейзаж — это пройти путем их создателя, то есть на какое-то время стать соучастником Творца. Если бы каждый взрослый человек хоть раз в жизни сам попробовал бы написать пейзаж или портрет, мир был бы сегодня лучше. Искусство всегда отражало импульс человека к выживанию. Виктор меня спрашивал, зачем я трачу время еще и на живопись, если я не художник, а типичный дилетант. Но и дилетант испытывает те же чувства, что художник. В конце концов они важнее, чем результат.

...Я писал минут пятнадцать и продрог. Облака так и не выпускали солнце, и поверхность воды все время меняла выражение — от сурового к благодному. Следовало сделать выбор. Я решил — пусть будет рай, сказка, мечта.

В дверях балкона возникла Мария, босиком, с одеялом на плечах. — О, это мне нравится. Это твое?

— Нет, не мое. Это ветер. Он толкал меня в локоть.

— Очень холодно... Я позвонила, чтобы принесли завтрак.

— Я через пять минут...

— Это хорошо, Игнасио. Мне это нравится.

— Тогда дарю.

В номере был развал. Марии нравилось жить среди развала. В молодости меня тоже больше устраивал хаос, но теперь я находил для себя новое удовольствие — приводить все в порядок.

Когда мы спустились на набережную, солнце наконец вырвалось из пут, и все засверкало. Купальный сезон давно кончился, но по чистым светло-желтым пляжам прогуливался народ. Многие в спортивной одежде совершали бег по урезу воды. Было много детей. День был воскресный, и город отдыхал. Люди были хорошо одеты и гуляли семьями. Все было ухожено и красиво и походило на курорт. Впрочем, это и был курорт, и даже повседневная жизнь выглядела курортно. Мы сняли обувь и побрели по воде. Мария смотрела вокруг рассеянным мягким взглядом — снова в себе, в своем прошлом. Видимо, и этот пляж там был. Вода была холодной и чистой. Трудно было поверить, что в метре от города, от набережной может быть такая прозрачная негородская вода. Какой-то человек притащил по частям к воде виндсерф, сначала доску, затем парус, соединил, зашел поглубже, вспрыгнул, и ветер унес его к Санта-Кларе. Два мальчика торчали в воде по пояс, визжа от холода и обдавая друг друга брызгами.

— Подождешь? — сказал я Марии. — Я искупаюсь.

— Холодно, Игнасио. У нас нет с собой полотенца.

— У меня и плавок нет.

— Вот видишь...

— Но трусы-то есть. Могу и без трусов.

— Как хочешь. Я только боюсь, что ты простудишься.

— Я быстро. Туда и обратно. Не успею простудиться.

— Зачем это тебе, Игнасио?

— Чтобы сказать друзьям, что я купался в Бискайском заливе.

Мария покачала головой, но отговаривать меня не стала. Возможно, она приняла это за русскую блажь. Я разделся и рванул в море, мелькая белыми трусами. Холод обжег и сомкнулся вокруг меня. Вода была действительно прозрачной. И чистое песчаное дно. Туда кролем, обратно на спине. Никто не плавал, ни одна собака. Обратно я изо всех сил работал ногами. Бурун был до неба. Да здравствует русская блажь! Блажен, кто посетил сей мир... На берегу я, не очень прячась — все же прошел кое-какую школу, — скинул трусы и натянул на мокрое тело брюки, затем сорочку, а сверху свитер. Все о'кей.

— Правда о'кей, Игнасио?

— Правда о'кей.

Теперь Мария была иной, чем десять минут назад, видимо, такого номера в ее прошлом все-таки никто не выкинул. Мы дошли до стены, где кончался пляж, и поднялись навверх.

— Хочешь в музей? — спросила Мария.

— Нет, с музеями покончено. Лучше погуляем. Тут все такие праздничные.

— Это внешнее, Игнасио, — сказала Мария. — На самом деле эти люди полны напряжения и тревоги. В последнее время снова усилился терроризм. Не исключено, что даже здесь, прямо на набережной, в любой момент могут взорвать бомбу.

— Тогда почему столько народу, детей?

— Они бросают вызов террористам. Они очень гордые. Баски еще более гордые, чем испанцы. Их никто никогда не завоевывал. Теперь они добились автономии и возгордились. И люди здесь богаче, чем на юге или в центре страны. Это очень богатая провинция. Они не любят центр, они не любят метрополию. Если у тебя на машине мадридский номер, могут быть неприятности. В прошлом году я приезжала сюда по заданию газеты, у меня была машина от редакции, и они на подземной стоянке поломали мне антенну и разбили стекло. Это город, где много фашистов, Игнасио. Это не очень спокойный город. Если ты в кафе заговоришь по-испански, тоже могут возникнуть неприятности. Лучше уж говорить по-английски или по-французски.

— А ты не говоришь по-баскски?

— Такого языка нет. Они говорят на *euskaro*. Это невозможный язык. Никто до сих пор не знает, откуда он. Считают даже, что он из Грузии. У них своя культура, своя литература, и нас они не любят. Им не нравится центр.

— А чего хотят террористы?

— О, разного. Разные террористы хотят разного. Ты, может быть, слышал, что это баскские сепаратисты убили Карреро Бланко, которого прочили в преемники Франко?

— Ну так и прекрасно. Теперь у басков автономия. Что они еще хотят?

— Они хотят полной независимости, так же как Каталония и Андалузия. А центр их сдерживает. Но террористы воюют не только против центра, но и против своих либералов, которые у власти. Им не нравится демократизация, они за сильную руку, за жесткий порядок. Сейчас здесь терроризм профашистского толка. Увы, еще очень многим нравится поводок. Всю свою историю человечество только и решало, что лучше — больше власти или меньше власти. Мы считаем, что в настоящее время власти не должно быть больше, чем свободы.

Самолет улетал около шести вечера. Я думал, что на прощание еще раз увижу под крылом голубое око бухты Конча с зеленым зрачком острова Санта-Клара или хотя бы розовое веко набережной Сан-Себастьяна, но самолет сразу вошел в слой облаков. Несколько мгновений внизу были видны затканые туманом Кантабрийские Кордильеры, и самолет, набирая в белесом мраке высоту, пошел искать солнце.

Когда мы снова прорвали слой облаков и оказались ниже его, было уже темно. Самолет коснулся посадочной полосы, и в свете обозначивших ее фонарей я увидел, что идет дождь. Зонта у нас с собой не было. Мы пробежали сотню шагов к стоянке автомашин, и Мария разыскала свой маленький мокрый "пежо". Она открыла дверцы, и мы залезли внутрь, побросав сумки на заднее сиденье. В машине пахло холодом и неприятно. Мария включила двигатель и зажгла свет. Капли дождя на ветровом стекле заискрились. Мария включила дворники, подождала, пока мотор разогреется, и тихо порулила со стоянки. Кто-то впереди перегородил машиной проезд, и Мария чертыхнулась по-испански. Ругательств у нее было два: "Porca madonna" и "Puta Madre". Второе она использовала чаще. Я молчал. Ей явно не хотелось возвращаться к себе домой.

Все это время не писала тебе, потому что почти постоянно находилась под давлением крайнего нервного расстройства. Трудно сказать, каким обстоятельством или течением обстоятельств оно было вызвано, но только после моего возвращения из Ленинграда, а особенно после отрицательного ответа с киностудии я бродила по какому-то нескончаемому тоннелю, не видя никого и ничего и натываясь на все. Думаю, что за все время моего пребывания в Испании я ни разу не ощущала себя такой подавленной. Было бы нелепо думать, что причина этого — несостоявшаяся возможность въехать в свое отечество на коне, блеснуть, доказать... Все несравненно сложнее: солома ждала только искры, чтобы испепелить себя. За искрой дело не стало — вот я и сгорела. Это тот самый переломный момент, который называется переоценкой ценностей, — долгие мучительные роды с острыми и затихающими схватками. Мои прозрения никогда не были стремительны, никогда с ночи на утро, всегда до них — длинная вереница нескончаемых дней.

1984.

В ДОМЕ Виктора прошли сутки, а во мне — целый месяц. В каждой поездке я проживал огромные куски времени и смотрел на возвращавшееся ко мне постаревшими глазами. Все-таки удивительно, что все оставалось на своих местах. Дом Виктора мог бы стать и моим. Здесь я не испытывал привычного для меня чувства бездомности. Дом защищал и согревал. В него хотелось возвращаться.

Виктора еще не было.

— Сегодня он приедет поздно, — сказала Арина. — В полночь у него деловая встреча. — И, прислушавшись к тому, что произнесла, горько усмехнулась. Хотя встреча действительно была деловой — вот уже полгода Виктор окучивал одного миллионера, и сегодня они должны были подписать контракт.

— Ну как ты, как твои успехи? — сказала Арина.

— Все слишком хорошо, — сказал я.

— Почему "слишком"?

— Потому что через неделю я уезжаю...

— Господи, уже через неделю! И ты не продлишь?

— Нет, я уеду. Было слишком хорошо. Теперь надо вовремя смыться...

— А Мария?

— Она собирается приехать в Союз.

— Это что, так серьезно?

— Не знаю.

— Полно, Игнаша. Это несерьезно. Ты испортишь ей жизнь.

— Почему?

— Ты будешь ей изменять. Ты же у нас такой любвеобильный. Она не заслуживает, чтобы ей изменяли. И вообще все это глупости. Она в Союзе и дня не проживет.

— Зачем в Союзе?

— А ты здесь не проживешь. Не возражай. Я знаю все, что ты можешь сказать. Я тут подумала: может, это мне уехать? Скажем, с тобой.

Она подошла, положила мне руки на плечи и заглянула в глаза. Что она могла в них прочесть — только испуг, разве что еще что-то далекое, почти невозможное, на самом дне.

— Что, возьмешь меня? — в голосе ее не прозвучало ни малейшей надежды. Может, поэтому я сказал:

— Возьму. Только...

— Что — только? Если Виктор отдаст?

Я кивнул

— Он не отдаст, и ты это знаешь.

— Я не могу брать чужое, — сказал я.

— Это я-то чужое? — оттолкнула она меня или, скорее, оттолкнулась. Она обхватила себя руками, будто ей стало холодно, и заходила по комнате. — Помнишь, четырнадцать лет назад, когда мы жили у тебя...

— Помню.

— Что ты помнишь?

— Помню свои мысли: почему ты не со мной?

— Мыслитель. Ты хоть хотел меня?

— Хотел.

— Спасибо за откровенность. Впрочем, это было видно. Я тоже хотела тебя. А ты дурак. И тогда, и теперь. У тебя был шанс. Одно только слово — и я бы осталась с тобой. Но ты промолчал, трусил. Ты всегда трусил, когда надо было решать. Виктор, он-то посмелее — взял и решил за всех. За это можно было его полюбить.

Она сделала шаг ко мне, обняла и я почувствовал тепло ее бедер. Я вздрогнул, но она поняла это по-своему:

— Не бойся. Я не собираюсь тебя соблазнять. Особенно в этом доме. Брр... Я просто всегда думала, что однажды, когда-нибудь, ты мне очень поможешь. Даже если это не так, я хочу так думать. Мне это нужно. Иначе... Ладно, иди. Буду ждать Виктора.

Я ушел к себе, лег, но долго не мог заснуть. Мария, где ты? Помоги мне. Как любить, когда любить нельзя?

Я проснулся оттого, что в моей комнате зажегся свет и уходящий голос Арины произнес:

— Игнат, вставай! С Виктором несчастье!

Дверь в коридор была открыта, там тоже горел яркий свет, и из спальни раздавался странный, замедленный голос Виктора, будто он был сильно пьян. Машинально я взглянул на часы — было три часа ночи. Я натянул спортивные брюки, футболку и босиком прошел по ковру в спальню. Мельком я заметил, что двери в комнаты детей закрыты. Моро на месте не было.

Виктор, бледный как смерть, сидел в кресле, запахнувшись в халат, и щелкал зажигалкой, поднося ее к зажатой в зубах маленькой голландской сигаре. Он втягивал щеки, не видя, что огонь не зажегся. На фалангах пальцев правой руки у него были кровавые ссадины и еще одна длинная ссадина над правой бровью. Увидев меня, он бросил зажигалку:

— Игнаша, здорово! Ты дома. Я думал, ты в Сан-Себастьяне. Когда приехал?

Я взял с ночного столика спички, чиркнул и поднес Виктору огонек. Он кивнул, затаился дымом, выдохнул и посмотрел на Арину, на меня невинным, но растерянным взглядом.

— Уф... хорошо...

— Что случилось, братан? — сказал я. — Почему ты в крови? — У меня начали дрожать ноги, и я сел напротив, на угол кровати.

— Не понимаю, почему вы считаете, что что-то случилось. — Виктор старался выглядеть bravо и беспечно, но в глазах его стоял вопрос, обращенный к самому себе.

Арина подошла, опустилась перед ним на корточки, коснулась ладонями его щек, сдержав себя, чтобы не шлепнуть по ним, словно Виктора следовало привести в чувство. Но его кровь ее остановила.

— Ты ведь не пьян, — сказала Арина.

— Абсолютно! — возмущенно потряс головой Виктор, сделав рот презрительной дугой. — Мы почти не пили.

— Значит, вы были в ресторане?

— Да... Обмочили контракт...

— А потом?

— Потом я поехал домой... — Виктор глубоко, с наслаждением затаился, выдохнул дым, и в глазах его снова зажглось беспокойство.

— А как ты приехал? Где твоя машина?

— Не помню. Видимо, я приехал на такси.

— Почему? Почему на такси? Ты не мог вести машину?

— Получается, что так, — растерянно улыбнулся Виктор.

Сигара потухла, и он снова стал прикуривать.

— Погоди, — сказал он, осматривая разбитые пальцы, словно только что их заметил. — Я дрался... На меня напали.

— Кто, что они хотели?

— Не знаю... — Виктор поморщился. — Ненавижу драку... — Вдруг он, что-то вспомнив, схватился за грудь, где у него висела массивная золотая цепочка. То, что она была на месте, еще больше его озадачило.

— Что они от тебя хотели? — повторила Арина. — Ключи, деньги... Ты все проверил? Сколько у тебя было денег?

— Мы же вместе проверили, — сказал Виктор.

— Не похоже на бандитов... — обернулась ко мне Арина. И снова к Виктору: — Может, кто-нибудь хотел тебя проучить?

— Ненавижу насилие, — сказал Виктор.

— А где твой дипломат? — выпрямилась Арина. — Ты пришел с дипломатом?

— Не помню, — сказал Виктор.

— Побудь с ним, — кивнула мне Арина и пошла в прихожую, где аккуратист Виктор всегда оставлял верхнюю одежду.

Она вернулась с его дипломатом из темно-коричневой кожи.

— А где Моро? — спросил я.

— Я выпустил его в сад, — сказал Виктор, — пусть подышит свежим воздухом. — Он посмотрел, как мыотреагируем на эту нормальную фразу в устах абсолютно нормального человека.

Арина положила дипломат ему на колени:

— Проверь, все ли на месте?

С видом, что его заставляют заниматься глупостями, Виктор раскрыл дипломат, и на пол упали какие-то бумаги. Арина быстро нагнулась, подняла:

— Это же паспорт на машину... Как это? — Она сказала по-испански и повторила по-русски. — Удостоверение водителя. Почему оно в дипломате, а не в машине? —

Арина обернулась ко мне: — Что-то случилось с его машиной...

— Мамка, давай спать, — мягко, бессильно улыбаясь, сказал Виктор, расслабившись оттого, что все, кажется на месте — документы, деньги, ключи, золотая цепочка, голова. Он встал с кресла, сонно потянулся, разведя руки, полы халата распахнулись, и я увидел слева, там, где кончается грудная клетка, большой кровоподтек. Виктор перехватил мой взгляд.

— Ерунда, брат, подрался, бывает. Интересно, кто кого. Завтра разберемся. Ладно, ребята. По койкам. И он скрылся в ванной комнате.

— Это не драка, — тихо сказала мне Арина. — Документы на машину могла переложить ему в дипломат только дорожная полиция. А он этого не помнит. Или это какая-то дикая пьяная шутка...

— Он не выглядит пьяным, — сказал я.

— Ничего не понимаю, — сказала Арина. — Мне нехорошо, Игнат. Все эти дни у меня было какое-то предчувствие. И вот пожалуйста.

— Это ты все под впечатлением Руиза, — сказал я и испугался. Глаза Арины округлились от ужаса, а челюсть отвисла.

— Это он... — прошептала она.

Вскоре Виктор заснул. Я направился к выходу, чтобы позвать Моро, но он стоял за дверью — ждал, когда впустят.

Арина сидела в кабинете Виктора и набирала номер телефона.

— Ты куда звонишь? — спросил я.

— В полицию. Может, они что-нибудь знают? Не успокоюсь, пока не выясню, что с ним произошло. А то я готова допустить что угодно... Руиз, этот шизофреник Хосе-Луис. Он, может, уже стоит под окнами.

— Не волнуйся, Моро бы его уже съел...

— Ой, мне совсем не до шуток... Алло! Si! — И Арина заговорила по-испански. — Si! — с силой сказала она и оглянулась на меня. И только повторяла: — Si! Si! ³⁵ Так и есть, — с тяжелым вздохом облегчения сказала она, опустив трубку. — Так и есть. Дорожный инцидент. Он снова столкнулся. Очень сильно. Он был без сознания. Его отвезли в больницу. Почему он оказался дома?

— Сбежал, — сказал я. — Он с детства ненавидел больницы и сбежал оттуда. Мне Тереза рассказывала. Прямо в больничном белье.

— Сейчас я еще туда позвоню.

— Тебе сказали, в какую?

— Да, это недалеко. Значит, он и разбился недалеко. Ах, Виктор, Виктор... И ты чуть не подорвался...

Она посмотрела на меня, а я на нее, будто это Виктор заплатил за наше предательство.

В больнице подтвердили, что такой сеньор был. Но после укола куда-то исчез, его даже не успели обработать.

— Он дома, — сказала Арина. — Утром я вам его привезу.

Утром мы повезли Виктора на обследование. Детям Арина ничего не сказала: когда Тино отвозил их в школу, Виктор еще спал. По его уверениям, он чувствовал себя преотлично, только побаливал бок. Возможно, ребро было сломано. Арина объяснила ему, что вчера он разбился на машине, и Виктор притих. Больше всего его озадачивало, что он этого абсолютно не помнил. Как будто на видеопленке вырезали кусок. Виктор порывался сесть за руль, но мы его не пустили. Мы посадили его одного, сзади, и он ехал виноватый, как бы наказанный.

Мы выскочили на виадук и в конце его на встречной полосе увидели вмятый в прогнувшуюся наружу железную полосу ограды "мерседес" Виктора. Арина не могла притормозить, так как сзади шли машины, и мы промчались мимо. Удар снова пришелся слева, только теперь — в мотор. Чтобы так перекорежило машину, надо было столкнуться с танком. Кожаная обивка свисала клочьями, словно это были летучие мыши, прилепившиеся к потолку пещеры, и казалось чудом, что Виктор не там, мертвый, а здесь, с нами, — живой. Ограда бы машину не удержала. Видимо, Виктор успел нажать на тормоза. Иначе "мерседес" лежал бы под виадуком вверх колесами... Никогда не забуду лицо Виктора — будто он увидел собственный гроб.

У него действительно оказалось сломанным ребро. Все остальное было в порядке. Никакого сотрясения мозга, а ссадину на лбу он, видимо, получил от удара о зеркало заднего вида, о его металлическую рамку. Это зеркало спасло его голову. Ведь он, как всегда, не был пристегнут. Виктору наложили на нижнюю часть груди тугую повязку, заклеили ссадины, и мы увезли его домой. Два дня он провалился в постели, руководя своей фирмой по телефону, а на третий день укатил служить. Второй участник катастрофы тоже оказался жив. Он никогда не был на Менорке и ничего не знал про доктора Руиза.

³⁵ Si! – Да! (исп.)

Вечером Арина и Виктор крупно поссорились. Сколько я всего выслушал за это время с двух сторон, сколько сам сказал, но все мои соображения на их счет только убеждали каждого в своей правоте. Арина считала, что Виктор, привязав ее к дому и семье, оторвал ее от мира, которым она жила с молодости. Поначалу он ее поддерживал, даже финансировал ее творчество... Теперь же она склонна была думать, что и тут был у него свой расчет. Он хотел ее просто ОБЯЗАТЬ. Конечной его идеей было вовсе не ее творчество, а семья. Он позволял ей что-то делать, пока не обрел силу, пока окончательно не уверовал в свою собственную звезду. Вот тогда-то Аринина звездочка и стала тускнеть. Арина считала, что Виктор постепенно, шаг за шагом, очень постепенно и осторожно убивал ту среду, которую она всеми силами пыталась вокруг себя создать. Он лишал Арину друзей, которых она здесь с таким трудом обретала, — для каждого из них рано или поздно у него находилось уничтожающее слово, каждый из них рано или поздно оказывался в роли проштрафившегося, и Виктор был бы не Виктор, если бы этим не воспользовался. Сколько ее друзей прошло через их дом за четырнадцать лет: режиссеры, драматурги, артисты, художники, музыканты и просто хорошие люди... Где они? Нет их. Он всех разогнал, все оказались недостойными. А кто достоин? Может, дельцы, которыми он себя окружил? Или их бедные жены, которые видят своих мужей раз в месяц, а в остальное время киснут в своих особняках, пока мужья рыщут по свету в поисках добычи, жирного куска? Вот и ее удел таков. И последней точкой в этой долгой подспудной борьбе стала покупка дома в Моралехе. Переехав сюда, она потеряла оставшиеся связи со своим прежним миром. Один только Харрис еще маячил в отдалении, старый, глухой, для Виктора не опасный...

— А тебе не приходило в голову, что все эти годы Виктор просто боялся тебя потерять? — сказал я Арине.

— А так мы друг друга не потеряли? — возразила она.

Был поздний вечер. Отплакав свои молчаливые слезы, Арина лежала в спальне свернувшись калачиком, она знала, что я пошел говорить с братом, она сама меня об этом попросила. Когда я первый раз услышал ее версию их истории, я сказал: "Разводись. По крайней мере, он должен почувствовать, что ты готова на это. Виктор считается только с сильными". — "Но он сильнее меня", — сказала Арина. "Тогда смирись, — сказал я. — Ты ничего не поправишь". — "Нет, — сказала она. — Ты должен поговорить с ним. Я уверена — тебя он послушает. У него нет человека ближе, чем ты. Раньше была я. А теперь ты. Я знаю..."

Что я мог ему сказать? Брат мой, жила-была на свете прекрасная юная женщина, ты взял ее в жены и погубил?

Мы с Виктором сидели на белоснежной кухне, неизвестно по какому импульсу выбрав именно ее для нашего разговора об Арине, на который без ее просьбы я бы никогда не осмелился. Я и не стал скрывать, что это ее просьба, хотя Арина заклинала не выдавать ее. Она боялась, что гордыня Виктора этого ей не простит. Но самый факт такой просьбы означал, что именно с Виктором она видела свою дальнейшую судьбу, и брату и в голову не пришло уличать нас в заговоре.

— Старик, — сказал я, — если ты мечтал об идеальной хозяйке дома, то ты ошибся. Тебе надо было жениться на немке. От каждого надо брать лучшее. Арина никогда не будет надраивать столовое серебро.

— Какое серебро, Игнаша, — грустно улыбаясь, сказал Виктор. Он выглядел усталым и беспомощным, словно ему вдруг обрыдло тащить ипохондриков в рай. — У нас есть слуги, двое слуг. Мало — я возьму еще... Я сделал все, чтобы освободить Арину для ее полетов. Все, понимаешь, Игнаша, все. В доступных мне пределах... А результат? Где ее фильмы, спектакли, сценарии? Ничего... Ты понимаешь, за последние годы ни-че-го. Вот в чем моя ошибка. Я хотел создать максимум удобств... Вот тебе тут как, в нашем доме, удобно? — Виктор задвигал плечами и локтями, будто примеряя верхнюю одежду. — Максимум удобств — это максимум свободного времени. Дети... — Виктор выбросил вперед правую руку и стал загибать побитые, в зеленке, пальцы, — дети, так, в школе. Обед, ужин, так, — это на слугах... Вот только вечером иногда, два раза в неделю, нужно отвезти в музыкальную школу... Но необязательно! — Виктор выставил

перед собой ладони и протестующе потряс ими, не разогнув три загнутых пальца. — Попросим Тино, Тино будет возить. Он хорошо водит машину, ты ездил с ним? — И Виктор разогнул один палец. — Вот все ее заботы, и заметь, ни одна не требует от нее каких-то особых усилий. Минимум. Ми-ни-мум! — в страдальческом недоумении повторил он. — И это называется — я не даю развернуться ее талантам, я отнимаю у нее жизнь?! Это так называется? Он смотрел на меня подняв брови, и я не мог понять, верит ли он тому, что говорит.

— Это все только форма, старик, — сказал я. — По-моему ты просто ее разлюбил и поэтому тебе так нужна форма. Иначе все рассыпется.

— При чем тут любовь, Игнаша, когда мы четырнадцать лет вместе. Ты жил с кем-нибудь четырнадцать лет, нет? Тогда не говори про любовь. Есть вещи посерьезней. Я ведь несовременный человек, я консерватор — я хочу, чтобы у меня была семья, был дом — все, чего у меня не было в детстве, я хочу, чтобы мои дети были счастливы, и я делал все возможное и невозможное, чтобы мы были счастливы. И вот теперь я узнаю, что я виноват. Что моя жена несчастна. Что она — его голос стал ложнопатетическим, как у актеров старой школы МХАТа, — стра-да-ет. Что муж — узурпатор... Это знаешь как называется? — приблизил он ко мне свое лицо. — Это называется "раздолбайство". Он употребил более крепкое слово. — Чего она хочет? Ты спросил, чего она хочет? Может, вернуться в Союз? Опять коммуналка, служба от и до, в ателье обматюгали, в магазине надули, из очереди вытолкнули, в троллейбусе оторвали каблук.

— В прошлый раз ты говорил про трамвай, — сказал я.

— Неважно. Важно другое. Что если бы мы жили с ней в Союзе, мы бы уже давно развелись. А здесь мы получили возможность создать нормальную семью, нормаль-ну-ю... И что же — ей все равно плохо. Ей не нравится нормальное. Ей хочется как-то вот так... — Виктор иронично вывернул кисть от себя, наружу, — со страданием, с муками... Теперь я понимаю, что современного русского нормальная среда развращает. Раз-вра-ща-ет! Вот какая штука. Это ведь, Игнаша, страшная штука. Не потому русский на Западе перестает творить, что ему плохо, а потому, что ему хорошо. Что ему нормально. Вот ведь как! В нормальной среде русский гений погибает. В "Ностальгии" — видел "Ностальгию" Тарковского? Плохой фильм, но идея-то правильная: не надо русского вытаскивать из лужи. Он там живет. Там его дом!

— Нет, старик, — сказал я. — Там другая идея. И вообще это не тот случай. Арина теперь западный человек. Я это вижу. В Союзе она бы теперь не прожила.

— Вот! — воскликнул Виктор. — Вот! Ты сказал ей об этом?

— Сказал. Я даже сказал, что глупо отказываться от того, что дает ей здесь свободу, — от богатства.

— Ну не богатства...

— Богатства, богатства, — заверил я Виктора. — Творчество вовсе не обязательно противопоставлено богатству. Только тогда мотор у него более сложный.

— Вот! — воскликнул Виктор. — Вот! Умница, Игнат. Я думал о тебе хорошо, но хуже. Ты умница.

— А идея у Тарковского, — сказал я, — что русский человек должен пронести западную свечу. Потому что Запад про нее забыл...

— И здесь это невозможно... — иронически вскинулся Виктор.

— Как раз здесь и возможно, — сказал я.

— Где она, я иду за ней! — ударил ладонями по столу Виктор. — Я хочу, чтобы она это слышала.

— Оставь ее в покое, — сказал я. — Она это уже слышала.

— Тогда ты сам ей скажи, — наседал Виктор, — что она ничего не делает не из-за меня, а из-за себя. Но ей страшно в этом признаться, потому что это катастрофа, конец, фиаско...

— Да, — неожиданно для самого себя сказал я, потому что еще минуту назад и все предыдущие годы думал иначе, — она сама во всем виновата. Никто никому ничего не должен. Никто не обязан возиться с нашими талантами. Талант должен только сам себе.

Но я не ожидал, что Виктор будет настолько вероломен, что передаст ей эту фразу. Неужели это был его главный аргумент в долгом споре с ней? "Ты меня предал", — скажет мне Арина.

Но тогда вечером в белой молочной кухне, сверкавшей чистотой, где темным был лишь глядящий в ночь пластмассовый колпак купола, тогда разговор наш с Виктором на том не кончился.

— Послушай, — сказал я. — Я действительно убежден, что каждый сам отвечает за себя. Но она, я это знаю, она тебе в жизни помогла. Она помогла тебе встать на ноги. Когда твоя первая фирма лопнула, это она нашла для тебя нужных людей. Ты был в ж..., а она играла в театре, и на нее, русскую актрису из Ленинграда, на нее ходили... А теперь ты должен ей помочь, потому что теперь она слабее.

— Это так, — пробормотал Виктор. — Она мне очень помогла. Да, я должен, должен, — быстро проговорил он самому себе. И поморщился, вздохнул. — Но у меня нет времени. Катастрофически не хватает времени. Где его взять?

— Ей нужен один толчок. Нужно запустить на орбиту, и все. Остальное она сама, — сказал я, чувствуя, что все это глупости, если он ее больше не любит.

— Старик, — приложил руку к сердцу Виктор. — Я подумаю, я попробую. Но поверь, я делал это уже не один раз. И кончалось это однозначно. Где-то кто-то что-то не то ей сказал, не так посмотрел... Где-то там какая-то подруга жены ее приятеля что-то такое про нее подумала — заметить, не сказала, а только подумала... И все, старик. Этого достаточно, чтобы все замыслы полетели к черту. Она сразу отступает — она не хочет иметь дело с людской низостью, не хочет мараться, не идет на компромиссы... Весь мир держится на компромиссе, жизнь — это компромисс, великий компромисс, а ей это, видите ли, претит. Она выше. Все должно быть чисто, стерильно, понимаешь, Игнаша, сте-риль-но. А стерильно — это что такое? Это значит мертво, это никак. Она, старик, не борец. А если ты не борец, не надо выходить на ковер. Она типично русская натура — офигительно талантлива и озвездифигительно инфантильна. То бишь романтична. И она не хочет принимать людей как они есть. Она сразу тащит их на пьедестал, а потом с пьедестала — и все, заметить, крайности, одни крайности. А люди, они, как правило, посередке, — не очень чистенькие, но и не слишком грязненькие. Не надо брезговать, не надо бояться замарать руки. Это жизнь...

И по мере того как Виктор говорил, в меня входило странное, новое для меня чувство какой-то непоправимой ошибки — будто мы с Ариной оба отвернулись от жизни, она здесь, я — там. Как брат и сестра.

Накануне моего отъезда мы вчетвером отправились в ресторан. Четвертой была Тереза. Они с Ариной смотрели на меня как на человека, уезжающего на землю обетованную, но при Викторе говорить об этом не решались. Терезе было как бы грешно жаловаться на жизнь, и она не выходила из рамок, только, заговаривая со мной, печально и мечтательно улыбалась. Два дня назад я звонил своей матушке. Голосом великой дипломатки она сказала, что дома все хорошо, что в эти дни мне многие звонят, ждут. Я бы спросил про Улитку, но матушка даже не знала, кто это. "Ты, конечно, вовремя приедешь?" — сказала она. "Естественно", — сказал я. И еще я сказал, что очень соскучился. "Вот-вот, — подхватила она благодатную тему. — Дым отечества нам сладок и приятен". Как будто все это говорилось кому-то третьему.

Что ж это за дым такой?

Виктор повез нас в центр Мадрида, в один из старых ресторанов, где не только кормили, но и развлекали. Ресторан представлял собой большой зал, опоясанный двухъярусной деревянной галереей. Он был почти пуст, только внизу, посередке, перед сценой сидела группа японских туристов. Мы заняли столик на галерее. Здесь в полутьме можно было, не стесняясь артистов, развлекаться в своей собственной компании.

Представление уже началось. На сцене был Антонио Кастильо, исполнитель фламенко. Мы знаем Гадеса и его балет, его фильмы "Кармен" и "Кровавая свадьба", а Кастильо мы не знаем. Гадес воплощал страсть, притом роковую, а Кастильо не очень-то верил в роковые страсти и озорничал, сохраняя на лице с остановившимся черным пламенным взглядом трагическую маску. Гадес был рыцарем печали, а Кастильо — героем плутовского романа, в нем было больше жизни, а значит, больше правды. Ему было лет тридцать пять, но иногда он казался мальчишкой. Что он вытворял, мне не рассказать. Помню игру кистей, полураскрытые ладони с плотно сжатыми пальцами — то внутрь, то наружу — будто игра в прятки, будто жизнь и изнанка жизни, тайное и явное, их неостановимая смена. Жизнь — это вот что! — танцевал Кастильо. Но еще и это, и многое другое! Хотя и не без примеси печали, которой как белил в красочном слое. Ну да ведь это только потому, что жизнь прекрасна, а мы, увы, должны рано или поздно уходить. Но если бы не расставание, не было бы и любви. Только любовь против смерти. Потому что она не умирает, а передается от одного сердца к другому, по гигантскому кругу земли и выше — по кругу Вселенной, и, если ты хоть раз любил, ты небожитель. Вот что творил Антонио Кастильо, и, когда он закончил и ушел в окружении обожавшей его труппы, делать в ресторане было больше нечего.

Японцы встали как по команде и направились к выходу. Внизу перед сценой никого не осталось, только на двух ярусах галереи кто-то еще призадержался в полумраке вроде нас. Выступления тем временем продолжались, и, согласно программе, шла еще одна труппа, с еще одним солистом. И, преодолев великое искушение закончить эпизод на высокой ноте, что было бы неправдой или не всей правдой, я попробую рассказать о дальнейшем.

Сразу стало ясно, что эта труппа не чета той, а солист и вовсе некудышный. Да и кто бы мог еще выйти на сцену после Кастильо?! Японцы покинули зал на глазах труппы, и непросто было начать выступление перед пустыми стульями. И все же молодые женщины запели, задвигались в танце, но, гордые испанки, они были уязвлены, они были как в воду опущенные. Они тускло поголосили и расселись обочь, а вперед вышел их солист. Солисту было под пятьдесят, а то и больше, и он был в голубом. У него был верблюжий профиль. Туфли, специальные туфли танцора со специальной подошвой, чтобы отбивать чечетку, тоже были покрашены в голубой цвет. Даже издали было видно, какие это многожды подбитые и подкрашенные туфли... Солист был высокий, и грудь у него была колесом. Зад у него тоже был колесом. Итак, два колеса, точнее полуколеса, большое и малое, и длинные, туго обтянутые голубым ноги. Сплошной атас, как выразился Виктор. Но солист был единственным человеком на сцене, кто не испытывал ни малейшего неудобства перед пустующим залом. Он танцевал. Он танцевал для себя. Танцевать для него было счастьем. Его и держали во второй труппе дорогого, но пустующего зимой ресторана, потому что он мог танцевать для пустых стульев так же, как для занятых, а может, даже еще лучше. Сначала мы тихо над ним потешались. Он был невероятно смешной. Его старая челюсть выбивала такую же чечетку, как каблуки и носки его голубых туфель. Стало быть, он был похож не только на верблюда, но и на старого щелкунчика. Колесо грудной клетки, колесо зада и хлопающая челюсть. Но он был счастлив, и у него все получалось. У него была своя, пожалуй даже филигранная, техника. Он всю жизнь потратил на то, чтобы стать виртуозом, и он им стал. Он все умел. Уже через пять минут мы поняли это, а через десять согласились с ним, а через пятнадцать стали аплодировать. Мы аплодировали и его молодым теткам, поощряя их к такой же, как у него, истовости человека, которому никогда не везло, но которого это не сломило, а, наоборот, укрепило настолько, что теперь он сам себе был царь и бог. Ты — царь, живи один...

— Оле, оле! — кричали мы молодым скисшим теткам, статным, с крепкими стройными бедрами, с прекрасными точеными испанскими щиколотками, высокогрудым, прямоспинным, и они откликнулись, они услышали, они завелись! Им вдруг стало стыдно за себя, и, бросая взгляды в темноту, откуда раздавались наши крики, они окрепли голосами, они развернули плечи и пошли, пошли... О чудо человеческой души! Душа не может быть одна, для себя. Это только верблюжий щелкунчик мог быть один. Но и он знал, что это только сначала — будто для себя, а потом — все

равно для других. Только не спешите с выводами, хорошенько приглядитесь. У каждого из нас есть то, чего нет у других. И без этого так же нельзя, как и без того, что всех нас объединяет. Мы аплодировали стоя, изо всех сил — за себя и за отсутствующих. Вздуродная труппа радостно кланялась, принимая наши восторги. Она снова уважала себя.

— Мамка, ты должна снять об этом фильм! — говорил Виктор, обнимая Арину.

— У тебя есть лишние два миллиона?

— Какие деньги, Ариша? Искусство! Ис-кус-ство! И Игнашуними. Пусть читает свои стихи. У него хорошие стихи. Почему в Испании никто не знает Игнашу?

Официант склонился над нами с новой бутылкой вина. Арина закрыла свой фужер ладонью:

— Надо же кому-то довести вас до дому. Тереза, Виктор, выпейте за Игнашу. Он у нас уезжает.

Голос ее дрогнул.

ВСЮ НОЧЬ поезд лез в Пиренеи, и сквозь сон я чувствовал, как ему трудно, и от высоты во сне у меня закладывало уши, и мне снилось, что мы взбираемся и взбираемся, сквозь десятки тоннелей, к снежным вершинам... а под утро уши отпустило, и, когда в окно забрезжил свет, мы уже катили по виноградным равнинам Франции.

Мария обещала приехать через два дня. "Как ты отнесешься к тому, если я приеду в Париж? — спросила она. — Ты хочешь, чтобы я приехала? Если не хочешь — скажи".

Что делать в Париже испанским любовникам?

Поздно вечером, когда мы вышли из ресторанчика на фантастические, сверкающие, бесподобные Елисейские поля, меня вдруг как прорвало и я понес пьяный бред об Улитке, об Арине, и Мария не стала это слушать, женским своим чутьем вмиг прознав, что к чему, сжалась, как от удара в живот, и ускорила шаги, почти побежала, маленькая раненая женщина, ставшая вдруг отчаянно одинокой.

Чего мы с ней никак не ожидали, так это того, что нам не нужен будет Париж. Почему-то он пытался нас разлучить. Поссорить и разлучить. Только в Париже мы почувствовали, какие мы разные. Мы вдруг словно перестали понимать друг друга, и у нас оставалось слишком мало времени, чтобы это поправить.

Зато в поезде у меня было время подготовиться к встрече с Россией. Я видел, как постепенно беднел сельский пейзаж Европы, в Польше он уже был почти нищий, а затем потянулась наша земля — деревянные избы, покосившиеся заборы... кто же там живет, почему не выйдет, не подправит осевший сруб, не переберет штакетник, не подсыплет гравия в разбитую вдрызг колею?

Белорусский вокзал в Москве был как зло разворошенный муравейник, азиатская толпа и много суеты, грязи и крику. А Ленинград я вовсе не стал разглядывать, вошел в дом, поцеловал матушку и спрятался в своей комнате. Правда, надо было еще ходить на работу. Рассказывать я ничего не рассказывал, но обещал собраться с мыслями. Какие впечатления? Впечатления были. Особенно в нашем метро, в вагоне, когда все стоят или сидят и можно неспешно осмотреться. Есть, есть хорошие, умные, прекрасные лица. И конечно, девушки. Мягкая, нежная, акварель русских девичьих лиц.

Что я видел...

Была в детстве такая книжка про Алешу, который видел всякое.

...Однажды возле метро я столкнулся с Несси, и она подтвердила, что Улитка действительно уехала за границу. Куда — Несси не знала. А весной я получил из Рима большой конверт — в нем было несколько фотографий Улитки на двух сторонах плотной бумаги. Нечто вроде визитной карточки манекенщицы. Внизу типографским же способом был напечатан и ее адрес. Но писать ей я не стал. Иногда мне звонила Мария, реже — Арина. Мария в июне собиралась в Ленинград. В самом начале июня, поздно вечером раздался международный телефонный звонок, и мне сказали, что на проводе Париж. Я подумал, что это Мария, — Мадрид тогда давали через Париж, — но это была не Мария. Это была Арина.

— Я еду, — сказала она.

— Куда? — спросил я.

— Домой.

3 декабря 1987 — 23 февраля 1989